



Анатолий

ПРИСТАВКИН

Маленькие рассказы
Селигер Селигерович
Птушенька
Солдат и мальчик

*Я был уверен,
что у каждого человека есть своё,
только ему данное солнце,
свои формы и свой цвет...*

Анатолий

ПРИСТАВКИ

В работе над собранием сочинений
нам очень помогла поддержка друзей –
писателя Георгия Садовникова
и издателя, тонкого знатока литературы
Игоря Смолина

Анатолий
ПРИСТАВКИН

Маленькие рассказы
Селигер Селигерович
Птушенька
Солдат и мальчик

Москва



УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
П77

Художественное оформление
Яна Сметанина

Подписано в печать 14.08.2009. Формат 84×108/32.
Гарнитура «Букман». Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,88.
Тираж 3000 экз.

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»
105005, г. Москва, ул. Фр. Энгельса, д. 46

Приставкин, Анатолий.

Собрание сочинений в 5-ти т. Т. 1 / Анатолий Приставкин. — М. : АСТ :
Зебра Е, 2009. — 512 с.

ISBN 978-5-94663-940-8 (общ.)
ISBN 978-5-94663-941-5 (т. 1)

Как у каждого серьезного писателя, у Анатолия Приставкина были свои любимые из тех книг, что созданы за сорок лет честной литературной работы. Это только дети в семье все любимые, а книги у писателя, хотя и родные, как дети, но все разные. Поэтому можно сказать, что эту коллекцию прозы для вас, дорогие друзья, собрал сам автор... В первый том вошли «Маленькие рассказы» и три повести «Селигер Селигерович», «Птушенька» и «Солдат и мальчик».

Агентство СІР РГБ

ISBN 978-5-94663-941-5

«ПИСАТЬ КНИГИ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО»

«Вы знаете, что писать книги очень тяжело», — всегда говорил Анатолий Приставкин студентам-новичкам на самом первом семинаре в Литературном институте. «Литература — огромный и сложный мир, и надо бесконечно много работать и очень многое познать, чтобы добавить свои крохи в тот общий котел, который сварили до тебя (и за тебя) твои предшественники».

Свои книги прозы — числом более тридцати — он искренне считал этими «крохами». И легендарный роман «Ночевала тучка золотая», который выдержал миллионные тиражи в девяностые, переведен на десятки языков мира, даже японский, и постоянно нарасхват до сих пор. (О «Тучке», кстати, нынешние молодые читатели, незаслуженно подозреваемые старшими в цинизме, оставляют светлые, восторженные «посты» в Интернете.) И «Кукушат», получивших престижную литературную премию в Германии, а затем с огромным успехом изданных во Франции в блистательном переводе внучки Владимира Набокова Антуанет Рубишу. И ранние «Маленькие рассказы» — их Валентин Петрович Катаев сразу назвал «маленькими шедеврами», а спустя двадцать пять лет наша дочка Маша с удивлением обнаружила папины рассказы в школьной хрестоматии по литературе. И замечательные, по отзывам критиков и читателей, повести последних лет: «Вагончик мой дальний», «Первый день — последний день творенья»...

Всю эту прозу, как и многие другие свои книги, — повторяю — очень мудро Анатолий считал «крохами», заполняя ничтожно малое свободное время чтением великих. Он преклонялся перед Львом Толстым, Чеховым, Буниным. Перечитывал древних и современных философов. Их собрания сочинений у нас в библиотеке испещрены его пометками на полях.

Если бы Анатолию Приставкину сказали, что пора задуматься над изданием собрания сочинений, он, при его характере, удивился бы. Как удивлялся и смущался, когда в энциклопедиях и электронных справочниках читал о себе: «классик». Один съедаемый комплексом Сальери коллега даже не выдержал, ляпнул: «Хорошо тебе, Толя, вот ты приходишь и говоришь: здравствуйте, я Приставкин. И тебе не надо добавлять: писатель. И так все знают. Тебя все читали». Что тут скажешь? Прав наш Сальери.

Конечно, как у каждого серьезного писателя, у Анатолия Приставкина были свои любимые из тех книг, что созданы за сорок лет честной литературной работы. Это только дети в семье все любимые, а книги у писателя, хотя и родные, как дети, но все разные. Он часто выбирал отрывки из повестей «Селигер Селигерович» или «Птушенька» для авторского чтения на встречах с читателями: в Пензе, Екатеринбурге, на своей родине — Смоленщине. Охотно передавал для благотворительных проектов, для издания и распространения в школьных библиотеках и детских домах «Тучку» и «Кукушат». Последний по времени такой щедрый дар — Воронежскому отделению Российского детского фонда. Радовался, когда зарубежные переводчики-слависты проявили интерес именно к «Долине смертной тени», а кинематографисты — к «Солдату и мальчику». Был очень признателен журналу «Нева» за издание новой повести «Первый день творенья».

Поэтому, не кривя душой, можно сказать, что эту коллекцию прозы для вас, дорогие друзья, собрал сам автор. Хотя, конечно, после его ухода мне и дочери пришлось многое передумать и перечитать, прежде чем пятитомник сложился, и мы, по образному выражению Анатолия, с трепетом отправляем его «в общий котел» литературного процесса.

В добрый час!

«И ТИХОНЬКО ПЛАЧЕТ ОН В ПУСТЫНЕ...»

В одном из своих интервью Анатолий Приставкин сравнивает себя с лошадей, ходящей по кругу: она все время возвращается в исходную точку. Добавим, что такие лошади использовались некогда на шахтах — например, тащили подъемник. Из каких же глубин Приставкин извлекал те воспоминания, которые были «сокрытым двигателем» его труда?

«О детство, ковш душевной глуби...» — сказал поэт. Ковш этот был для Приставкина достаточно горек.

Через много лет, решая участь насильников и убийц (так распорядилась усмешливая судьба), он всегда старался взглянуть в обстоятельства детства своих *подопечных*, пытаясь именно там различить скрытую причину совершенных ими злодейств. Он не всегда находил ответы на эти — может быть, слишком наивные — вопрошения, но твердо был уверен в одном: ничто так не споспешествует преступлению, как отсутствие любви.

Собственно, именно этим — любовью или нелюбовью — определяются сюжеты его ранних «Маленьких рассказов». Орущая и неистовствующая толпа на Челябинском вокзале 1941 года вдруг отступает и образует коридор, чтобы пропустить к раздаваемой беженцам пище эвакуированных из Москвы детей. Старая крестьянка отогревает заплутавшего в метели подростка и незаметно

сует ему в карман бутылку горячего молока. Но та же война обнажает в людях и черты неблагородства. Члены семейства, по разнарядке назначенного заводом шефствовать над обездоленными детьми, единожды накормив сироту, сильно огорчены его повторным приходом: «Мы же не родственники какие, чтобы их кормить». Да, никто никому ничего не должен. Все решает только чувство — родства или неродства...

Надо сказать, что эти рассказы редко превышают размером страницу. Но каждый из них — маленькая трагедия или притча, со своим микросюжетом, прописанным точно и скупо. Подобный изобразительный минимализм, предельная экономия повествовательных средств при стремлении к максимальному художественному эффекту делают приставкинскую прозу 1962 года заметной даже на фоне неслабых литературных событий тех лет. Думаю, этот ранний стилистический опыт (сопряженный с опытом детства, ибо герой рассказов — всегда ребенок) пригодился автору спустя годы, когда он создавал главное произведение своей жизни.

«Ночевала тучка золотая» была прочитана всеми. «Тучка» настолько затмила собой остальные тексты Приставкина, что в сознании многих читателей он, написавший совсем немало, остается автором одной книги. А между тем ее фантастический успех обусловлен не только велением времени или востребованностью темы. Все эти факторы сами по себе могут играть определенную роль. Но собственно художественная удача всегда имеет более глубокие основания.

Читательское признание «Тучки», изданной в 1987 году, лишь частично связано с актуальностью воскрешаемых в книге событий. (Не за горами — да простится нам этот невольный каламбур — была первая чеченская война.) Куда важнее, как это было написано.

В отечественной словесности можно, пожалуй, указать на два отстоящих друг от друга во времени повествования, к которым, хотя и опосредованно, тяготеет приставкинская «Тучка». Это «Солнце мертвых» И. Шме-

лева и «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына. У Шмелева — изливающийся на сухую крымскую землю солнечный свет, равнодушное море, бессонный стрекот цикад — при незримом, но постоянном присутствии смерти; пустое небо; неподвижное время... У Солженицына — при совершенно другой обстановке — тоже остановившееся мгновение, призрак жизни, более реальный, чем сама жизнь. И везде — один «основной инстинкт», подчиняющий себе сознание и жизнечувствие героев: голод. С той разницей, что у Приставкина жертвами голода являются исключительно дети.

Голод (или, если угодно, неотвязная дума о еде) — это своего рода сверхгерой «Тучки», едва ли не главное ее действующее лицо. А еда — единственный безусловно положительный персонаж, чистое и беспримесное благо. Голодный человек — изобретательный человек, и выдавшие виды насельники детского дома идут на немислимые ухищрения, чтобы выжить. Здесь все съедобное на вес золота — от кукурузного зернышка и обмылка мерзлой картошки до вожделенных банок сливового джема, в массовом порядке похищаемых с консервного завода. Как верх неземного блаженства мнится возможность тайно проникнуть в хлеборезку, где бы могли осуществиться самые дерзкие эвдемонические грезы. Пионеры-герои, подрывающие немецкие эшелоны, были куда привлекательнее для нашей детской литературы, нежели приставкинские Кузьмёныши, плохо приспособленные для совершения каких-либо подвигов.

«Ночевала тучка золотая» — чтение преимущественно для взрослых (хотя она по справедливости включалась и в школьные программы). Скитания братьев-близнецов, их не задавленная заботой о пропитании душевная жизнь — все это предполагает читателя, по меньшей мере не лишенного исторической памяти. Такого, для которого строка А. Твардовского, относящаяся к великому вождю, — «он мог на целые народы обрушить свой верховный гнев», — не просто впечатляющая метафора, а конкретное историческое событие.

О подоплеке, о внутренних пружинах этого действия в повести Приставкина не сказано почти ничего. Мы видим лишь следствия умонепостигаемых решений «кремлевского горца»: смерть русских и чеченцев, разорение, гибель ни в чем не повинных людей. Горы, представшие в голубой дымке детям, едущим «с милого севера в сторону южную», вдруг ополчаются на равнину, и равнина отвечает им орудийным огнем. Железная лопата, как и было предсказано, врезается-таки в каменную грудь. Но — здесь нет победителей.

Страшной смертью (запечатленной в жестоких подробностях) погибает один из Кузьмёнышей, чтобы другой, оставшийся в живых, обрел себе нового побратима — маленького чеченца, может быть сына убийцы. Слезинка ребенка не знает национальности: возможно, это единственное, что еще объединяет народы.

Тут, как и в случае с ранними рассказами, можно толковать о притчеобразности этой прозы, пекущейся о «малых сих», и т. д. Но одно дело, когда она — лишь «заявление о намерениях», другое — когда плотность художественного языка позволяет передать и горький запах полыни, и отсвет пожара, и ужас изгнания. И еще — когда возникает глубоко личная нота, одушевляющая рассказ.

Он, этот рассказ, ведется как бы от имени анонимного и всеведающего автора. Но вдруг — пресекается «объективный» авторский голос, и речь звучит от первого лица:

«Эта повесть, наверное, последний мой крик в пустоту: откликнитесь же! Нас же полтыщи в том составе было! Ну хоть еще кто-то, хоть один, может, услышит, из выживших, потому что многие потом, это и на моих глазах частью было, начали пропадать, гибнуть на той, на новой земле, куда нас привезли...»

И снова — уже через сотню страниц: «Мы шли, сбившись в молчаливую плотную массу. Еще наши глаза, не привыкшие к черной ночи, хранили на своей сетчатке красные блики пламени. С непривычки могло бы показаться, что повсюду из черноты выглядывают языки огня». И наконец, прямое отождествление автора с одним

из героев: «Помню, помню этот несказанный вечер на нашем обетованном хуторке в глубине каких-то предгорий Кавказа. Как ни странно, но день, придуманный для нас волшебницей Региной Петровной, стал моим днем рождения на всю жизнь. Я думаю, может, и правда я тогда по-настоящему только и родился?»

Граница между вымыслом и былью практически стерта; слово художника сливается со свидетельством очевидца.

Среди российских писателей XX века немало таких, чей жизненный путь начинался в детских домах, приютах, колониях и интернатах. Прозаики Василий Аксенов, Владимир Максимов, Рубен Гальего (это уже в брежневские времена), поэты Геннадий Русаков и Валентин Резник... У последнего есть строки:

*Дитя детдома и литстудий,
Арбатской выделки шпана.
И я из тех, кто вышел в люди
Благодаря тебе — страна.*

Правда, мера благодарности у каждого — своя. «Вышедший в люди» Приставкин с благодарностью не спешит.

Герой его повести «Кукушата», обитатель детской спецколонии, как и мальчишки из «Тучки», почитает «дурацким» вопрос, хочет ли он есть: «Кто и когда, покажите мне такого идиота, не хотел бы есть?! Есть можно все и всегда». Любой детдомовец 1944–1945 годов (да, пожалуй, и более поздних лет) подтвердит эту максиму. И уже не столь важно, что в «Кукушатах» (где вообще немало чисто литературных придумок) и в «Судном дне» наличествуют отдельные исторические неточности. Так, 9 мая 1945 года соотечественники еще не могли титуловать Верховного главнокомандующего «генералиссимусом»: этим славным званием он утешит себя лишь через несколько недель. Еще труднее представить, чтобы в 1942 году младшеклассники расстреливали на стрельбище (вспомним по аналогии «Зеркало» А. Тарковского) портреты маршалов, оказавшихся врагами народа: таковые были уничтожены еще в 1937-м — 1939-м, и вряд

ли их преступные лица хранились в школе столь долго. Младшие школьники военных лет вряд ли могли помнить эти изображения висящими на стенах класса. (Кстати, любопытно, что Приставкин забыл или не счел возможным обыграть такой интригующий факт: среди упомянутых им врагов народа должен находиться еще и маршал А.И. Егоров, чья фамилия совпадает с фамилией главного героя повести. Того самого, кто, будучи сыном врага народа, тоже вынужден упражняться в идейной стрельбе по ненавистным мишеням. Дети, стреляющие в отцов: эта метафора могла бы выглядеть еще «символичнее».)

Что ж, от ошибок памяти не избавлен никто. Зато безошибочно чувство. И когда сбежавшие в Москву колонисты (словно будущий Веничка в «Москва — Петушки») ищут таинственный Кремль, дабы передать свои нехитрые просьбы лучшему другу советских детей, — это очень похоже на правду. Как и то, что во время бунта в колонии, сокрушившие все и вся, они не трогают сакрального портрета: Сталин не виновен в их бедах! Они отделяют вождя от породившего его (или порожденного им?) государства: должна же у них оставаться хоть какая-то надежда!

Зато государство спешит отделить от себя их преступные души. Пули, посланные в детей, достигают цели. И «кровавые мальчики» являются палачу вовсе не в его еженощных кошмарах, а лишь в краткий миг расставания с, в общем, удавшейся жизнью.

И в «Судном дне» (который парадоксальным образом напоминает классический производственный роман — только с обратным знаком), и в «Грузе без обозначения» герои так и не становятся взрослыми. Приставкин как бы осуществляет давнюю мечту Достоевского — написать роман исключительно о детях, где бы их детская «империя» существовала по своим собственным законам (книга «Мальчики» в «Братьях Карамазовых» — очевидно, подступ к этой замысленной теме). Правда, относительно благопристойные гимназисты города Скотопригоньевска мало походят на отчаянных, изворотливых, не сдерживаемых почти никакими социальными скрепами приставкин-

ских беспризорных (или, скажем так, полубеспризорных). Вспомним, однако, что в «Дневнике писателя» Достоевский пишет о своем посещении Воспитательного дома: его волнует судьба этих «вышвырков», лишенных семейного крова, и он закликает государство и общество заменить им семью, дать образование, сделать людьми...

Об этом должны позаботиться взрослые. Они у Приставкина (за редким исключением — например, красавица Регина Петровна в «Тучке») выступают преимущественно как сила, детям враждебная, им противостоящая и их преследующая. Хотя — вспомним Корчака или ту же старуху-крестьянку с ее бутылкой молока — взрослые бывают разные...

Приставкин — на стороне слабых и гонимых: будь то несовершеннолетние пацаны или изгоняемые из родных палестин народы. Он симпатизирует им даже в тех случаях, когда утесняемые не вполне правы. (Так, в книге «Тихая Балтия» он весьма снисходителен к антироссийской риторике местных радикалов. Между тем по прошествии лет аргументы некоторых его оппонентов, честно приводимые им в этой книге, не кажутся столь уж неосновательными). В глазах обитателей национальных окраин русский писатель из Москвы предстает их заступником и печальником.

Мой покойный приятель, драматург Валерий Тур, рассказывал мне об их совместной с Приставкиным поездке в одно из татарских поселений в Крыму (я по каким-то причинам не мог им сопутствовать и оставался в Коктебеле). Крымские татары (о которых Приставкин, кажется, ничего не писал) принимали его как национального героя: перемещенные народы связаны одним горьким родством.

На застолья, впрочем, нам везло не только в Крыму.

Приставкин не без юмора описывает те ритуальные возлияния, в которых ему как члену писательских делегаций доводилось участвовать. Сценарий, как правило, был одинаков. Эти грандиозные валтасаровы пиры, эти обильные амброзией начальственные халявы (то-то вспоминался автору «Тучки» голод военных лет!) — тоже приметы «империи времен упадка». В книге с говорящим на-

званием «Синдром пьяного сердца» Приставкин трактует приверженность к рюмке как традиционный писательский жанр, что не мешает ему с любовью изображать самих писателей. Речь идет об именах достойных — Алесе Адамовиче, Георгии Садовникове, Алексее Каплере, Анатолии Кузнецове, Юрии Казакове, Леониде Темине, Александре Тихомирове, Виле Липатове... (О Булате Окуджаве он тепло вспомнит в другой своей книге.) При этом автор «Тучки» достаточно скромно ценит собственные писательские достоинства («Конечно, он ярче, мастеровитей, удачливей, что ли», — впроброс, как само собой разумеющееся, сказано о Михаиле Рошине). Наверное, не помышляет он и о заманчивой административной карьере.

Какие, однако, чудеса не случаются в век перемен...

...В начале 1990-х новая российская власть лихорадочно ищет союзников — дабы утвердить свою легитимность и дистанцироваться от «проклятого прошлого». Она чувствует себя если и не обязанной интеллигенции, то во всяком случае в какой-то степени еще зависимой от нее. Один из создателей объединения «писателей-демократов» «Апрель», пользующийся большим моральным кредитом, Приставкин останавливает на себе, очевидно кем-то направляемый, президентский взор.

Булат Окуджава пел когда-то о своих нечиновных друзьях-литераторах, которым в будущем, чем черт не шутит, может, построят кабинеты. В песне, как выяснилось, заключалась доля той самой шутки. Во всяком случае, один кабинет оказался в наличии. Его даже не пришлось строить: он перешел к Приставкину по наследству — от бывшего председателя Комитета партийного контроля Пуго (который, будучи министром внутренних дел, покончил с собой после августовского путча). Мне пришлось пару раз побывать в этом обиталище власти. Толя (а все друзья звали Приставкина именно так) великодушно разрешил мне воспользоваться волшебным ящичком номенклатуры, как именовал я кремлевские телефоны (то есть «вертушкой», с помощью коей я пытался донести до высоких властей мысль о необходимости поддержать учреждаемое Общество Достоевского).

Приставкин с трудом вписывался в это громадное помещение — с секретарским предбанником, длинным столом для заседаний, мощными креслами и уже упомянутыми кремлевскими телефонами. Его, вероятно, смущал этот государственный антураж. Держава исчезла, но ее неупокоенный дух еще витал под сводами святилищ. Приставкин все время словно бы извинялся за окружающую его обстановку: не восседал за председательским столом, а примащивался с собеседником (особенно если это был коллега-писатель) где-нибудь в уголке, у журнального столика. На стенах, что было вроде бы совсем «не в тему», помещались детские рисунки — в том числе обожаемой им дочери Маши (он был поздним и, как водится в таких случаях, в высшей степени чадолюбивым отцом). Хозяин кабинета как бы старался показать, что он попал в этот расклад не по собственной воле, а сам кабинет и сопряженная с ним атрибутика — не более чем игра потусторонних (не исключено, что inferнальных) сил.

Между тем Комиссия по вопросам помилования при президенте Российской Федерации, которую он возглавлял, была учреждением уникальным, а объем вверенных ей полномочий не мог не внушать трепет.

В своей «Долине смертной тени», где обобщены результаты деятельности Комиссии за десять лет, Приставкин неоднократно повторяет, что он не мыслил себя вершителем чужих судеб, что ноша эта для него неподъемна и что должность главного *помиловщика* страны доставляла ему неизъяснимое нравственное страдание. Наверное, все это так. Но это был его выбор. Алесь Адамович, например, отказался войти в комиссию («Поймите и простите, но я не могу быть Богом!»), Зиновий Гердт отозвался, что это ему не по силам. Восемидесятилетний Лев Разгон, напротив, ответил, что у него нет сил отказаться. Аркадий Вайнер, Мариэтта Чудакова, Евгения Альбац и другие — тоже согласились. Булат Окуджава до самого своего конца полагал, что это его крест (который, возможно, и приблизил его кончину). В бывшем кабинете самоубийцы Пуго, как и раньше, решались судьбы людей — с той разницей, что теперь речь шла в том числе о жизни и смерти.

Вообще-то служителям муз более приличествует призывать милость к падшим, нежели лично эту милость оказывать. Тем более, что в данном случае имелись в виду не только падшие по неосторожности или стечению обстоятельств, но и те, чьи руки были по локоть в крови.

Никому неохота «расстреливать несчастных по темницам» — даже в том случае, когда приговоренные к высшей мере сами сделали несчастными десятки семей...

И еще: как сократить срок тому, кто по сумме содеянного зла не заслуживает никакого снисхождения?

«Долина смертной тени» — страшная книга. Авторский голос здесь не столь важен: его все равно заглушат крики убиваемых бандитами жертв, воззвания убийц о помиловании, факты и документы. Трудно сказать, что больше поражает — число казненных за последние несколько десятилетий (24 000) или количество их жертв (30 000 убиваемых в год, и это неполные данные!), бессмысленность мотивов преступлений или их чудовищность, кровавые вакханалии маньяков или взыскуемая ими (разумеется, по отношению к ним самим) гуманность. Приставкин, очевидно, прав, когда говорит, что вся страна — это криминальная зона и что жанр его книги — плач по России.

*Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.*

Когда автор свидетельствует, что 60% убитых и 80% убийц становятся таковыми не без воздействия алкоголя, нельзя не вспомнить о «синдроме пьяного сердца». Конечно, невинные интеллигентские посиделки здесь ни при чем: писатели, даже выпивши, как правило, не убивают друг друга. Но к общей трагедии нации причастны и они. Да и у членов комиссии, после того как они принимают решение об очередной казни или избавлении от нее («мы голосованием (с небольшим перевесом) сохранили ему жизнь»), нет иного способа облегчить душу: «Мы достали водку и выпили. Чтобы снять с себя это наваждение».

Приставкин — не ханжа и не фарисей. Он пишет как было.

Должность, им исполняемая, таила в себе великий соблазн. Человек, от которого зависели «последние сроки», не мог не вызывать сильных общественных страстей. И страсти кипели. Его обвиняли в потакании нелюдям, в преследовании личных интересов, в приверженности к номенклатурным благам. Не мне, его младшему и не очень осведомленному современнику, обсуждать здесь эти сюжеты. Я знал Анатолия Приставкина как порядочного человека.

Нередко я не соглашался с его суждениями. Мне, в частности, совсем не нравился тот президент, при котором он тогда состоял, — и я не скрывал этого¹. Бродя по крутым тропам Карадага, нависавшего над ослепительно синим морем, мы спорили о предмете весьма удаленном от избытка этой торжествующей жизни. Приставкин был принципиальным противником смертной казни. Я, в свою очередь, тоже не будучи сторонником таковой, все-таки был убежден, что при том беспределе и той безнаказанности, которые воцарились в стране, заказчик и киллер, серийный убийца и профессиональный губитель детей (а то, что они сотворяли с детьми, отказывается принимать ум) не должны иметь никаких надежд, кроме гарантии получить за свои художества пулю. (Разумеется, это не относится к преступлениям на бытовой почве и т. п.) Я полагал, что призвание добросердечного Гааза — печься о заключенных, но не вершить приговоры.

Возражая мне, Приставкин приводил довольно серьезные аргументы. Столкнувшийся с криминальным адом лицом к лицу, он, наверное, лучше разбирался в этих проблемах.

Но все же, в отличие, скажем, от автора «Записок из Мертвого дома» он наблюдал уголовный мир извне, а

1. См. подробнее: Замечательная идея президента Ельцина; Президент как мать отечества; и др. // В кн.: Волгин И. Возвращение билета. Парадоксы национального самосознания. М., 2004. С. 683–688.

не изнутри. Члены комиссии также не стремились, как Чехов, на Сахалин: поневоле они оставались зрителями. И недаром Булат, испытывающий, очевидно, некоторый нравственный дискомфорт от подобного положения дел, при посещении комиссией одной из тюрем отвернулся и не стал смотреть в глазок на сверхординарного даже по местным меркам убийцу.

Да, литераторам, а тем паче литературоведам не пристало быть ни властителями, ни судьями. Однако при отсутствии в те годы института присяжных не исполняла ли комиссия — пусть даже несовершенно — функцию суда общественной совести? Ведь еще в напутствии Александра II этому невиданному на Руси институту — «правда и милость да царствует в судах ея» — «милость» была поставлена не ради красного словца. Да и Комитет партийного контроля, в чьих апартаментах незаконно расселись Приставкин со товарищи, тоже был, если вдуматься, своего рода комиссией по помилованию.

...Последние годы мы виделись нечасто — в Литинституте, где оба вели творческие семинары, на презентациях, ставших ведущим жанром современной литературы, на вручении премий и т. д. Однажды, открыв журнал «Октябрь», я увидел, что его «Золотой палач» напечатан рядом с моей «Сагой о Достоевских»: это была наша последняя переключка...

От Приставкина остались его Кузьмёныши: они навсегда поселились в наших ожесточенных сердцах. Остались люди, заслуженно или незаслуженно избавленные им от смертной казни. Остались их семьи. Я думаю, у него есть кому за него молиться.

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ

Мама, знаешь, какое дело самое трудное в жизни?

Жить во время войны!

ШЕСТИЛЕТНИЙ РЕБЕНОК

ШИНЕЛЬ

В самом дальнем углу, за печкой, висела шинель. Она была словно ржавая от времени, с подпалинами и дырками. Отец мой носил ее тогда, когда меня еще и не было, да и мать моя была совсем маленькой. В этой шинели отец шел за Лениным против богачей и рубил саблей белых. Вот так я рассказал своим друзьям Вальке и Мите, жившим в доме напротив.

Валька поверил не совсем, а Митя прямо сказал: «Врешь!» Тогда я надел шинель и, волоча за собой длинные полы, гордо прошел в ней по улице до соседского дома. На песке за мной оставалась гладкая дорожка.

Мать Вальки, маленькая и сварливая тетя Нюра, загремела кастрюлями.

— Боже мой, что ты надел? Всю грязь тащите на себя...

— Это не грязь. Это шинель моего отца. Он в ней воевал.

— Ну и что! Ты-то зачем нацепил? Это мать, наверное, не видела, она бы дала тебе...

Валька и Митя тоже обиделись. Тетя Нюра совсем не могла понять, какая героическая шинель была на мне. Они так ей и заявили. Тетя Нюра плюнула и стала молча разжигать керосинку. Потом поглядела на нас, усмехнулась и открыла чулан. И швырнула на пол узлы.

— Натя. Держите. Это ваших отцов!

Мы развязали вещи. Там лежали пересыпанные нафталином две рыжие старые шинели. И они были еще более дырявые и обгорелые, чем моя принесенная шинель.

ОГОНЬ

Совсем недавно побывал я там, где родился. Наш двухэтажный дом, который был самым большим в округе, показался мне удивительно маленьким среди новых каменных домов. Поредел садик, где мы бегали, сровнялась с землей горка, где мы играли. И я вспомнил: на этой чудесной горке я сделал великое открытие. Я открыл огонь. Вернее, удивительные камни, из которых можно было высечь огонь. Я приводил сюда ребят, мы набирали полные карманы этих камней и потом шли в темный чулан. В таинственном полумраке мы стучали камнем о камень. И появлялся желтоватосиний шарик пламени. Только потом я понял, что огонь делали не серые камни с моей горки, а мои руки.

Как эта чудесная горка, сровнялось с землей мое детство. Попробуй отыщи следы... За горкой во все стороны со своими настоящими чудесами начиналась жизнь. Но вера в свои руки, которые могут добывать огонь, осталась навсегда. Я пошел учиться на монтера.

РИСУНОК

Саша был мой друг и жил через стенку. Я приходил к Саше, когда он, подгоняемый нянькой, лениво доедал красный вишневый кисель. Ни киселя, ни няньки у меня не было. Злая старуха всегда гнала меня, а Саша, мягкий, розовый, зевал и шел на послеобеденный отдых.

Однажды взрослые сказали, что Саша заболел опасной болезнью и что приходить к нему нельзя совсем. Приезжал врач с чемоданчиком и, выходя от соседей, качал головой: «Сложно. Очень сложно». Мама Саши прижимала ладони к щекам и смотрела на меня невидящими глазами.

Мне было жаль Сашу. Я пробирался на кухню и слушал, как за дощатой перегородкой с коричневыми обоями раздавался надрывный кашель. Однажды я нарисовал на листе бумаги солнце, траву и себя: кружочек головы, палочка туловища, а от него четыре веточки — две руки и две ноги. Потом я прошел на кухню и, прислонясь к перегородке, прошептал:

— Саша, ты болеешь?

— ...олею, — донеслось до меня.

— На, держи. Для тебя нарисовал. — Я сунул в щель листок. С той стороны листок потянули.

— ...сибо!..

Кашлять за стеной перестали. Кто-то смеялся. Ну конечно, смеялся Саша. В темной комнате с занавешенным окном он понял по моему рисунку, что на улице солнце и теплая трава. И что мне очень хорошо гулять. Потом я услышал, как он позвал маму и потребовал карандаш. Скоро из щели высунулся белый уголок. Я побежал в свою комнату. В моем рисунке было изменение: рядом с мальчиком стоял другой — кружок головы, палочка туловища, а от нее четыре веточки... Мальчик был изображен красным карандашом, и я понял: это Саша. Он тоже хочет греться на солнце и ходить босиком. Я соединил жирной чертой руки-веточки двух мальчиков — это значит, они держались крепко за руки — и сунул лист обратно.

ДЕНЬГИ

Мы жили в старом деревянном двухэтажном доме, где от желтых стен легко отламывались целые куски. Взрослые рассказывали, что этим домом когда-то владела старуха Ситягина. Да мы не очень верили. Старуха эта ходила в черном платье, прижимая парализованную руку к груди, и совсем не была страшной. Да разве разрешил бы горсовет одной старухе Ситягиной жить во всем доме? И зачем ей весь?

Однажды я разбил на чердаке бутылку. Оттуда выпали свернутые в трубочку деньги. Деньги были красивые и с картинками. На одной бумажке стояла блестящая женщина. На другой — оловянный солдатик с вытаращенными глазами. А еще на одной — толстый человек с большими усами. Я позвал Сашку, и мы решили, что это самый главный царь.

Бутылок было много. Мы принесли молоток и стали их бить. И из каждой выпадали свернутые в трубочку цари. Мы рассовали их по пазухам и потащили на улицу.

Я как раз торговался с Шуркой, предлагая за его картонный домик десять усатых царей, когда вышла на улицу старуха Ситягина. Она посмотрела на мои руки, вся затряслась и стала вырывать деньги. Мне показалось, что даже ее парализованная рука задвигалась, стараясь

черными пальцами ухватить хрустящие бумажки. На вой старухи выбежал ее сын, Густав Иванович.

— Не надо, мама. — Он вздохнул и отбросил деньги. — Ведь это при ихней власти уже не понадобится...

И старуха Ситягина заковыляла домой, всхлипывая. Ее парализованная рука, зажата в кулак, бессильно тряслась.

Мы вернулись к нашей торговле, и через минуту я был уже владельцем целого картонного дома. И все это за каких-то десять усатых царей.

ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ

У Саши был велосипед. У меня тоже, только похуже. Соседская девочка Марина иногда брала у нас покататься велосипед, и я сильно мучился, если она предпочитала велосипед моего друга.

Однажды я взял у Саши баночки с цветной тушью, которые стояли на столе его отца, и решил написать письмо. Это было первое письмо к девочке, и я писал его весь день. И каждую строчку я писал разным цветом. Сперва красным, потом синим, зеленым... Мне казалось, что это будет самым лучшим выражением моего чувства.

Два дня я не видел Марину, хотя старался проезжать все время у нее под окнами. Потом вышел ее старший брат и стал меня пристально рассматривать. И на его лице было ясно написано: «А я все знаю». Потом брат скрылся и убежала Марина. И в знак хорошего ко мне расположения попросила велосипед. Проехала один раз для вида и сказала, чертя носком маленького ботиночка по земле:

— Ну, вот что. Я тебе отвечу на письмо, если ты принесешь мне цветов. — И она топнула твердо своим маленьким ботиночком. — Цветы нужны сейчас!

Я ринулся в городской сад. Цвели одуванчики, и я собирал их, как рассыпанные солнечные зайчики. Скоро среди лужайки возвышалась целая золотая горка. И вдруг

меня охватила первая мужская робость. Как же при всех поднесу ей это? Я накрыл цветы лопухами и пошел домой. Нужно было подумать. И решиться.

На следующий день Марина скакала с подругами на тротуаре, расчерченном мелом, и на меня взглянула очень строго:

— Где же твои цветы?

Я опять побежал в сад. Я уже знал, что буду делать. Нашел свою лужайку, откинул лопухи — и обмер: передо мной лежала куча вялой травы. Золотые искры цветов потухли навсегда. А Марина? Марина каталась с тех пор только на Сашкином велосипеде.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КОРИДОР

Это было в сорок первом году. Темная и суровая Москва, спасая нас, детей, от войны, погрузила в поезда и отправила в Сибирь. Мы ехали медленно, задыхаясь от недостатка кислорода и страдая от голода. В Челябинске нас высадили и повели на вокзал. Была ночь.

— Здесь есть пища, — сказал Николай Петрович, сутулый, желтый от болезни человек.

Вокзал хлестанул по глазам ярким светом. Но скоро мы увидели и другое. Многотысячная толпа беженцев осаждала единственный ресторан. Там шевелилось что-то черное, и ухало, и кричало. Ближе к нам, прямо на рельсах, стояли, сидели, лежали люди. Здесь начиналась очередь.

Мы стояли и смотрели на окна. Там было тепло, там раздавали людям горячую, дымящуюся жизнь, наполняя ею тарелки. Потом встал наш Николай Петрович на ящик и что-то закричал. И нам было видно, как он нервно вздергивает острые плечи. И голос у него слабый, голос чахоточного человека. Кто из этих голодающих, сутками простаивающих беженцев сможет его услышать?..

А люди вдруг зашевелились. Они подались назад, и маленькая трещинка расколола черную толпу. А потом мы

увидели еще: какие-то люди взялись за руки и образовали коридор. Человеческий коридор...

Я потом побродил немало, но всегда мне казалось, что и не перестаю шагать этим человеческим коридором. А тогда — мы шли через него, качающийся, живой, трудный.

И мы не видели лиц, просто стена больших и верных людей. И яркий свет вдали. Свет, где нам было очень тепло, где и нам отвалили по целой порции жизни, горячей жизни, наполнив ею до краев дымящиеся тарелки.

ПОРТРЕТ ОТЦА

Это случилось в войну. В нашей детдомовской библиотеке я случайно наткнулся на маленькую книжку. На обложке ее была фотография человека в меховой шапке, полушубке и с автоматом. Этот человек был очень похож на моего отца. Стащив книжку, я забрался в самый темный угол, оторвал обложку и засунул под рубаху. И долго там носил ее. Только иногда доставал, чтобы посмотреть. Конечно же, это должен быть мой отец. Третий год шла война, а я не получал от него даже писем. Я почти забыл его. И все равно я знал: это мой отец. Я поделился открытием с Вовкой Акимцевым, самым сильным парнем в нашей спальне. Он вырвал портрет из моих рук и решил:

— Ерунда! Это не твой отец!

— Нет, мой!

— Пойдем спросим воспитательницу...

Ольга Петровна посмотрела на оторванную обложку и сказала:

— Нельзя портить книги. И вообще я не думаю, чтобы это был твой отец. Зачем его будут печатать в книжке? Ты сам подумай. Он же не писатель?

— Нет. Но это мой отец!

Володька Акимцев не отдал портрета. Он спрятал его и сказал, что я просто хочу похвастать и он не отдаст мне обложку, чтобы я не занимался ерундой.

Но мне нужен был отец. Я перерыл всю библиотеку, отыскивая вторую такую книжку. А книжки не было. И я плакал по ночам.

Однажды Володька подошел ко мне и заявил усмехаясь:

— Если это твой отец, ты должен за него ничего не жалеть. Не пожалеешь?

— Нет.

— Нож свой отдашь?

— Отдам.

— И компас?

— Отдам.

— А новый костюм поменяешь на старый?.. — и протянул измятую обложку. — Бери. Не нужно мне твоего костюма. Может, и вправду... — В глазах Володьки была зависть и боль. Его родные жили в Новороссийске, занятом фашистами. И у него не было никаких фотографий.

ДЖАФАР

Сторожем у нас в детдоме — я жил тогда в Сибири — был старик Джафар. Хотя он и стригся наголо, голова у него была как серебряный шар. Такой он был седой. Из щек и подбородка торчали толстые белые волосы, вроде как проволока на терке, которой Джафар скоблил пол. Наверное, он был очень стар, он работал медленно и плохо. Про него говорили, что он из чеченцев. И за то, что он плохо работал, взрослые его потихоньку ругали. Мы подражали взрослым, но действовали смелей и старались вредить ему.

В теплый сентябрьский день я сидел на скамеечке. Рядом сидел Джафар. Он, почти не шурясь, глядел на солнце, подставляя теплу лицо, и серая кожа на скулах, похожая на старую мешковину, вздрагивала и тряслась. Он вдруг спросил, даже не взглянув на меня:

— Ты откуда родом, мальчик?

— Из Москвы.

— А-а... Я еще дальше. У нас сейчас ох как тепло! — Он помолчал и повторил: — Тепло-о...

У меня был рубль. Я очень берег его. Но мне совсем не было жалко рубля. Я добежал до угла и купил Джафару яблоко. Он долго разглядывал яблоко, поворачивая перед глазами. Мелко надкусил и забыл про меня. Медленно покачиваясь, он беззвучно запел, и тусклые глаза его

смотрели куда-то дальше деревянного заборчика, перед которым мы сидели.

Через месяц Джафар простудился, и его отвезли в больницу. А потом нам сказали, что он умер. И толстая наша заведующая, которая кормила детдомовскими обедами всех своих родственников, пошла опознать его, но скоро вернулась и объяснила, что умерших там много и она не нашла сторожа.

— Да какая разница, — добавила она, — его, как всех безродных, похоронят в общей могиле.

И ребята пораньше легли спать в нетопленной спальне. И тут же забыли о стороже. А я плакал, закрыв голову одеялом, чтобы не слышала дежурная няня. И заснул. И мне снился теплый, теплый Кавказ и снилось, что старик Джафар угощал меня яблоками.

МЕЖДУ СТРОК

У нас не было тетрадок. Воспитательница аккуратно рвала старые книги из нашей детской библиотеки, и мы шили из них тетрабочки, ровно по двенадцать листов.

Мы писали между строк. Чернила расползались на старой бумаге, потому что мы делали их из сажи. Обломки химических грифелей мы хранили только для писем отцам на фронт.

А в книжках, между строк которых мы писали, говорилось о далеких, полузабытых вещах. Там было написано: «Мы дети солнечной страны. Наши родители трудятся на заводах и на колхозных полях. Мы ходим учиться в школы. Мы читаем по красивым книжкам и пишем на гладких тетрадях о нашем счастье».

Вот так было написано в книгах, между строк которых мы писали. А Витька Свинковский меня однажды спросил:

— Твои родители трудились где — на заводах или на колхозных полях?

И оттого, что все было так непохоже, мы наизусть знали строчки о счастливом детстве. И в один из обычных дней мы, то есть я и Витька Свинковский, почти не сговариваясь, написали отцам в письмах эти хорошие слова. Это было в самую тревожную пору войны. А мы написали о замечательной жизни, о школе, в которой учимся по красивым книжкам и пишем на гладких тетрадях...

Жалко, правда, что не было ни одного чистого листочка для письма. Но мы написали обо всем этом между строк. Мы знали: отцы разберутся.

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Николай Петрович часто бывал в спальне ребят. Пел песни, рассказывал разные истории. Но больше говорил о своем сыне и родном городе Волоколамске. Мы все знали, что Волоколамск он оставил по распоряжению районо и что сын его, настоящий советский командир, бьет фашистов.

Когда в интернате чего-нибудь остро не хватало, ребята сразу узнавали об этом. Николай Петрович в такие дни приходил особо подтянутый, и бесцветные губы его сжимались.

— А знаете, ребята, сколько хлеба у нас будет после войны? Мягкого, чудесного... Милые мои мальчишки, у нас будут подаваться к столу полные тарелки хорошего хлеба! Уж тогда мы отъедемся за всю войну.

И нам до предела было ясно, что завтра не дадут даже наши легковесные порции. Потому что нет в интернате ни кусочка этого самого хлеба. Тогда мы шли на наши огороды, разгребали снег и из промерзлых грядок выковыривали капустные корни, прочные и безвкусные, как веревки. Редкому счастливцу попадалась морковь. И в один из таких дней самый маленький из ребят, Соколик, задумчиво сказал:

— Кончится война, у нас будет много-много капустных корней...

Шла лютая зима сорок первого года. Однажды Николай Петрович сказал строго, присаживаясь на чьей-то кровати:

— А знаете, ребята, мы после войны все города заново отстроим. Чудесные у нас будут города... И никаких военных следов, как бы сейчас ни глумились захватчики.

И мы поняли, что сдан фашистам родной город Николая Петровича.

Стоял леденящий январь. В темный вечер, когда мы уже ложились спать, в черноту спальни пришел Николай Петрович. Сел и, ни слова не говоря, притих. Квадратными льдинками белели окна, и видно было, как от них шел пар. И вдруг Николай Петрович сказал:

— А после войны вернутся домой наши... У кого отец, у кого сын. И какие бы вести мы ни получали, мы обязательно должны дождаться их...

Казалось, что в спальню вошла еще большая чернота. И все ж мы видели, знали, что сидит Николай Петрович, поджав белые губы, строгий, как у могилы сына. И мы ничем не нарушили этой траурной тишины.

ТОВАРИЩИ ГОНЦОВЫ

Было так. Во вьюжную сибирскую ночь шел я из больницы к себе в детдом и заблудился. Я проваливался в белый снег, обессилел совсем. Тогда я сел и заплакал. Стало как будто теплей, я заснул. Как меня нашла старая крестьянка, как привела в избу и оттирала, я не помню. Утром она вывела меня на дорогу и показала путь до Зырянки.

— Гонцова моя фамилия, сынок, — сказала она коротко.

Я отошел, помахал ей рукой. Полез в карман и обнаружил там горячую бутылку с молоком.

Через месяц я попытался отыскать добрую женщину, которая меня спасла. Председатель колхоза спросил:

— Из какой деревни?

— Не знаю, но фамилия Гонцова.

— Трудно найти. В нашей Зырянке пятьдесят Гонцовых. В Михневе тридцать четыре семьи да и в Таловке пятнадцать... Это вернее всего в Михневе, там мне такой случай рассказывали. Спроси Марию Гонцову, наверное, она.

Мария Гонцова оказалась совсем не той женщиной, которую я запомнил. Но пока я грелся в теплой избе, она сбегала к соседям и сказала:

— В Таловке она, твоя самая... Варварой зовут. У нее такой случай был. А я нет, никого не спасала.

Она вывела меня на дорогу и показала, как дойти до Таловки.

— Ищите Варвару Гонцову. Наверное, она.

Я отошел, оглянулся, женщина все стояла. Я пома- хал ей рукой. Полез в карман. Там я нашел кусок теплого хлеба.

ЗВЕЗДЫ

Нас было в спальне одиннадцать человек. У каждого из нас был на фронте отец. И при каждой похоронке, приходившей в детдом, одиннадцать маленьких сердец замирало. Но черные листки шли в другие спальни. И мы чуть-чуть радовались и начинали опять ждать отцов. Это было единственное чувство, которое не угасало всю войну.

Мы узнали, что война окончилась. Это случилось в чистое майское утро, когда к голубому небу прилипали первые клейкие листочки. Кто-то тихо вздохнул и открыл настежь окно. Раздался непривычно громкий смех. И вдруг все мы, одиннадцать человек, поняли, что мы победили, что мы дождались отцов.

В детдоме готовился вечер, Витька Козырев разучивал песенку:

*Окна светятся весь вечер,
Как подснежники весной.
Скоро мы дождемся встречи
С нашей армией родной.*

Эту песню хотели петь и другие ребята, но Козырев сказал:

— Я отца ждал дольше, чем вы. Он ушел воевать еще с белофиннами...

И мы решили, что, конечно, Витька Козырев немного единоличник, но у него хороший отец и на фотографии очень красиво снят с орденами. Поэтому пускай Витька поет.

Наступил тихий вечер. Заблестели через серую пыльную звезды, и нам они казались звездами с солдатских пилотов — протяни лишь руку и потрогай пальцами... А что от них свет долго идет, так это вранье просто. Звезды были рядом, это мы хорошо знали в тот вечер. Появилась почтальонша, но мы уже не насторожились при ее приходе. Мы подошли к окну и спросили, кому письмо. Козыреву протянули листок. И вдруг спальня замолчала. Но нам понималось, что кто-то закричал. Было непонятно и страшно.

«Сообщаем, что отец ваш, майор Козырев, пал смертью храбрых седьмого мая сорок пятого года».

Нас было в спальне одиннадцать человек, и десять из нас молчали. Майская прохладная ночь дышала в окно. Светились далекие звезды. И было ясно, что свет от них шел долго.

ШЕФЫ

Все мы, ребята Кизлярского детдома, жили без родных много лет и совсем забыли, что такое семейный уют. И вдруг нас привели на станцию, объявили, что железнодорожники наши шефы и они приглашают нас в гости.

Разобрали нас по одному. Дядя Вася, толстый и веселый начальник, привел меня к себе домой. Жена охала, долго расспрашивала о родных, но в конце концов принесла душистый борщ и сладкую печеную тыкву. А дядя Вася подмигнул и нацедил из бочонка красного вина. И себе и мне. Стало весело. Я расхаживал по комнатам, словно плавал в каком-то счастливом дыму, и мне совсем не хотелось уходить.

В детдоме целую неделю не смолкали разговоры об этом дне. Ребята, переполненные необычными ощущениями «домашней жизни», ни о чем другом не могли говорить. А в школе, с другой стороны крышки парты, где мною были вырезаны три самых заветных слова: электричество — стихи — Лида, я дописал еще одно слово — шефы.

Больше всех хвалился белорус Вилька. Он попал в гости к самому начальнику станции, и тот велел приходить еще. Мне тоже хотелось рассказать хорошее про дядю Васю, и я заявил, что он «самый главный начальник угольного склада» и я могу показать, где он работает. Мне

очень хотелось показать дядю Васю, и я повел ребят. Дядя Вася оказался занят. Он хмуро посмотрел на ребят, а мне сказал:

— Не вовремя ты, мальчик... Ты приходи в воскресенье, домой приходи.

Я пришел. И снова ел тыкву и расхаживал по комнатам. И снова тихое счастье не покидало меня. А жена дяди Васи в соседней комнате сказала:

— Странные они, эти дети. Неужели они не понимают, что все время ходить нельзя? Неудобно. Мы же не родственники какие, чтобы их кормить.

А дядя Вася ответил:

— А что я мог поделаться! Вопрос о шефстве у нас на общем собрании решался. И вот придумали...

Я тихо-тихо брел по улицам. Чтобы никто не спрашивал, почему я пришел раньше, остаток дня я просидел в пустой школе. Последнее вырезанное слово я расковырял поясом. Его теперь никто не смог прочесть. Только осталась на черной крышке глубокая белая ранка.

ФОТОГРАФИИ

Мы жили далеко от дома, я и моя сестренка, которой было шесть лет. Чтобы она не забывала родных, раз в месяц я приводил сестренку в нашу холодную спальню, сажал на кровать и доставал конвертик с фотографиями.

— Смотри, Люда, вот наша мама. Она дома, она сильно болеет.

— Болеет... — повторяла девочка.

— А это папа наш. Он на фронте, фашистов бьет.

— Бьет...

— Вот это тетя. У нас неплохая тетя.

— А здесь?

— Здесь мы с тобой. Вот это Людочка, а это я.

И сестренка хлопала в крошечные синеватые ладошки и повторяла: «Людочка и я. Людочка и я...»

Из дому пришло письмо. Чужой рукой было написано о нашей маме. И мне захотелось бежать из детдома куда-нибудь. Но рядом была моя сестренка. И следующий вечер мы сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели фотографии.

— Вот папа наш, он на фронте, и тетя, и маленькая Людочка...

— А мама?

— Мама? Где же мама? Наверное, затерялась... Но я потом найду. Зато смотри, какая у нас тетя. У нас очень хорошая тетя.

Шли дни, месяцы. В морозный день, когда подушки, которыми затыкали окна, покрывались пышным инеем, почтальонша принесла маленький листок. Я держал его в руках, и у меня мерзли кончики пальцев. И что-то коченело в животе. Два дня я не приходил к сестренке. А потом мы сидели рядом, смотрели на фотографии.

— Вот наша тетя. Посмотри, какая у нас удивительная тетя! Просто замечательная тетя. А здесь Людочка и я...

— А где же папа?

— Папа? Сейчас посмотрим.

— Затерялся, да?

— Ага. Затерялся.

И сестренка переспросила, подымая чистые испуганные глаза:

— Насовсем затерялся?

Шли месяцы, годы. И вдруг нам сказали, что детей возвращают в Москву, к родителям. Нас обошли с тетрадкой и спросили, к кому мы собираемся ехать, кто у нас есть из родственников. А потом меня вызвала завуч и сказала, глядя в бумаги:

— Мальчик, здесь на некоторое время остается часть наших воспитанников. Мы оставляем и тебя с сестренкой. Мы написали вашей тете, спрашивали, может ли она вас принять. Она, к сожалению...

Мне зачитали ответ.

В детдоме хлопали двери, сдвигались в кучу толчаны, скручивались матрацы. Ребята готовились в Москву. Мы сидели с сестренкой и никуда не собирались. Мы разглядывали фотографии.

— Вот Людочка. А вот я.

— А еще?

— Еще? Смотри, и здесь Людочка. И здесь. И меня много. Ведь нас очень много, правда?

ОСКОЛОК

Осколок был тяжелый, железный, с острыми краями. Нет, он совсем не был тем осколком, от которого погиб отец Вовки. Да и мать у Вовки умерла просто от болезни. Хотя все говорили, что ее подкосила война.

Этот осколок оказался почти безопасный, безымянный, неизвестно чей. Он прилетел неведомо откуда в тревожную московскую ночь, пробив крышу дома. Тогда еще были у Вовки и мать и отец. А потом Вовка остался один, безымянный, как тот осколок, что он таскал в кармане. И так же, как тот осколок, занесла Вовку война под чужую крышу, в детдом. Так они и жили — Вовка и его осколок. И все было не плохо и не хорошо, а вполне нормально. Только вдруг осколок пропал. Может, выронил его по нечаянности Вовка. А может, кто-нибудь стащил. Как узнаешь?..

И затосковал Вовка. Вспомнил осколок, вспомнил начало войны, вспомнил крышу и свой дом, вспомнил отца с матерью. И показалось ему, что один-одинешенек он на всем белом свете.

Узнала о Вовкиной пропаже строгая воспитательница. Собрала на линейку всю ребячью спальню и попросила выложить из карманов на стол все железки. И тогда на столике, вместе с другими вещами, оказалась целая кучка тяжелых железных осколков.

ЯБЛОКО

В стылую, леденящую зиму сорок третьего года мы не знали ни яблок, ни груш. Мы ели мороженую сладковато-вязкую картошку. На уезженных дорогах с крапинками семечек, вдавленных в гладкий лед, мы подбирали эту картошку после колхозников, проезжающих утром на базар. Черные, мерзлые крутяши гремели, как деревянные, и припекали пальцы холодом. В печке они долго не хотели оттаивать, только капельки воды на них пузырились и кипели.

Однажды я смотрел кино. Это была армянская сказка о героях и о любви. В конце ее рассказчик вынимал из кармана большое, красивое-красивое яблоко и протягивал его зрителям прямо с экрана:

— А это вам за то, что слушали!

У меня даже дух захватило от такой щедрости. Второй и третий раз я только и ждал этих слов. В четвертый — я уже стоял у экрана и весь дрожал, ожидая, когда мне протянут яблоко. В пятый раз меня не пустили.

— Нельзя, нельзя, мальчик, — сказала билетерша. — Лучше завтра приходи, будет интересный фильм про волшебников.

Но зачем мне нужен был фильм, хотя бы и про волшебников? По белой дорожке поселка я шел домой.

Большая картофелина валялась в колее, я положил ее в карман, но не обрадовался. Солнце прокатилось и упало за трубы домов, как уроненное кем-то яблоко. На блестящие следы от полозьев, в придорожный чистый снег сыпались розовые пятна заката. И они тоже были похожи на яблоки.

ОБМАНУТЫЕ ПИСЬМА

В детдоме было три воспитательницы. И все они, хотя и не были молодые, оставались не замужем. Наверное, потому, что три года шла война. Правда, воспитательница Ольга Петровна переписывалась с отцом Бориса. Об этом знал весь детдом. Ребята немного завидовали Борису и говорили:

— Твой отец приедет с фронта и женится. Вот посмотришь! Сколько он ей писем написал, небось побольше, чем тебе!

— Ну и пусть, а мне что... — говорил Борис, а про себя думал, что, может, это не так уж плохо, что Ольга Петровна добрая и красивая...

Когда в детдом приходила почта, Борис сразу различал письма отца. Конверты были красивые, заграничные, а высокие буквы напоминали восклицательные знаки. Только чаще эти красивые письма были не ему.

Ольга Петровна смотрела на него ласково и понимающе говорила:

— Приходи ко мне в гости, Боря. Чай будем пить. Не с сахарином, а с настоящим сахаром. Я тебе письма от папы прочитаю.

— А мне не интересно, что он пишет... — говорил Борис, но в гости приходил.

К директору детдома приехал сын. И на третий день кто-то из ребят сообщил достоверно:

— А Ольга Петровна гуляла с директорским сыном!

— Врешь... — бледнея, сказал Борис.

— Вот и не вру. Он ее утром до детдома провожает. Целых два дня. Я вчера сзади шел, он ее обхватил вот так, а она смеялась...

Утром Борис сидел у входа и ждал. Вокруг стояли ребята. Самые нетерпеливые приносили новости:

— Вышли из дома. Он держит ее под руку.

— Идут к детдому, Ольга Петровна смеется.

— Повернули в боковой переулок.

— Он ее обнимает. Идут по переулку обратно.

— Опять обнимаются. И опять идут по переулку.

Ольга Петровна опоздала на два часа. Быстрая, счастливая, она пролетела по двору и даже не заметила, что никто из ребят не подбежал к ней, как это бывало раньше. Не обратила внимания, что первый день не оказалось писем. Ей было не до этого.

А красивые заграничные конверты шли и шли, и буквы уже были похожи на вопросительные знаки, словно кто-то никак не мог понять, что произошло. И никто не видел, как детская рука тихо забирала их из ящика и складывала нераспечатанной стопочкой под матрац.

ЧЕСТНАЯ ПРАВДА

Вечером в детдомовской спальне слышался шепот.

— Вовка, а тебе отец часто письма шлет?

— Шлет.

— Что он пишет, Вовк?

— Ну, пишет, жди, приеду заберу. Будем снова вместе.

— А еще?

— Что еще... Пишет, что воюет. Ты спи, Юрка. Хватит.

— А мне ничего не пишет. Честная правда. Вот когда мы жили в Саратове, он меня очень любил. Он мне каждый день мороженое приносил. Придет с работы и скажет: «Привет, Юрка, расти скорей, на охоту пойдём!» Не веришь? Честная правда!

— Ты же говорил, что в Воронеже родился.

— Ну, говорил. А потом мы еще в Саратове жили.

— Рассказывай... Ладно, спи.

— Я сплю... Вовка, Вовк... Ты не веришь, что мы жили в Саратове? Так вот, мы там и не жили совсем. И в Воронеже не жили. И отца у меня никакого вовсе нету. Честная правда.

— Как нет? А куда он делся?

— Его, Вовк, и не было. Мне так мама сказала. Что у всех есть, а у меня нету. Ну просто вот никакогошнего нету. А я взял и придумал его.

— Врал, значит?..

— Я, Вовк, не врал. Я по правде придумывал. Честная правда! Вон Гарик рассказывал, как ему мороженое приносили. А я представил, как будто это мне приносили. На охоту у Бориса отец ходил. Вот я и подумал, как будто это мой отец ходил на охоту. Ну, а про фронт я хотел у тебя узнать. А то я не знаю, как мне отец с фронта писал...

— Просто это. Подумаешь!.. С фронта... Я тебе завтра подарю несколько писем моего отца. Ладно? — Вовка это сказал и как-то громко засопел носом. Можно было подумать, что он действительно спал.

БУКВА «К»

У Славы Галкина не было ни отца, ни матери. Ему было восемь лет, он жил в детдоме и учился в школе. Фамилия учительницы его была Галина. Всем ученикам родители давали с собой вкусные завтраки, а Славке никто не давал. И Славка иногда на уроках мечтал, что он вовсе и не Галкин, просто ошиблись где-то и поставили лишнюю букву. А фамилия у него такая же, как у его учительницы, и он Вячеслав Галин. Но фамилии ведь исправлять нельзя, и Славка только мечтал об этом и еще мечтал, что если бы все было именно так, то учительница оказалась бы его мамой и давала бы ему в школу свертки с завтраками. И Славка чуть-чуть недолюбливал букву, которая разбивала всю его мечту. И потихоньку пропускал ее. А в диктантах за ошибки ему ставили двойки. Однажды учительница очень рассердилась. Она сказала:

— Почему ты, Галкин, пропускаешь в словах букву? Никто не делает таких странных ошибок. Смотри, что ты написал: «Светило жарое солнце, и мы пошли упаться на речу». Это просто непонятно. Завтра перед уроком зайдешь ко мне.

И Славка пошел к учительнице. Та продиктовала ему диктант, прочла слова с пропущенной буквой «к» и рассердилась. А потом почему-то спросила о родителях.

Велела заходить еще. Но главное, завернула ему в газету завтрак.

Славка стремительно летел в школу. В перерыв он не ушел, как обычно делал, в коридор, а достал свой завтрак, хотя совсем не хотел есть.

Когда учительница проверяла новый диктант, она задержалась на работе Славы. В диктанте не было ни единой ошибки. И все буквы «к» стояли на своих местах. Ошибка оказалась только в одном слове. Было подписано: «В. Галин».

Но учительница, наверное, не заметила этой ошибки.

ВОЕННЫЕ ЛЮДИ

Вернувшись в Москву, я скрыл от своей дальней родственницы тети Кати, что мне предлагали пойти в местный детдом. Еще не хватало! Тетя Катя так любила меня. Она всегда об этом маме моей говорила, я хорошо запомнил: «Ну, мальчишка у тебя, Дуся... Хорош! Отдай мне его! Эх, отдай, Дуся! — А потом вздыхала и жаловалась: — Счастливая ты. Сын у тебя, и муж хороший. Ровесники ведь мы, а я — в девках...»

Тетя Катя придирчиво осмотрела мои вещи и примерила на себя шелковую тенниску. Я заметил, что она очень постарела. И сказал ей об этом. Тетя Катя рассердилась, закричала на меня. А потом долго исподтишка рассматривала себя в зеркало. Повеселела она только когда пришел в гости дяденька старшина. Они пили чай и смеялись. И говорили, что вот целая семья собралась. И я пил чай и тоже смеялся. Мне тоже было весело, что такая хорошая семья собралась.

И проснулся ночью от громкого шепота. Мужской голос говорил: «Катерина, пусти. Ну, пусти. Я тихо».

А тетя отвечала: «Нельзя, чудак. Я же с мальчиком сплю. Он проснется».

И опять мужской: «А сколько это будет продолжаться? Что же я, вот так и буду? Война ведь, Катя, не сегодня завтра в часть отправят... А ведь мы люди, Катя...»

А тетя сказала: «Не знаю, что делать, просто не знаю... Ох, всю жизнь мне не везло!»

Утром дядя старшина был опять весел. Он даже похлопал меня по плечу и сказал:

— Хороший будет боец! Командиром станет! Маршалом! Хочешь стать маршалом? Тогда бери бумаги и пиши. Пиши: «Дорогой дедушка председатель! Я сирота. У меня нет ни матери, ни отца...»

— У меня отец на фронте, — сказал я.

— Ничего. Я говорю как лучше. Пиши: «Ни матери, ни отца...»

— А у меня есть отец! — упрямо повторил я.

— М-м... «Прошу определить меня, дорогой дедушка, в Суворовское училище». Понял? — Дядя старшина подмигнул и весело сказал на прощание: — А потом поучишься, и глядишь — погоны со звездочками! Маршал!

Он красиво щелкнул передо мной каблуками:

— Разрешите идти, товарищ маршал?

Повернулся и бойко вышел. Только я заметил, что, отойдя, он замедлил шаг, сгорбился и стал со спины вдруг старым-старым. А тетя Катя почему-то посмотрелась в зеркало.

В этот день я попросился в местный детдом. Меня взяли.

БИНОКЛЬ

Толя Макеев был самым старшим в спальне детдомовских ребят. Витька был самый маленький. Все знали, что у Толи Макеева есть довоенная вещь, которую он, как он сам сказал, не отдал бы ни за какое золото. Это — бинокль. Ребята немного завидовали Толе. А больше гордились, что вот у него есть вещь, которую он не отдал бы ни за какое золото.

У Витьки ничего не было. Мальчика привезли месяц назад из заблокированного Ленинграда. Он был слаб от голода и лежал в постели. Хоть в детдоме мясо было редкостью, специально ему в первый день дали большой кусок мяса — солонины и горячий суп. Вечером Витька спросил:

— Толь, а что такое солонина?

Тот задумался:

— Ну, это мясо такое редкое... А что?

— Нам его еще дадут?

Толя посмотрел на Витькино белое лицо, присвистнул:

— Конечно! Солонина — это, как бы тебе сказать, ну... слонина. Слона видел когда-нибудь? Сколько у него мяса!

Но мяса больше не приносили. Витька не поправлялся. Толя Макеев каждый вечер приходил с лесозаготовок веселый и наклонялся над Витькой:

— Как здоровье, герой?

— Толь, а слона еще не поймали?

— Нет, — отвечал тот серьезно. — Слон в лесу живет. Его трудно найти.

Однажды утром Толя достал свой знаменитый бинокль и долго разглядывал его. Витька тоже смотрел.

— Толь, это зачем?

— А это, друг, не твое дело. Сегодня иду сам на охоту, за слонами. Понял?

В обед мальчику принесли снова мясо и горячий суп. А вечером пришел Толя, и Витька радостно спросил:

— Толь, значит, ты убил слона?

Тот разобрал постель молча и полез под одеяло.

— Убил, убил. Ты спи.

— А где бинокль?

— Потерял. Понимаешь, пока ходил по лесу, потерял.

— Толь, а слон очень большой? — засыпая, спросил мальчик. — Нам хватит его?

— Спи, чудак. Конечно, большой. До конца войны должно хватить, вот какой большой...

Витька крепко спал.

РОДНЯ МАЛЫШКА

Его звали Малышок, хотя он был не такой уж маленький. Ребята в Томилинском детдоме были местные. Они забирали по воскресеньям свою порцию хлеба и отправлялись к родне. Отправлялся и Малышок. И хотя никакой родни у него не числилось, Малышка отпускали. Он клал свой хлеб в карман и ехал на Люберецкое кладбище. У входа на мгновение восторженно замирал перед памятником революционеру Ухтомскому. Это был самый необычный и красивый памятник: красный из железа флаг, цепь, огромный меч. Правда, цепь была ржавая, а рядом висела выдернутая кем-то ботва. Но все-таки это были настоящая цепь и настоящий меч.

Малышок смотрел и торопился дальше. Он шел к могиле матери. Он был совсем маленьким, когда мама умерла. Он помнил только, что сидел рядом с гробом на телеге и держал огромный зонтик, а порывы ветра прямо-таки поднимали его вверх. Но одного не помнил Малышок: где захоронили его мать. Этому ему не мог сказать никто. Дядя сторож ткнул рукой неопределенно в пространство и сказал:

— Где теперь узнать... Сорок первый год — это примерно тут.

Малышок нашел очень заброшенную могилу и посидел около. И решил, что пусть здесь и будет его мать. Он обкопал землю, принес дерна, навел порядок.

Все случилось в одно воскресенье. В блестящий весенний день он увидел на своем месте трех людей. Малышок бродил в отдаленье, читал какие-то надписи и все глядел туда, где были люди. А они стояли и не собирались уходить. Тогда ушел Малышок. Только на мгновение он остановился около Ухтомского. Снял с цепи ботву, счистил с меча землю... И, оглядываясь, подумал угрожающе: «Пусть только здесь попробуют...»

И Малышок по-прежнему отпрашивался к родне.

КОЗЬЕ МОЛОКО

Моя сестренка опасно заболела. Она сгорала в жару и иногда плакала: «Ой, мамочка, больно... Больно...»

В такие дни я выпрашивал у детдомовской поварихи большой медный чайник и шел к станции. Там, привязанная к кольшку, паслась чья-то коза. Я ставил под нее чайник и тянул за теплые, жестковатые соски. Я просил ее: «Козочка, хорошая, добрая козочка, ты дай мне немного молочка... Не для себя, честное слово, сестренка моя болеет...»

Однажды сзади подкралась ко мне старуха и больно схватила за волосы.

— Ах ты вор! Детдомовец ты несчастный!

Я вырвался и, потеряв крышку от чайника, прибежал в детдом. Скоро пришла и старуха. Я видел, как она спрашивала заведующую и прошла в детскую комнату, где та находилась. Заведующая как раз смотрела, как мою сестренку поят молоком.

Потом старуха вышла, а заведующая, выглядывая из двери, спросила:

— Вы ко мне приходили?

«Не сказала», — подумал я и так обрадовался, что забыл спрятаться. Я стоял в коридоре у стенки, и мне хотелось врасти в нее, когда старуха проходила мимо. Но она оста-

новилась точно напротив меня и, разглядывая что-то на полу, сказала, словно сама себе:

— Я хорошо запомнила того, кто крадет молоко, и я его не вижу... Иначе бы руки ему повыдирала вместе с корешками. Так вот... — И, помолчав, добавила: — Но если какой хороший мальчик придет и попросит молока, разве я не дам? Ведь каждый знает, что я работаю сторожихой в школе.

И старуха пошла дальше, сильно шаркая об пол валенками, которые она носила даже летом.

«ТРИНАДЦАТЫЙ»

Однажды во дворе детдома появился нищий старик. Он сказал:

— Кто посмеет смеяться надо мной? Разве вы знаете, кто я? Вы ничего не знаете!

— А кто вы? — спросили тогда наши ребята.

— Ого! Так им все и Расскажи. Может быть, вы не смотрели фильм «Тринадцать»?

— Смотрели, — сказали хором мы.

— Тогда я удивляюсь вашему недомыслию и слепоте! — рассердился он. — Неужели каждому нужно объяснять, что единственный герой, оставшийся в живых после сражения, сейчас перед вами...

Старик пошел прочь. Мы онемели. Мы были сражены на месте. Он, видимо, понял это и тотчас же вернулся.

— Ну, вот что, об этом молчок. Ясно? А сейчас тащите поесть! Разве может красный герой голодать в наше время!..

Целый месяц «Тринадцатый» жил у нас в дровах. Мы тащили весь свой хлеб. Героический старик, снисходя к нам, принимал все это и ворчал:

— Неблагодарные потомки... Разве я плохо воевал с басмачами? Разве я не красный герой?

— Красный герой! — подтверждали скорее мы, пугаясь, что он обидится и уйдет.

— И вы, контра несчастная, жалеете для красного героя свои жалкие рубли?..

Мы достали из тайников всю мелочь и принесли ему.

В тот же вечер он исчез. Несколько дней мы искали нашего старика. На третий увидели на берегу реки толпу. Старик лежал на земле мокрый и не похожий на себя.

— Бездомный бродяга! — сказали люди. — Напился до беспамяти и утонул.

— Это «Тринадцатый», — сказали мы, потому что мы одни знали о нем правду.

— Может, и тринадцатый... Их много нынче тонет, — ответили в толпе.

— Но это же «Тринадцатый»! — закричали мы. — Это же красный герой!

Тогда люди засмеялись:

— Тридцать лет он тут побирается, наш красный... От вина всегда красный.

— Вы... Вы врете все! — сказали мы, отчаиваясь. И нас прогнали домой.

Мы сидели на дровах, там, где совсем недавно разговаривали с последним красным героем, оставшимся в живых, и мужественно скрывали друг от друга слезы. Мы твердо знали, что погиб «Тринадцатый» и никто не сможет понять наше горе.

МОРЕ

Это письмо было вправлено в рамку и повешено в красном уголке. Оно было адресовано ребятам детдома от московского шефа. В конце стояла подпись: дважды Герой Советского Союза, контр-адмирал. Когда-то шеф побывал даже сам в детдоме (он приезжал в Кизляр охотиться на кабанов) и в разговоре с ребятами, весело прищуриваясь, спросил:

— А моряками хотите быть? Ну-ну! Может, помогу чем-нибудь. Растите быстрей...

Ребята часто перечитывали письмо. Оно теперь было их надеждой. Их верой. Их молитвой. Неровные буквы превращались в белые гребешки волн, строчки, как валы, набегали, касаясь ребячьих сердец. И сердца сладко замирали. Море, конечно, ждало их. Ласковое, красивое, мерное.

Володька Рудкевич часто перечитывал письмо. Он был всех старше, и ему первому предстояло плыть в это море. Когда за одним из его дружков приехал из Москвы отец, Володька попросился с ними. Уж там-то, в столице, он разыщет шефа, и тот обязательно устроит его юнгой.

Володька долго ходил по Москве, разыскивая здание Главсевморпути. К шефу его не пустили, даже разговаривать не стали. Красиво одетый человек сказал в проходной:

— Ступайте, мальчик. Никого здесь в юнги не принимают. Впрочем, я могу еще проконсультироваться. Вы мне позвоните по три-восемьдесят-один.

Володька долго пробовал набрать этот номер из автомата, но ничего не выходило. Потом его научили звонить по местному телефону. Каждый день он приезжал к большому серому зданию и звонил от входа. Чтобы растянуть имеющиеся деньги, он ел только хлеб с морсом.

Тетка, что торговала морсом, лучше понимала его. Она говорила:

— Был сегодня твой начальник. Вчера не приезжал, а сегодня точно был.

Однажды, в который раз безрезультатно набирая знакомый номер, Володька понял, что ему никто не ответит. Тогда он достал оставшиеся деньги, выпил три стакана морса, к удивлению продавщицы, и медленно пошел по улице.

Море встретило его неласково. Но он верил еще в него. Он знал, что сегодня сядет на поезд и на крыше вагона поедет к этому морю. Вот так и шел он по городу. Рюкзак, почти пустой, теперь был надет у него под пальто. И от этого он казался немного горбатым.

ОТЕЦ ФЕСЕНКО

Володька Фесенко потерял связь с отцом в начале войны. И когда воспитатели спрашивали его о родителях или когда между ребятами заходил разговор об отцах, его отец получался самым лучшим, самым главным. И все верили Фесенко, потому что глаза у него были чистые-чистые, голубые-голубые, неотразимо правдивые.

То он описывал, как его отец-комдив уходил на фронт, а он, Володька Фесенко, проехался на отцовском скакуне перед замершими от восторга бойцами. То вдруг вспоминал, что еще до войны отец его, боевой герой-командир, получил лично от Буденного серебряную шашку на маневрах в Гатчине. А то оказывалось, что его отец воевал в одной дивизии с Чапаевым и даже соперничал с ним в ловкости и отваге. И выглядел отец Фесенко во всех рассказах молодцеватым стройным казаком с черными усами. Ни у кого в детдоме не было такого героического отца. Ребята уважали Фесенко. Воспитатели в карточке для беспризорных, в графе о родителях уверенно делали такую надпись: «Отец — крупный командир Красной армии».

И вдруг отец Фесенко нашелся. Летом сорок пятого года он прислал короткое письмо, а следом приехал сам. Вослепительный жаркий день он появился у нас во дворе: сгорбленный, маленький, седоватый человек. Положил

на землю тощий рюкзак, присел и непривычно щурил пофесенковски голубые глаза на окружавших его ребят. Да тихо, устало как-то улыбался. И был он в обыкновенной солдатской гимнастерке, и на груди у него были обыкновенные солдатские медали.

А утром он увел за руку счастливейшего из людей — Володьку Фесенко. А мы смотрели. И смотрели воспитатели, которые при оформлении документов так и не исправили «крупного командира».

НАША БИОГРАФИЯ

Почти у всех нас, принимаемых сегодня в комсомол, биография одинакова. Мы волнуемся, сидя в торжественной комнате райкома. Рассказывает о себе мой друг. За ним должен идти я.

— Ну, значит, отец мой был депутатом солдатских Советов. В революцию он был в Ленинграде...

— В Петрограде! — поправляют его. И он соглашается.

— Правильно, в Петрограде. В старинное время он так назывался. Я забыл. Потом отец воевал с Юденичем. После был послан в Донбасс, шахты строил. И он сам рассказывал...

— Ладно, это потом. Вы биографию дальше. — говорят из-за красного стола.

— Хорошо, — кивает принимаемый. — Мать у меня жила в Краснодарском крае. Была активистка на селе, организовала избу-читальню, но в коллективизацию ее пытались застрелить кулаки, и она лежала в Луганской больнице. Там, конечно, встретилась с отцом. Мать рассказывала, как ночью она возвращалась домой и...

— Вы биографию дальше, — говорит кто-то нетерпеливо из-за красного стола.

— Ладно. Брат мой старший был связистом, партизанил в тылу фашистов. Потом в действующей армии дошел до Чехословакии. Он много рассказывал...

— Ну, а дальше? — спрашивают из президиума.

— Дальше? Другой мой брат недавно на целину уехал. Вот когда призыв партии был. Он, знаете, в письмах писал...

Но люди останавливают:

— Это ясно. Вы о себе говорите.

— Чего? Так я все время о себе. — Парень передыхает и говорит: — Ну вот, потом я учился в школе и ее окончил. И все.

СВЕТ В ОКНЕ

Я помню хорошо то время, когда мама была живая. Я бежал с катка, промокший, усталый, и еще издали видел свет в своем окне. Желтый маленький огонек всегда горел мне навстречу, как только я поворачивал на нашу улицу. Взгляд матери моей был похож на теплый свет, плывущий из окна.

Теперь я работал, а по вечерам учился. Приезжал домой около двенадцати. Шел от станции по черным улицам. В некоторых домах горели окна. Это, наверное, матери дожидались своих сыновей. Я поворачивал на свою улицу и ничего не видел в том месте, где было наше окно. Холодная чернота проникала в сердце, и шаги невольно замедлялись. Значит, отец ночует опять у той женщины, которую мне прочили в матери. Я еще ее не видел. Но я хорошо чувствовал ее присутствие, потому что, появившись, она погасила тот неяркий огонек в окне, который зажигал мой отец.

Я медленно шел к дому. Я знал, что меня ждет. В ледяной комнате я буду разжигать печку, а торф не захочет гореть. Потом я буду чистить картошку, а коченеющие пальцы совать в рот. Потом, во втором часу ночи, сяду дожидаться, когда она сварится, эта картошка. Я буду глядеть на тлеющие синенькими огоньками торфинки и

усну. А под утро у потолка будет плавать синий чад, в кастрюле окажутся только угли. В комнате будет морозить, и я лягу под матрац, чтобы доспать до шести, когда снова на работу...

Однажды, завернув за угол, я остановился, пораженный. Непривычно яркий свет пролился мне навстречу. Я заторопился, быстро зашагал, потом побежал к нему, доброму и зовущему. Я боялся, что он может вдруг погаснуть. А он, сильный и большой, с шелестом падал на ночную улицу, освещая мне путь. Я распахнул дверь. Отец и незнакомая наряженная женщина сидели за столом. У них было весело, и они не обратили на меня никакого внимания. Я ушел на кухню и стал стучать молотком. Просто нашел какой-то гвоздь и стучал по нему. Не скоро вышли они, двое. И отец, выходя, спросил:

— Ну, чего ты стучишь?

— Так, стучу, — сказал я и все бил и бил молотком.

— Целый час колотит, у меня уши болят! — сказала у дверей женщина.

В комнате все было прибрано. Чужая двухсотсвечовая лампа горела под потолком. Без абажура она больно жгла глаза. И я ввернул нашу маленькую теплую лампочку. А большую я выкинул.

ДРАГОЦЕННЫЕ МАРКИ

Еще совсем недавно, на исходе детства, я собирал почтовые марки. Мы отдавали самое, по нашим понятиям, драгоценное, чтобы раздобыть желанную картинку.

Альбомы специальные тогда не продавались, мы клеили марки на старые книги. Однажды, разглядывая свою коллекцию, я прочел в просвете между марками несколько слов об одном человеке. Буквы были заляпаны клеем, но я понял все. Мне захотелось узнать, что написано дальше, и я оторвал одну марку с изображением реактивного самолета.

Из нескольких строчек я узнал об удивительном бойце, который мечтал о счастливой будущей жизни, а сам сражался с беляками. Он вел отряд по лесам и болотам. Он не боялся пуль и шел всегда первым.

А дальше опять было заклеено, и я еще оторвал несколько марок. Под красивой маркой из колонии Мозамбик я узнал, что человек этот мечтал о свободе на всей земле. Он не слышал тех удивительных песен, которые слышали мы. Он знал всего одну хорошую песню. И любил петь ее на привалах.

«Смело мы в бой пойдем за власть Советов...»

А потом я отрывал марки еще и еще... Этот веселый и добрый человек попал в плен. Над ним издевались враги,

но он ничего не говорил. Он только пел про себя свою песню: «Смело мы в бой пойдём...»

Рядом лежала целая кучка марок. Но я ничего не видел. Какой человек пропал! Какой человек... Беляки его убили. А он их совсем не боялся. Он смело пошел на расстрел. Об этом я узнал, откладывая свою последнюю марку.

МЫШЬ

Однажды, покинув на день детдом, я пришел туда, где жил. Постоял под окном, поглядел. В нашей комнате кто-то поселился. Я это понял по роскошным продуктам на столе, по цветам на комодке. И стол и комод были наши, довоенные. Я даже помнил, как их покупали. Мама и отец долго считали деньги и о чем-то спорили. Вечером ложились спать и опять подсчитывали. Потом подъехала машина, выбежала из дома мама и рассмеялась:

— Экий ты... Чего испугался? Смотри, какую красоту купили!

Соседи помогали сгружать и тоже хвалили.

Я стоял и глазел через окно на комнату. Такую теплую и знакомую. И стало холодно. И чего-то жалко.

За рамой по вате пробежала мышь. Серая и толстая. Пробежала и преспокойно уселась, поводя усами.

— Кыш! — сказал я.

Мышь совсем не испугалась. Даже не посмотрела на меня. А до войны я совсем и не видел у нас мышей. Был бы отец не на фронте, он бы не дал им развестись.

Рядом со мной остановилась женщина и тоже стала смотреть на мышь.

— Здесь заведующий магазином живет, — сказала она. — Хозяев нет, вот и поселился. Их много сейчас за счет

войны развелось... — добавила женщина и посмотрела на мышь. И непонятно было, про кого она говорит. Мышь спокойно нежилась в тепле.

Я еще дальше засунул руки в карманы. Посмотрел на женщину и заметил, что и она поежилась и засунула руки подальше в карманы.

Мы взглянули друг на друга и разошлись.

ГОЛУБОЙ КАНАЛ

Где-то за горизонтом, далеко-далеко, там, куда уходят каждый день веселые поезда, лежит Голубой канал. Очень красивый канал. И люди там и жизнь красивые...

Так мне рассказывал Вадька, рассматривая картинку на папиросной пачке «Беломор».

С Вадькой я познакомился на платформе. Оба мы продавали папиросы и старались перекричать друг друга:

— Кому-у папиросы нарульпарра-а!

Когда папиросы не покупали, я садился на край грязной платформы, где шляпки гвоздей были похожи на плевки. Я смотрел на блестящие рельсы, на паровозные дымы и небо августовское, белесое. А Вадька рисовал на пачке разные виды. Грифелем чуть-чуть скребнет — и вот уже рельсы готовы, и дымы над станцией, и облака. По вечерам за Вадькой приходил его отец, одноногий и грубый инвалид. Он забирал всю выручку, комкая деньги в кулаке, и уводил сына домой. Однажды Вадька сказал:

— Накоплю денег, уеду учиться в художественную школу. Ты знаешь, я сейчас настоящую картину рисую! Угадай, что?

— Не знаю.

— Голубой канал! Правда, здорово?

Шли поезда. Разные руки тянулись к пачке. Черные, большие, с блестками металла на корявых ладонях. И пронырливые, где на цепких пальцах золотели кольца. И широкие, медлительные, достающие вчетверо свернутые рубли из узелков. И щедрые, с вытатуированными якорями и звездами.

А потом поезда уходили в неведомую даль, наверное, к Голубому каналу. И становилось грустно. Я мечтал, что когда-нибудь уедем туда мы с Вадькой. Там нет штучных папирос и пьяного инвалида. Там Вадька нарисует настоящий Голубой канал и будет учиться в школе.

Однажды еще одни руки, огромные, хорошие, потянулись к пачке:

— Эй, малец!.. А работать, как люди, ты хочешь?

Как-то вечером, возвращаясь с завода, встретил я на платформе Вадьку. Он присвистнул, оглядывая мою грязную спецовку, сказал:

— Я теперь знаешь как зарабатываю? Торгую целыми пачками!

Пазуха у него отдувалась. Откуда-то появился Вадькин отец. Вадька засуетился, сказал тихо:

— Да, а картину мою помнишь, Голубой канал? Отец ее загнал на рынке... Ну, я пошел.

Я долго стоял потом. Издалека было видно, как ковыляет инвалид. А рядом его маленькой тенью торопливо шагает Вадька.

ВРАЧИХА

В цехе пронзительно звенели пилы. Каждая пила была похожа на солнышко. И от этого солнышка бежали золотые лучи опилок. Работа была самая простая: сунешь под огненный диск доску, нажмешь на нее — и расплзется доска на две части.

Раз в неделю приезжала к нам врачиха, как мы ее называли. Я ее боялся. Она ощупывала нас железными пальцами, курила и приговаривала грубо: «Кто же это в нашей жизни хнычет, а?» Потом мыла руки. И однажды я слышал, как она бормотала про себя: «Боже мой, какая худоба эти подростки. Война... Война». И ее бормотания мне напоминали заговоры старой колдуньи.

Ели мы мало. И я иногда замечал за собой: нагнешься — и вдруг серая дымка зальет голову и глаза. В такую минуту и произошло несчастье. Я не заметил, как вместо пилы надвинулось на меня пронзительное солнце, и обожгло, и ударило по глазам. Потом где-то кричали: «Мальчонку убило!» А я думал: вот, кого-то убило. И хотел тоже узнать, кого же это убило, все хотел побежать и не мог...

А в ушах звенело: «Убило! Убило! Убило!..»

Потом я лежал в белой палате и видел перед собой нашу врачиху. Мне было больно, очень больно, но она говорила грубым басом:

— Кто же это в нашей жизни хнычет, а?

Она трогала меня руками, от которых пахло табаком. Я от испуга переставал плакать.

Я стал поправляться. Иногда страшная врачиха задерживалась у моей кровати. Глаза у нее были темные, лицо скуластое. И говорила она жестковато, ровно, словно допрашивала:

— Отца с матерью нет? А где жил? Папиросами торговал... Да, гадко. А вот учиться надо.

Нет, все-таки я ее очень боялся. Нянечка у нас была добрая, и она рассмеялась, когда я рассказал ей про врачиху.

— Она хорошая. У нее муж погиб на фронте, ребенок умер. А она вон басит, как будто ничего и не было...

Скоро меня выписали. Сама врачиха выпшла меня проводить. Она курила папиросы и говорила резковато:

— В детдоме будешь жить, я договорилась. Учись. Это нужно. Может, я когда зайду... — Она осеклась.

Я посмотрел и впервые увидел, что она совсем не страшная, эта наша врачиха. И еще я понял, что, может быть, впервые надо сказать уже ей: «Кто же это в нашей жизни хнычет, а?»

ТРОЕ

Это случилось под Серноводском, на Кавказе. Нас было трое: Колька Сурков, Шibaев и я. Мы познакомились у костра, когда сошлись однажды вечером на вкусный запах картошки. Картошку варил Колька Сурков, повесив консервную банку на проволоку. Он поглядел, как мордастый, прожорливый Шibaев, обжигаясь и мыча, заглатывает целые картофелины, засмеялся.

— Не торопись, если не хватит, я еще нарою...

— Где?!!

— Здесь есть один огород, — сказал Колька. И добавил, осеня спокойными, удивительной голубой чистоты глазами: — Я копаю аккуратно, по всем сельскохозяйственным законам. Так что вряд ли меня хозяин поймает до осени. — Сурков разлегся и, почесывая белую голову, продолжал развивать мысли: — А вообще это не жизнь. Картошкой не проживешь. Нужны продукты другие, и здесь у меня есть одна мысль...

— Я согласен с любой мыслью, — сказал Шibaев, с чавканьем приканчивая картошку.

Мы начали с нашего соседа — сельскохозяйственного техникума. Это было здание двухэтажное и красное. В окне на втором этаже маленькие глазки Шibaева безошибочно обнаружили что-то съестное. Он даже не знал, что это, но

он знал, что это можно обязательно есть, потому что, когда он смотрел на это окно, у него подымался «гуд в животе». У Суркова быстро возникла мысль, как это дело «обтяпать», и однажды вечером мы забрались туда.

Мы копошились в полутемной комнате, собирая в кучу странно большие фрукты и овощи, когда Шibaев вдруг сплюнул и начал громко ругаться. На него зашипели:

— Тише! Ты что?

Оказывается, прожорливый Шibaев с налета, не дожидаясь дележа, впился зубами в яблоко и чуть не поломал зубы. Оно оказалось из воска. Он долго плевался. Сурков разглядывал розовую морковку и по-детски удивлялся:

— Вот это сделано! Вы посмотрите, как здорово сделано!

— А что жрать? — спросил Шibaев, у него опять начался «гуд в животе».

Мы сидели в зарослях кукурузы и молча разглядывали добычу. Перед нами возвышалась целая горка красивых, но несъедобных муляжей. Колька задрал голову к небу, и в его глазах побежали белые круги, словно в голубую воду бросили камень.

— У меня есть одна мысль. Пожрать будет...

— Согласен, — сказал Шibaев.

— Будем топить воск и делать свечи.

На Кольку вдруг напала страсть лепить. Из-под его ловких рук выходили удивительные фигурки собак и петухов. Но он скреб русую шевелюру и говорил:

— Я вылеплю точно такую морковину... Думаете, не смогу?

И не мог. У Шibaева от голода опять начался его «гуд». Он сидел на корточках и ненавидящими глазами глядел на развлекающегося Суркова. Я тоже зверски хотел жрать. Но я сидел и читал книгу. Я любил читать книги и хватал их где только можно. Эта книга была украдена в техникуме.

И вдруг Колька бросил воск на землю и заявил, разглядывая нас насмешливо:

— У меня есть одна мысль. На нашем одежном складе задвижка и замок. Если замок повернуть боком, то для хода задвижки окажется больше места, и дверь должна открыться. — В глазах у Суркова, как от брошенного камня, шли веселые круги. — Возьмем одно пальто, кто-нибудь наденет, и выйдем. Только одно...

— Почему одно? — зарычал Шибаев.

— Потому что нужно честно воровать. Прожрем одно, возьмем другое.

Все произошло, как сказал Колька. Задвижка легко отошла, и новое пальто мы принесли в одну избу. Хозяева нас радушно усадили, подали тарелку красных помидоров и стукнули о стол бутылкой. Никто из нас не пил водки до этого, но, видно, так полагалось, что при продаже нужно пить. И нам, как взрослым, налили по стакану.

Я только помнил, как в голубом дыму перемешивались и чередовались чьи-то льстивые лица, помидоры и пьяный Колька, который кричал:

— ...Нам все равно, сколько дадите — и ладно!

И жирные прижмуренные лица хозяев двоились, троились и шамкали многими ртами:

— Деньги мы потом отдадим... Так, с ходу, где их взять, деньги...

Конечно, деньги нам и потом не отдали.

Колонию решили срочно развести по местным детдомам. Об этом нам сказал Колька. Мы сидели на траве около станции. Подходил поезд.

— Загонят куда-нибудь еще похуже! — добавил Сурков и зашлепал босыми ногами к вагонам. Приподняв белесые брови, оглядел проводницу, посмотрел под вагон. Показал рукой на железный ящик.

— Плядите, «собачник». Когда-нибудь я вот так залезу в него, — Колька закинул ногу, примерился, — и покачу тыщу километров...

И глядел на Суркова и видел в его озерных глазах белые разводы, словно огромный каменище плесканули туда. Но он ничего не говорил. Мы стояли и смеялись, представляя,

как бы он уехал в железном тесном ящике под вагоном. А поезд тронулся. И Колька Сурков не стал вылезать. Он только сказал нам:

— Ну, пока, дружки. Еду я в Москву. Решил я найти такую школу, где мне покажут, как слепить красивую морковь. Я обязательно хочу слепить красивую морковь...

Я с Шibaевым попал в Кизлярский детдом. И однажды он сказал:

— Ну, что, хватит отдыхать! Я гляжу, ты уткнулся тут в книжки и ничего не видишь... Так вот: я пригляделся, здесь во-о олухи какие... Ничего не сторожат. Замок на складе сбить проще простого. Решили? И бежим!

— Куда?

— Все равно. Не нравится мне здесь.

— Я не побегу, Шibaев. И склад ты не трогай.

У него заблестели глазки, на щеках поплыли два бордовых пятна румянца.

— Ага, гад, изменяешь?!

И тогда я взял его за борта теплого пальто, которое нам здесь выдали.

— Слушай, Шibaев, здесь настоящая жизнь, понимаешь? Я хочу забыть, как воруют... Я хочу читать книги, я их нигде не видал так много, как здесь. И я хочу учиться... А склада ты не посмеешь тронуть, понял? Иначе я соберу ребят, и о себе... и о тебе...

У Шibaева задрожали жирные щеки и округлились глаза. Он попятился и уже издали прокричал, показывая кулак:

— Сексот!.. Сволочь... Ты попомнишь, ты...

Ночью он бежал. Он, наверное, решил, что я все расскажу. А я ничего не рассказал. Я только хотел жить по-новому.

ШТАНЫ

Отец, вернувшись с войны, привез сукно. Других вещей у нас не было, и, открыв ящик комода, можно было сразу увидеть это сукно: золотисто-зеленое, толстое, как броня. Иногда отец доставал его, щупал долго и задумчиво оглядывал свою армейскую форму.

Приходили в гости его дружки — солдаты. Отец тогда крепко выпивал, а выпив, лез в комод и доставал свое сукно.

— Штаны себе сделаю, — говорил он. — С сорок первого не носил гражданских штанов.

Дружки мяли сукно пальцами, и выражение их лиц было тогда удивительно похоже на отцовское. Чуть-чуть веселое и чуть-чуть грустное. Наверное, грустное оттого, что они не носили с сорок первого гражданских штанов. А веселое потому, что они будут их носить.

— Вечные штаны будут! — говорили отцовские дружки.

Жили мы с отцом вдвоем, в шесть утра вставали на работу, делили на две части паек хлеба, молча и торопливо пили чай. Потом вместе шагали к станции.

Однажды отец достал свое драгоценное сукно и пристально посмотрел на меня. Я тоже почему-то оглядел свою заношенную детдомовскую форму. Отец тихо гладил зеленое золото и о чем-то думал. Наверное, о гражданских

штанах и о том, что для двоих штанов здесь никак не получится. Потом завернул материал в бумагу и куда-то его унес. Через две недели он притащил рано утром сверток и сказал:

— Ну вот. Лет на десять наша семья штанами обеспечена.

И он вывалил из бумаги двое военных галифе с узкими трубочками для ног.

Затем отец вынул старые солдатские сапоги и велел мне примерить. Сапоги оказались очень велики, но я сказал: «Хорошо». Отец видел, что сапоги мне велики, но тоже сказал: «Хорошо».

И мы пошли на работу. И были мы, наверное, как все солдаты, похожи друг на друга и немножко на остальных, которые пока тоже не носили гражданских штанов.

НОГИ

У меня заболели ноги. Я не могу ходить. Мою раскладушку, такую алюминиевую, с пружинами, выносят в сад. И я лежу. Лежать скучно. Передо мной забор и калитка. Улица у нас тихая, и редко кто пройдет мимо. Тогда я вижу под калиткой ноги. Как два зверька, пробегут они, потычутся носами в землю, и опять пусто. Вот две толстые ноги. Словно кто-то медленно ставит на землю бутылки. Это наша соседка тетя Тоня из колонки воду несет. Тетя Тоня больная и ходит в черных чулках. Воду ей носить тяжело, и это заметно: рядом с бутылками железная лодочка плывет, землю со звоном задевает.

Я знаю, что тетя Тоня никогда и нигде не работала. Жизнь свою она прожила без детей, потому что считала, что они старят. Вот так и жила она — сперва на средства мужа, а потом на его пенсию.

А сапожника дядю Васю мне жалко. Он тоже живет один. Он умеет делать любую обувь, но сам всю жизнь ходит в подшитых валенках. Его ноги я сразу узнаю. Если плывут два утенка клювами вверх, значит дядя Вася проходит и он трезв. Если утята часто клюют землю, значит дядя Вася выпил. В последнее время утята все больше и больше землю клюют.

Я лежу и все смотрю. И замечаю, что ноги-бутылки совсем исчезли. Только раз в день скрипнет у соседей

калитка, и два маленьких ботиночка, путаясь в чем-то белом, пропорхнут. Наверное, медицинский халат. И больше никакие ноги не идут к нашей соседке тете Тоне.

Проходят сутки, день и ночь, тоже как две ноги. Одна нога в белом чулке, другая — в черном. Теперь дорожка за калиткой вся в снегу, но мне видно, как солнце мимо на лучах прошагало, оставив круглые следы проталин.

Я вижу, что у дяди Васи утята пропали. Нет и нет. Только однажды я услышал, как у соседей торжественно и звонко заиграл оркестр и забил барабан. Бум-бом. БЫЛ-БЫЛ человек — и не БУдет БОльше. Бом-бум.

И вместо знакомых утят долго шли под моей калиткой разные ноги. А я смотрел. И ботинки и туфли. Желтые, черные, коричневые. Много шло ног. И наверное, на них была обувь, которую сделал своими руками незаметный дядя Вася.

ПАПИРОСЫ

С последней электричкой я возвращался из Раменского. Домой я мог не торопиться — там никто не ждал. Напротив сел человек, прищурился, спросил:

— Не узнаёшь? А ты вспомни: ночь! Я возвращаюсь вот этой электричкой.

Я вспомнил. В стылые зимние ночи, промерзая до слез, я ожидал свою девушку на заснеженной платформе. Ждал от поезда до поезда. И опять до следующего. Сердито свистящие, пролетали мимо электрички, зажав между колесами метель. Вслед последнему вагону убегал по рельсам красный огонек. А с ним таял и мой огонек надежды. Однажды из вагона вышел веселый парень и на просьбу дать закурить сказал:

— Эх, молодая наивность! Наивная молодость! Она где-то развлекается, а ты... Стыдно глядеть. Гуляй, брат, и все. Как я, гуляй. Смотри, всю жизнь прстоишь! А вот папирос нет. Я, брат, беззаботен, не нервничаю и не курю...

Я, кажется, немного позавидовал тогда веселому парню. Очень хотелось курить, и я, не дождавшись, ушел домой.

— Так вспомнил? — опросил человек.

— Нет, не вспомнил, — сказал я.

Он посмотрел на меня и понял, что я вру. Сказал, доставая портсигар:

— Да, брат, бестолковое было время. А я, знаешь, курить начал. Успокаивает. Кстати, я тебя тогда не угости: закуривай сейчас по старой памяти. Да бери про запас. Может, кого ждать будешь, пригодится...

На своей остановке я сошел. Какой-то парнишка попросил закурить. И ответил на мой вопрос:

— Нет, я не опоздавший. Я одну девушку жду, из Москвы должна приехать. На Москву-то уже все прошли, а из Москвы еще четыре поезда должны быть.

— А вдруг не приедет?

— Приедет. Должна обязательно. Она с работы приедет. Я ее встречу только, а потом свою электричку утреннюю буду ждать. Мне с утра работать.

Я спрыгнул с платформы, оглянулся. Стоял милиционер, да стыл на морозе и парень. Что-то вернуло меня обратно.

— Эй, друг, как ее зовут?

— Валя, — ответил он.

Мы постояли. Я нащупал в кармане папироску, которую мне подарил попутчик.

— Знаешь что, на еще папиросу. Бери про запас... Может, долго будешь ждать, пригодится.

РАБОЧАЯ ПОРЦИЯ

После уроков нас, детдомовцев, приводили на завод и ставили за станки. Мы делали шины для раненых. Каждый день по четыре часа. Однажды мастер сказал весело:

— Вот вам первая получка! Талон на рабочий завтрак. Только один. Кто хочет первый?

Нас было семь человек, мы стали ссориться. Мастер утешил:

— Талоны будут каждый день. Все по очереди ходите. Только учтите, рабочий день начинается рано и порции по этому талону выдаются до шести утра.

Жребий идти первому пал на меня. Черным утром, которое ничем не отличалось от ночи, няня разбудила меня:

— Эй, вставай! А то свою рабочую порцию проспичь!

Зажав в кулаке талон, я шел по дороге. Меня пробирал холод. Из калиток, из проулков и вообще откуда-то из серой мглы появлялись люди. Они заполняли дорогу впереди и позади меня. Я еще никогда не видел на этой дороге так много людей. И мне хотелось все узнать, рабочие ли они и куда они идут. И еще похвалиться: а у меня настоящий рабочий талон!

В большой столовой толкался народ. Люди подходили, отдавали талоны, и им сыпали горячую картошку с мясом. И я подошел. Какая-то женщина торопливо сказала:

— Мальчик, здесь по рабочим карточкам! Не мешайся!
Я протянул талон. Женщина поглядела на меня с уважением:

— Ты гляди... Рабочий уже!

И она насыпала мне полную тарелку горячей картошки с мясом. Я даже задохнулся от волнения. Целая рабочая порция!

Потом я шел домой. И мне казалось, что я стал теперь шире в плечах и выше немного... А навстречу шли и шли по дороге люди. Они тоже были большие и сильные. И я теперь понимал хорошо: это идут те, у кого в карманах есть талоны на рабочие порции.

ТАНЦВЕРАНДА

Мы с Сашкой бегали в городской сад. Там можно было целиться в красивые статуи спортсменов, пугать из кустов девчонок, играть в салочки... Больше всего мы любили играть на дощатой просторной танцплощадке. Но наступал вечер, сюда приходили взрослые люди, играл оркестр. И нам становилось скучно. Мы никак не могли понять, как не надоедает старшим ребятам до ночи однообразно шаркать ногами. Смотреть и то тоска. В такие вечера единственный интерес — подглядывать, как взрослые уходят в темные аллеи и там целуются. Но это было часто одинаково и поэтому надоедало. Мы удалялись спать.

Прошла война. Я был в детдоме и не скоро вернулся в свой город. Однажды пошел в сад. Теперь кусты почему-то оказались низкими, а статуи облезлые и некрасивые. Однажды я встретил Сашу. Он был длинный, худой и в форменной фуражке училища. Сели на скамеечку, поговорили. Он сказал, что учится на гражданского летчика, а вчера приехал в отпуск к матери. Отец погиб на фронте. Я тоже объяснил, что работаю учеником электрика...

Из кустов навстречу каким-то девушкам с воем выскочили ребяташки. Девушки убежали. Я и Саша поглядели им вслед. Помолчали. А на танцплощадке заиграла музыка. Разговор совсем перестал клеиться. Мы помолчали, прислушиваясь, и встали. И, не взглянув друг на друга, двинулись на призывную музыку. И шли мы медленно, как подобает взрослым людям.

ШУРКА

Шурка был почти взрослый. Он жил в нашем доме и умел делать все. Он всегда что-нибудь мастерил, и крупные веснушки у его переносицы были похожи на головки медных заклепок.

Иногда Шурка вытаскивал на двор старый деревянный фотоаппарат и приказывал мне: «Замри!» — и таинственно закрывался в чулане. Потом приносил карточки и говорил мне сердито:

— Я тебя, друг, просил быть серьезным! А ты что? Расплылся, рот до ушей, вот и смазал все!

Но скоро Шурка женился, а потом его провожали в армию, жена шла рядом и прижимала к груди ребенка.

Прошла война. И еще много лет. Однажды, когда я сидел на крыльце, из дому выскочил мальчик. Он волок за собой какой-то моторчик. Скоро он появился опять и притащил старый деревянный фотоаппарат. Я присмотрелся: мальчик как мальчик, только у переносицы нашлепано пятно крупных веснушек.

— Ты чей?

— Ничей. Я Шурка. С мамой к бабушке приехал в гости.

— А где отец?

— На фронте убили. Вы, дяденька, улыбайтесь, а я вас сниму. Только улыбайтесь и не разговаривайте.

Он заперся в чулане и стал проявлять снимки. Потом вышел и сказал мне сердито:

— Серьезные вы, дядя, вышли. Я же просил улыбаться, а вы... Вы совсем не умеете улыбаться.

И, повеселев, Шурка побежал с аппаратом за изгородь.

И все веснушки на его переносице были похожи на головки медных заклепок.

ШАГИ ЗА СОБОЙ

В двенадцатом часу ночи я шел по почти пустынной улице Москвы. Где-то у Пушкинского театра нагнал девочку лет десяти. Я даже не сразу понял, что передо мной слепая. Она шла неровными шагами по кромке тротуара. Столб она обошла, на мгновение застыв перед ним. Я обогнал слепую и оглянулся: прислушиваясь к моим шагам, она пошла вслед. У площади Пушкина я завернул за угол. Но захотелось еще раз посмотреть, что будет делать слепая.

Девочка остановилась на повороте и стала напряженно слушать, подняв голову. А может, она ждала, где раздадутся шаги людей? Никто не шел. В двух шагах проносились машины.

Я возвратился.

— Вам куда?

Слепая как будто не удивилась:

— К армянскому магазину, пожалуйста.

— А теперь?

— Теперь мне тут близко. Спасибо.

Она мгновение постояла и пошла, прислушиваясь снова к шагам прохожего. Так окончилась эта встреча. Только я подумал после: а ведь вправду, мы часто забываем, что за нами остаются отзвуки наших шагов. И нужно всегда правильно идти, чтобы не обмануть других людей, которые доверились нам и идут вслед. Вот и все.

СЕЛИГЕР
СЕЛИГЕРОВИЧ

— Эта книга, брат, мудреная — я тебе скажу..
Книга любопытная и рассудку требует немало.
Селигер называется.

В.А. СЛЕПЦОВ

(Письма из Осташкова)

Я люблю встречать солнце. Я беру свою лодку, удочки и выезжаю ему навстречу.

В детстве я любил рисовать солнце. Если бы каким-то образом сохранилось все, что я так усердно тогда пачкал, то глазам предстала бы невероятная коллекция солнц. Там были бы круглые, продолговатые и даже квадратные или ромбовидные солнца, от совсем крошечных до огромных, которые не помещались на целой странице и продолжались на белой праздничной скатерти.

Когда мои друзья рисовали косые дома с косыми трубами, я рисовал свое солнце, когда они рисовали танки или самолеты, я рисовал еще солнце, и когда они рисовали солнце, я опять рисовал его.

Но мое солнце должно быть самым прекрасным и самым большим, и я старался изо всех сил. Однажды я потратил на него все свои карандаши: рисовал его красным карандашом и синим, коричневым и зеленым. Но неожиданно мое солнце стало совсем черным. И за черное солнце я получил красную двойку.

Это сейчас может показаться смешным, но странные мысли о большом количестве горящих на дневном небе солнц смущали меня. Я был уверен, что у каждого человека есть свое, только ему данное солнце, своей формы и свое-

го цвета. У кого-то оно полукруглое и зеленое, у кого-то в голубую полосочку, а у кого-то, может быть, в пятнах или совсем темное... Что же тут поделаешь!

И еще я думаю, если бы каждый из живущих людей нарисовал свое солнце, то, наверное, и получилось бы то общее, большое, главное наше солнце, которое я напрасно пытался в детстве нарисовать один.

Рано. Пар вьюнами отваливает от воды и, курчавясь, висит в воздухе. Словно на дне дымится много невидимых труб многих невидимых деревенок. А ты плывешь по тонкому стеклу, раскалывая его пополам — со всем, что оно имело, — с его вторым миром, который реально существует рядом с первым, не изменяя ни единого цвета, ни единой его пропорции.

Темный круг неподвижной загадочной воды в темно-зоре, где-нибудь посреди камышовых зарослей. Теплый рассвет, расплывающийся, как масляное пятно на стекле, и брошенный в середину этого рассвета поплавок. Его белая точка пока намертво впаяна в огромное зеркало. Клева сейчас не будет. Рано.

От воды идет мокрый холодноватый дух, и я ловлю его ноздрями, глубоко вдыхая. В легких не бывает нервов, но у меня больные легкие, они чувствуют все. Холодящую росу в воздухе, изморозь или горячие испарения трав. На Селигере они отлично расправляются и тихо заживают, и это я тоже чувствую по медленной боли, которую слышу во сне.

Честно говоря, несколько лет назад я решил, что с жизнью у меня покончено. Случилось то, чего я больше всего боялся и чего, кажется, ожидал. Врач как-то не сразу сказал:

— Да. У вас открылся туберкулез. Но вы не впадайте в панику. Пока ничего страшного. Вы слышите меня, молодой человек?

Я его слышал. Я выходил из больницы и споткнулся на ступеньке. Еще бы не слышать... Я боялся этого, и оно пришло. До этого умерла мать, потом дядя. Заболела се-

стренка... «Вы слышите, молодой человек? Ничего страшного». А я видел, как умирала мать. Я был тогда маленьким и запомнил только это. Я часто пытаюсь представить мою маму. Уже много лет я по крохам собираю о ней все, что можно узнать. Я понял, она была очень нежным человеком, моя мать. Она казалась такой большой, много пережившей, а недавно я узнал, что мне исполнилось столько же, сколько было ей, когда ее не стало.

«Вы слышите, молодой человек? Ничего страшного. Только не впадайте в панику!» А я все еще ходил в институт в той гимнастерке, в какой пришел из армии. Мой сосед на лекции спросил меня:

— А сколько можно не менять гимнастерку?

— Не знаю.

Он сказал задумчиво:

— Наверное, пока не почернеет...

«Но еще ничего страшного. Как вы питаетесь, молодой человек? Постарайтесь держать ноги в тепле, и есть надо не менее четырех раз в день: масло, мясо, фрукты... Вы слышите?»

Я слышал, я просто вспомнил одну смешную историю. Необыкновенно смешную историю. Какой-то французской королеве объяснили, что у народа нет хлеба. Она простодушно воскликнула: «Ну что ж, пусть едят пока пирожное!»

И ничего страшного. Я брел тогда по городу. Я вообще ничего не думал. Только мне хотелось сделать шаг в сторону, там лихо проносились машины. И никакой паники. И ничего страшного. «Вы слышите меня, молодой человек?»

Я сделал этот шаг, но попался внимательный шофер. Он завизжал тормозами и показал через стекло кулак.

— Кку-да прешься! Колеса и-спачкаешь, пьяный дурак!

— Дурак, — согласился я быстро.

Я свернул в другую сторону, к магазину, и купил бутылку вина. Тогда я напился, и это меня спасло. В то лето друзья с моей бывшей работы собрали по полсотни с носа и увезли меня сюда. На озеро Селигер.

...Проплывет, протарахтит моторка, раскалывая целостность озера, и скроется за поворотом, но только через много минут дойдет сюда волна. Отражение удильника много раз переломится и станет похожим на пилу. А камыши за спиной вздохнут: «О-ухх-шша».

И так они будут вздыхать все дальше и дальше от той самой волны, и через полчаса где-то прошумит только что дошедшее в самом конце плеса. Но почему я вдруг все вспомнил? Словно волна, поднятая той далекой бурей, прошумела во мне сейчас и стихла. Селигер тогда помог мне. Я ходил на лодке, собирал цветы и встречал рассветы. И первая робкая надежда, нет, скорее желание быть всегда живым пришло ко мне вместе с сладковатым запахом увядающей травы, с остывающей к вечеру землей, с шумными фиолетовыми грозами, что прокатываются белым серебром по воде. И тогда я понял, что буду жить, что надо жить.

Мне было строго наказано: не загорать. Не купаться. Не простужаться. Это опасно для жизни.

Мы будем купаться. Купаться утром, в обед и вечером. Нет! Мы еще будем купаться ночью. Вы не пробовали нырять с высокой вышки в темноте? Когда отрываешься от опоры и уходишь в ничто, потому что ничего не видишь и ничего не чувствуешь, кроме долгого, очень долгого падения, чтобы вдруг врезаться так же непонятно и сильно в горячее нутро озера. Что там еще запрещено? Ага, мы, конечно, будем загорать и подставлять горлышко солнцу, чтобы оно приходило ко мне через деревья в зеленом теплом свете, и жмурить глаза, чтобы разглядеть на собственных ресницах его золотые зернышки. Нельзя же, опять поверив в свое солнце, уходить от него. И разумеется, будем спать в палатке на земле, мокнуть на рыбалке, сушиться у костра и... жить. Мы будем обязательно жить, жить долго, потому что мне надо еще написать о моем Селигере, о голубом солнце на воде и об этой вот рыбалке. Мы — слышите меня, молодой человек? — мы проживем сто с лишним лет — и никакой паники!

Первая рыбалка. Она произошла тут, в маленьком затончике-лягушатнике. Я на зорьке забросил свою первую в жизни удочку, и задохнулся, и онемел, и задрожал весь, когда поплавок исчез под водой. Это была маленькая плотвичка — узкая и серебристая, как лист тростника, но я глядел на нее, как на чудо, которое сотворил своими руками. Помню, я тогда со страхом и брезгливостью брал живого червяка и закрывал глаза, когда приходилось разрывать его пополам. Я его немного боялся и немного презирал. Но боялся, кажется, больше.

А посмотрел бы кто, как уже через год я старательно копался в земле, любовно вынося оттуда червя и приговаривая: «Диетический червячок, особый». Я наслаждался, быть может, я смотрел на них чуть-чуть рыбьими глазами, до чего же приятными они казались в своей влажноватой красной кожице с тугими пульсирующими жилами! Черт возьми, если это не черви, то рыба просто зажралась! И когда их нанизываешь на крючок, а потом приплываешь, поднося ко рту, со стороны может показаться, что ты целуешь своего червя, провожая на ратный подвиг.

У Вали моей с червяками даже сложились определенные отношения. Она мучительно, каждый раз вздрагивая от страха, насаживает червя и при этом уговаривает его:

— Ну не крутись... Не крутись, ведь тебя просят. Мне и так нелегко. Кому сказали, не дрыгай хвостом, а то макну!

Через минуту оборачиваюсь, вижу: она сердито берет червя в кулак, а кулак сует в воду.

— За что ты его? — спрашиваю тихо.

— Чтобы не дрыгался, — отвечает она тоже шепотом. Потом вздыхает и говорит: — Я ведь предупреждала его, что макну.

Но я забыл про поплавок. А он, и только он, для меня сегодня главное. Нужно проследить тот миг, когда он двинется и тихо-тихо поплывет. Так, ни от чего. Сам по себе. Да и движение такое, вроде бы его и нет. Но если ты даже будешь глядеть в другую сторону, ты все равно почувству-

ешь его и словно неожиданно замрешь, ожидая главного. И точно, поплавок двинется в сторону и вдруг начнет медленно тонуть, уходя под воду, как подводная лодка. И хотя это длится десятую долю секунды, ты увидишь в подробностях, а потом будешь вспоминать десятки раз, как оно произошло. Немного наискось поплавок пошел под воду, и еще мелькнул перископом его острый шпилек. И ничего вокруг нет. Только вздрагивающая капроновая леса с горячими, красными на заре каплями, которые спадают обратно в воду. Она уходит отвесно в воду и становится живой оттого, что кто-то есть по другую ее сторону в темноватой, пасмурной глубине. Сейчас она принесет тебе тайну. Великолепную, сверкающую, живую и радостную тайну, которая на весь день, а может, и жизнь, сделает тебя счастливым. Это и есть рыбалка. И кто пережил такое однажды, не может быть, чтобы не захотел повторить его второй, и пятый, и тысячный раз. И уже навсегда полюбятся серовато-пасмурные, пахнущие мокрым песком рассветы, и первое солнце, вносящее ясность в очертания и краски обновленной земли, и утомительная сладость, с которой бросаешься спать, окунаясь, словно в отражение этого мира, в цветные редкостные сны.

Мы приезжаем на Селигер обычно в начале июля. Слезаем на какой-нибудь пристани, раскладываем байдарку и уходим в озеро. Куда-нибудь. Вес нашей лодочки тридцать пять кило, возможно, столько же весят на ней заплаты. По инструкции, она собирается как будто бы минут за тридцать без вспомогательных средств. Мы с моей женой Валею тратим на нее больше часа, и, разумеется, с инструментом. Потом лодочку несем к воде, нагружаем всякими вещами, и Валя говорит, зацепляя в ногах рули:

— Бери бразды правления в свои ноги.

Выехали, словно врезались в озеро. Откуда-то донесло запах скошенной травы и увядающих цветов. Мы броси-

ли грести и замерли вместе с байдаркой. Вот так всегда, суетимся, торопимся на берегу, а потом уходим в озеро и посреди воды останавливаемся. Словно привыкаем друг к другу — мы к Селигеру, а он к нам. И так, не двигаясь, не произнося ни слова, мы живем десять минут на молчаливой доброй воде. Потом мы с Валею вздыхаем почти одновременно и трогаем волну веслом.

Уже прошел наш пароходик и скрылся, а после, очень нескоро, крупная волна принесет на себе его шум и силу. Я как-то научился по волне угадывать судно. Когда проходит катерок, вода ходит под ним упругая, крепкостенная, с переливами. Она резко, как грузовик на колдобинах, тряхнет нас и сразу же кончится, ввинтившись в берег. Если плывет грузовое судно, то озеро за ним, как я называю, «пузатится». Оно вспучивается целыми кусками и при этом кажется гладким. В такой момент ты вдруг сам начинаешь плавное восхождение к небу вместе со своей лодкой и на какой-то миг становишься выше берега и камышей, потом так же тихо опадаешь, скользя вниз, и камыши рядом, обнажаясь, скажут «ах!». От быстрых лодок-моторок озеро становится словно гофрированное железо, и нашу байдарку мелко знобит. Кажется, тронь такую волну железными веслами — и раздастся металлический звон, как при ударе железа о железо.

Местные лодки, черные, с высокими бортами, чем-то похожие на утюги, вообще не оставляют волн. Они и проходят так, будто гладят и утюжат поверхность озера, и за ними остается вовсе гладкая безволновая дорожка. На ней плавают оброненные клочки сена, точно как на проезжей дороге, и, проплывая здесь очень нескоро, ты можешь наблюдать все тот же след и видеть, как и куда направлялась эта лодка.

А кто не заглядывался на медленные обжитые барки, с мельницами и домиками? Я всегда с тайной приязнью гляжу на эти странные корабли. Наверное, так же, как на поезда дальнего следования. Они напоминают мне тихие деревенские избы, которые каким-то чудом оторвались

однажды от своей деревни да так и бродят по медленной и скользкой воде, не в силах найти свою настоящую пристань. И крутятся задумчивые мельницы, сушится детское белье, сидит женщина, подперев подбородок и раздумывая о чем-то. И течет жизнь до невозможности чужая, похожая и не похожая на себя и подчас мне непонятная.

Мы живем на зеленом берегу за мысом Телок. Прямо перед нами обширный, в голубых искрах Березовский плес, который я люблю и знаю почти на ощупь, словно собственное одеяло, до самых окраинных щучьих заводей. Позади нас, сдабривая дневной зной тенью, стоит Картунский бор. Когда-то, в детстве, мне говорили: если долго не можешь заснуть, представь шумящий лес. Я и теперь так делаю, и неизменно у меня выходит мой Картунский бор, с гуляющими в вершинном далеко ветками, с сильными ходящими стволами, которые гудят и играют, как струны контрабаса.

Сюда мы идем за ягодами. Мы натираемся от комаров густым, довольно едким диметилом. Не очень приятно, но результат оправдывает себя. Валя даже спекулирует этим. Она подставляет вроде бы незащищенную руку комару и дразнит:

— Ну сядь! Ну попробуй, чего же ты, браток, нос воротишь?

А бедный комарик с прозрачными, в черных ободках крыльями крестиком планирует над рукой и никак не может понять, почему у него слезятся глаза, едко ударяет в нос и першит в горле. У него начинает болеть голова, и он улетает домой.

— То-то! — торжествует Валя и натирает ладонями ноги и ботинки. Ведь комары цапают, только зазевайся, даже в шнурочные дырки.

Недавно мы встретили в лесу древнюю бабку. Она смело проталкивалась сквозь комариный строй, и мы решили узнать, какими же она пользуется народными

средствами, что не боится комаров. Но бабка ответила вполне современно:

— Диметил, сыночек. Только диметил. Без него тут все равно что дом без электричества, сожрет крылатое отродье и костей на память не оставит.

Люблю холодное молоко с земляникой. Нетерпеливо доедаю какой-нибудь суп, а уже явственно чувствую в горле холодящую, в сладких ароматах ягод жижицу и невольно кошу глаза на булькающие ягоды и черные семена, плавающие на поверхности молока. Всегда неплохо к мягкотелой горячей землянике добавить самую малость упругих синих ягод черники. И все это подавить деревянной ложкой, так, чтобы яркая земляничная кровь вкрапилась в белый мрамор. Перемешиваясь, гладкое поле молока станет спокойно-розовым, именно того цвета, каким бывает небо в последние закатные часы, — густое, неяркое, с одинаково теплой примесью алых тонов, словно в нем равномерно размещали спелую ягоду солнца.

Я протягиваю по траве ноги, ставлю между колен кружку, чтобы она не могла опрокинуться, и начинаю есть. Деревянная ложка покрывается, словно эмалью, бело-розовым густым слоем.

До этого мы с утра облазили весь Картунский бор, собирая ягоду в котелок. Мы находили ее где-нибудь на влажных травянистых полянах или по краю ям. Она тихо горела из-под куста, и, чтобы не давить и не портить ее, мы присаживались и начинали собирать, медленно продвигаясь на коленках.

Маленькие стебли не держат тяжелой земляники, и та словно опустила голову в траву, но вся поляна светится от ее горячего света. Легонько подсовываешь ладонь и принимаешь ягоду, а уронишь вдруг — не пытайся поднять с травы: испортишь, изомнешь, а все равно не будет уже ягоды. Такая она цельная да наполненная, взял, так и держишь на ладони. А потом руки наши еще несколько дней до невозможности пахнут одним ласковым запахом,

лесной этой земляничкой. Ягода растет и на тропе рядом с нашей палаткой. Но мы ее не берем.

— Пусть. Она общая, она для украшения, — говорит Валя.

Однажды мы с Васькой поехали за грибами. С корзинами, каждая ведра на два, мы сели на вечерний поезд от Люберец и уже ночью слезали на семьдесят третьем километре. Опрямев, чтобы захватить раньше других лавку, мы добежали, спотыкаясь в темноте, до избушки вокзальчика и там пережидали вместе с другими грибниками ночь. Рядом с нами оказался старик, опоздавший на обратный поезд. Он сидел, обложившись двумя корзинами грибов, и, то ли жалеючи грибы, что за ночь неминуемо зачервивеют, то ли себя, то ли вспомнив старуху, ровно через одинаковые промежутки ахал и бормотал, сморкаясь: «Ах ты, язвы его...»

Потом кто-то засорил глаз, и люди жгли лучину и говорили громко: «Ты не бойсь, ты открой ширше». — «Да он ширше не открывается». — «А ты напряжись и открой, что он, не собственный, глаз-то...» — «Да, собственный, оттого и болит, мать его так!» — «Так хочешь гриб искать, терпи и ширше его...»

Потом в избушке неожиданно просветлело, так что мы смогли видеть друг друга черными и безликими, и тогда все заспешили в лес.

Мы пошли ходко по мокрым шпалам, поживаясь и засунув руки в карманы. В корзинах у нас лежали большой будильник, по которому мы узнавали время, хлеб с луком, у Васьки еще яйца от собственного хозяйства, а у меня книга. Я в ту пору всюду таскал за собой книжки, особо я любил фантастику. Эта книга также была фантастическая, и, как сейчас помню, называлась она «Серебряный шар». В общем там какие-то люди прилетели на Луну и на особых аппаратах продвигались к тому месту, где начиналась неизвестная часть планеты, потому что Луна повернута к нам только одной стороной. Я как раз успел прочитать строки, как «они перешагнули эту роковую черту видимого и не-

видимого, и их глазам открылось совершенно необычное зрелище...»

Что открылось их глазам, я так и не узнал и до сих пор не знаю, потому что я потерял ее в лесу, свою книжку. Я заметил потерю в тот момент, когда мы взбирались на железнодорожное полотно, чтобы идти обратно к станции.

— Эх, теря-растеря, — сказал Васька, усаживаясь на холодный рельс. — Ты посмотри, может, она под грибами лежит?

— Нет, Васька, нет ее под грибами. Вот как сейчас помню, я грибы перекаладывал и положил ее под кустик, а потом...

До поезда оставалось не больше часа.

— Я без книги не уеду, — сказал я тогда и побрел в лес.

Мы до ночи, до липкой, вроде бы прозрачной темноты, в которой между тем ничего не видно, искали мою книгу. Мы нагибались к каждому кусту и ползали по траве. Мы забрели в заросли, прямо-таки в крошечную чащу пьяники, которой никогда прежде не встречали. Ягоды были синие, с ноготь мизинца, точно виноград, и чуть отдавали брагой. Потом мы рвали яркую калину для букета на комод (ах, калина хвалилась: «Я с медом-то хороша!» А мед говорит: «Я и без тебя неплох»). В сыроватой низине нашли несколько листьев ландыша с красной, как пуговица, завязью. Ландыши и завязь мы сорвали и выбросили, но их длинные корни забрали, их можно было посадить в горшок с землей, поливать теплой водой, и тогда бы вырос настоящий цветок ландыша прямо в январе.

— Твою книгу мыши съели, жабы облизали и муравьи по буквам унесли, — бормотал Васька, ползая по траве и раздвигая папоротник.

— Смотри, — сказал он, — змеиная кожа!

Мы, не прикасаясь, приятно холодея от страха и риска, рассматривали серые слитки чешуи, которые сохраняли форму своей хозяйки. Потом мы потрогали их палкой, и они рассыпались в прах.

— «Они перешагнули эту роковую черту видимого и невидимого, и их глазам открылось совершенно...»

— Иди сюда, тут родник! — закричал Васька.

Это была ямка, выложенная по краям тонкими стволиками, чтобы не обвалилась земля. В темной, но видимой глубине словно бы извергались крошечные вулканчики, нося над собой серую пыль.

По стенкам, как живые, шевелились белые червеобразные корни от светлых поднимающихся струй, и пугливый лягушонок сидел, уцепившись за лист и закрыв от страха глаза.

Смыкаясь головами, мы тихо смотрели в глубь родника, а Васька, который все любил потрогать, протянул руку и коснулся дна. Взвилась серая легкая муть, и все скрылось.

— Родничок-мутничок, — сказал Васька, шмыгнув носом.

— Васька, от чего родник? От слова «родной»?

— Не знаю. Родился, может быть. Или от того, что здесь его родина. Ведь он из нутра земли идет.

— Так все идет из нутра земли, — сказал я, — и грибы, и ландыши, и пьяника, от которой у тебя, Васька, черные зубы...

Васька тогда начал пить, и я ткнул его головой в ключ, и он поперхнулся. Потом я пил, и Васька налил мне воды за шиворот. И мы пошли к станции.

— «Они перешагнули роковую черту видимого и невидимого, и их глазам открылось совершенно необычное зрелище...» — сказал на память Васька и посмотрел на меня. — Как ты думаешь, что все-таки им открылось?

— Им открылась страна, которой они никогда прежде не видели... Правда, Васька?

— Ага, — сказал Васька и оглянулся на лес.

Больше всего — и единственно — Валюха ревнует меня к рыбам. На этот раз я просидел до сумерек, пока мог разглядеть поплавок на черной поверхности воды.

А вечер был тих, озеро из синего стало молочно-сизым, лесной берег на другом конце плеса стерся до того, что стал одного цвета с водой. Берега на Селигере вообще кажутся замкнутыми, это обман озера. Но с сумерками наступают знаменитые селигерские миражи. Он словно весь сдвигается, исчезают знакомые повороты и берега, недалекий камыш вдруг начинает казаться лесным берегом на другой стороне.

Я, видимо, пересидел слишком. Валя долго сердилась, говорила, чтобы я не ходил «по столу» (а стол у нее везде), чтобы сам шел и чистил свою рыбу. Вот так она покричала и ушла чистить рыбу. Я знаю, как она чистит. Она скоблит ножичком подлещиков и плотву, а мелких окуней, оглянувшись на меня, она потихоньку спускает в воду.

Самую крупную плотвицу Валя назвала первой моей любовницей. Другую, менее крупную, второй любовницей. И, бросая их на шипящую сковородку, сказала так же сердито:

— Первую любовницу ешь сам, второй обломаю косточки я. На! Получай ее, любимую. Правда, от такой любви она совсем потеряла голову вместе с плавниками, но их ты найдешь на сковородке...

Недалеко от нас растут две огромнейшие сосны, поставив змеевидные корни поперек тропинки. На рассвете мы слушаем вороний разговор. Нет, я не преувеличиваю, я сам всю жизнь считал, что эти черные пугала могут только истошно и хрипло кричать. Но вот раненько утром Валя будит меня и шепчет на ухо:

— Проснись... Ну проснись же, они разговаривают.

— Кто? Разговаривает? — спрашиваю я и вмиг засыпаю.

— Ну, вороны. Проснись, ты только послушай, о чем они говорят.

Я открыл глаза. В палатке было светло, крыша светила теплым желтым светом, кое-где алели кровавые пятна. Это мы давили вечером комаров. Прямо над нами

раздались вороньи голоса, чуть гортанные, нерезкие и пожалуй, выразительные.

— Ка-а-ку-а, урр, — проговорила Ворониха. У нее был несколько тоньше и приятнее голос. Мол, как, проснулся? Пора!

— Крри-прри! — буркнул он, и я понял, что ответил: «Не приставай, дай поспать».

— Рр-а-ку-а-арр, — как-то ласково увещевала она, выделяя каждое слово: «Не ругайся зря, такое доброе утро!»

Потом Ворониха помолчала и более строго, не повышая голоса, добавила: «Рра-прра!»

И для меня ясно прозвучало: «Работать пора!» Так они разговаривали, и я почему-то подумал, что семьи в общем-то все похожи друг на друга, как и жены. Я зевнул и закрыл глаза, но моя большая Ворониха тут же пощекотала меня и спросила:

— Ты дров с вечера принес?

— Рра-прра, — ответил я по-вороньи и стал отстегивать выход. Я усмехнулся, представляя, как мы ловко обхитрили ворон и выведали их тайну. Что они скажут, когда поймут, что выдали себя с головой? Я с треском отломил огромный сухой сук от их сосны.

— Кар-кар, — закричали они резко и противно. Я усмехнулся. Могут притворяться сколько угодно, нам уже все известно. Я с хрустом, опрокинув котелок, притянул ветку к костру и пошел умываться на озеро.

Бывает ли, что можно вспомнить то, что никогда в жизни не вспоминалось? Я стоял у воды и глядел на свое отражение. А оно колыхалось, стреляло в глаза солнечным зайчиком и вдруг напомнило мне обо мне самом. Я увидел не очень много: лесную в лужах и грязи дорогу, себя на телеге, а рядом мой велосипед. Его тонкие стальные рога вывернуты наружу и висят над обочиной, на одном роге нет резиновой ручки.

— Ручку! — ору я. — Ручку потеряли!

Это я помнил, кажется, и раньше. Мне пять лет, я живу в Люберцах, и шумное Рязанское шоссе, попросту

Рязанка, гремит около нас, обдавая всех густой бензиновой гарью. Зато за нашим домом растет картошка, на которой летом масса бело-розовых цветов, а к осени завязываются круглые зеленые помидорчики. Я уже почему-то знаю, что их есть нельзя (наверное, сам попробовал), но вот картошки я нарыл однажды целую корзину, памятуя, что мать ходит покупать ее на рынок. Но мать почему-то не обрадовалась, а пугливо засуетилась, выглянула на улицу и велела тут же отнести на огород и бросить там, где взял. Так я столкнулся с частной собственностью.

Об этом мама весело рассказывала моей бабушке, когда та приехала из деревни. Бабушка была круглая. Она достала из черного широкого узла валенки и кинула их мне под ноги.

— Ну-кося, примеривай, посмотрим, как дед навалял!

Я надел валенки и не смог стоять на выпуклых, очень толстых, необмятых подошвах.

— Ни-че-го, — плавно сказала бабушка, — до лета утопчешь, мяконько будет. — Тут бабушка посмотрела на отца и еще сказала: — Серег, ты бы хоть надумал летом приехать, а? Воздух у нас сладкий, Дусе для легких очень полезительный, и мальчику хорошо будет.

Теперь я понимаю, что еду в деревню под Смоленск, на родину моего отца. Сколько я ни вспоминаю, у меня не возникает никаких очертаний Смоленска и даже поезда, в котором я, наверное, ехал первый раз в жизни. Но вот приезд на станцию я как будто бы помню. Это мне представляется в сером полумраке, то ли на рассвете, то ли в конце дня. Маленький домик станции и справа площадь, изъезженная лошадьми. Там стоит несколько запряженных телег. С одной живо соскакивает торопливый странный человек в сапогах и с кнутом в руке, он громко целует отца, а я сижу на вещах. Человек нагибается ко мне и лезет мокрой густой щетиной в лицо, что-то бормоча, а я чувствую тяжелый крутой запах табака.

Еще я знаю, что у моего деда тяжелые темные руки. Это я уже не помню, а откуда-то знаю. Больше деда в

моей памяти нет. Я живу в избе, помню свою бабуку, опять круглую, в широкой темной юбке, несущую из погреба молоко в кринке и масло. На кринке выступает пот, а масло отчего-то белое, в форме лепешки, и поэтому мне смешно его есть.

И дальше потихоньку начинают появляться в памяти, как на непроявленной пленке, хранящейся с тех времен, какие-то очень странные очертания, вещи, краски, звуки, даже целые картины. Но нигде на той пленке я не нахожу деда. Он словно за давностью стерся с тонкой эмульсии памяти, и, видимо, навсегда.

Меня сразу же поражает печка. Она словно возникает из детских сказок, и оттого, проходя мимо, я настороженно, со страхом и любопытством заглядываю в темное нутро. Оттого, может быть, при воспоминании о бабушкиной печке меня смущают странные картины, которые вряд ли могли быть. Теплая белая печь медленно вздыхает, открывает рот и говорит: «А-ах!» А бабушка машет на нее руками и шепчет:

— Да будет тебе, спи давай... Не-чего...

Еще я вспоминаю березовые веники, которые обнаружил на чердаке. Их была целая сотня, и я бродил среди их увядающей пуши, трогал мягкие, ставшие почти тряпичными листья и все недоумевал, кому потребовалось сразу столько веников одновременно. А потом я впервые мылся в черной бане и замирал, испуганно глядя, как в печке до белых искр калят железку, а потом несут ее в лютом красном свете и синем дыму и швыряют в большую деревянную кадку, тут же отскакивая от нее. И тогда все шипело, гудело и гухало, кадка грохотала, вздрагивая от внутренних выстрелов, и извергала в потолок горячие струи пара, которые скоро доходили и до моего угла.

— Не бойся, иди сюда, — говорил отец, встряхивая зачем-то березовый веник и быстро окуная его в кипяток. При этом он приговаривал: — Ах да хлест, бьет до слез! Ай да хлест... — Сверху его голос звучал глухо, словно с другого этажа.

А он протягивал мне горячий, тяжелый веник и коротко говорил: «Хлещи!» — и подставлял спину. Я тогда легонько стучал по беззащитной отцовской спине, и мне самому становилось больно.

— Сильнее! — закричал он на меня. И я ударил вторично, жалея его и жмурясь от страха.

— Да сильнее же, говорят! — гаркнул он, и я неожиданно, задохнувшись так, что из глаз брызнули слезы, наотмашь ударил отца, оставляя на коже красные полосы. И вдруг услышал низкий и хриплый смех, в котором звучали и хрюкающее удовольствие, и ласковость, и теплая умеренная приятность.

— Ох-хо-хо... — вещал животом, спиной, лопатками и чем-то глубинным, удовлетворенным до изнеможения, мой отец и, уже не в силах от горячего разлома костей и ноющих конечностей приподняться, только показывал пальцами, чтобы я бил, скорее бил еще и еще, сильнее и сильнее...

Вот тогда я открыл для себя березовый веник, его дурманящую теплоту и бесконечные листья, прилипавшие к лавке, к тазу с водой и моему телу. Вот ведь откуда оно: «Прилип как банный лист...» А потом в городской бане мне показалось пусто и неприятно мыться без листьев и горячего запаха березы, который не спутаешь ни с чем и никогда.

С отцом моим у меня связаны две картинки. Первая — лес.

Он влажен от росы, и мои сандалеты давно промокли. Я бреду, стараясь попадать в отцовский след, и вдруг раздается выстрел. Я подпрыгиваю от радости и бегу через мокрые кусты. В траве лежит маленький комочек из перьев и крови. Отец поднимает его двумя пальцами, как грязную тряпку, и смущенно улыбается. А у меня вдруг слезы брызжут из глаз, и я кричу, отворачиваясь:

— Не надо птичку! Не надо птичку!

Еще я помню речку, медленную, полевую, среди травы и зеленых кустов. Отец сбросил брюки, залез в воду, которая ему по грудь, и кричит: «Лови!» Он что-то

швыряет на берег, и среди горячей цветной травы я нахожу блестящую живую рыбку с прилипшими к бокам семенами.

— Лови! — кричит отец, а я, раскатываясь от смеха, ищу рыбок, разгребая зелень и подбирая, словно серебряные тяжелые гривны, чтобы тут же нанизать их через жабры на тонкий прутик с сучком внизу.

— Лови! — кричит отец, и от этой игры мне невозможно весело. Я хохочу на весь берег и, смеясь, падаю лицом в мягкую щекочущую траву.

И еще одно, необычно яркое воспоминание. Я лежу на деревянных, застеленных овчиной и простынями нарах, отгороженных от остальной избы белым пологом. Рядом должна быть моя мама, но она, видимо, уже встала. Я знаю, что мама больна, она часто кашляет, сплевывая в темную стеклянную банку, а потом я закидываю эти банки в высокую крапиву за огородом.

Я сползаю на спине со скрипучих нар, отдергиваю полог и бегу по деревянному теплomu полу к окну. В избе никого нет, и отчего-то непривычно ярко, даже празднично. Я коленками влезая на оскобленную до белизны скамейку и смотрю в окно.

Блестящий, совершенно белый, в ярких солнцах мир ослепляет меня. Нет, я не напутал, я твердо уверен и совершенно отчетливо помню, что на небе было много солнц. Даже сейчас, вспоминая белую яркость, входящую в квадратное окно сквозь яркие ветки и белое небо, мне хочется зажмуриться. Может, это и есть то, самое первое, открытие земной красоты, которое навсегда остается в нас.

Если от мыса Телок долго идти по проселку в глубь леса, то обязательно выйдешь на просеку и остановишься пораженный. Твоим глазам предстанет что-то необычное и яркое в дальнем конце ее. И, только догадываясь, еще не поверив до конца и не понимая, ты осторожно пойдешь по травянистой тропе и очутишься на поляне, в центре которой стоит железный солдат с автоматом, склонившись над братской могилой.

После кипучего, устремленного к солнцу Картунского бора, после сладкой земляники и мягких светлых трав — после всего мирного, шелестящего и живущего — это настолько неожиданно, что замираешь на месте, забыв о ягодах, которые крепко сжимаешь в руке.

Война! Вот она! Неожиданная, заставшая тебя врасплох, когда ты меньше всего ожидал. Как всякая война.

Заборчик, свежие полевые цветы положены у железных ног солдата.

И вдруг чувствуешь, как тебя с силой ударяет в грудь. Боже мой! И тут она, и сюда проникла! А сколько же таких безымянных уголков по всей моей земле! Мне порой кажется, что вся она, земля, планета наша, стала на полметра выше от этих бесконечных братских могил.

Кто они? Мальчики лет по двадцати? Они, может, и в походы не успели ни разу сходить и Селигер в первый раз увидели не синий, в белых лебединых облаках, а красный, да черный, да никакой потом...

Парень один на турбазе говорил:

— Знаешь, у меня отец погиб где-то здесь... Где? Не знаю. Понимаешь, я нашел старое извещение, что пал смертью героя в районе озера Серого, на Ленинградском фронте. Я тогда малый был, не понимал ничего, а теперь вот новая справка: оказалось, что нет такого озера — Серого, а есть Селигер. Вот я и приехал, не искать, конечно, а посмотреть. Понимаешь?

И больше он ничего не сказал.

«Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945».

И все. Ни фамилий. Ни имен. И стоит солдат и железно молчит об этих людях. Безымянных, polegших здесь. И думает. Долго. Вечность. Знает он тех, кто добирается сюда в лесную чащу и кладет сорванные по дороге цветы. Но об этом он тоже молчит. Да что там, наши же люди. Те же безымянные. От безымянных — безымянным. В безымянном лесу.

Много раз я бродил по лесу, то ли продираясь через колючий ельник, то ли собирая в ладонь пресноватую, красного густого мяса малину, и неожиданно сталкивался с этой войной. Однажды мы нашли каску. В другой раз пуговицу со звездой. А один раз, отдыхая после долгого кружения по сырым буеракам с шапкой, полной лисичек, я неожиданно обнаружил, что сижу на краю окопа. Он был вырыт буквой «Г», и на дне его росли мелкие кустики малины. Оглядевшись, я увидел вокруг еще такие же окопы. А потом и огромную воронку с крупными, чуть ли не выше щиколотки зарослями костяники, чьи ягоды были похожи на разбрызганную кровь.

И опять словно меня неожиданно ударили, и показалось совсем явственно, что пахнет порохом и где-то стреляют и кричат. Впрочем, может, так оно и было: по соседству остановились туристы и жгли костер.

В пятьдесят четвертом году мы сидели у костра близ турбазы и разговаривали. Я и мои друзья, человек семь. Мы болтали, немного лениво, развалясь и подставив ноги огню. А кто-то сказал:

— Видели мы сегодня, как на барже гробики везли. Штук сто, да такие маленькие, ну, словом, детские совсем.

— Может, эпидемия? — спросили его.

Антон, наш капитан, сказал, пошевелив веткой в костре:

— Не эпидемия это. Кости наших солдат собирают из разных мест захоронения и в общий могильник перевозят.

Ночь стала глуше, и мы молчали. Мы молчали долго и трудно, глядя в костер. А потом ахнула в невидимой воде большая рыба, и все вздрогнули, зашевелились.

В тот вечер мы пели тихие солдатские песни про землянки да темные военные ночи, и странно волновали эти песни, сбитые из хриплых мужских голосов.

У всех у нас было что-то солдатское в крови, в такое уж жили время.

Однажды мы лежали на траве, голые до пояса, и Витька сказал, тронув продолговатый рубец на плече:

— Это мне в Венгрии.

— Ты... Был тогда там?

— Ага, — сказал Витька и лег на спину. Он глядел прямо на солнце, не сощуривая глаз, и ничего больше не говорил. — Просто выстрелили и попали в плечо.

— А ты стрелял? — Я приподнялся, встал на четвереньки, разглядывая Витьку, словно никогда его не видел.

— Да.

— А в того, который в тебя?

— Нет, — сказал Витька, — я его не видел.

Я лег и никак не мог успокоиться, я вдруг понял, что сегодня тоже стреляют. И где-то, может быть, сию минуту из дула уходит пуля, разыскивая нас...

Несколько лет назад я проходил службу в саперных войсках. Мы вскакивали по тревоге, сыпались с верхних ярусов наших коек, попадая на спины и головы своих товарищей, и торопились одеться в короткий, отсчитанный нам срок. Обычно такой мерой была зажженная спичка в руке комвзвода. Когда тонкое пламя умирало у него в руках, мы уже стояли в строю, поправляя ремни и убирая торчащие из сапог углы портянок. Портянки мы сушили своим телом, расстилая их под простыней на ночь.

Однажды на ученьях я условно подорвался на mine. Я тогда не числился хорошим солдатом и больше думал о стихах, чем о войне.

Стихи я сочинял по ночам. Стараясь не забыть найденный образ, бежал в туалет, единственное место, где горела лампочка, и там писал на каменной стене. Ночной дневальный, мимо которого я проносился, мог подумать, что у меня расстройство желудка.

Тогда на ученьях я разминировал противотанковую мину, и она взорвалась (как будто бы взорвалась) в моих руках. Капитан наш выругался сгоряча и, отталкивая меня, сказал:

— Вы убиты и отстаньте, пожалуйста! Отдыхайте до конца боя...

В ту минуту я подумал, что лучше бы не воскресать и после боя: я знал, что меня строго накажут. Слово «убит» меня не особенно расстроило, и я присоединился к другим «убитым», что сидели за буторком и травили анекдоты. Но вскоре наших отличников взяли в Белоруссию, где они разминировали оставшиеся с войны мины. И беленький мой сосед, тонкий восторженный солдат Мухин, не вернулся обратно в казарму.

Потом мне потихоньку разъяснили, что он подорвался и был убит. Я бродил тогда по казарме и не понимал команды старших. Меня отправили в санчасть. Но какой градусник мог показать, как плавилась, перекипали, твердели и снова плавилась шаткие мысли, чтобы принять прочную форму решения? Все было по-настоящему. И где-то лежал под свежим буторком я, а где-то улыбочивый солдатик Мухин, и война расправлялась безжалостно с теми, кто не хотел принять ее.

В Новых Ельцах году в пятьдесят пятом, в один из июльских дней, мы встречали маму известной партизанки, героини Лизы Чайкиной.

На пароходной пристани и дальше, вдоль дороги, почти до самой турбазы стояли люди. За спиной кто-то рассказывал:

— Наши ребята ходили на Верхне-Волжские озера, заехали в деревню Руна, а Ксения Прокофьевна лежала больная. Несколько дней ухаживали, послали за катером и вот решили сюда привезти, чтобы отдохнула...

Подошел катер, кругом заволновались, какие-то девушки побежали навстречу, и ничего не стало видно. Крепкие парни, черные от солнца и пыли, расчищали дорогу и просили:

— Товарищи, разрешите! Товарищи...

Маленькая женщина в темном платке и темной одежде, строго и грустно глядя перед собой, пошла между людей по дороге. А люди кричали ей добрые слова, люди

протягивали руки, люди улыбались ей. Она была матерью, вырастившей верную дочь своей Родины. Как тысячи других русских матерей, отдала она лучшее, что у нее было.

Мы вспомнили про цветы, которые собрали для нее, и первые — мы стояли совсем рядом — бросили их под ноги этой женщине. Она шагнула на них и пошла, медленно и твердо ступая грубыми сапогами. И люди бросали и бросали ей под ноги веселые полевые цветы.

Как легок и широк был этот день! От солнца блестели листья, пахли успокаивающей прохладой и тенью высокие травы. Чистый, извечный, дурманил и кружил голову небосвод, и я думал: как красива земля наша, и люди, и жизнь... И жить, как жить хочется!

Неподалеку от деревни Залучье есть тоненькая, как ниточка, протока в Собенские озера. Туда и поплывем мы, но прежде надо сходить на могилу генерала да в сельпо за продуктами. В этом магазинчике торгует тетя Шура, стройная крестьянка средних лет, которую я давно знаю. Она помнит в лицо почти всех, приезжавших когда-либо на Селигер, и неизменно встречает улыбкой:

— Ага, непутевые, снова к нам?

— К вам. Здравствуйте, тетя Шура.

— Это что же, опять группой аль с женой?

— С женой в этом году.

— Так-то. Скоро небось и потомков возить станешь, а?

— Стану.

— Значит, привязал к себе наш Селигерыч, — говорит тетя Шура. — Я сама столько лет не нагляжусь...

У тети Шуры есть сахар. И масло сливочное появилось. Заглядывая каждый свой приезд в ее магазинчик, выходящий дверями прямо к пристани, мне особенно приятно замечать такие перемены.

Было время, когда по этим же полкам хоть шаром покати — кроме водки, еще разве соли со спичками, ничего не купишь. Колхозы тут были бедные, земля скудная, и как-

то холодело и начинало болеть сердце от заброшенности и странной пустоты деревень. Да и сейчас, надо честно сказать, в деревнях видны больше пожилые женщины да старики, а молодежь уезжает работать в Калинин или Ленинград и прочно там обосновывается.

Мы лезем в гору, минуя тропинку. Гора же эта насыпана нашими предками, которые стерегли здесь путь из Новгорода на юг России. Тут, на самой вершине крутого Березовского холма, стоит сероватый обелиск со звездой. «Генерал-майор Шевчук Иван Павлович (1892–1942)». На твердый камень положены незабудки с лепестками крошечными, не больше мышиного глаза.

Мы тоже кладем наш голубой букетик.

Тут уже плохо все помнят. Туристам объясняют так: он командовал в этих местах, был ранен, попросил схоронить на высоте, на городище.

Учитель же Виноградов Николай Федорович слышал от брата, а тот, в свою очередь, от бойцов, будто убили Шевчука не здесь, а у деревни Межняк, отсюда двадцать два километра. За несколько часов до этого ехал он со своим штабом на двух машинах, и по дороге заблудились. Забрались на Березовское городище, места тут красивые, и генерал шутя сказал: «Если бы пришлось умереть, хотел бы лежать на этом кургане... Под елкой! Красивее места не видывал!»

В тот же день его убили. Адьютанты вспомнили слова генерала. Они перевезли его сюда и похоронили под елкой. На самой вершине городища.

Я оглянулся. На десятки километров лежало передо мной озеро. Синеватые гряды лесов, белый разлив плесов. «Голубая Русь» — как ее называли наши деды. История же звала это — «Великий Серегерский путь». Он проходил сперва по Волге, по Селижаровке до погоста Березовец на городище, как это место зовется в старых книгах. Отсюда, с высоты, видна заросшая кустами да осокой пойма, на которой совершался небольшой волок, версты

две, к реке Щеберихе. Потом по реке Поле, куда впадала Щебериха, можно было плыть до озера Ильмень.

Послы из Новгорода во Владимир просить сыновей Всеволода на княженье идут «Серегерским путем». Тут же пытались пробиться к Великому Новгороду татарские войска, ведомые ханом Батыем. Селигерский путь служил для укрепления и поднимавшейся Руси. Может быть, поэтому возникает мысль о соединении каналом озера через реку Полу с Ильменем. Об этом пишут Н. Озерецковский и многие другие историки. Я хотел бы привести слова молодого новгородского губернатора Сиверса, проехавшего озером. Он писал императрице: «Я должен сознаться, что во многих моих путешествиях не видел я более прекрасного места. Если бы удалось посредством реки Полы соединить Селигер с Ильменем, то Осташков по своему положению сделался бы второй Венецией».

Я спускаюсь, чтобы взглянуть на Березовское городище со стороны. На самой вершине огромные с черной постаревшей корой березы. Что они видели? Им лет по двести, не меньше. Но и они не знают того времени, когда наши предки насыпали тут свою крепость, оберегая волок от врагов. Предки таскали землю из оврага в корзинах или грубых мешках, делали крепко, с отвесной стеной на озеро, откуда могли прийти враги. Но где же сам волок? Маленький ручеек пробивается меж кочек, теряясь в болоте. Я разулся и от воды прошагал в глубину материка, утопая в холодной травянистой жижице. Я, наверное, смотрел все время под ноги, словно мог отыскать следы катков, на которых передвигались в «низовские» земли древние струги. Но время есть время. Оно невозвратно, оно уничтожает следы человека на земле, а на воде и в воздухе их вообще не остается. Есть только одна сила, способная все снова вернуть, четко, живо, хотя и немного фантастично. Это наше воображение. И, уходя по вздрагивающим кочкам, по мелкой чухающей воде, я словно погружался в прошлое.

Вдруг потускнели, стерлись и поросли лесом чернокрышье на зеленых склонах дома, и все вдруг густо и сине зашумело. Диковатая, сумрачная земля, населенная лесовиками да водолеями, обступила меня, а вода чудно поднялась до пояса, замочив длинную домотканую рубаху, что оказалась вдруг на мне.

— И-ехх! — кричит человек, идущий впереди. Он неуловимо похож на нашего ротного командира, только чертами чуточку поглубей. Но мне вовсе не до того, чтобы его разглядывать, я просто на выдохе вместе с другими, такими же, как я, хрипло отзовусь ему «и-ехх» и, натуживаясь до боли в паху, толкну высокий борт лодки.

— И-ехх! — высоко и сильно, не давая нам вздохнуть, кричит он, и я толкаю и толкаю, прижимаясь плечом, грудью к скользкому дереву.

— И-ехх! — И лодка, покачнувшись, двигается, погромыхая на катке и слегка потрескивая. Где-то близко, почти рядом со мной, на уровне моих глаз растет красивый цветок. Но глаза запорошило волосами, а на горячие виски и губы наплыл пот. И, задыхаясь от непрерывных усилий, я все буду видеть этот цветок, а на короткой передышке я сорву его и стану глядеть в самое нутро, желтую нежную его сердцевину. И вдруг вспомню оставленное родное гнездо в далекой земле, молодую жену, чье горячее молчаливое объятие до сих пор снится мне по ночам. Мне тогда вручили легкий лук, оставленный дедом, и показали рукой на голубую воду. И я впервые ушел за другими, отводя глаза от кричавших на берегу женщин и глотая горькую отчего-то слюну...

Но старший что-то призывно закричит, и это будет похоже на слово «подъем». Он тороплив и тревожен, как «бродник», предводитель. Он заслоняется рукой от солнца и глядит вдаль на рассыпанные по окоему облака, на широкую воду и вздыхает облегченно: уже близок конец трудного волока. Скоро просторные плесы проведут нас к реке Волга. Волока — Волга, не от этого ли созвучия и пошла зваться великая славянская река... Мне вдруг захотелось что-то пропеть возвышенное и печальное, что,

возможно, потом люди станут называть стихами. Мне смутны и неясны эти слова и чувства, только больно разрывает душу все, что я молчаливо вместил в себя. От дедовского куреня, где сквозь бычий пузырь в окне входило желтое солнце, до тонкой звенящей этой воды, впервые увиденной мной. Я знаю, я сейчас, медленно покачиваясь, произнесу первые слова, тихие и смущенные, в них качнется медленный цветок, плескнет острая рыба и будет медленно кружиться земля, играя красками. Еще мгновение, и родятся те возвышенные слова о себе и всех остальных, о мире, которые перепишут в большие книги летописцы со слов моих внуков, а потом в темных монастырских склепах их разыщут ученые, и, явленные другим людям, они зазвучат так же ярко и пронзительно, как я их чувствую сегодня...

Но предводитель, так похожий на моего ротного командира, кричит вторично, протяжно и грубо, он властно вскидывает брови, оглядывая задержавшихся. И я тороплюсь с остальными к тяжелому борту струга. А потом где-то в далекой чужой земле (мы всегда гибнем в местах, о которых едва слышали) меня поразит в спину копьем из засады сильный половец. И только успею повернуться, мне захочется узнать, зачем он убил меня, которого не знал. Мне бы надо медленно сказать ему о голубой большой воде Серегер, к которой мне нужно вернуться обратно, о жене, у которой под грудью в большом животе стучится мой сын. Нет, мне страшно, что я не спел тех странных видений, что гортанно и быстро начинались у меня под языком и так же исчезали. Но, падая, я ничего не прочту в диковатых, каменистых глазах моего врага и отчего-то решу, что так, значит, надо — умереть здесь.

Вот и все, что было со мной тогда.

В описи Деревской, то есть новгородской пятины в 1595 году, есть об этих местах такие слова: «Волость Великого князя Березовец... На городище церковь Рождества Пречистые да двор большой. На посаде на церковной земле

двор попа Ивоня, дворовый дьяк Олешко, дворовый сторож церковный Калинка».

Вот ведь какое странное дело. Пока идет история сама по себе, ее не то чтобы не чувствуешь, а не проникаешься ею, просто понимаешь, и этого довольно. И вся она кажется неподвижною, словно изображена на иконах. Но попадется какое-нибудь странное имя, и словно некто издаലെка к тебе прикоснется, и оживает мертвая картина, оттого что Березовец не просто местечко, а живет тут поп Ивоня, ширококостный человек с огромным фламандским брюхом, квадратным подбородком и зычным басом. А что за диво имя названного церковного сторожа. Калинка! Как-то нежно вдруг и ласково хочется произносить это имя, и видится стройный крестьянин с белокурой бородкой, с глазами светлыми, как Селигер, спокойно взирающий с церковной ограды.

А местные названия! Разглядывая часами карту сплошь голубых и зеленых тонов, я не перестаю удивляться выдумке и чудному соответствию этих названий. Есть деревни Осинушка, Горушки, Любимка и даже Жар и Красота.

На многих из них лежит печать профессии, дела, которым занимались, наверное, крестьяне той местности. Лыково, Добывайло, Кувшины, Кожино, Вязовня, Красилово или вдруг — Сухая Ветошь. А мне все мечталось попасть в деревню Кувшины. Честное слово, пройти центральной улицей и просить в каждом доме напиться. Просто тихо, спокойно стоя перед сенцами, где позванивают от медленных шагов хозяйки железные дужки на ведрах, где, запрокинувшись жалом вниз, висит на стене коса. И густо пахнет сеном. Медленно напиваться, обхватив руками холодный, с округлыми боками кувшин, и благодарно смахивать вкусные капли с подбородка. Плотно закрыв за собой калитку, сделанную, как я тут уже встречал, из дверцы от автомобиля, шагать к следующему дому, а собаки, утомленные жарой, будут лаять лежа, не отрывая головы от земли.

А есть тут название деревни — Воздухи. Какое-то наивное, чуть подсиненное и прозрачное. И сразу чувствуешь сизоватые дали одну за другой, а все вместе — воздухи. Или вот рядом с деревней Старина стоит деревня Небылицы. И опять можно фантазировать, представлять всякое, очень русское и очень лукавое.

Да и речки, для них будто специально выбирали самые ласковые названия. Как не называют чужое, а только свое. Крапивенка, Езжиница, Ржанка, Орлинка, Кобылка, Чернушка. А речка Березайка впадает в озеро Березай. И рядом станция с таким же названием. Не отсюда ли пошло развеселое «Станция Березай, кому надо, вылезай!»?

Да вот и здесь: Березовский плес, Березовец на городище, Березовый рядок, мимо которого мы сейчас плывем... Видно, бушевали тут березовые под голубыми ветрами леса. И сошли под рукой первого человека-земледельца, что выжигал деляны (ладинная система земледелия), собирал урожай, а когда земля беднела, уходил дальше.

Так вот прикоснешься к названиям, уже делается на душе томительно, как перед хорошей загадкой, и начинаешь чувствовать, и понимать, и невольно приходишь в странные, доступные нашей фантазии времена предков.

Недавно я побывал в Троице-Сергиевой лавре. Я бродил по многочисленным комнатам музея, без воодушевления смотрел на бесконечные короны, да ризы, да всякие украшения одежды, и на их хозяев, тут же вправленных в рамки. Музей этот очень богат, и, может, оттого нас запустили группой, заперли дверь огромным железным засовом и снаружи поставили милиционера.

Так ходил я между золотом с одной стороны да серебром — с другой, не зная, куда отворачиваться от неестественного блеска, которого, может быть, хватило бы для игры и перелива целому озеру Селигеру.

И тут наткнулся я на оригинальную запись, вывешенную на стене. Это была опись 1641 года об оружии,

установленном на крепостной стене монастыря. Там писалось: «На красной башне против святых ворот пищаль полуторная, медная. Другая пищаль на колесах, пушкарь у той пищали Первушка Федоров».

И словно бы все ожило тотчас, мне даже послышалось, как зашелестела парча, сброшенная с благородных плеч, и покатилась, звякнув, золотая пуговица, и вельможи в рамках покосились в окно — на месте ли сторожа, на посту ли пушкари, а то не приведи господи... А Первушка Федоров вот он, сидит у полуторной пищали, что на колесах, и поглядывает с крепостной стены спокойным оком. Глаза у Первушки большие, глубокие, с синевой, руки крупные, в узлах, потому как прежде дома рубил и печки клал. А рубаха самая что ни на есть домотканая, отбеленная на первых снегах, никто не сохранит эту рубаху и не положит под стекло.

Я тогда счастливо переживал радость, что время обхитрило все это — нержавеющей и вечное и донесло до меня живой, странно волнующий образ русского пушкаря. Такое настроение я пронес через все комнаты музея, пока вежливый милиционер дважды не пересчитал нас и не открыл засова.

— Ах ты, Первушка Федоров, — приговаривал я про себя. — Ах ты, дорогой предок мой, Первушка! Я не знаю и сейчас, верно, твоего лица. На старых деревянных иконах, где на передний план, почти на рамы властно взгромоздились угрюмые князья с жестокими самодержавными лицами и их любимые кони, я только предположительно нахожу тебя, мой дорогой предок. За объемными плечами князя, где скорой рукой мальчика-подмастерья выписаны сто шлемов подряд или просто желтой охрой серпы волос, ты и стоишь там, предок Первушка Федоров. И ранее, и тогда, и много раз потом будет твориться эта несправедливая картина, и будут русский народ выводить общим фоном за плечами единого человека-иконы с жестокими неподвижными чертами. И много раз я буду тебя угадывать, пушкарь Первушка Федоров, только потому, что ты не покинул

свою пицаль ни в 1641 году, ни триста лет потом. В 1941-м!

А пока ты есть, Первушка Федоров, на земле, будет жить земля русская, будут стоять на крепостной стене меткие пушкари и будет земля наша цела заботами тех пушкарей.

Случилось мне во время моей службы в саперах работать на постройке дома. Нас, как положено, приводили из части, сержант говорил напоследок:

— Работа аховая, бери больше, бросай дальше... Вопросы есть? — спрашивал отрывисто он и уходил в самоволку. В городе, с его слов, у него числилась хорошенькая одна баба, медсестра. Когда он скрывался за поворотом, ему отвечали не очень громко:

— Работа не Алитет, в горы не уйдет.

И садились перекурить. Работали мы не шибко, так как на службе вообще торопиться некуда, если только не идет война. Старался у нас разве Федоров. Я не знаю, как его зовут, да и раньше, кажется, не знал: как и все, он звался по фамилии — рядовой Федоров. Армия любит однообразие, это уже мы знали от сержанта.

Федоров был маленького роста, и между собой мы называли его еще «шпиндик» — прозвище, по-моему, тоже распространенное. Мы знали, что до армии Федоров работал в городе Бежицы на разных стройках и мог бы, если бы ему позволили, читать чертежи или профессионально класть кирпич. От него мы даже узнали о некоторых древних уловках строителей, которые могут то ли воткнуть в дымоход печки гусиное перо, и она будет всегда засоряться, то ли в основание положить капельку ртути, и тогда печь, подсохнув после ухода строителей, начнет страшно стонать и пугать хозяев.

Работа же у нас была вспомогательная, черновая: таскали раствор; сгружали кирпич, теплый, только что из печи, словно хлеб; копали под фундамент землю. А чаще перекуривали, памятуя известную у нас истину: солдат спит, а служба идет.

Однажды кто-то сказал:

— А что, если в фундаменте записку оставить?

— Какую еще записку?

— Обыкновенную. Для потомков, что вот, мол, строили этот дом...

— Будут они ее искать, держи карман шире!

— Да дом простоит небось сто лет.

— Пятьсот!

— Хоть тыщу, ну и что? Конец-то у него будет же. Представляете, разрывают, а там наша записка лежит?

Мы представили, и ничего. Выходило даже неплохо, да и делать нам в этот день было нечего. Сержант наш тоже сидел в сторонке, позевывая и глядя по сторонам: сегодня ожидали начальство, и он не рискнул уйти в город. Он оживился, когда мы объяснили дело, вырвал из блокнота листок и стал писать. Я помню текст записки. «Мы начинали строить этот дом в 1952 году. Группа солдат энского подразделения».

Он свернул листок вчетверо, а потом трубочкой.

— Напишите номер воинской части, — сказал кто-то.

— Или фамилии, — добавил, вздохнув, маленький Федоров.

— Не положено по уставу, — сказал сержант. — Название части и списки военнослужащих — это военная тайна.

— Какая тайна, если через тысячу лет?

— Разговорчики, рядовой Федоров! Может, вашу записку завтра откопают и отнесут куда следует... Вопросы есть?

— Хоть одну фамилию, — сказал, шмыгнув носом, Федоров.

— Поставьте Федорова! — взвизгнул кто-то, и все расхохотались.

Рядовой Федоров сел на кирпич и тоже стал смеяться.

Записку мы вложили в валявшуюся поллитровку от «Столичной», плотно закупорили ее. Потом ловкие, быстрые пальцы Федорова нашли паз в кирпиче и надежно замазали бутылку цементом.

Юрка стащил у меня коробку с крючками, пока я лазал на городище и искал следы волока. По всем приметам, по отзывам соседей это был он, и я поймал воришку прямо за полу. Родителей здесь у него не оказалось, а дядя, которому всучили на лето Юрку, сказал:

— Ты брал крючки? Па-аршивец!

— А тебе что? — спросил Юрка.

Дядя икнул и высморкался.

— Не заливай тут, — ответил он. — Нашел ведь что взять. Ну, я понимаю, были б деньги или одеяло хотя, а то, тьфу — крючки! Семьдесят третья статья о мелком хулиганстве. Я всегда говорил, что срок по пустякам получишь.

Дядя поскреб волосы, решив, что на этом воспитание в общем-то кончилось. Он поглядел по сторонам, зевнул и добавил:

— Тебя, Юрка, могила исправит. Верни крючки гражданину начальнику, а то он отведет тебя куда надо, тогда на практике поймешь, куда сухари посылают... Понял?

— Понял, — ответил Юрка, отойдя на два метра.

Я уже не был рад, что затеял это дело, и, извиняясь, сказал, что обойдусь как-нибудь без крючков.

— Хамло ты, Юрка, — поразмыслив и зевая, сказал дядя. — С тобой гражданин начальник цацкается еще, а я бы тебя в каталажку упрятал, потому что ты опасный человек для общества, Юрка!..

Юрка повернулся и пошел за калитку.

— Вы его не ждите, — сказал дядя, уходя. — Он теперь не вернется, я знаю. Шпана несчастная.

— Как? Совсем?

— Ночевать разве, и то в сарай, где я не найду. Но я ему уши навыдираю, он будет знать, почему кило воды в Селигере. А крючки — хе-хе... Что с воза упало, как говорят...

— У Юрки родители-то есть?

— Мать. Это я с вами как с гражданином начальником говорю, а она бы враз отщила. За свое потерпевшее еще бы ушли как оплеванный. Она такая, я к ней и не езжу.

Но Юрка пришел. Он проделал хитрейший маневр, пробравшись к сараю и что-то спрятав за пазуху. Обезав для верности половину Залучья и достаточно запыхавшись, он протянул коробку с крючками:

— Нате. Насилу разыскал на том краю...

— Ну и артист ты, Юрка!

— Не знаю, — ответил он. — Вы посмотрите, может чего не хватает?

— Да нет, все на месте, — сказал я восхищенно, не заглядывая в коробку. — Вот если поговорить хочешь...

Юрке не хотелось со мной говорить. Но он из вежливости промолчал.

Я узнал, что он учится в пятом классе, по арифметике у него «пять», а по литературе «трешка».

— Отчего же так?

— Не знаю. Неинтересно. Я эти книги давно прочел. Вот скажите, когда был последний день Помпеи? А? Учителька наша говорит, в древности, а я с ней поспорил, я сказал, что в тысяча восемьсот тридцать втором году. Не мог же Брюллов рисовать то, что не видел...

— Почему не мог?

— Потому что тогда на картине неправда.

— Но тебе ведь понравилось? — спросил я. — Значит, он понял правду, которая была до него. Это может только настоящий художник. А иной сегодня и смотрит и видит вроде бы, а нарисует, словно все придумал. Разукрашено так, что и не поверишь.

— Это подлизы делают! — воскликнул неожиданно Юрка. — Я знаю, они нарочно так, потому что им выгоднее. Недавно мы писали сочинение «Кто кем хочет быть». Все наши подлизы не написали правду, а написали, что они хотят быть учителями русского языка.

Мы одновременно рассмеялись, разговаривать стало легче.

— Так кем ты хотел быть, если ты не писал ради лишней пятерки?

— Я написал им про Селигер. Вы змей видели когда-нибудь? Ого! Тут есть одна, как кобра все равно!

— Да уж прямо кобра?

— Ну, чуть поменьше, медянкой зовут. Она красивая ужасно и специально похожа на золотой браслет. Люди хотят поднять, а она раз — и готово! А знаете, как муравьев по-здешнему зовут?

— Нет. Не знаю.

— Их зовут сикатушки. Я однажды видел муравьиную дорогу, так они как на автостраде ходят, не верите? Вот честно, по правой стороне и по левой, и регулировщики стоят, и так целый километр! А людям там ходить нельзя... Да вы еще приезжайте, я вам покажу — ахнете!

— А в лодку лазить не будешь?

— Да нет, — сказал, заскучав, Юрка. — Вы приезжайте лучше, а то одному скучно. Я вам покажу, где рыба клюет, ладно?

Мы еще поговорили, поделились крючками, и я, дождавшись Валю, которая ходила за ягодами, отплыл от берега.

— Приезжайте! — крикнул опять Юрка.

— Спа-си-бо! Приеду, Юрка! — прокричал в ответ я. И помахал рукой.

В дом к Виноградовым привели нас поиски молока. Пока мы сидели в светлой, по-своему нарядной горнице с многочисленными половичками, и круглыми и квадратными, которые сделала сама хозяйка Мария Федоровна, хозяин достал коробочку и сказал:

— Вот она, история Селигера!

И высыпал на ладонь с легким стуком круглые пули, щурясь и рассматривая их внимательно.

— Полста лет собираю. Которую на кургане или в земле где... Много их — видно, стреляли тут сильно.

— Разрешите...

Мы брали пальцами буроватую, уже окаменевшую шрапнель, мы катали ее на ладони и не торопились отдавать обратно.

— Сколько же им лет? Небось полтысячи?

— Не-ет, — сказал, забирая пули и складывая в коробочку, Николай Федорович. — У нас огнестрельное оружие не так уж давно стало. Века два-три всего.

— Вы историк? — спросили мы одновременно.

— Был учителем, ну, а сейчас... Семьдесят три года. Штука не велика, но тянет!

— Будет! Почудил на белом свете! — сказала, входя и присаживаясь, Мария Федоровна, женщина удивительно простая, сколь и красивая нашей естественной русской красотой.

— Ну и что? — воскликнул хозяин, молодо взглядывая на нас ясными голубыми глазами. — Я не ждал революции. Чья верх возьмет, я настоящую дорогу искал.

В первую войну служил я с поэтом Павлом Арским — слышали небось? Павел Арский — поэт пролетарский! Ну вот, у него стихи были, где один интеллигент рассуждает примерно так: «Куда пойти, право, я не знаю, направо двинешься, вся левая кричит. Пойдешь налево — как свора злая, правая ворчит. Кто прав из них, кто виноват, сам черт не разберет. Останусь я посередине. И посмотрю, чья верх в борьбе возьмет». А я не ждал, слышь-ка, у меня отец рыбак безземельный, и я родился тут, большевики сказали — землю, я за них встал.

У нас прежде стеснялись профессию учителя-то называть, а я все ходил в учителях. А ел конину. Мне однажды стакан манки дали, так ребенок ее языком-то выталкивал, потому что не пробовал никогда.

А сына я назвал Спартаком. Ведь гордо носить это имя, хотя пережил я с ним массу неприятностей. Мать была больная, позвала и говорит: «Чудит Колюшка все, раньше и портки-то стеснялись назвать, подштанниками звали, а ты портки портками назвал».

Школа же моя во-он прямо под окном моим стоит. Тут я не жил, там жил. Секретарь говорил: «Виноградов к себе школу принововил». Сам ее строил, на перегородки иконы от церкви приспособлял, они там до сих пор...

— Вот-вот, все дурак, — сказала Мария Федоровна, отворачиваясь. — Людям дома строил, а себе сеней не смог...

— Оппозиция! — сказал, усмехаясь и пристукивая ладонями по столу, Николай Федорович. — Она все понимает и одобряет меня, а не сказать не может. Ах, Машенька! Но права — энтузиазм был! Выше, чем сейчас, правду скажу!

Потом он рассказывает про войну.

— Тут немцы перли дай бог. Где мне их одному остановить! В Залучье немец, а в Рядке у нас промежуток этот самый. А тут связной от наших, нельзя ль, мол, узнать, в каких точках немцы есть и огневые позиции.

Ладно. Пошел я вроде за рыбкой, по льду, прямо в Залуцкую луку. Сижу, таскаю окуней да на стороны поглядываю. Все увидел, мне бы обратно вокруг, как шел, а я через озеро, чтобы скорее. Тут уж и разведки не надо, били по мне из хуторов и дальше... Лежу на льду, а кровь из руки черным пятном ползет... Добрался до избы, матка говорит: «Слышал небось, какой бой был?» А я затылком в стену уперся и бормочу: «Не бой, — говорю, — а со мной бой этот шел...» Тут и свалился. Выхаживали меня, был в госпитале...

Хозяин замолкает. Приносит банку с медом, льет на блюдце и пододвигает белый хлеб. Мед плавкий, холодновато-золотой, он течет по блюдцу под край и такой свежий, что кружит еще до пробы голову.

А хозяин все молчит, переживает. Трогает колючую бороду и говорит глухо:

— Лезвий нет. Сыны-то мои, один большим военным начальником на юге, другой в Калининграде. Подарили мне электробритву, а она дергает, я ее подарил им обратно. Старые лезвия в свободное время точу, у меня их тут штук полтора, а сегодня запустил...

И опять о чем-то думает, затем кладет тяжелые усталые руки на колени и решается. Идет в свой кабинет, где стоят письменный стол, и койка, и стопочкой тетради

учеников, а на оконном стекле алмазом от перстня начертаны слова: «Корнет Андреев и Николай Виноградов. 1911 г. 27 августа. Прощай, охота!!»

— Егерем я у него был, погиб Андреев в первую еще... А я весь тут, — сказал Николай Федорович и положил на стол грудку тетрадей, прошитых нитками и пожелтевших от корешков. — Сын мой говорит: «Папа, напиши, буду читать, узнаю наш Селигер». Вот я написал, но мне это ни к чему... Если пригодится для общего дела...

— Ну, зачем ему записки про тебя самого! Ему про Селигер надо! — проговорила жена.

— Так я и Селигер — одно-едино, — сказал он.

Из тетрадей я узнал, что отец Виноградова, как все здешние в те времена, уходил в Питер в древокаты. Не пугались чужой стороны, потому что своя гнала.

*Ох ты, батенька родной,
Давай поделимся с тобой:
Тебе соха и борона,
А мне чужая сторона.*

Виноградов вспоминает отца:

— Я сижу на корме лодки за широкой спиной моего отца. Он сбрасывает сети за борт, при каждом всплеске грузила брызги холодной воды летят на меня, и каждый раз я вздрагиваю. Но молчу. «Какой же рыбак, если он воды боится!» — так говорил мой отец. Еще он говорил: «Мне нужны не белые ручки, а смоленые, как и у меня... Чтобы взялся за то крыло невода, а я на этом почувял!»

Отец мой действительно выглядел замечательно. Огромный рост, пушистая борода и большие открытые голубые глаза. Я любил ласку этих прекрасных глаз. На нем была красная кумачовая рубашка, на ногах длинные рыбацкие сапоги, с плеч спускался кожаный передник. И лодка, и сети, и сапоги, и сам рыбак пахли смолой и рыбой.

Про его физическую силу рыбаки рассказывали невероятные вещи. Говорили, что за четверть водки он во время гребли ломал весло... В зимний лов крыло невода тянут шесть человек, и вот когда у тяглецов не хватало сил, становился Федор, и все чувствовали, что он стал тянуть.

Дядя на рыбалке говорил Николаю:

— Эх, как ему хотелось протянуть сеть с кем-либо из вас, сынов. Бог не привел, съела нужда да недобрые люди. Аиграл на гармонии как ловко... Бывало, в Питере катаем на тачках дрова, подойдет к нам шарманщик, вертит ручку, а она играет, ловко так... Ну вот, сыграет, а ему копейку в шапку-то... Уйдет шарманщик, а батя и говорит: «А хотите, я сейчас сыграю, что он играл?» И вот, елки-палки, берет свою гармонь и пойдет ту же музыку играть.

А работа тяжелая, жарко, душно, рубаха за неделю в соль переворачивалась и, как бумага, рвалась. Потом сила, сноровка нужна, без них свернешься в Неву, ну и конец, сейчас под судно водой подберет.

Услышали, близ нас Нова-деревня имеется, вот и начали мы артелью в эту новую деревню ходить, хоть духу свежего поглоташь, как в свою деревню попал!

Федор за коновода был. Он завсегда под матроса одевался, форма у него со службы была... Ну вот, пошли за деревню в лесок. Весна, значит, птички поют, воздух приятный. Кто в карты сел играть, кто пузо на солнце греет, а кто в стороне под кустом вшей в рубахе бьет, разоряли, проклятые...

Ну, а Федор на гармошке дует. Своей-то у него в то время не было, так он взял поиграть у одного олонцкого парня, а тот только что ее в Новой деревне у пьяного купил. Смотрим, подошла большая компания ребят, по виду народ фартовый, и с ними полицейский.

Спрашивают у Федора:

— Чья у тебя гармонь?

— Да вот, — отвечает, — взял у одного поиграть.

Те к парню:

— Чья гармонь?

— Купил.

— У кого купил?

— Сам не знаю, у кого.

— Так вот, господин городской... Вот мой паспорт, посмотрите мои имя, отчество и фамилию. Теперь откройте планку и смотрите, что написано.

Действительно, стоят его имя, отчество и фамилия.

— Гармонь у меня утром в трактире украли, вот свидетели. Ты, парень, лучше без греха отдай чужую гармонь, а то пойдешь в полицию, лучше там не будет.

Так и отдал парень гармонь, улыбнулись денежки. Они не первого так обрабатывали. Федор хотел с ними схватиться, мы его не пустили... Только кончилась эта канитель, подошла к нам компания, смотрим, вроде как из благородных, с чемоданчиком. Был среди них один такой, невысокого роста, с рыженькой бородкой, молодой еще парень, годов так двадцати, в синей фуражечке. Все-то он знает, так-то в душу твою и лезет. Веселый, разбитной, спел, на гитаре сыграл. Расспросил про наше житье.

— Ничего, — говорит, — будет и на нашей улице праздник.

— Вот ждем, а его что-то не видать, — говорит тогда грубо Федор.

— Посиди здесь немного, я расскажу.

Смотрим, народу все больше набирается. Откуда-то взялась табуреточка. Наш этот знакомый стал на табуреточку и говорит:

— Подходите ближе, товарищи, давайте потолкуем!

Народ весь к нему, мы в середине очутились. И начал он говорить про нашу несчастную жизнь, да так верно, как будто он с нами и жил. Говорит, говорит, а потом Федора спросит:

— Как, матрос, ладно будет?

А у Федора только глаза горят, он просит:

— Вы про землю еще скажите! Как ее добыть?

А тут около нас и очутился тот человек, что отнял гармонь-то. Передал он гармонь другому, да как засвистит в свисток, и ему уже городовые отвечают. Тут суматоха пошла, оратору-то говорят:

– Вы арестованы.

А Федор за него:

– По какому праву?

А ему говорят:

– Катись отсюда, пока тебя не забрали!

Взошел тут Федор в характер, ах, говорит, елки-палки, узнаете вы сейчас моряка Балтийского флота. Встал на табурет да как гаркнет во весь лес:

– Братцы, у кого кровь соленая, гармонь отняли, наших бьют!

Соскочил с табуретки, схватил гармонь да как трахнет по башке ее хозяина, так и надел ему гармонь на шею.

И пошла потеха. Там только начни, а потом сам не разберешь, кто кого бьет. Много потом смеялся наш новый знакомый. Федору руку жал.

– Встретимся! Обязательно встретимся!

Да не пришлось, умер твой батька тут вот, прямо на берегу Селигера.

На входе в Собены, вдоль Березовского рядка, можно увидеть сейчас первые дачи. Единственные поселения, которые не вызывают у меня чувства первооткрывателя.

В очень недалекие времена, лет десять назад, было у меня одно любимое грибное местечко, остановка «73-й километр» по Рязанской дороге. В поезд мы селились в Люберцах ночью и обязательно не брали билетов. Контролеры любили именно безбилетных и без квитанции собирали с нас по трешке. «Ну что, порядку не знаете — жи-во!» — шипели они новичкам и исчезали, на радость нам и себе.

Потом часа два мы высидивали в станционной черной избушке и с сероватым холодным рассветом, который вроде был, но и не был и только на рельсах словно оставлял

свои следы — росные блестящие капельки, мы уходили по шпалам в лес. Сперва рельсы видно было шагов на десять, потом на полсотни, и когда они прояснились вдали, мы сворачивали на просеку и где-то, прямо под насыпью, срезали первый, в утренней влаге гриб.

Совсем недавно мне вздумалось посетить знакомые места. Я слез с поезда и сразу же попал в цепкое объятие заборов. Эти заборы, как две хищные ладони, караулили меня с двух сторон, и казалось, что они вот-вот яростно сомкнутся и раздавят меня. Только через час я вышел в лес и вздохнул уже облегченно, как новенькая дачка снова встала на моем пути. Так кидался я вправо и влево, испытывая неприятное чувство, словно меня увлекли в загон и никак не хотели выпустить.

Я влетел в чистый и белый березняк и огляделся. Я был в настоящем лесу, и вокруг росли настоящие деревья. Стучал над головой дятел, осыпая мне на волосы красные опилки, вскипали и опадали под ветром листья.

Я нагнулся к первому, что мне показалось грибом, и вздрогнул: это был колышек, вбитый в землю. Дальше шла срубленная и положенная поперек березка, обозначавшая не что иное, как тот же забор. Завтра сюда придет хозяин, прорубит дорогу, насмерть валя молодые деревца, и возведет вместо этой временки современную малогабаритную каменную крепость.

Я сел на холодный мох, озираясь испуганно. Мне показалось, мою жизнь, мое детство искусно и ловко обрубили, как обрубают от главных веток дерево, оставляя голый ствол. Я ничего не значил без травы, без молодой березы с горьковатым соком по весне, без сорочьих гнезд, под которыми я летом нахожу зеленоватую, в крапинках скорлупу яиц.

Я больше никогда не приезжал на эту станцию.

В тетрадях Виноградова я нашел крошечную страничку с описанием утра на Селигере. Вот как он пишет: «Заря разгоралась. Золотая полоса света на востоке обняла го-

ризонт. После весенней короткой ночи природа оживала. Звуки, как и свет, постепенно нарастали, запел соловей. Над озером поднимался редкий туман, который по краям сверкал цветами радуги. Я осторожно привязал лодку к прибрежному камышу. Размотал удочку, насадил червя и забросил в воду. Но, очевидно, рыба еще не подошла к берегу, поплавок спокойно лежал на воде. Красота меня захватила всего, сердце не билось, а лишь сладко дрожало, чувства были напряжены, мысли остановились. Зачарованный, сидел я в лодке, забыв, кто я, где и зачем сюда приехал...»

Много раз и я испытывал подобное чувство, застигнутый рассветом на широкой воде. Или под берегом, где через тихую темно-слюдяную воду ясно видно исчерченное улитками дно, в белых спиралях, точно в небе следы от реактивных самолетов.

В июле мы попали здесь в полосу белых ночей, когда в одиннадцать еще светло и над водой стоит сумеречный белесый воздух, совершенно неподвижный, а звезд почти не видать. Потом все загустеет, но все равно будет светло, а закат, так и не сошедший с неба, будет полосой сдвигаться к северу, чтобы, не угаснув, начаться вдруг рассветом.

И я не сплю, думаю. Даже не знаю о чем. О ночи и о такой, например, странности, как рыба, которая не клюет, когда на небе появляется месяц. Может, она его принимает за большой серебряный крючок?..

Вот лещи, сопливые, сочно чмокающие, любят ловиться в полнолуние. Как, впрочем, и перед теплой грозой. У Сабанеева есть отличное выражение, как лещ играет и «плавится» перед грозой в «жары»...

Завтра будет хорошая погода, потому что звезды совсем не мерцают. За кустами, у меня за спиной, поле, оно большое и все буро-красное от мышиноного щавеля. Там всю ночь скрипит дергач. «Эй, дергач, перестань дергать!» Не перестает. Пусть. Я где-то читал, что в Индии даже существовало лечение птичьим пением.

Зачем я рассказал про эту ночь? Одна мысль, трудная, очень мучительная, преследовала тогда меня. Но и после она не давала мне покоя.

Прав ли я, что взялся рассказать людям о Селигере, тем самым отдав его в чужие, многие руки?

Не разнесут ли его по кустикам на костры, не расколуют ли вдребезги эту стеклянную тонкую ночь пьяные крики, не построят ли на щавелевом дрожливом от ветерка поле крашенные заборы люди, которых я называю «себятниками»? Это, по-моему, точнее, чем заграничное слово «эгоист». Те самые люди, которых мой один товарищ назвал «Sonder Kommanden». Термин, взятый от фашистских карателей, но уже в отношении к врагам нашей русской природы.

Одного такого я встретил недавно. Он объехал Селигер, кажется, за два дня и сказал: «И это все?» Он копал рядом со мной червей и приговаривал: «Червяк — это рыба, рыба — это деньги, деньги — это водка, а водка — пятнадцать суток...»

На Селигере стояла тишина. Тогда нам показалось, что мы совсем оглохли, и Валя даже воскликнула:

— Словно что-то выключили!

Это был день четырнадцатого августа, и ничто не предвещало нам перемен. Когда неожиданно прямо над нами раздались точечные хлопки выстрелов, они отразились от леса на том берегу, похожие на кашель великана, и устремились в небо.

Выстрелы теперь неслись отовсюду, и небо и Селигер померкли от частого дыма. А мы сразу заметили, что жить стало хуже. Мы были в общем-то непугливыми столичными людьми, понимали кое-что и в системах ружей, и в калибрах, и номерах дроби, но мы не хотели выстрелов. Их вообще не должно было существовать, они были чужды этому беззащитному миру трав, деревьев и малых, таких веселых птах, поющих нам по утрам. Пальба же между тем нарастала и пятнадцатого числа утром уже напоминала близкую канонаду со всех четырех сторон. Стреляли отовсюду, дробь сыпалась на

воду рядом с нашей лодкой, и мы шарахались любого шевелящегося куста, рискуя попасть под дула оголтелых людей.

Я не знаю, сколько они в тот день набили дичи, чем измеряли свою торжествующую добычу... Но они уничтожили тишину, самое дорогое качество голубого мира.

Говорят, охотники — лучшие друзья природы, они, мол, бродят с ружьями, наблюдают красоту окружающего, ну и изредка палят, от избытка азарта и чувств, так сказать. Не знаю. Когда я записываю эти строки, совершенно оглохший от грома пушек и мортир, иначе мне и не представляются тысячи ружей, объединенные в единое человеко-ружье, которое приставлено прямо к сердцу природы.

И переживаю я только одно чувство, чувство возвращения в тишину, потерянную уже и здесь. Потому что имею на нее право, как и эти воды, деревья и звери, обиженные работающими под друзей природы.

А путешественник Озерецковский, приехавший на Селигер в начале прошлого века, рассказывает о бабочке так: «Осиновая прекрасная бабочка была прелестью моих глаз; садилась в сотовариществе на чернозем мокрый и безтравный, пила влагу, и в сем случае нетрудно было ее уловить, но жаль было лишать ее жизни для нее самой, для самца и для ее будущих красивых детенышей, тем паче что собрание насекомых в кунсткамере велико, и Осиновая бабочка кажет себя всем посетителям».

Слишком нежен и чист Селигер, очень уж легко обидеть его, осквернить. Вот чего я боюсь. Даже в старое время, век назад, осташи, или, как они сами себя просто-народно называют, ершееды, в городе на столбах делали такие надписи: «Кто нарушает правила, установленные для общего блага, тот есть общий враг всех».

Был и со мной случай, очень давно, который, однако, я запомнил и до сих пор переживаю. Мы убегали от грозы, она быстро настигала нас, и ее хорошо было видно по белому сверкающему следу на темном плесе. Мы спешно выгружались на какой-то необитаемый островок в Сосниц-

ком плесе. Переждав дождь, я пошел побродить по чаще (Валя отдыхала) и, едва вступил в ее очень непрозрачное глухое нутро, которое и дождь не пробил до земли, увидел черемуху. Она росла высоко и часто. Я торопился и сделал то, что не должен был делать. Я решил сорвать большую ветку, очень густую, усыпанную влажной переспелой ягодой, и отнести жене. Я полез на дерево, подтягиваясь и пригибая его к земле, но рука сорвалась с мокрого ствола, и я полетел вниз.

Я сидел на траве, потирая ушибленное место. Я знал, что черемуха наказала меня. А ведь я был обязан ей жизнью. Я принес Вале лишь несколько ягод, оставшихся в ладони, и ничего не стал тогда рассказывать.

Мне было не больше пяти-шести лет. Я и до сих пор помню то странное и болезненное чувство, которое охватило нашу семью: меня преследовали кровавые поносы. Ни лечение, ничто не помогало, родители были в отчаянии, а я потихоньку плакал, испражняясь живой кровью и держась двумя руками за живот. Я не помню, откуда пришел совет по-моему, от соседей, отправить меня в деревню. «Там только и выживет», — было еще добавлено. Эту фразу я запомнил очень, и хотя, кроме боли, я не чувствовал ничего (что я понимал о смерти?), но и для меня как-то прозвучало: «Там только и выживет».

Я помню очень сильно, так, словно бы это было со мной сегодня утром, черемушник. Он рос на краю деревни и был, как говорили, бывшим помещичьим садом, одичавшим и превратившимся в обыкновенный лес. Я пригибаю ветку, всю в черном и блестящем, и горстями с легким хрустом рву ягоду, жидковатую от переспелости.

Потом ухожу в траву, оправляюсь кровью и гляжу на нее. Она яркая на мокрой зелени. И опять я ем черемуху, а мне говорят (не знаю кто, может быть, мать): «Ешь, милоч, твоя жизнь, милоч, ешь больше...»

Я ем ее уже с веток, я сосу ее, и хотя язык уже не ходит во рту, почерневший, тяжелый, я втягиваю черемуху

как сироп, и мне ее опять хочется. Наверное, таково было желание и моего бедного организма.

Я и потом ел ее, и ломал ветки, и наслаждался текущей черной ягодой, но никогда не съедал столько, и не мог бы, наверное, если бы захотел. Тогда было другое, борьба шла помимо меня, и в ней принимали участие моя мать, клетки моего тела и черемуха, которая стала символом жизни.

Когда я жил в Сибири, я видел, как собирают в лесах черемуху (там ее не ломают, да и посмел бы кто-нибудь сломать), потом ее сушат, перемалывают в муку вместе с косточками и делают начинку для пирогов. Зовут ее так: северный виноград, и это точно.

А тут я ходил с черными руками, черными зубами и деснами и все слышал: «Ешь, милоч, тебе как воздух...» Потом черемуху собирали в ведра и бидоны и уже кормили меня дома. Никто никогда не рассказывал мне об этих днях. Но я хорошо помню, как все терпеливо и трудно переживали мой поединок с неизлечимой моей болезнью. Я забивался в дальние зеленя за огородом и мучился, оставляя, как раненый зверек, следы крови на густой траве. Меня ни о чем не спрашивали. Обо всем говорил мой вид, а может, они находили следы после меня.

Но однажды крови не оказалось. Это было почти через месяц после приезда, и я впервые сказал об этом матери. Она почему-то заплакала и пошла смотреть, а потом сказала хозяевам, и они тоже ходили смотреть.

А мать все плакала, и по лицу у нее размазывались черные пятна, потому что она вытирала глаза черными от черемухи руками.

Мы рискнули выйти из Залучья, пренебрегнув тучей, повеявшей холодком нам в спины. Почти на плесе нас нагнал дождь. Дождь на плесе начинается с редких капель. На суше это не всегда заметно. А тут на широком, очень гладком пространстве, каким оно становится при подходе

грозы, издалека видны резкие выбоины, словно бы появляющиеся сами собой.

Капли крупны и отвесны, как пули, они чертят резкие круги и исчезают. Потом кругов становится больше, и вода напоминает фанерный щит тира, где каждый удар непременно в десятку.

Дождь учащается, и это заметно по тутому шороху тресты, так местные именуют камыш. Я много раз пережил ливни среди его зарослей и видел, как тяжелые капли, упав на листья, вдруг превращаются в серебряные крутые шарики, которые скатываются со стеклянным звоном вниз.

— Посмотри, — говорит Валя, указывая на воду. — Это же оловянные солдатики!

Вода становится пряно-теплой и густой. Дождь уже сыплет, как горох, и теперь ясно видно, как на мгновение подымается в месте каждого удара тоненький серый столбик, и впрямь похожий на оловянного солдатика. Они выпрыгивают по стойке «смирно» и моментально уходят опять под воду. Их не успеваешь рассмотреть, хотя перед глазами целые роты, дивизии и армии встающих и исчезающих солдатиков. Это войско все увеличивается, а по озеру нарастает малиновый тонкий звон, который не спутаешь ни с какими другими звуками...

Но слушать поздно. Есть мгновения — толчком в берег ноги в мокрой траве, скоро перевернутая вверх дном лодка на кряжу и деревянные колья не захотят держать качающуюся под дождем палатку. Это секунды. Потом мы сидим в сухом белье, поджав босые, еще мокрые ноги, и слушаем дробный треск ливня по брезентовому верху.

Однажды мы попали в грозу. Она нагрянула так же неожиданно, как войско из засады, из-за ближайшего леса, немного красноватая и страшная. Она стреляла отточенными молниями прямо в воду, и нам казалось, что где-то рядом опрокидываются огромные тарелки озер. Усталые и мокрые, мы высадились на незнакомом берегу. Наладить костер не удалось, мы легли под гру-

бый шорох проходящего и уходящего дождя на одеяла, сквозь которые скоро стали проступать черные пятна воды.

В лесу всю ночь кричала странная птица. Она начинала трель чисто по-птичьи, заканчивала ее по-лошадиному: «Тви-тви-его-го-го!» И утром она заорала по-человечески, выкрикивая: «Тви-тви-сье-ей!»

Когда рассвело, мы смогли оглядеться. Под нами колышались непрочные болотные мхи, в которых единственно, что было живое, — это снова вода. Деревья, чахлые сосенки, казались зелены, но какая это была зелень! Бледная, болезненная, не крепкая, не густая, не устремленная к солнцу, а словно прятавшаяся от него. Гнилой прижмитый лишай, растущий на стволах и ветках, создавал этот цвет, и за ним даже живой кожи не было видно. Это был умерший, страшный лес, и мы торопливо, даже хорошенько не обсохнув, удрали от него на озеро, окрестив с легкой руки Вали Бармалеевым лесом.

Я выглядываю, стараясь разглядеть небо между мокрых веток. Мне видно, как, растерзанные, уходят темные тучи, топтавшие нас, будто стадо диких слонов. Но вот уже рванул сильный западный ветер, и по небу поскакали синие лошади, свешивая мохнатые кривые ноги над водой. Выглянуло солнце, притихла вода. А лошади оказались вовсе не лошади, а послушное стадо курчавых барашков, суматошно толкавшихся и, мелко дробя копытцами, убежавших за лес. Мне видно, как барашки превращаются в скорых белых куропаток и те, словно теряя перья, быстро тают в воздухе, оставив нам верное, голубое, дивной глубины и обширности небо. А вода на плесе играет, как молодая рыба, выпрыгивая вдруг и подсвечивая серебряным боком.

Какие только запахи не реют над Селигером, пока его плес за плесом не пройдешь весь, немного уставая от непомерной ширины и простора. Тогда прикрываешь глаза и начинаешь его чувствовать.

Сразу холодновато и негромко проникает запах воды. Он, сыроватый, сам по себе создает образ воды, и Селигера, и еще сильных блестящих лещей, и мокрого камыша, потрескивающего, когда в нем гуляет рыба. Этот запах ни с чем не спутаешь, а люди «озерные», рыбаки и бакенщики и другие какие, с наслаждением отдышиваются им, замирая, как от первой затяжки табака.

Да и со мной происходит нечто подобное в первые секунды встречи с озером, когда, выйдя из автобуса, вдруг ослепнешь, взглянув на него, а влажный теплый воздух, повеявший от Осташковского плеса, вдруг закружит голову и сделает тебя легким и везучим. Какое-то тихое изумление медленно и глубоко проникнет в тебя и уже не исчезнет до конца поездки. Но вот уже вместе с набежавшим ветерком словно ухнешь в сено, запах травы так горяч и сладок, будто, широко расставив руки, летишь в тот стог и сухая ромашка и припеченная солнцем земляника шебуршат около твоих глаз.

А потом приходят цветы, ярко пахнущие и быстрые, а потом еще запах земли, который тяжелее, приземистее, роднее других запахов. Вода, она будоражит и зовет, наполняет тревогой и приятностью, а земля — она напоминает, она роднит, и сразу же все делается понятным и домашним. В человеке живет первородное, то, чего он и сам не знает, и чувство это от запаха земли: томящее, ноющее, как от старинных песен.

А запахи все плывут: бензин (дых-пых — одна тоненькая струйка), и осока-трава (густой, зеленый), и теплый камень... Этот запах почему-то желтого цвета и напоминает о городе.

Закрыв глаза, я вижу еще один Селигер, и если наше зрение — это мозг, а потом душа, то запах — сперва душа, и, еще ничего не поняв, что, откуда и почему, я веселею, грущу и бормочу песни, отчаиваясь и замирая.

Мы плывем к Новым Ельцам, где нынче расположена турбаза. По общему признанию, это одно из самых живописных мест на Селигере. Мимо Бычка и мимо мыса Телка.

Кстати, на Телке седьмой, что ли, год проводит отпуск в одиночестве один человек, научный работник из Москвы. Ловит рыбу, вялит ее или коптит, а кругом называют его комендантом Телки. Туристы рассказывают про него массу любопытных подробностей, рассказывают, что он очень гостеприимный человек. Однажды к нему завернули промокшие от бури и дождя туристы, и он принял в них живое участие. Нагнал муравьиного спирта (поставил банку с муравьями на костер, и они от страха выдали двести граммов спирта) и стал спиртом натирать девушкам спины.

Сам рассказывал: тер, тер, даже мужские чувства заговорили. Огорчился невозможно. Оттого, что не хотел быть с женщинами на Селигере и пока обходился без них. Позвал туристов, чтобы они натирали муравьиным спиртом девушкам спины, а сам отправился пить «Поме-ранцевую». Впервые, говорят, проклял свое одиночество и решил больше на Селигер не ездить. Но знал, что в Москве, только схлынут холода, снова затоскует по широкой воде, как тут затосковал по женщинам, и снова приедет сюда.

Хочу привести краткую характеристику Ельцов путешественника Озерецковского: «Село Ельцы г-д Толстых, при коем церковь богатая, каменная, дом каменный о трех этажах, полотняная фабрика, кожевенный завод — тут был прежде всего театр, музыка духовая и роговая, певчие и перевоз на противоположащую сторону».

Толстые владели четырьмя поместьями (первоначально): Боровское, Княжное, Неприе и Ельцы, которые протянулись, почитай, от Осташкова до Новгородчины. Но все это было в конце концов прожито. Некоторые, правда, пытались организовать фабричное дело, как видно из того же описания Озерецковского, но, не выдержав конкуренции (труд крепостных крестьян был малопроизводителен), разорились и забросили дело. О том же, что эксплуатация была сильной, свидетельствует упоминание о тюрьме, которая была в Ельцах.

О смерти предпоследнего из Толстых рассказывал мне Виноградов. Что понравилась графу девка деревенская, из Заречья, говорят, красавица была. «Ну и потребовал он ее к себе в спальню, а она опосля и утопилась, во-он в том заливчике. А у нее, значит, был любезный в своей деревне да братья еще, они затаили злобу на помещика. Раз у острова Журовки подкараулили на тройке, скрутили его и кучера. отобрали пистолет, сняли шубы.

— Вылазь из саней, ваше сиятельство!

Дали пешню:

— Бейте прорубь. Нагревайтесь.

Мороз здоровый был.

Пробили прорубь, упарились. Тут их мужики окунули в эту прорубь и вытащили. И снова окунули. И снова вытащили. Этак, пока в памятник не превратились. Потом посадили барина на свое место, кучера на облучок, полили еще водичкой и подстегнули лошадей.

— Езжай теперь в свой дворец!

Привезли их лошади; что такое, барин не выходит хватать, а он как статуя».

После него уже Леонид Толстой владел усадьбой и промотал все, что оставалось. А у Леонида Толстого купил усадьбу Сафонов.

— Свежо и интересно воспоминание о последнем владельце имения Сафонове, — говорит Виноградов. — Бедный драгунский корнет родом из Торжка неожиданно получил наследство после смерти богатого дядюшки. Говорили, пять миллионов рублей. Счастливец вернулся в Торжок, загулял. Случайно, спьяна, попал в Осташково и там, не глядя, купил имение Новые Ельцы у последнего из династии Толстых — Леонида Толстого. Вернее, имение было прожито, оставались один дворец да полуразвалившиеся хозяйственные и жилые постройки. Да еще сто десятин земли вокруг чудесного парка.

Место Сафонову понравилось, он отстроил заново театр, завел своих артистов, в торжественные дни доставлял знаменитостей из Москвы и Петербурга.

Рассказывают, в Осташкове Сафонов с друзьями устраивал шумные кутежи. Они собирали всех осташковских извозчиков, садились впереди с девицами на коленях и так, поездом, ездили по улицам города. У лавки купца велели выкатить бочку меда и приказывали: «Мажь колеса медом!»

Когда Сафонов парился в русской бане, то на каменку подавали шампанским. В шампанском же, залив его в ванну, он крестил заново своих собутыльников, придумывая при этом новые имена, вроде: Саул, Дик, Балбес, Фауст...

Со своей любовницей, первой артисткой театра Софочкой, он проводил таким образом лето в Ельцах, зиму в Италии, Венеции, Париже.

В парке, который от дворца террасами спускался на юг к воде, вдоль широкой лестницы в чугунных вазах пестрели чудные цветы, на площадках струились фонтаны. На сваях стояли пристань и купальная с кружевными арками. На курганчике, который поднимался над водой, над чудесной аркой стоял мраморный Амур, держащий в руках сердце, пронзенное стрелой.

Здесь, кстати, похоронил Сафонов за год до своей смерти любовницу Софочку, которая отравилась, заразившись от него сифилисом в Париже.

Кончил же Сафонов так. Однажды вдруг под Новый год явился он на тройках, с многочисленными гостями. Дом засветился огнями. В тронном зале на хорах днем и ночью играл оркестр. Сафонов сидел на троне, гости — за столом в зале. Стол сверкал хрусталем, и живыми цветами, и фруктами, стрелка часов подходила к двенадцати. Прекрасная девушка в прозрачном наряде босиком танцевала прямо на столе.

И тогда Сафонов сказал:

— С Новым годом, господа! Желаю вам счастья в нем. Я же пережил свое счастье и сейчас ухожу от вас. Прощайте-с!

И с тем пустил себе пулю в лоб.

После смерти оказалось, что за пять лет Сафонов сумел прожить свои пять миллионов и имел три миллиона долгу. Имение уже давно было заложено. Долго не находилось охотников на него, стоило оно бешеных денег. За имением призирил урядник Кононов, который жил во флигеле против дома. Все одичало и проросло. В зале нижнего этажа стояла верховая лошадь урядника, туда же убиралось и сено, которое он косил в парке рядом.

Все застыло в тишине и разрухе. Наконец нашелся покупатель. Имение купил управляющий государственным банком Столыпина Нейгард. Купил не без расчета: хитрый немец учел красоту Селигера и решил превратить Новые Ельцы в курорт.

В Отечественную войну дворец был взорван и восстанавливался почти до последнего времени.

От дворца, который стоит на вершине, к пристани идет прямая дорога. Каждый день сюда приходит пароходик, он выгружает приезжих туристов на шаткие, белые от частых дождей доски и уплывает дальше.

Особенно шумна пристань в дни разъезда. Сотни человек толкуются на берегу, орут новые песни, целуются, пишут наспех адреса. Потом пароходик отплывает, и вслед ему в воду летят полевые цветы. Уж так заведено, последний привет с селигерских полей. Так провожали некогда и нас, и Володька Магерин, свешиваясь через перила, орал:

— Не забывайте, как вместе селигерились!

Цветы качаются на волне, сотни рук машут, и все будут стоять до тех пор, пока судно не скроется за ближайшим поворотом.

Здесь я знакомился и прощался со многими очень верными, даже ставшими близкими мне людьми. Все они были в одном похожи друг на друга. Они любили Селигер. И снова приезжали к нему.

Однажды я тут разговорился с синеглазым человеком моих лет, совершавшим путешествие с женой на байдарке. Судно звалось «Мария» в честь супруги.

— Есть неписанный закон, — сказал он. — Тот, кто приедет сюда больше десяти раз, получает отчество — Селигерович. Ну, как бы природняется к батьке Селигеру, понимаешь?

— А вы который раз? — спросил я.

— Восьмой. Да что я, вы у моего отца спросите... Может, слышали такого: профессор Уварский? Ну вот, его весь Селигер знает, он иначе и не зовется, как Ян Селигерович. Лет тридцать подряд он сюда приезжает, да и еще приедет.

Пришла жена моего нового знакомого, она бегала за продуктами, и «Мария» отплыла в озеро.

Я познакомился здесь с девушками из города Иваново. Они были в чем-то одинаковые: темные, совсем не модные платья, маленькие косички уложены на голове и повязаны тесемочкой. В них не было того, что сразу отличает столичных наших девчонок: ни прически, ни легкости одежды.

Они ходили всегда вместе, так и запомнились. Ивановские. Но я хочу рассказать, как они пели. Это были очень обыкновенные запевки из фабричной, близкой им жизни.

*Ох, Иваново, Иваново, фабричный городок,
До чего довел меланжевый — качает ветерок.*

Но, услышав такое, я остановился и вдруг забыл, куда шел. Пели они не так, как обыкновенно поют частушку. У нас ребята тоже за словом в карман не полезут и тут же со свистом выдадут нескладушку: «Эх, пойду на Селигер я, в Селигере утоплюсь, и кому какое дело, куда брызги полетят!» Была у нас и такая, услышанная здесь же, у местных туристов:

*Если ты утонешь и ко дну прилипнешь,
Ты сначала всхлипнешь, а потом привыкнешь.*

Нет, все было не так.

Они пели тихо, протяжно, точно лирическую песню. И оттого даже веселые слова выходили по-своему трогательными и волнующими.

*Гармонисту за игру надо премировочку:
Коечку, периночку, семнадцать лет малиночку.*

Так я и шел на голоса, по траве, через кусты и каналы. Многих слов я просто не разбирал, но красота голосов влекла к себе. Я вышел к заливу и снова не нашел их. Только двухголосо и медленно, не нарушая прозрачного вечернего спокойствия, вроде бы сами собой текли голоса.

Я знал, что все они работают одной бригадой, бригада их за перевыполнение плана была премирована путевками на турбазу «Селигер». Знаю немного и их работу, подобную я видел в раменском крутильном цехе. Они идут вдоль станка, меняют шпули и вяжут узлы специальным железным крючком: 220 поклонов в час, 1540 в смену, вот и все.

В цехе стоит горячий воздух, в таком воздухе даже цветы не растут, а у девчонок от жары не то что чулок, но и под платьем ничего нет. Да и кого стесняться, если от цеховой смотрелки и до целой фабрики — только женщины.

Один директор сказал мне:

— Текстильная промышленность — это женская проблема. Любовь нужна им? Мужья? Семьи? А! То-то!

*Дуб, сосна выше ели,
Но судьба заставила
Мальчика любить в шинели.*

Теперь я их увидел. Они сидели в лодке, по три девушки на скамеечке, друг против друга. Лодка никуда не плыла, а была привязана веревкой к кустам и покачивалась на волнах.

Кругом зеленел тростник, приумноженный своим отражением.

Однообразно поскрипывая уключинами, проплыла по заливу лодка. От нее веером пошли блестящие волны. Человек в лодке закричал девушкам:

– На ужин! Эй!

Они рассмеялись, стали отчаливать. Одна стояла босиком и отвязывала веревку, подружки пересаживались на корму. Потом они оттолкнулись и поплыли к пристани. Одна из них запела длинно, и все враз подхватили:

*Ты, подруга дорогая, не люби военного,
Военные обманные,
Как часы карманные.*

Медленно уходило за деревья солнце и вдруг сорвалось, как медный шарик, и булькнуло в озеро. Ярче запахло зеленью, всплеснула рыба. На веранде заиграла радиола, но вдруг, перебивая ее, четко, точно у меня под ухом, так бывает только на гладкой воде, полились стройные, чуть угасающие голоса:

*У кого какая баня, у меня кирпичная,
У кого какая милка, у меня фабричная.*

И все смолкло.

У Антона протез. Но он идет на танцы вместе с нами и стоит у края веранды. А я тоже стою и вижу, как он морщится и все смотрит, какая девушка больше всех сидит. Она будет некрасивой, тихой и молчаливой. Он это знает заранее. И я тоже знаю, только он не знает, что я все это знаю, потому что я шучу, смеюсь и делаю вид, что мне совсем не хочется танцевать. Тогда Антон останется один, и ему будет трудно. А дружки уходят и крутятся, взбивая невидимую горькую пыль, и «кадрят». И я говорю:

– Чер-ти, кадрят... Но у Гошки типичное не то...

– Не то, — говорит Антон и смотрит на молодую женщину, которая не танцует. Кажется, он подойдет к ней, но ему надо несколько глотков живой воды. И я даю их.

— А вот кадришка ничего себе... А?

— Ничего, — говорит Антон, проглатывая слюну и напрягаясь. Глаза у него делаются большими.

— Я бы пригласил, — говорю я еще. — Но видок у меня прямо скажем...

— Я сам, — хрипло говорит Антон и делает шаг к женщине здоровой ногой. Он шагает к ней, держась прямо, даже очень, потом наклоняется и что-то говорит. Я не слышу его голоса, но примерно знаю, как это звучит.

— Я не очень хорошо... Но... Пожалуйста...

— Да ведь я тоже, — скажет женщина.

— Помаленьку, да? — говорит, оживляясь, Антон и слишком бойко берет даму за локти. — Помаленьку, да? Не будем гнаться, да? — повторяет он еще, но пытается танцевать, как остальные. Только чуть-чуть хромает. Это заметно рядом с женщиной, и Антон смотрит по сторонам, видит ли их кто. Но кто сейчас будет смотреть, да и я стою, гляжу в другую сторону и скрываю зевоту, до того мне скучно на этих танцах.

И Антон это видит и смелей ведет даму, покачиваясь и все так же криво ставя ногу.

Мы знакомы с Антоном давно, с той поры, когда я работал в научно-исследовательском институте. Он гравировал приборы, шкалы разные, и на указательном пальце у него профессиональная мозоль. Ногу он потерял на фронте, в бою. Пехота была сзади, а ему, как он говорит, понадобилось со своей пушкой лезть на рожон...

— Семнадцать лет, вот и прыгал впереди всех! — говорит он.

Сперва была рана, он ухлопал на нее два индивидуальных пакета (свой и товарища) и продолжал бой. В госпитале, куда он попал только на второй день, уже ничего не могли сделать, ногу ампутировали ниже колена. Потом дома, ее резали еще два раза, и теперь у него протез выше колена.

Соседская дочка играет в его ордена, которые хранятся в ящичке среди шурупов и гвоздей. Она прицепляет ордена на платье (орден Славы с одной стороны, орден

Красной Звезды — с другой) и так марширует по комнате: «Ать-два! Ать-два! Дядя, я играю в войну!»

— Становись за мной, — кричит девочка. — Ать-два!

А ему смешно, он тоже, нацепив значки разные (МОПР, «Ворошиловский стрелок»), маршировал до войны: «Ать-два». А теперь у него «ать» — есть, а «два» — нету! И до того ему становится смешно, что он идет за поллитрой. «Аты!» «Аты!» А тут друзья.

— Антон, собирайся, едем на Селигер.

— Я там буду пить, — говорит он, а сам: «Ать-ать!»

На следующий день после водки он обычно не встает, а мучается, лежа под одеялом с серым обострившимся лицом. И пьет только один круто заваренный чай. Потом оживает, виновато моргая чистыми голубыми глазами, клянет свою несдержанность, божится, что до конца отдыха не будет во рту ни капли, и идет с нами на танцы.

Вот сейчас, обвыкнув, он проходит мимо меня, и хочется мне крикнуть: «Дуй, Антоша, танцуй, судьба — дура, да мы живые люди...»

Я говорю ему:

— Кадры решают все!

Он с удовольствием смеется и боком, боком, так же выворачивая внутрь ногу, уходит в гущу танцующих.

Вечером он суетится, первый бежит к лодке и торопится принести воды, разжигает костер, рубит дрова, и его не узнать.

И оттого, что он сегодня такой, Антон мне особенно нравится, и вечер, и костер. И я совсем перестаю замечать, что он хромает.

Только он присядет рядом, хлопнет рукой по протезу, скажет вдруг:

— Вот комар, чего он, кажется, понимает? А на мертвую — не садится... — И долго смотрит на носки ботинок.

У Юрки была нервная мама. Никаких походов она не признавала, и отношения у них строились так. В субботу он уезжал с рюкзаком и приходил в воскресенье. Понедельник они не разговаривали. Вторник мирились, в среду

налаживали отношения, в четверг становились друзьями. В пятницу общая атмосфера ухудшалась, так как в субботу он уходил с рюкзаком... В понедельник все начиналось с начала. Юрку я любил за невидимую нежность ко всему красивому. Руки у него были с длинными пальцами, тоже какие-то нежные, ласковые, что ли, но он был лучшим мастером у себя в столярном цехе, а дома всю мебель сделал сам. Кстати, собрал он и карманный приемничек, чтобы на Селигере не было скучно. В вагоне Юрка подносил нам к уху пластмассовую коробку и спрашивал:

— Гудит? То-то! Это фон, а в Осташкове он будет кричать, не успокоишь...

В коробке что-то шуршало, словно туда насажали майских жуков. В Осташкове он так и не закричал, а только несколько раз хрюкнул и притих. Ликованию Юрки не было предела.

— Слышали? — спрашивал он. — Ну вот. Приедем на базу, будет кричать...

На турбазе приемник отказался говорить. Он стоял у нас в головах, занимая изрядное место. Из уважения к передовой технике мы не выбросили его, даже не утопили в Селигере, а, засыпая, слушали, как в маленьком ящике что-то шуршит. Видимо, на всей земле шли непрерывные однообразные дожди. Мы тоже в те дни страдали от непогоды. Обувь у нас не просыхала, и Юрка как-то предложил:

— Набейте в кеды солому, они за ночь высохнут.

Тогда Лева сказал:

— Если что, я завтра этой соломой набью Академика и выставлю на самом видном месте Селигера...

У Юрки была кличка Академик. Конечно, кеды так и остались мокрыми, и ребята ругались отчаянно, говоря, что в обуви проросли овсы и горохи.

Из банки, которую убрали в палатку от дождя, а потом опрокинули, расплзлись по углам черви. Мы их находили повсюду, даже в карманах. И Володька как-то сказал:

— Что ж, такая, видно, судьба рыболовов: кто-то спит с бабами, а мы с червяками.

А приемник по-прежнему воспроизводил один шум, и нам казалось, что весь мир погребен под серыми, мглистыми дождями и не существует больше никаких звуков, кроме одного — шуршащего.

Приемник ожил неожиданно для всех и для Юрки тоже. Это случилось ночью. Еще не проснувшись, мы почувствовали, что в мире произошло необычное. Какие-то спокойные, счастливые картинки вдруг привиделись перед пробуждением, и тихий, ниоткуда взявшийся вальс покачивал нас во сне. Мы зашевелились, потом враз подняли головы, ничего не понимая. Гибкий, широкий звук наполнял нашу палатку, и шел он от приемника.

Мы откинули полог и ахнули. Никаких дождей не было и в помине.

Стояла блестящая селигерская ночь. Густые темные деревья стряхивали с листьев последние капли, не высушенные луной. Ярко пахло зелению, тонко позванивали медные колокольцы звезд. Между кустами шевелился залив, и он тоже играл, рассыпая тысячи медных блестящих звуков. И даже можно было разглядеть, как от одной очень яркой звезды легла через воду дорожка, пронзительная и хрупкая, как золотая игла. Кто-то говорит:

— Поедем в озеро.

Я их помню несколько, великолепных селигерских ночей, когда мы не могли спать и уходили в озеро. У нас было три лодки. Мы, негромко всплескивая и оставляя веслами воронки на воде, которые тут же заполнялись до краев жидким лунным светом, уплывали в бесконечность.

В зыбком непрочном свете озеро словно бы все играет, а в то же время оно невидимо. Прозрачный сумрак лежит над водой. В такие минуты даже у музыканта возникают медленные, незнакомые, какие-то лунные мелодии. Почти молитва. Вроде Аве Мария. Аве Мария! Аве ночь! Аве луна! Аве Селигер! И все молчат, и плывут в сиреневое густое пространство, и никто не спросит: «Куда? Зачем? Надолго?»

Но помню я, как Володька Магерин плясал однажды вот тут, посреди озера. Две лодки поддерживали с боков третью, а на узенькой деревянной скамеечке, разнося

мелкую дробь по воде, плясал Володька. Он плясал «цыганочку», выгибаясь и кружась, и казалось, что все мы немножко сумасшедшие, что все загипнотизированы необычными красками и звуками. Лодку лихорадило от быстрых ног, кто-то кричал: «Танец рыбаков с бреднем!» — и Володька — кто такое умел, кроме него, — ходил словно над пропастью по тонкой дощечке; отступая назад и кружа, он выхлопывал по своему телу замысловатые ритмы, он диковато и ходко ускорял и без того скорый ритм, пока как подрубленный, не упал на руки друзей.

Еще были песни. Их было больше всего, они насквозь заполняли все наши вечера, делая каждый вечер по-своему удачливым.

Кто-то скажет:

— Комсомольскую. Первые слова — «Там, вдали, за рекой...».

— А как у вас с членскими взносами? — спросит вдруг Володька. — Все, кто механически выбыл, могут подпевать...

А пока шум да смех, к костру подвигается Юрка. У него негромкий, очень тонкий голос, и песню эту имеет право запевать он один. Так у нас заведено. Антон машет предостерегающе рукой, и становится очень тихо.

*Там, вдали, за рекой, загорались огни,
В небе ясном заря догора-ла...*

— Женские голоса, — предупреждает кто-то, и стройно, немного осторожно вступают девушки. Потом присоединяемся мы, и песня делается какой-то суровой и в то же время жалостливой.

Когда поют девчата, кружится голова, точно тебя быстро поднимают на высоту. Их голоса уводят в ту неведомую даль, где в бою умирает мальчишка. И уже чудятся тревоги, ночи, пробитые выстрелами, и трудная невозможность помочь тому, похожему на нас человеку, который где-то рядом, может быть за этим леском, истекает кровью...

А мы-то и не родились еще!

Темная, склонилась над островом и молчит старая липа. огни играют на нижних ветках. Тихо. Когда пламя костра на мгновение увянет, вокруг на ветках вспыхивают сотни зеленых огоньков. Это днем рубили гнилую осину, щепы обрызгала все вокруг, и теперь оно зажигается необыкновенным матовым светом. В просвете между ветками мерцает и шевелится во сне залив.

*Капля крови густой из груди молодой
На зеленую траву стекала.*

И опять мы сидим молча. Тишина, рожденная среди многих сразу людей, очень трогает.

Зойка на лето приезжает сюда работать инструктором. В первый же вечер она появляется у нашего костра. Она стоит маленькая, гибкая, ясные, уж очень ясные глаза и зачем-то накрашенные губы.

— Здравствуйте, путешественники!

— Здравствуй, коли не шутишь, — говорим мы.

Зойка, милая, преданная наша Зойка, как хорошо, что она пришла. В своей красненькой ковбоекке и шароварах она влывает в красный свет костра, а мы все смотрим на нее. Мы все любим Зойку и все никогда не говорим ей об этом.

— Садись, что ли, — предлагаем мы, раздвигаясь.

Она сидит, молчит и слушает наши песни. В глазах под густыми ресницами то ли от звезд, то ли от искр прыгают веселые огоньки. Она предлагает, не улыбнувшись:

— Кто-нибудь хочет завтра на яхте?

— Ого! — произносим мы одновременно и подсакиваем.

Мы все хотим ехать с Зойкой на яхте. Все, кроме дежурного, который тоже хочет быть с Зойкой на яхте. Но мы говорим ему:

— Цыц, раб, прикованный цепями примитивно-первобытного хозяйства к лагерю! Нишкни! Мы едем!

Эти поездки необычны. И дерзки. Есть несколько мгновений жизни, которые я как-то резко и навсегда запомнил. Таким был взлет на самолете, впервые увиденное Черное море и вот это, поход с Зойкой на яхте. Ребята усаживаясь в парусник, шутят:

— Эй ты, не грызи шкоды!

— Ну, ну, помалкивай, стаксель!

Лева обязательно спросит, памятуя о том случае, когда мы час плавали в ледяной воде, ожидая спасения: «Круг взяли?»

Некогда мы выплывали даже на двух судах, которые именовались «Ох!» и «Ах!», а так как у нас было два Юры, то они стали называться после: Юрка Оховый и Юрка Аховый.

Между тем мы медленно, галсами выходим из залива и начинаем ловить ветер. Нас подхватывает, яхта становится вроде бы легче, и она потечет, едва касаясь волн и со свистом взрезая воздух.

Все озеро покажется наклоненным в одну сторону, а мачта начнет чертить зигзаги по небу. Вот это мы и любим. Свист, брызги, захлеб ветер, иногда волна. Какая-то чисто дедовская лихость от взвинченных троек, и потому надо петь, орать и гикать.

— Левый натяни! — кричит Зойка и, щурясь, смотрит вверх. Мы здесь только команда, мы слушаемся и натягиваем левый. Но Юрке хочется поозорничать, и он говорит, подражая обидчивому мальчику: «Не хочу». Теперь мы летим, зачерпывая воду, еще секунда, полсекунды, и мы с разгону воткнемся в озеро и со скоростью пули вышибем дно. Но Зойка тоже сделана не из ваты, она принимает игру, и это самое ужасное и великолепное.

— Юрик! Ну, потяни веревочку.

— Не хочу. Не буду, вот.

Теперь через борт с шипеньем льется волна, а озеро дыбится и встает стоймя, и берег отчего-то у нас сверху. Может, потому, что мы теперь наверняка перевернемся. становится смешно, и мы не можем говорить.

— Юрочка, — произносит ласково Зойка, — будь умницей, дерни за веревочку. А не то мы все пойдем к рыбкам.

— Ну ладно, — как-то очень быстро соглашается тот, и берега вдруг встают на свои места. И снова перед нами сильнее, куда-то летящее, взвихренное, которое мы называем Селигером, а мы летим сквозь него, и торопим сами себя, и хотим все сильнее, все дальше!

...Зойка сидит у костра и слушает нас, закидывая назад голову и вглядываясь в небо. Потом встает, устало проводит рукой по волосам:

— Итак, до завтра. Спокойной вам ночи.

Мы тоже встаем, кто-нибудь, кажется Лева, скажет: «Спокойной ночи, спать до полночи, а потом вставать и комаров гонять».

Зойка уходит по темной неразличимой тропинке на турбазу, это с километр. Чтобы ей было веселей идти, мы поем вслед хорошую песню.

— Счастливо тебе, Зоя!

Тропинка идет вдоль озера, и мы знаем, что песня будет до самой турбазы сопровождать нашу Зойку.

Прошло ровно десять лет с тех пор, как я начал эту книгу. Мне было немного лет, я поехал сюда, не ожидая ничего и, может быть, ничего не желая найти.

И этот край вдруг стал мне родным. Не только местом, где я не родился, но хотел бы родиться, но и местом, где, может быть, хотел бы умереть.

Когда я впервые попал сюда, я не знал еще ни Черного моря, ни Ленинграда, ни Ангары, ни Закарпатья, ни других каких-либо мест. Я покидал мой Селигер, чтобы узнать то, чего я не знал, но всегда я возвращался обратно.

И я никогда не разлюбил его. Наверное, оттого, что я родился под таким же небом, среди таких же берез и сосен... Даже невозможно объяснить, но великое тяготение Селигера я испытываю всегда и подчас ухожу в Третьяковку, к Левитану и Шишкину, чтобы почувствовать Селигер, переживая в то же время тоску по обыкновенной селигерской воде. Из справочников известно, что водопроводная вода поступает в столицу также частью из Селигера. Иногда, поставив ладонь, я смотрю на нее и представляю

мокрый песок, и чащу камыша, и тихую сосну на кряжу. Но водопроводная вода — это химически очищенный продукт: и луга, и камыши, и лес остались там, за пределами фильтров, и ничего она мне не принесет, кроме новой тоски.

И снова я еду на Селигер и гляжу на него так, словно никогда не видел, все опять ново в нем.

Вчера на рыбалке меня застал дождь. Он шел ровной полосой, и от него стоял треск по плесу, слышимый за километры. Потом приблизился и встал рядом со мной, этот дождь, и замер на секунду, и я увидел, что моя байдарка слева мокрая, а справа еще сухая.

А рядом рыбак из Старого села надел целлофановый мешок и сидел в нем, как жук в водяном пузыре, неподвижно уставившись на удочки.

А я, забыв укрыться, смотрел на воду, на небо, дальний лесной берег (горизонт в несколько рядов — от зеленого до темно-синего) и все опять думал о нем. Сколько прошло времени, мы выросли, вызрели и, кажется, чему-то научились. А Селигер опять при нас, он, наверное, на целую жизнь, и тихо шумит нам, и рассказывает так же, как мы ему, свое, иной раз такое странное, что и не поймешь, что же это? Моя лодочка до краев полна его насмешливыми небылицами, вот некоторые из них.

ЧЕРВИ И ПАУК

На дне лодки всегда живут сто веселых червей, которые удрали из консервной банки, приготовленной для рыбной ловли. Почему именно сто, я не знаю, может быть потому, что их очень много. Все свободное время в дальнем углу на корме они рассказывают анекдоты, в которых высмеивают плотву и окуней. Иногда они распевают хором озорные песни и пристукивают в такт хвостами.

Рядом живет паук с раскладными ногами, как у штатива. Он перепутал все капроновые лесы от моих удочек, а в часы рыбалки тихо щекочет мне лодыжки. Нарочно он делает так или нет, я, право, не знаю, но какая это рыбалка,

если тебе лодыжки щекочут. Я начинаю громко хохотать, и вся рыба расплывается прочь.

МУРАВЕЙ

Муравей тащил ягоду. Тяжелую. Красную. Из нее капал сок, и у муравья щипало глаза. Весь день он тащил ягоду и на закате солнца оказался на тропинке, а за ней уже была видна острая крыша муравейника.

По тропинке шел человек. Он нагнулся и сказал: «Пляди-ка, ягода». Потом увидел муравья и щелчком сбил его на землю. «Пооди прочь, привык на готовенькое!»

И с тем засунул ягоду в рот. И пошагал дальше.

УЛИТКА

Улитки все одинаковы, так же как и солдаты. В форме у них единообразие, и свои ракушки они делают слева направо, по закону стандартной резьбы. Если у вас живет поблизости улитка, вы это можете проверить.

Но нашлась одна улитка, которая сделала себе ракушку по-иному. Справа налево. Это была творческая улитка, не похожая на остальных.

Пришли люди и сказали: «Взгляните, какая редкая ракушка. Она с левой резьбой». И они забрали ее. Улитку же они вытряхнули, она им была совсем не нужна.

УТЕНОК

Он потерял гнездо, этот маленький утенок. Среди камышей его почти не было видно, только пронзительный крик, одинаковый в общем-то у всех детей и детенышей, несся над водой.

И многие из нас, сидевших в тот миг на рыбалке, слушали беспомощно, как по соседству творилась беда. А он плыл и плыл вдоль берега, тревожа все новых людей. И те откладывали удочки и начинали смотреть на озеро. Но

вдруг новость откуда над нами пронеслась взволнованная серая утка и словно бы упала с лёта в камыши. И мы облегченно вздохнули и, закуривая, заговорили вдруг торопливо и радостно, словно сами пережили трудные минуты.

ВОРОНЫ

Прямо над нами жили вороны, этакая интеллигентная семья. А Валя спросила утром:

— Ты вчера только две рыбки поймал?

— Как же две? — возмутился я. Потому что нет обиднее подозрения, что рыбак ловит по две штуки.

— А сколько ты поймал? — спросила Валя, и мне показалось, что она спросила это очень странно.

— Может, ты разучилась считать? — спросил я на всякий случай.

— Тогда иди и посчитай сам, может быть, у тебя выйдет больше.

Вот так она сказала и пошла умываться. Из котелка торчали два унылых рыбьих хвостика, и я все понял.

— Это вороны! — закричал я.

— Конечно, некоторым неудачникам хотелось бы свалить все на ворон, — говорила Валя, обращаясь к полотенцу, которое держала в руках. — Но порядочно ли это — обижать честных и работающих ворон?

Я молча сел, пристыженный и тихий. Почти рядом на суку сидела ворона и, едва усмехаясь, глядела на меня одним глазом.

— У-у, каркало! Я тебе перышки почищу, — шепотом сказал я ей и показал кулак. Словно бы не поняв моей угрозы, она равнодушно отвернулась и поковыряла в зубах длинным костяным ногтем.

ШУРКА

Я разобиделся на весь белый свет и пошел купаться. Когда я сержусь, я надеваю ласты, маску и ухожу к своему другу Шурке.

Такое имя я дал щуренку. Сперва я даже жестоко ошибся, приняв его за палку. Лежит себе на желтом песке черная головешка, и подводное течение качает ее с боку на бок. Но я разглядел, что это рыба, и подумал: дохлая, видно. Чего ей лежать так странно, что ее водой качает. Но я вернулся и тронул пальцами скользкую спину. Вот тут и головешка моя подпрыгнула, точно черная вспорхнувшая птица, и метрах в трех улеглась опять на песок.

— Ах ты, щука, ах ты, Шурка! — сказал я тогда, удерживаясь от смеха, и два добротных пузыря выкатились у меня изо рта.

Я опять подплыл: лежит себе щуренок, только глазом сторожит каждое мое движение. И глаз у него на носу, точно колесо на телеге, поворачивается. И кажется мне, что он хочет крикнуть с досадой:

— Ах, ну до чего же ты надоедливый товарищ! Разве ты не видишь, что я на охоте, и в такое время мешать нельзя.

Потом мы с Шуркой встречались не раз и не два. Он лежит, покачиваясь, рыбку сторожит, словно узкая подводная лодка, затаившись на дне. А я тут же плаваю, обиду свою в бульки превращаю. А когда бульки кончаются, я прощаюсь с Шуркой (он хвостом лишь шевельнет) и выплываю на солнце, которое все такое же медленноватое, вроде бы колючее от лучей, но очень нам нужное. Перед этим я подплываю к кусту элодеи, которая растет в воде и похожа на ветку сосны. Я отламываю ветку и приношу Вале.

— Шурка тебе прислал. Держи. — И иду одеваться.

— Лаврового листика положили?

— Эх, ушица, за уши не оттянешь...

— Тройная!

— Трехэтажная!

Живой лещ еще стучит хвостом и все попадает по морде окуню. Опущенная в кипящую воду рыба меняет цвет глаз — верный признак, что она сварилась. У окуня как камень-янтарь глаз делается ярко-желтый, у плотвы и леща — белый. Тогда рыбу вынимают, чтобы не замутнела юшка, от которой уже аромат на весь лес.

Кто не жил в лесу на берегу озера, тот вряд ли знает вкус настоящей рыбы, с белым мясом, сладкой, нежной, тающей во рту. Один мой товарищ любил говаривать: «Рыбу надо съесть по «собственному ее желанию». То есть как она хочет. А каждая хочет быть съедена по-своему...»

Как-то я поехал за грибами в деревню Донино, к товарищу Сашке Яблочкину. Мы тогда только поступили на первый курс техникума. В Люберцах на платформе встречались: Сашка с поезда, который приходил с Куровской рано утром, я из Ухтомской, и ждали электричку, холодея на осеннем ветру. Потом лезли на крышу, вагоны были битком забиты, и так сидели, обняв друг друга и согреваясь Сашкиной шинелью. Это была короткая, очень странная дружба, когда сердца открыты всем, всем, и оттого можно ездить на крыше и где угодно, а земля, голубая, в утренней дымке...

Вот к Сашке Яблочкину я и поехал за грибами. Запомнил я две вещи. Во-первых, мне никак не попадались грибы, тогда как деликатный Сашка собирал только там, где я уже прошел. А у него дома бойкая младшая сестренка пересыпала его корзинку ко мне. Раздосадованный, немного покрасневший Яблочкин, который и сам хотел это сделать, но опоздал, закричал на сестру:

— Ну, чего ты лезешь? Там ведь есть грибы для засолки, они ему все равно не нужны!

И еще я запомнил суп. Я точно знаю, что и после я никогда не ел такого супа. Это была деревенская похлебка, с картошкой и прочими зелеными, с мясом, которое расташилось до того, что само растаяло, поделившись на тонкие белые жилки. Ее томили в чугушке в русской большой печке, и такая это была похлебка, что я ел, и задыхался, и обжигался, и не хотел больше, а все-таки ел.

— Особый какой-то суп, — сказал я.

Яблочкин засмеялся:

— Особый... Проголодался ты просто, вот и получается особый!

— Нет, он вкуснее!

Я не мог объяснить, чем он вкуснее, и поэтому попросил вторую миску.

Вот тоже и рыба. Ее не объяснишь, не расскажешь. Ее едят у костра, когда еще не высох садок и чешуя еще не остыла, а тут же с каплями крови рассыпана на песке, как гривенники. И руки в горячем масле, и хлеб в масле, и губы, и щеки...

Как говорят на Селигере: жуй да плюй! Можно, конечно, и в Москву щучку какую привезти, набив ей брюхо крапивой и в ту же крапиву хорошенько завернув, только ни в коем случае не чистить... Но все равно не будет в ней той свежести и сладости, как у берега озера.

И, отваливаясь на траву, ты думаешь: «Всё, по горло, скоро медок на животе выступит», — но не говоришь этого, а, наоборот, протягиваешь руку за желтым, еще с кипящим боком окуньком. Пожалуй, вот это и все. Но потом ты будешь так говорить несколько раз, пока не опустеет сковородка, и сладко не отхрустят обжаренные плавники, и даже масляные обжарки исчезнут с краев ее.

Рыба — это все-таки странное, серебристо-холодное изделие, которое в чем-то непонятно, всегда радостно, словно одухотворенное живое серебро, которое ты сам создаешь.

Я люблю смотреть, как в магазине продают живую рыбу. Продавцы в этих отделах обычно веселые и приятные ребята. Они лезут в огромные стеклянные аквариумы с водой, чуть красноватой от рыбьей крови, они черпают живое серебро большими подсачниками и со смехом бросают его на весы. Тучные сазаны или лещи падают, задыхаясь, открыв толстые рты, словно замороженные быстрым бегом. И сразу успокаиваются, почувствовав приятную холодность металлических весов, а потом исчезают, довольные, в толстых бумажных свертках, как будто заворачиваются в одеяло на ночь.

— Скажите, пожалуйста, откуда такая рыба?

— Из воды небось. Рыбка плавает по дну...

— А откуда ее привезли?

— Эту, что ль? Из Осташкова. Слыхали небось — Селигер?

Итак, рыбу ловят в Селигере. Это не секрет. Ловят издавна, всякими методами и в большом количестве. Ихтиологи называют двадцать один вид рыбы, которая водится в озере. Примерно столько же в начале прошлого века перечисляет Озерецковский. Называет он и способы ловли, известные в те времена. Невода, одинки, бродники, сети, мержи, уды и остроги.

«Уда и острога суть известные два орудия. По всей России употребительные, — писал он. — В озере Селигер случается человеку выудить в день до пуда разной рыбы, на разные приманки или наживки... Язи хватаются за стрекозу, окуни — за рака, коих насаживают на уды, а мелкая рыба любит земляных червей». Есть у Озерецкого более подробные детали массового лова рыбы. Так, упоминается лука Дударница, которая славна и примечательна тем, что в нее благодаря тишине собирается рыба из многих мест — самая лучшая и в большом количестве.

Надо полагать, что осташи, да и крестьяне здешние были искусными и опытными рыбаками. Я где-то читал, что шведский король в 1724 году пожелал иметь на службе русских рыбаков искусных с их инструментами. Рыбаков тех послали с берегов Селигера.

Просматривая справочные книги и отзывы об улове и названиях рыб, можно увидеть одну закономерность. Со времен Озерецкого все пишут о катастрофическом уменьшении рыбных богатств озера Селигер. Я специально выписал это по годам. Смотрите:

1816 г. Н. Озерецкий пишет, что прежде бывали годы, когда ловили в шесть раз больше.

1861 г. Писатель Слепцов: «Рыбкой и то обедняли, по-вывелась рыбка совсем».

1906 г. Историк Токмаков И.Ф.: «Вследствие хищнических приемов лова рыбное богатство заметно сокращается».

1934 г. Чехов и Носков: «Это пустой водоем благодаря хищническим приемам и полному несоблюдению сроков лова».

1961 г. Из постановления президиума Центрального совета Всероссийского общества охраны природы: «Запасы рыбы за последнее пятидесятилетие сократились почти в четыре раза».

Если внимательно проследить за порядком, в каком перечисляется существующая в Селигере рыба, то и здесь можно заметить странные вещи. Так, у Озерецковского сообщается, что в Селигере водятся судаки, лещи, щуки, окуни и т. д. Такой порядок понятен, потому что в то время судак занимал первейшее место среди добычи рыб. Проходит сто с чем-то лет, и в справочнике сороковых годов нашего столетия судак и лещ поочередно съезжают на последнее место. А в путеводителе 1951 года уже пишется так: «...водится щука, карась, лещ, плотва, *встречается* (я подчеркиваю. — А. П.) судак».

В тетрадях Николая Федоровича Виноградова есть живое описание тяжелого труда рыбаков. Вспоминая отца, он рассказывает, что безземельные крестьяне, как и его отец, занимались рыболовством на Селигере, а когда становилось совсем невмоготу, плевали в прозрачные воды Селигера, уходили в Питер катать дрова и песок. «Эх, Питер, душу ты из нас вытер!»

Все воды Селигера сдавались в лов отдельным обротчикам, а те, сообразуясь с аппетитом и совестью, налагали оброк на рыбаков.

На каждую тоню, как шакалы, сбегались скупщики-прасолы, каждый являлся с ведром водки, с нею было легче опутать смокшего на морозе рыбака. Скупщики договаривались между собой о самой минимальной цене на рыбу, и только один из них должен был покупать по совести. Этот счастливчик выделялся жеребьевкой, которую они тут же бесстыдно устраивали на берегу. Бросали вверх палку, кто-нибудь хватал ее на лету, и так перебирали рука за руку, пока один не покрывал ее с верхом. Он платил остальным отступные и забирал всю рыбу.

Организация лова такова.

Артель выбирает атамана, опытного рыбака, сила и знания которого играют немалую роль. Он с уполномоченным товарищем направляется в город и приобретает в кредит невод. Вернувшись домой, уже в бане они настраивают невод, потом смолят в огромном котле. Лед на озере хорош, невод укладывают на подводку, и рыбаки ступают на лед. Момент ответственный: все желают им удачи, обделяют на счастье деньгами, предвкушая свежую уху. Рыбак, как кот, без рыбы скушает.

У рыбаков темные от загара лица, сапоги длинные, просмоленные и так широки, что ноги влезают обернутые всяческим тряпьем, какое только нашлось (иной раз просто разрывается пополам постельник), и оттого не гнутся — получается походка циркулем.

Здесь собралось уже много народу. Хватальщики с сачками, ребятишки с корзинами — все, чтобы схватить случайно выпавшую из сети рыбку. Тут же и прасолы, они мирно беседуют, но в то же время подозрительно следят друг за другом.

— Разымай! — кричит атаман, и вмиг все перестроилось. Рыбаки бросились к сетям и стали плечом к плечу, тут уж сброшены последние рукавицы. В мерном темпе закачались из стороны в сторону двенадцать рыбаков, перебирая сети. Минуту-другую работа протекает молча, темп нарастает, люди тяжело дышат, в морозном воздухе над ними стелется пар. Вот на крыле забила первая рыбка. И один рыбак негромко выдавил из себя: «Первая!» И все подхватили вдруг: «Пер-вая! Пер-вая! Пер-вая!»

Появились новые слова: «Тя-ни», «Ско-рей», и каждое слово повторялось несколько раз всеми, и это слабое бормотание помогало работе. Оно, как прибор, создавало ритм.

Хватальщики не зевали, за каждой упавшей рыбкой тянулись сачки, счастливый получал рыбку. Прасолы, как сычи, глядели в глубь изволоки и прикидывали улов.

— За десять рублей пойдет?! — вскрикнул один, и в ободряющем бормотании появилась ругань, хором повторяемая всеми.

— Даешь двадцать пять! — односложно ответил атаман, и артель забормотала, ускоряя ход рук: «Двадцать пять! Двадцать пять!»

— Сколько меньше?! — кричит прасол.

— Окончательно двадцать, и больше разговаривать не будем.

Разговор прекращается. Это значит, что артель продает счастливую тоню в воде за двадцать рублей. Срок торга две-три минуты, тоня — это счастье, и цена на нее меняется по мере появления в ней рыбы.

Рыбаки становятся все прямее, бормотание прекратилось, и работа под конец протекает молча, только руки ходят еще быстрее. Рыба на крыле уже катится валом, на лицах рыбаков радость удачи.

— Прочь! — теперь кричит хватальщикам атаман, и горло кормы очутилось в руках тягловцев. Тоня окончена. Остается вычерпнуть из мотни рыбу и продать прасолам, которые уже бросили жребий и теперь ждут добычи.

А вот сцена, рассказанная Николаем Федоровичем Виноградовым, из его детства.

Тянули заревую тоню, и мальчик прибрел на огонек, который возят за неводом. Был он в дырявой шубейке, в валенках, из которых один был больше другого. Его видели греющимся у огня, у воротников, потом на изволоке и везде гнали прочь.

Он бродил с корзинкой по мокрым сетям, собирая выпавшую рыбку, и не заметил, как над ним встал сам атаман.

— Эй, елец, поди сюда! — крикнул атаман мальчику.

Тот подошел с опаской, оглядываясь, готовый вовремя удрать, — он отлично знал, что по сетям ходить не разрешается.

— Ну, гусь лапчатый, говори, как ты забрел к нашему неводу?

— Пешком, — ответил мальчик и поправил шапку. — Думал, невод-то залуцкий, а он не залуцкий... Ты, дядя, не сердись, что по сетям ходил, ведь я в теплых, в них сети не порвешь. Вот в холодных, там другое дело, а в теплых...

— Полно арапа заправлять, — сказал атаман. — Скажи лучше, чей будешь.

— Я-то? Знамо, маменькин...

— Только маменькин, а не батькин?

— А у меня батька помер. Федора, может, слышали, он тоже рыбу ловил. Круп-ную...

— Дай сюда твою корзинку! — потребовал атаман.

Мальчику было жалко корзинку, да ведь не убежишь, все равно догонят.

— Плохой у тебя ныне улов, — между тем говорил атаман. И, оглядываясь на рыбаков, сказал: — Братцы, видите этого растрепая Федоровича? Это Федоров сын, который из Залучья... Я по себе полагаю, дать ему рыбы на уху, ведь можно сказать, одна кровь, рыбацкая, смолою пахнет..

Рыбаки загалдели:

— Что же, с нашей стороны препятствий нет. Дать! Дать!

Атаман подошел к кузову и зачерпнул целую корзину рыбы.

— Ну вот тебе подарочек от артели. В память твоего батьки. Расти и будь в него. Хороший товарищ был. Ну, шагай быстрее домой, марш!

— До свидания, хорошие дяденьки, — сказал мальчик, еще ошеломленный неожиданно привалившим счастьем. — Я пошел!

Николай Федорович рассказывал о празднике в крестьянской избе, где неизменно фигурирует знаменитый осташковский пирог с рыбой:

— И русское угощение началось. Первым на стол положили традиционный пирог с рыбой. Я по доверию хозяев снял с него верхнюю корочку и подковырнул ножом рыбу. И прямо руками стал орудовать в пироге, отправляя сочные куски рыбы в рот.

Пирог был на славу, с луком, маслицем и тонкой подрумяненной коркой.

Вилки отсутствовали, да и зачем они, когда Господь своею наделил. Пальцы обтирали полотенцем, которое подали к столу. За пирогом последовал холодец с хреном, по-

том суп с курицей, и потом каша гречневая, каша пшенная, каша перловая, и потом опять пироги с мясом, с рисом, еще ячница с булкой, и наконец кисель со сладким пирогом.

Хозяин с хозяйкой стояли перед столом и все время угощали нас, под конец хозяин объявил:

— Ну, хозяйка, тряси фартуком, больше угощать нечем.

В таком порядке чередовались блюда за праздничным столом у прибрежных жителей озера Селигер. В зависимости от достатка хозяина что-то и менялось. У зажиточных пироги были белыми, с налимом (помещики здешние подавали даже пирог с камским налимом, с волжским налимом и наконец пирог с селигерским налимом); у середняков пироги полубелые с окунями и плотвой, у бедняков — чаще всего ржаные с горкушей.

И говорилось у нас: «Все на одно солнышко глядим, да неравно едим».

Вспоминая лучшие часы, проведенные на Селигере, я не могу не вспомнить многочисленные рыбалки. В синие грохочущие грозы и в легкие одухотворенные солнцем утра; тихими угасающими с водой вечерами, пахнущими мокрой рыбой и пряными настоями трав; в сыроватые пасмурные рассветы, похожие на блестящую холодную рыбу чешую.

Кто-то подсчитывал, что взрослому человеку дано видеть около десяти-пятнадцати тысяч зорь, наблюдает же он какой-нибудь десяток. Я тоже не богат увиденными рассветами, но лучшие мои зори случились тут, на озере, и я храню их где-то в себе, внутри, как горсть многоцветных дорогих камней, каждый из которых является произведением природы.

Есть в предрассветных часах своя неповторимость. Только в эти часы можно испытывать великую силу тишины. Когда ни одним листком не дрогнет дерево, и даже дрожащая росинка, повисшая на кончике влажного листа, не в силах от него оторваться.

Но зашевелится ночь, словно вспугнутая мохнатая птица, и начнет медленно убывать, как убывает полая ве-

сенняя вода, оставляя тут и там островки кустов, темные стволы деревьев.

Загустятся туманы, прижимаясь к спасительной воде. В это время я бужу товарища, трогая за плечо.

— Юра, — говорю я. — Вставай, Юрий...

— А? Что? — кричит он вдруг спросонок. — Что, лещ? Какой окунь? — и мгновенно засыпает, оттого как сон в такие минуты крепок до головокружения, до сладкой слюны, что пятнышком темнеет на подушке.

— Значит, за леща тебя принял? — спрашивает дежурный, разгребая холодную золу, чтобы найти хоть один горячий уголек от вчерашнего костра.

— За подлещика.

Снимая обувь с колышков, остро ощущаешь пятками холодную, влажную землю. Сероватая мгла еще висит между веток, на брезентовой палатке стынут капельки росы, а мы осторожно, стараясь не задеть мокрых кустов, спускаемся к воде. Гладкий и холодный, как лист блестящего железа, плашмя лежит залив. Туман ходит над ним полосами, в несколько этажей, а наверху, словно повисшие в воздухе, черные зубья леса с другого берега.

Стараясь почему-то не греметь веслами и тихо разговаривать, мы, поживаясь, складываем удочки, банки с червями, подсачки, якоря, потом отталкиваем от берега лодку. Рассвет на плесах поражает тишиной и яркостью. Ничто не морщит блестящих зеркал, и заря расписывает их до того мудро и пестро, что невольно говоришь вслух: «Ах ты, черт возьми!» — лишь бы что-нибудь сказать: восхищение требует голоса.

На громадное пространство, точно на гладко-черный лед, ложатся все краски мира. И мне чудится, что каждая краска имеет свой звук, даже свою ноту. Закат запекает розовым тоненько-тоненько, как голосок скрипки. У леса голубое звучание виолончели. Тяжелая бледно-зеленая чаща камышей неподвижно взволнована и вторит флейтой. Вода — это струны арфы, переливчатые, разные, которых касаются мягкие теплые пальцы. Только смертельно белый, похожий на больничный бинт туман резко, как звук

трубы, нарушает стройную симфонию рассвета; он словно врывается в нее, искажая и обвивая ее.

От проходящей в темно-заревую рань моторки пойдет первая волна, выгибая зарю на хребте, и что-то негромко скажет камышам. И те зашевелиятся, забеспокоятся и будут передавать странную новость дальше и дальше, так в толпе проходит ропот. И через полчаса можно услышать, как за десяток километров дойдут произнесенные здесь звуки.

Рыбалки как зори, они никогда не бывают одинаковыми. У каждой есть свое, однажды увиденное лицо. Это не только цвет дня, форма камышей, запах воды и тонкость воздуха. Или даже темперамент рыбы. Но и свое собственное настроение, лирически замедленное в одни дни, резкое и нервное — в другие, торжественное — в третьи...

Но была у меня одна рыбалка, которую я и сейчас вспоминаю с замиранием сердца, с ноющей дрожью в пальцах. Рыбалка, надолго смутившая сон, покой и чувства.

Поначалу было обычно. Мы швырнули на дно лодки удочки, брезентовую плащ-палатку, весла, оттолкнулись и уже на плаву вставили уключины в гнезда. Остановились в узкой протоке, где было легкое течение, чистое песчаное дно да кустики камышей. В этих местах обычно хорошо берут жадные взбалмошные окуньки и медлительно чмокающие, как телята, подлещики.

Леса была стандартная, тонкая, из готового комплекта, который продается в магазине вместе с крючком, поплавком и грузилом.

Мы разошлись по различным концам лодки, поделив три удочки, швырнули в воду вместо привады банку с протухшими червями и стали ждать. Время было послеобеденное, не позднее. Но день казался сумеречным, неопределенного, серого цвета, от которого можно было ожидать и солнца и дождя. Скорее дождя. И он начался без ветра и грома, мелкобрызжущий, то исчезающий, то приходящий, с осторожным шорохом по камышам.

В такой момент у меня и клюнуло. Еще точнее, вода как-то мгновенно, без всякой моральной подготовки проглотила поплавок, и я не успел ничего рассмотреть. Мы

сидели с Юркой спиной к спине, накрывшись сверху плащ-палаткой. Шея и плечи у меня были мокрыми. Увидев белую, косо уходящую вглубь лесу, я отшвырнул дождевик и полез к удочке.

— Юрка, у меня, кажется...

Я потянул удилище быстро на себя, и вдруг что-то сильное и быстрое зигзагом понесло лесу вдоль борта лодки. Совершенно механически, еще не сообразив всего, я рванул снасть сильнее и чуть не опрокинулся, когда она оборвалась. На воду медленно и неторопливо всплыл огромный послушный лещ, шевельнул плавниками и отправился в камыши, унося с собой обрывок лесы с беспомощным красным поплавком.

— Ах, Юрка! — сказал я, вцепляясь в борт руками, отчаянно и жалко. — Ах, Юрка...

Юрка сидел все так же, не успев даже двинуться или сказать слово. И вдруг он ахнул и схватился за свою удочку. Поплавок так же неуловимо, в единый миг исчез, словно его и не было, а леса пошла писать на воде линии. Юрка трясущимися руками, вытаращив от натуги глаза, тянул на себя удочку, точно тащил на аркане молодого быка, и прямо на воду лег задохнувшийся лещ, широкий, как алюминиевый поднос. Лещ лежал перед нами в двух метрах, а в руках у Юрки болтался оборванный конец удочки.

— Зубры!.. — простонал Юрка, и, почти плача и бормоча, он колошматил удилищем по воде, никак не попадая по рыбе.

— Зубры... Акулы... Носороги! Киты проклятые!.. — Удилище переломилось, но еще раньше (может, он и плавал какое-то мгновение) нырнул, уходя навсегда, лещ. Юрка со всей силы швырнул ему вдогонку обломок удилища и начал трясти мокрую скамейку.

— Ведь не поверят!.. Никто никогда не поверит!..

Он вдруг онемел. Сразу. Мгновенно. Точно ему заткнули рот. Глазами лунатика он смотрел куда-то за мою спину и тихо мычал, производя странные движения руками. Я оглянулся. Наша последняя удочка уплывала в озеро, уносимая невидимой рыбой. Мы одновременно поймали

удилище, и, волоча руками живую стремительную лесу, Юрка бормотал, точно пьяный:

— Уйди... Уйди, ты упустишь... Я сам, все сам...

Уже мы видели широкий, просвечивающий белым пятном через воду лециный бок, уже заносили неповоротливый подсачек под усталую послушную рыбу, когда она отчаянно из последних сил взорвала воду и поплыла прочь, оставив на крючке кусок красной в крови губы.

— Ах, акула! — Юрка, не помня себя, полез руками, а потом головой в воду, он кричал, задыхаясь: — Ну,пусти, я догоню! Я же ее догоню, я ее за жабры.

Мы сели молча на скользкие лавочки, тяжело дыша и озираясь. Давно уже густо сеял по воде, с шипеньем ударяя в дрожащие камыши, дождик, и мы были совсем мокрые. Мы сидели, не прячась от него, и неподвижно глядели в булькающее озеро, не в силах представить, что это, которое нельзя назвать, — странное, чудовищное, несправедливое и волшебное, — кончилось и ничего нельзя ни исправить, ни передумать, ни вернуть.

А мы еще чувствовали, еще жили яростно взбесившейся огромной рыбой на конце капроновой нити и близко около рук плавающим драгоценным живым серебром.

У нас не было ни рыбы, ни удочек. Мы, наверное, сидели так долго, потому что затих дождь. Юрка вдруг сбил ногой консервную банку с червями в воду и сел на весла. Подплывая к стоянке, он сказал:

— Не рассказывай нашим об этом... Не надо. — Он прерывисто вздохнул, глубоко и медленно, как вздыхают маленькие ребята после того, как они кончили плакать. Жалобно посмотрел мне в глаза и добавил: — Такое бывает раз, может, в жизни. И никто не поверит. Просто не поверят, и все. Зачем уж тут рассказывать.

— Вот маленькая речка около Свапуши. По ней до озерца, видишь, и оттуда всего километр до другого озерца. Таким образом мы будем в Волго-Верховье.

— Почему же до этого пути не додумались другие?

— Другие не додумались, а мы додумались! Что, испугался, что ли?

Я стыдливо замолчал. К истокам Волги вел всего один известный путь: много километров от Свапуши лесом. Надо было на кого-то оставлять лодку, вещи и...

— Мне надоело сидеть и сидеть, — сказала Валька, хотя мы только и делаем, что ходим и ходим.

Мы представили, как первые (подчеркиваю — первые!) откроем новый путь на Волгу и первые (подчеркиваю — первые!) пройдем по нему. На парусах при попутном ветре мы влетели в Свапушу, миновали ее и стали отыскивать устье безымянной речонки, должной привести нас к цели. Две байдарки, подобно нашей, копошились среди осоки и высокой травы.

— Здесь начало речки?

— Ага, — ответили нам. — И здесь же конец!

Байдарки пятились задом, выбираясь из липучих трав, на борту одной было начертано: «Только вперед!»

— Мы к истокам, — заявили мы жизнерадостно.

— Мы тоже, — ответили нам, выходя наконец обратно в озеро.

Признаться, мы в тот момент потихоньку жалели их. Но скоро мы едва протискивались между кочек, отбросив бесполезные весла и цепляясь за травы руками. Потом мы застряли. Было болото, но речки как таковой не существовало, недаром же ей на карте не дали названия. Честное ли дело называть то, чего нет.

Часа через два, вылезая кормой из тягучей зеленой дыры — для этого пришлось снять руль — мы увидели байдарку, плывущую к нам.

— Здесь начало речки? — спросили нас.

— И здесь конец.

— Но-но! Мы к истокам Волги, — ответили нам твердо и полезли в травы.

Сидя на берегу, мы грелись и радовались простой траве, простой воде и простому солнцу.

— Значит, надо ходить там, где ходят люди! — сказала Валя, водя пальцем по зеленой двужкилометровке. И вдруг

забормотала что-то быстро: — Если на Щебериху, да на Озеречки, да на Посемцы, а оттуда...

Затевалась новая проба, а я почему-то подумал: не так ли в жизни? Надо ходить там, где ходят люди. Но чаще надо ходить там, где они не ходят. И слава тем, кто попрется по этой дурной безымянной речке и кто когда-либо пройдет ее, пробираясь к истоку своей Волги.

— Я тогда решил ехать в Сибирь... Черт с ним, с туберкулезом. Ты помнишь?

— Нет, не помню.

— Верно. Ты меня еще не знала. Как странно! Надо было прожить полжизни в Москве, чтобы встретиться случайно в Братске.

— Почему же случайно? Я тебя искала и на Камской ГЭС, и на Волжской, и на...

— Да, да! Я опоздал. Братск был моей первой любовью. Тогда на второй день в комитете комсомола спросили: «На лыжах ходите? В тайгу на триста километров?» Согласен. Хотя на лыжах я не ходил. Потом валялся в гостинице в совершенно беспамятном состоянии. Я тогда подхватил воспаление легких, но сторожиха думала, что у меня тиф, и на всякий случай запирала на замок, уходя домой. Я просил пить и не знал, сколько прошло дней. А потом я открыл глаза и увидел синее чье-то платье. Это было странно, как бред, и я спросил: «Что ты тут делаешь?»

— А я велела тебе молчать. Раз больной — не о чем разговаривать. Это я после смены в котловане прибежала.

— Да, а потом вы перевезли к себе в женское общежитие...

— В том-то и дело. Пришлось от всех и вся скрывать, а то бы нас за моральное разложение веником...

— Но техничка знала?

— Знала. Она говорила только: «Чего скрывать, если мужа завели...» Когда мы расписались, она сказала: «Разве я не угадала, эх вы!»

— Я отлично, знаешь, все помню. Занавеска и наш семейный угол. А утром ждали, когда твои подруги уйдут на

работу. Лежали и слушали шаги. Я протягивал руку и тихо гладил тебя. А шаги все были рядом, и мы все ждали...

— А посуда наша? Одна банка из-под компота — и весь сервиз. Помнишь, я купила книжку литературных воспоминаний и прочла такие строки: «Мы тогда еще пили чай без блюдец»...

— Я читал несколько раз и все никак не мог насмеяться, а ты как раз готовила чай и ставила нашу банку на стол.

— Тебе нужен был чай, ты разве забыл, что писал по ночам?

— Помню. Это было мое первое, за которое я чуть не заплатил жизнью. Просто как люди идут на лыжах. Снег и ветер, а они идут. А потом я увидел свою фамилию в газете и даже выронил от неожиданности. Это было в библиотеке, помнишь, ты загораживала меня спиной, а я выдираю из подшивки газету с моим первым рассказом.

— Да, мы устроили праздник тогда, купили шампанского и по очереди пили из той самой банки.

Мы с Валею проговорили всю ночь. Утром по мокрой от росы дороге мы двинулись на холодное белое солнце, стоящее низко над лесом. Было четыре часа утра, подхоложивало, и шагалось легко. По отпечаткам на желтом песке можно сразу понять, что проехал велосипедист, направляясь скорей всего в Коковкино, да в резиновых новых сапогах прошел человек, то ли мальчик, то ли женщина. Вернее всего — женщина, отпечаток был глубок и нелегковесен. Этот след (я уже выучил наизусть все его елочки-клеточки) неслышно бежал впереди нас, но где-то на десятом километре вдруг исчез, словно растаял в воздухе.

Припекало, и мы, сбросив на траву куртки, отдохнули, обирая тут же вокруг, насколько хватало длины рук, красную ягоду. Потом разохотились и полезли за ней в канаву, до чего она была ярка и заманчива. И вот тут из-за кустов вышла женщина, молодая и крепкая, доедая с ладони землянику и отряхиваясь от травы. Мы с женой одновременно посмотрели на ее ноги, где точно — оказались новые резиновые сапоги.

Клеточки и елочки повели нас дальше. Мимо озера «гитара», мимо теплой в сплошном солнце опушки на выходе к Коковкино да снова в лесок. Из нашего шага скоро начала сама по себе выходить песня, и мы потихоньку стали ее петь. Вот что у нас получалось: «От плесов селигерских до Волги голубой несли по перелескам мы песенку с собой: путь недолгий, путь недолгий мы пройдем, хоть до Волги, хоть до Волги мы дойдем».

Валя же пела — добредем. Или даже — доползем.

Дальше следов стало очень много, ясных таких, всех в одну сторону, мы как-то совсем потеряли уже близкие нам елочки-клеточки. Но теперь мы словно шли в одной очень большой и многоголосой компании (ведь каждый след имел свой голос), и знали мы наверное, что идем к Волге, к ее самому началу. Только туда могло идти столько разных людей.

Откуда-то возникло слово «горловинка», его, кажется, произнесла Валя, и хотя никаких похожих названий тут нет, но мы уже для себя стали называть исток горловинкой и говорили:

— Скоро будет горловинка.

Так и пришли на самую Волгу.

Озерецковский писал сто пятьдесят лет назад: «Поутру июля 10 дня отправился в деревню, Волгою называемую, которая лежит при самой вершине Волги. В деревне нашел я одних маленьких ребят, мужчины и женщины все были на сенокосе; но нечаянно встретил пришедшую с работы женщину, которая проводила меня к истоку Волги. Перешедши через маленький мостик, лежащий над ручейком Волги, надобно было поворотить направо и идти по наметанным пластинкам до самого Кладезя, который пространством сажени в полторы. Сюда вбирается вода из обширного болота, ельником поросшего, и в сем водовместилище, которое жители Иорданью называют, она кажется стоячею, однако ж тихо пробирается ручейком в обширный буерак и дном оною продолжает путь свой по наклонности буерака. Над иорданью лежат старые бревна вдоль и поперек, которые остались от бывшей некогда тут часовни, которой никто из жителей не помнит, но известно, по преданиям,

что там была часовня и вода в Кладезе хранилась чиста и так прозрачна, что опущенная в нее булавка или полушка в нарочитой глубине были видны. Но когда не стало часовни, источник оставлен в небрежении и теперь воду содержит черную, тинистую, которую пить не можно. Сказывают, что в старинные годы вода сия почиталась лекарственною в глазных болезнях и разных наружных сыпях и что из дальних мест многие люди, приезжая сюда лечиться, обмывали свои стружья. Есть ли бы ныне вычистить оный источник и обнести его срубом и кровлею, то от воды могло бы быть то же действие, но и без того исток толь знаменитой реки заслуживает быть уважен».

Я не зря привел целую страницу из книги известного путешественника. По-видимому, это первое вообще описание истока Волги. Описание, сделанное с большой достоверностью. Валдайская гряда, откуда начинается великая река, носила еще название «Ревеницкие горы», так как тут предполагался мощный хребет, откуда бы Волга могла брать свое начало. На картах Птолемея, сделанных во II веке до нашей эры, в этом месте обозначены так называемые Алаунские горы.

Географы предполагают, что на месте Селигера в доледниковый период проходило русло древней реки. Еще сейчас в ряде мест озера заметно течение. Есть и такая легенда. Ильмень, Селигер да Волга шли по дороге. Решили отдохнуть, но пока Ильмень спал, Селигер с Волгою задумали бежать от него. Проснувшийся Ильмень разгневался и крикнул вслед: «Пусть у тебя на спине вырастут сто горбов!» Селигер стал тогда озером со множеством островов, а Волга превратилась в речку и утекла прочь.

Упоминание Озерецковского о бывшей некогда часовне очень ценно, значит, и много веков назад так же священным и действенным было для русского народа это место. Как ни странно, гораздо позже, а именно в 1880 году, географ Рагозин пытался доказать, что истоком Волги является река Руна, которая также впадает в озеро Стерж, но длиннее первого ручейка на сорок километров. Только специальная экспедиция профессора Анучина на

основании многих данных, в том числе анализа воды, подтвердила мнение народа о месте, где начинается Волга.

И как видим, задолго до спора тут находят бревна, о которых известно, «что там была часовня и вода в Кладезе хранилась чиста...» Можно примерно подсчитать и время, когда встала первая (первая нам известная, конечно) часовня над началом Волги. Озерецковский был тут в 1814 году. Надо снять лет шестьдесят-семьдесят на жизнь одного поколения, для которого часовня есть только предание, да столько же, если не больше, на жизнь самой часовни. Итого, выходит, 1660-е годы. Насколько мне удалось подсчитать, всего беседок над началом Волги было четыре.

Вторую построили только в 80-х годах прошлого века, и о ней упоминает историк Токмаков.

А вот статистика того времени о деревне Волго-Верховье. «...В семидесяти верстах от уездного города... в 7 верстах от школы, в 15 верстах от больницы или медицинского пункта. Крестьяне этой деревни бывшие государственные. По сборнику в деревне 27 дворов, в них 30 семей: у двадцати пяти надельная земля, безземельных семей пять, жителей мужского пола 82, женского 80, всего 162. Прамотных мужчин 13, женщин нет. Учащихся нет, детей же школьного возраста 21 человек. Нищих одна женщина».

Вторая беседка простояла до Великой Отечественной войны, и в справочниках этих лет часто упоминается «ветхий сруб», а в нескольких шагах бездонный омут, заросший до того, что его не видно. И вдруг — кажется, впервые из десятков путеводительных книг — у Чехова и Носкова в брошюре, изданной в 1934 году, упоминается в месте истока Волги стоящая береза. «Над омутом, образованным от действия подземного ключа, который и считают истоком Волги, еще не так давно стояла береза. Сейчас она срублена, и омут приходится искать по пню, оставшемуся от нее. Метрах в 20 ниже омута, над ручьем стоит деревянное зданьице бывшей часовни, построенной в 80 г. прошлого столетия».

Правда, немного странно, что больше нигде ни разу березка, стоящая над ключом, не упоминается. Такое невозможно было бы не заметить. Но, честно говоря, мне очень

хочется верить в эту русскую березку, стоящую над колыбелью новорожденной Волги, такой же русской и прекрасной. Для меня слияние их двух — русской березы и русской Волги — есть понятие светлого начала самой России.

Немецкие фашисты, дойдя до этих мест, разрушили старое здание часовни, и в 1942 году наши бойцы, вступив в деревню, первым делом поставили над истоком Волги маленькую избушку, значит, уже третью по счету. Уже в недавнее время ее сменила крепкая постройка с настилом, аркой и цветными стеклами в окошках.

Многочисленные следы не обманули нас. Мы пришли туда, куда приходят многие, чтобы многое понять. Почти у деревни мы обнаружили вдруг потерянный след — елочку и клеточку — и очень обрадовались ему, а вскоре мы познакомились уже по-настоящему с его хозяйкой. Женщину звали Евдокия Гавриловна Лагренева. Она оказалась местной жительницей и проводила нас к истокам, точно как провожала Озерецковского местная крестьянка (уж не прабабка ли?), захватив ведро для воды.

Тут хочется сказать еще про один след, которому я никогда не радуюсь. Я говорю про автографы, которые оставляют на стенах, окнах и дверях посетители. Эти автографы я встречал повсюду: на высочайших скалах Кавказских гор, на тополях (сделанные грубо и больно), в Никитском ботаническом саду и даже на чугунных пушках четвертого героического бастиона в Севастополе. Так же давно среди подобных надписей я стал выделять буквы Московского энергетического института. Трудно сказать, почему МЭИ, может быть, какие-нибудь неизвестные нам традиции, но мы даже спорили, каким по счету мы увидим знак МЭИ, сделанный то ли топором, то ли еще как, но сажеными буквами на самом памятнике.

Хочу сказать, что избушка у истоков Волги особенно жестоко покалечена. Ю. Ловцов и некая Шепелкина обозначали крупно здесь свое пребывание от входа. Потом привычное МЭИ — полуметровыми буквами в центре. Тут же под боком уютно разместились астрономы МГУ и

будущие учителя из МОПИ. Тысячи и тысячи надписей на каждом сантиметре свободной площади, но дерева не хватило, и до крови расцарапаны цветные окошки.

У историка Токмакова есть такие слова: «Истоки наиболее важной в экономическом отношении и наиболее известной русской реки издавна привлекали к себе внимание образованных русских людей, как об этом, между прочим, свидетельствуют и многочисленные надписи на стенах часовни, сооруженной над ключом у д. Волга-Верховье».

Как видите, не без традиций, «образованные русские люди» портили стены и раньше, желая увековечить себя таким образом. Но учитывая, что образование сейчас, не в пример прошлому веку, стало всеобъемлющим и полным, можно представить, во что грозят превратиться наши исторические памятники! На мой же взгляд, нынче образованность, а иначе — культура, должна проявляться уже в том, чтобы не ставить надписей (кроме своих блокнотов).

Да поглядите же, что получается! Домик над истоком Волги сооружен недавно на деньги рабочих кожзавода и населения города Осташкова, а уже начисто снесены деревянная загородочка, всяческие украшения; подставка для книги отзывов оторвана и валяется на полу. Приходящие сюда умываются, стирают белье.

Евдокия Гавриловна говорила, черпая воду из ключа:

— Пишут на стенах — ладно. Хоть в альбоме было бы лучше. Но зачем воду-то портить? Мы же пьем ее, Волгину воду-то. Здесь мох, она темноватая, но весной или осенью проясняется, и вкус у воды становится просто отменный. А туристы...

В те далекие времена, когда поставили по соседству монастырь, игуменья закрывала часовенку на замок, чтобы молодые монашки не безобразили. Неужели теперь надо делать то же самое? Ведь здесь же все свое. Собственное. Родное. А кто бы пожелал украсить дом родной этим резным безобразием? Но тут, оказывается, можно. И пишут крупно: «Мы здесь были, воду пили». А ниже кто-то им отвечает задумчиво: «А мы ноги мыли!»

Вот и вся истина.

Я стою у ручейка под названием Волга. У того самого начала. Тихая и несмелая, как тонкий лист слюды, она плоско выкатывается под мостик, даже не замочив верха камней. Как сказано у одного поэта: «В этом месте Волгу перепрыгнет иволга...»

Буерака, о котором писал Озерецковский, сейчас не разглядеть. Скрытно, теряясь в болотных зарослях. Волга проходит к озерцам Большие и Малые Верхиты, потом вливается в озеро Стерж. Но и в Стерже волжскую воду легко можно отличить по темной или темно-красной окраске, она так и течет через светлую озерную воду, не смешиваясь с ней. Как сказала Евдокия Гавриловна, вода наша, Волгина значит, сама себя кажет.

Тут мне хочется отметить еще одно историческое близ Волги место, холм, на котором стоял так называемый Стерженский крест. Холм находится при впадении Волги в озеро Стерж, на кресте же было написано: «6641 (то есть 1133) году месяца июля 14 день почаях рыти реку сю князь Иванко Павлович и крест съ поставих».

Вероятнее всего, новгородцы, искавшие более короткого пути на юг, решили предпринять здесь очистительные работы и возвели городище, на котором и поставили крест. Пробы ученых подтвердили, что холм имеет искусственное происхождение, земля бралась из соседнего болота.

Нигде больше в истории не упоминается новгородский предводитель Иванко Павлович, поставивший тут крест. Возможно, в какой-нибудь приспевшей войне он сложил свою буйну голову и не вернулся сюда. По какому-то невероятному совпадению генерала Шевчука, который защищал Селигер и похоронен на городище близ Залучья, звали тоже Иван Павлович. Совершенно случайно эти два имени оказались в моем блокноте рядом и вызвали вихрь мыслей и раздумий о двух военачальниках, двух Иванах, сынах Павловых, которых разделяют восемь веков и объединяет единое для всех нас значение — Родина.

Густятся синие травы под просторным небом, и прозрачные воды безразмерны и постоянны, словно здесь течет вечность... Но, раздумывая о Селигере, о тоненьком ключе,

из которого станет Волга, я думаю о многострадальной русской земле, пережившей такие беды, что этого хватило бы с лихвой для десятков других народов.

И правда, кто не побывал тут! И татары, и литовцы, и шведы, и поляки, и... Да тут и свои со своими срезались, и князь Михаил Тверской прошел по Селигеру покорять Новгород, а те, в свою очередь, в одном из набегов уничтожили городок Кличень, оплот Московского княжества...

Да сколько же надо было терпения, мочи, чтобы все это перенести! Меня когда-то поразила одна цифра. Я вдруг узнал, что при царе Петре Первом, то есть всего три века назад, Русь насчитывала двенадцать или около того миллионов человек. Но сколько же тогда жило народу века за три до Петра? Один-два миллиона! Крошечная кучка наших ошестившихся, наших отчаянных предков, отбивающихся со всех сторон. Они рубились насмерть, не очень-то размышляя об истории; сделав свое дело, они навсегда уходили в землю. За ними оставались три вещи: название «Русь», кусок родной этой земли и бесконечные враги. И стремительно бились их сыновья, а потом и внуки, и сыновья и внуки внуков, уходя в землю, оставляя данное отцами. И в этой нескончаемой истерзанной цепи, до глубины души потрясенный, от далекого Иванко Павловича до моего современника Ивана Павловича Шевчука, вижу нас, получивших словно далекое завещание от неведомого предка из темного нутра времен. И все тут есть — неизменное понятие «Русь», и земля русская, и враги. И чудится мне, когда смотрю на Селигер, что он — прозрачная слезинка в огромных синих глазах моей России.

Я и двое моих друзей, Борис и Леша, проводили последние теплые дни на острове Хачин. Отсюда, с северного мыса, или, как тут его называют, Ровно, мы решили плыть в Осташков к ночному поезду своим ходом, на байдарке. Перед этим, часов так в пять утра, ходили мы на одно из внутренних озер, а именно Запольское, про которое не раз слышали, что там в любое время и погоду берет крупный лещ. Дорога продолжалась часа полтора в одну сторону. Потом мы долго искали подходов на самом озере, но рыба совсем не клевала, так что вскоре мы с Лехой уже спали,

припеченные первым солнцем. Один Борис упорно караулил удочки: он до конца верил в эту лепциную легенду. Так прошла у нас последняя на Селигере рыбалка, и лук, который мы свято берегли для прощальной ужи, не понадобился вовсе. Зато на обратном пути попало нам много грибов, и садок наш — штука и впрямь универсальная, потому что в него можно класть и хлеб, и продукты, и рыбу, и особенно удобно грибы, — до половины наполнился моховиками и маслятами.

Кто-то тогда заметил:

— А с удочками, оказывается, грибы-то лучше собираются!

Все это, а затем жарка грибов и сборы брусники задержали нас основательно, и когда мы покинули лагерь (Борис успел вычистить траву и прикрыть землей консервные банки), было полседьмого вечера. Мы сидели на спальнях мешках, а Борис — на рюкзаке. Я не влез на свое законное место на корме, и туда пришлось втиснуться изящному Лешеньке, вобрав колени до самой шеи, а мне занять его место в центре байдарки.

Конечно, такое положение не очень помогало ходовым качествам судна, но, как оказалось после, именно благодаря ему мы и спаслись. Но об этом после.

Мы шли довольно ходко. Леха, как всегда, рулил и молчал, а мы с Борисом дружно гребли и распевали в такт песни. Песни выбирали энергичные, солдатские и спортивные.

Прошло немного времени, мы увидели, как пал на воду и растворился в ней жиденский закат. В густых и затененных лесах уже копились сумерки. Когда мы за Ниловой Пустыней брали курс на дальний мысок Городомли, мы видели его еще в подробностях, а когда подплыли к нему, нам одиноко мигал под ветром белый бакен. Его следовало оплывать с левой стороны. Шел десятый час, по расчетам выходило, что в десять или начале одиннадцатого мы причалим к Осташкову. У нас будет еще время разобрать байдарку, высушить и сложить ее части в рюкзаки, а рюкзаки отнести на вокзал.

Подул сильный встречный ветер, была крупная волна. До всех берегов стало одинаково далеко, в Осташкове же горели огни, и он казался ближе.

Я кричал через ветер Борису:

— Байдарка парусит! Нажмем еще!

Борька отвечал:

— Нажмем!

Прошло долгое время, час или два, но огни, казалось, замерли на горизонте. Теперь волны, самые крупные, лихо подбрасывали нас кверху, с шипеньем проходили по бортам, попадали в байдарку. От молчаливого Лешки мы узнавали об уровне воды в ней. Ошалелые от шума и брызг и непрерывной работы, которую мы не могли остановить ни на одну минуту, — нас тут же бы развернуло боком и опрокинуло, — мы отбивались веслами от напорающей, вроде озверевшей воды.

Леша спокойно констатировал:

— У меня ноги в воде.

Потом он сказал: «Зад в воде». Потом последовало такое же лаконичное: «Вода до пупа».

Вода катила теперь валом, швыряя нас вверх и вниз. Из-за намокших вещей байдарка так отяжелела, что почти не двигалась с места. Где-то против волн сверкал огнями город и слышалась танцевальная музыка. Это в городском парке, на берегу, рядом с пристанью, веселилась молодежь. Мы же выбивались из последних сил, я орал Борьке:

— Еще немного, Борис! Нужно нажать.

— Слышу, — говорил Борис и больше ничего не говорил.

Еще мы орали на Лешку:

— Смотри, куда правишь! На огни правь! Да не ставь ты лодку бортом к волнам!

— Посмотри, — просил я Лешу, — дырку на корме еще видно?

Эта дырка была давно, и мы как-то не придавали ей значения. Но уже однажды случилось, что в байдарку налился дождь, корма ушла под воду, и в минуту судно наполнилось водой.

Я, надрываясь, кричал Леше:

— Дырку посмотри! Дыр-ку! Ты слышишь меня?

— Ничего же не видно, — отвечал Леша.

— Постарайся увидеть! Ты же понимаешь, надо увидеть.

— Да ведь руки собственной не видно, — спокойно говорил он. — Я целиком уже в воде.

Объявить об этом спокойно мог действительно только Леша. Все трое мы уже понимали, что скоро конец. Мы еще гребли, и руки наши онемели от ударов волн по веслам, ноги болели оттого, что затекли и долго находились в воде. Мы еще боролись за жизнь, став сразу нечувствительными и к холоду и к усталости. Но ведь мы почти не двигались — может быть, сотня метров в час... Этак можно плыть целую вечность!

Друзья меня потом спрашивали:

— Вы что же, плавать не умели?

Умели, конечно. Но до ближайшего берега оставалось километра два, это против волн и бури, дальнего же, куда мы единственно могли плыть после кораблекрушения, не было даже видно. Еще нужно вспомнить, что мы шесть часов гребли без отдыха и два с лишним часа боролись с ветром и бурей.

Друзьям я отвечал:

— Конечно, умели плавать. Мы и поплыли бы по ветру к дальнему невидимому берегу, держась за борта байдарки. Пока она, конечно, смогла держаться на воде... Для этого нужно было вовремя увидеть, когда ее начнет заливать.

Так я говорил друзьям, и так думали мы тогда на самом деле. И я как бы на всякий случай сказал ребятам, в каком порядке мы будем покидать судно. Сперва я, потом Леша и последним Борис. Я сказал еще ребятам, что поплывем мы по ветру и всем надо держаться друг друга и друг другу помогать. У нас еще происходил свободный обмен мнениями, и Борька сказал, что, мол, есть еще порох в пороховнице (у него как раз вышибло волной весло, и я успел поймать его), потом мы вдвоем успели сказать Лешке, что он, кретин, совсем не следит за волной, которой нас накрыло с левого борта. Мы уже сидели по пояс в воде, и надо было решаться на последнее средство: покидать байдарку.

Вдруг Борис выругался и сказал:

— Черт, мель какая-то!!

В тот же момент и мое весло стукнулось о землю, хотя мы были посреди плеса. Мы тогда еще не поняли своего спасения, а продолжали грести, испугавшись, что нас посадит на подводный камень. Проплыв метров пятнадцать, мы наконец поняли все.

Борис вывалился в воду, как мешок, его пришлось даже поддерживать. Теперь мы трое стояли в воде, в спину нам поддавало волной, но так уже можно было жить. На берегу играла музыка, какое-то сентиментальное танго. Мы извлекли из носа рюкзак и нашли в нем среди воды и вещей походную кружку. Под звуки танцевальной музыки мы стали вычерпывать воду из лодки. Танго успели сменить фокстрот, и краковяк, и вальс, а мы все вычерпывали воду, которой, казалось, и конца не было. Легче было, наверное, вычерпать кружкой весь Осташковский плес...

Леха сказал тогда, поживаясь от очередной волны, подкатившей под шею:

— Танцуют ведь вот... — И выругался — первый, наверное, раз на Селигере.

И кто-то из нас еще сказал:

— Такая музыка — и тонуть... Неприятно как-то!

Но теперь мы говорили и могли ругаться именно потому, что уцелели и до берега, где топчут пыль на деревянной танцверанде модные осташковские девочки, мы уж как-нибудь доплывем. Теперь доплывем.

Воды в байдарке поуменьшало.

— Откуда здесь мель? — спросил Борька.

— Черт ее ведает...

Приехав домой, я, конечно, ухватился за книги и нашел, опять же у Озерецковского, главную причину нашего спасения: он писал о двух островах — Козы и Званец, ушедших под воду. В начале XVIII века они были размыты водами Селигера, так как защищали другие острова и город от волн, «возносящихся на озере иногда высокими горами».

Дома, сидя за книжками в уюте и при спокойном свете настольной лампы, я вспомнил те высокие волны и оглу-

шающую, полную борьбы ночь, когда неоткуда было ждать спасения. Я подумал, что мы правильно сделали, борясь до конца, до последней минуты, иначе не попали бы на маленький пятачок суши, запрятанный посреди плеса. Еще я подумал, что такие острова, как душа настоящего человека, напоказ не красуются, но случись несчастье, и они помогают тебе.

За полночь были мы в Осташкове, и Борька уже канючил что-то насчет фотопленки, которая промокла от воды, а Леша искал унесенные, наверно, водой кеды. Значит, жизнь началась снова, если вспомнили о пленке, и о кедах и даже о том, что чуть не утонули вещи, взятые напрокат за которые не расплатиться бы до конца жизни. Только чьей жизни-то?

В поисках ночлега мы наткнулись у пристани на человека, длинного, в тубетейке, которого звали Петей. Он объяснил, что сейчас разрешено ночевать в каютах парохода, и предложил проводить на ВТУ-315. Мы свалили все мокрое, неразобранное в коридоре и сели на сухие деревянные лавочки. Мы еще не пришли в себя. И Петя, наверно, все понял. Он понял, что нам приятно слышать обыкновенный человеческий голос, и все не уходил, а что-то говорил. Все хотел развеселить нас. Он рассказал, как двое перед нами утонули совсем, а вот мы выплыли, а это что-то уже значит.

Потом Петя ушел, и нас взял озноб, совсем не от холода, а нервный: мы избавлялись от переживаний. Впрочем, это продолжалось долго. В ту ночь на пароходе мне показалось, что нас опрокинуло и мы плывем вверх дном. Я лежал на второй полке, судорожно ощупывая потолок, и думал: «Теперь уже не выбраться». Потом опустил руку вниз, попал в кружку с водой и закричал Борису: «Посмотри, где мы находимся... Кругом вода!» Борис со сна ничего не разобрал, но посмотрел в окно и ответил, зевая: «Вода, конечно», — и опять заснул. Он рассказывал, что я будил его раза три.

Наутро ранехонько нас погнали с парохода, потому что он уплывал на Полново. Опять прибежал Петя, помог нам

реализовать три банки с тушенкой и попрощался. Славным человеком оказался он, матрос с парохода ВТУ-315.

Мы сидели на вещах, глядели на отплывающий пароход, на небо, по-утреннему свежее, на ласковую зелень и проходящих с вещами девушек.

— На турбазу, что ли?

— Ага. Кажется, у них заезд.

— Новые, значит, кадры...

Мы сидели и не торопились, а жизнь, суматошная, не касавшаяся нас, была действительно прекрасна как никогда.

Теперь трудно объяснить, почему я решил, что знаменитый пейзажист Шишкин был на Селигере. Уже после того, как узнал достоверно о его пребывании здесь, я пересмотрел все книги в Ленинской библиотеке и ничего не нашел в них. Но была у меня еще одна мысль, убеждение довольно неотвязное. Мне казалось совершенно невозможным, чтобы никто из знаменитых в прошлом живописцев не побывал тут, на берегах Селигера. Озера, в прошлом довольно известного, исторического, близкого от наших столиц.

Мне казалось, что такое прекрасное, не огрубленное руками человеческими явление, как наш русский Валдай, в частности Селигер, может стать источником творчества многих настоящих художников.

Я не приписываю мое обращение к Шишкину только интуиции, я ведь мог просто слышать где-нибудь об этом.

У меня в жизни были моменты, когда я подолгу простаивал у его картины «Лесные дали». Она мне нравилась совсем не лесом, не колоритной сосной на переднем плане, а своей, что ли, перспективностью. Вот этим, что меня поразило поначалу и на Селигере, — широкая вода под бледноватым небом и бесконечные синие горизонты, когда за последним из них ты угадываешь еще один, наипоследнейший, а за ним, как ни странно, еще многие другие. И хотя они не видны, они есть и оттого создают эту чудную широту, которую мы называем Валдаем. Такое я однажды увидел с высоты от Новых Ельцов и пережил длинное, как

звук валдайского колокольчика, чувство неохватности, нескончаемости земли, когда можно так же длинно и просторно думать.

Может, поэтому я часто ходил в Третьяковку смотреть на «Лесные дали», когда мне очень не хватало моего Селигера. Между ними была связь, тонкая ниточка, и это заставляло меня искать.

Не скоро я узнал, что Шишкин был и в Ниловой Пустыни и даже у истоков Волги и оставил целых семь (я смог это подсчитать) этюдов.

Но как ни огорчительно, нигде эти этюды не названы. Конечно, нет и никаких репродукций. Вероятнее всего, они исчезли навсегда.

Но я так увлекся поисками да репродукциями, которые я просмотрел все до единой, что картины мне стали сниться по ночам. Будто я пью чай и вдруг вижу на блюде цветной отпечаток с картины Шишкина «Сосновый лес у Ниловой Пустыни». Вот так ярко и заманчиво помню: купола монастыря в голубое небо окунулись, сам монастырь зелеными деревьями окружен, а на переднем плане сосна чудная такая, с медной озолотью, плотная сосна наискось весь монастырь перечеркивает. И я говорю торопливо:

— Так вот она какая! Я именно такой ее представлял.

И будто обращаюсь я к собеседникам, только пью я чай не где-нибудь, а в усадьбе Ивана Феоктистовича Толстого, что живет в селе Буховостово, напротив луки Дударницы. И меня нисколько не смущает, что он, помещик этот, жил лет за восемьдесят до Шишкина и его приезда на Селигер. И помещик мне так ласково отвечает, приподнимая блюдце:

— Чего-с удивительного, мы эту картину хорошо знаем-с, и блюдце у меня таких предостаточно количество!

— Так подарите, пожалуйста! — кричу я ему.

— Пожалуйте-с, — говорит он любезно и протягивает мне разрисованное блюдце, держа его на одном указательном пальце.

Я хочу его взять, но блюдечко качается и вдруг летит прямо на пол, разбиваясь вдребезги.

Слезли мы в Ниловой Пустыни, оглядели монастырь, тот самый, который рисовал Шишкин. Изнутри он побит и исковеркан, насколько можно было это сделать. Видимо, сказалось пребывание тут колонии малолетних преступников. Да и общее наше небрежение многими подобными памятниками. Стены ободраны до красного кирпича, они как живая рана, даже больно смотреть.

Но еще жив в целом белый ансамбль церквей, еще звучит он безмолвно и торжественно, отражаясь в тихих вокруг водах, и очень много значит просто взглянуть на него издали, с любой стороны озера. К середине прошлого века монастырь имел семь церквей и двадцать пять других каменных строений. Составляя как бы некий архитектурный хаос, он был, по отзывам современников, необычно живописен среди зелени, «которому обилие воды и его уединенное положение придают много задумчивой прелести». В праздник святого Нила, что происходил летом, сюда из разных губерний съезжалось одновременно до 40 тысяч богомольцев.

Монастырь этот строили лет четыреста назад по проекту архитектора Анжело Ботани, но строили его русские мастера и крестьяне из местных материалов. До XVI века здесь был остров Столобенский, необитаемый, покрытый сосновым и еловым лесом, потом, согласно легендам, тут в 1528 году поселился некий монах, преподобный Нил, соорудив себе келью, а по соседству выкопав могилу. Вроде бы на том месте и возвели монастырь, послуживший оплотом крепнущему самодержавию. Монастырь этот был крупнейшим в России, он имел рыбные ловли в озерах Селигер и Ильмень, четыре с половиной тысячи десятин земли, мукомольные мельницы, пароходы, дома в Москве и Осташкове. У него было четыреста душ крепостных крестьян, не считая «вкладных», которых на неопределенное время отдавали богомольные помещики, спасая собственные души.

По-видимому, даже монахов держали тут сурово, и в летописи Ниловой Пустыни нашел я такую любопытную запись: «В последних числах июня месяца 1726 г. монах

Ефрем унес из монастырской трапезы оловянную тарелку и заложил ее крестьянину слободки Трестянки Кириллу Романову. Об этом донесено иегумену Илариону. Иегумен с братию монастыря приговорили посадить Ефрема за такой поступок на цепь».

В записях Виноградова рассказывается о быте монастыря и упоминается монах, который придумал штуку — комедь! Любят в монастыре чайком позабавиться от скуки. Но беда с углем, поэтому собирают в бору сосновые шишки.

Нес тот монах огромную корзину за плечами, полную шишек. А навстречу ему настоятель.

— Куда ты столько набрал шишек, брюхо надорвешь от натуги!

Монах остановился, говорить не может, так тяжело ему. Вдруг дно у корзины — трах. И из нее на землю — баба!

— Это что же такое? — спрашивает потрясенный настоятель.

А монах стоит бормочет:

— Воистину чудо, ваше высокопреподобие! Брал шишки, а очутилась дева! Может, это сатана?

Тогда баба-то вскочила да как заорет:

— Сам ты сатана, кобель богомерзкий! Говорила я тебе, что корзинка не выдержит!

И пошло.

Соприкасаясь с церквями или историей монастырей, я не могу уйти от мысли, что и в них где-то сохранился кусочек русской жизни, которую не могли заглушить прочные монастырские стены.

Виноградов же вспоминает своего деда, попа крошечной церковки где-то на берегу Стержа, который был талантливым рассказчиком, здорово знал русскую речь и много чудил в той деревне.

Вот характерная сценка.

Когда дед выпивал в праздник, в доме все оживало, все улыбалось и радовалось. Бабушка даже приглашала соседей к себе в дом.

— Сегодня мой поп пьяненький придет.

Этого момента все ждали с нетерпением.

Наконец он браво подкатывал к крыльцу, довольно твердо становился на землю, снимал шапку и картинно раскланивался в направлении окон, в которые мы высматривали. Вот он с шумом открывает дверь и входит в дом, вторично со всеми раскланивается. Поднимает фалды подрясника и плавно с приплясом двигается в направлении бабушки, подпевая при этом тенорком:

*Я сушил, сушил, сушил,
Потом начал мочить,
Я мочил, мочил, мочил,
Потом начал сушить.
«Ах вы, сени, мои сени», —
Так приятель мой поет.
В это время муж супруге
Потасовку задает.
А супруга умоляет:
«Прости, муж мой, извини»,
А приятель продолжает:
«Сени новые мои...»*

После пляски происходили разговорные сцены с бабушкой и окружающими, даже с котом. Потом дед переходил на рассказы.

— Ждете рассказов? — спрашивал он. — Ну, выходит, куплен по дешевке. Да ладно, расскажу про своего пастыря. Умер в их деревне мужик с перепоя. Омьли по обычаю покойника, вынесли в другую избу, позвали пастыря псалтырь по покойнику читать. Ночью скучно, ну и захватил он для верности полштофник. Почитает, выпьет, снова почитает... Опьянел, глядит на покойника, так ему жалко стало его. Вчера вместе выпивали еще, а сегодня... «Эх, друг, — говорит, — выпей со мной последний раз, на том свете не попьешь». Оттянул ему нижнюю губу и вылил в рот. Остальное допил и задремал около. Вдруг слышит: «Что это ты, Макар, я никак не пойму». Глядь, сидит покойник на

столе, руки от холода потеирает. Тут у моего пастыря мокро стало от испуга. Пригляделся, язык отошел, спрашивает:

— Да ты жив или нет?

— Кто тебе сказал, что я помер?

— Так ты и есть померший...

— Тогда надо помянуть себя... Сбегай-ка за водкой, будь другом.

Достал умерший огурчиков соленых, и принялись они поминать уже не поймешь кого.

Раздолье, умирать не надо. К утру пришли родные попрощаться с телом, а покойник вместе со священником напились и слова не могут вымолвить. Тут и поднялся шум на всю деревню, а потом смех на всю волость.

Как-то плыли мы мимо деревни Кравотынь, что на Кравотынском плесе, и Валя воскликнула, глядя на деревню:

— Вот же как у людей бывает! Себе строили низенькие, черненькие, а Богу высокое и светлое!..

Богу строили лучше, это верно, но строили-то люди, лучшие мастера, вкладывая все, что умели и знали, все совершенство и талант. И уже потому Боговы храмы по своей сути человечны и есть они памятники земные, как народные песни, как поговорки и былины.

Вот и в Березовом рядке была редкая церковь, которую разрушили, как и многие другие, ей подобные. В 1927 году церкви исполнилось триста лет. Она была деревянная, особой архитектуры — шестигранник, на котором выше был еще один шестигранник, а потом еще один.

Внутри она, по отзыву очевидцев, была обита домотканым полотном, на котором были нарисованы сцены Страшного суда. И странный вид церкви, и необычные росписи, и резьба по дереву — все это при слабом освещении казалось вышедшим из далекой древности и настраивало на торжественный лад.

Нижние венцы были срублены из леса огромной толщины, в обхват двух человек и больше, деревья совершенно не имели гнили. Заготовка леса и все строительство было выполнено только топором; казалось, что ее строили гиган-

ты. Об одном из них, Пахоме, сложились даже предания, что он мог зараз на плече перенести леса на целую избу. Когда однажды его поймали в лесу и хотели отнять топор, он с силой воткнул его в пень по самые уши, и уж никто вытащить топора не мог...

Надо сказать, что многие из сохранившихся чудом церквей и вовсе в таком состоянии, что на них больно смотреть. Речь идет, конечно, об истинных памятниках старины. Пропадают и старые росписи и иконы, которые, на мой взгляд, так же ценны, как и летописные церковные книги. В них мы единственно встречаемся с нашими предками зрительно, то есть почти с глазу на глаз. А что может быть дороже этого личного общения с вечностью...

Когда я служил в одном городке, очень странном, редком своим образом жизни и музейными церквями, мне пришлось в одной такой церкви охранять военный склад. На часах мы стояли по двое: один внутри и один снаружи, а помещение церкви было поделено пополам огромным ярусом, и только купол, свободный от военного имущества, блистал своими яркими росписями. Я ходил по верхнему ярусу с автоматом на плече по два часа от смены до смены. Два часа — это очень долго, но коротать их, как ни странно, мне помогали боги. Они парили, опрокинувшись надо мной, как космонавты в невесомости, и какие-то вечные истины глаголили их сомкнутые уста.

За свою недолгую жизнь я испытал к рисованным богам разнообразные чувства. Поначалу я их просто боялся — а вдруг действительно камнем швырнут, как стращали старухи, где-то лет шести водившие меня в церковь. Потом я потерял к ним какой-либо интерес, просто забыл о них, оттого что они были только предрассудком. Но прошло время, и я словно впервые их увидел, я узнал об иконах Рублева, об искусстве древних мастеров, теперь я пристально разглядываю каждого бога в отдельности, напряженно раздумывая о своих предках, стараясь постичь их образ, мысли и истины. Вероятно, прозрение, как и зрелость, наступает не только тогда, когда человек

заглянет в свое будущее, но и когда он страстно захочет понять свое прошлое.

Боги, парившие надо мной, вероятно, говорили о чем-то другом, а может быть, они спорили со мной. Казалось, они хотели понять, зачем все то, что я принес к ним, перед лицом вечности, которую принесли они.

Из темного золота и голубого, невообразимо яркого неба (может быть, небо тогда было ярче, не засоренное радиоактивной пылью) они вглядывались в меня и ждали ответа.

А наш сержант знал свое дело, он говорил убежденно:

— Время сейчас не такое, чтобы... Вчера тут двух типчиков задержали, говорят, росписи пришли смотреть... Знаем мы, какие им росписи нужны! По нашему времени вместо иконок там разных (религия — это опиум для народа) плакатиков бы, призывов разных надо... Чтобы мобилизовывало.

Уходя спать и закрывая уши шинелью, я подумал коротко: «Поговорили бы эти святые с нашим сержантом. Он быстро бы внушил им истины... А может, в их времена тоже были свои сержанты, кто знает». И я уснул.

От Ниловой Пустыни мы обогнули Хачин, самый большой остров на Селигере. Тут несколько деревень, прозрачные сосновые леса, этаким настоящим урман с ягелем и оленьим мохом. Тут много любой ягоды, особенно брусники, а с грибами в иные годы мы не справлялись, оставляя сгнивать на корню лучшие по этим местам моховики и белые.

Мы пересекли холодный и голубой Кравотынский плес под холодными белыми облаками и встали под вечер на высоком хачинском мысу. Молодой, очень веселый соснячок окружал нашу палатку. На той стороне плеса в лесу горел костер, и к нам доносился неразборчивый мужской голос. Утром мы проснулись от голосов, прозвучавших прямо над нами.

— Вот оно что, — говорили сверху. — Прямо-таки чудеса. Я никогда в жизни не видел подобного.

— Да, да, — ответили ему. — Знаете, я как посмотрел через плес, прямо глаза закрыл, то ли солнце, то ли пожар какой...

— Чудно, чудно, — сказал первый, и где-то внизу затарахтела моторка.

Мы отстегнули влажную от росы палатку и на коленях выползли на траву, щурясь от прямых лучей. Селигер в легких блестящих волнах был по-утреннему ярок и свеж; к другому берегу уходила лодка с нашими незримиыми гостями. Для чего они приезжали? Что им такого... Я повернулся и зажмурился. Золотой радужный свет пролился на меня от леса. Молодая рощица сосенок-пятилеток была от подножья до верхушек расчерчена огненными цветами, линиями, стрелами и совершенно необычными фигурами. Бесчисленная, в общем-то незримая паутина, которой тут все было переплетено, под росой вдруг стала видимой. Это была вышивка червонным золотом по темным зеленым. Мастер оказался с фантазией и понаделал совершенно невообразимых ромбов, спиралей, кругов и всяческих сплетений. Потом тонкое золото ожило и стало тихо накаляться, играя цветами. Солнце медленно сушило росу, и оттого лес каждую следующую минуту не был похож на предыдущую, ничто не двигалось, но все изменялось, и краски, одна ярче другой, выступали на полотне леса, проявляя новые рисунки и затемняя старые.

Мы зачарованно и неподвижно просидели, наверное, полчаса, пока это вдруг не кончилось и не потухло. Теперь между деревьями болталась многочисленная паутина. Липкая и навязчивая. И чувство было как в кино после хорошего фильма, когда остается белый неживой кусок полотна.

Я хочу рассказать про Костю-одиначку. Он с треском подплыл к берегу на лодке с мотором «Москва», подняв за собой волну и взбаламутив пугливые камыши.

— Можно присоединиться?

— Просим...

Костя снял мотор, ловко поставил палаточку с кольями, сделанными из алюминиевых уголков, потом пришел к нам. Мы предложили гостю настой из брусники и еще «рыбьи эскимо». Так мы с Валею зовем блюдо из маленьких окуньков, которые после обстоятельной жарки в масле

становятся хрупкими и рассыпчатыми. Мы берем их за хвост, как берут за палочку мороженое, и, вкусно хрустя, поедаем вместе с костями, плавниками и всем остальным. Косте понравились «рыбы эскимо». Вытирая о траву масляные руки, он сказал:

— Вам не надоело на веслах? Хотите, я вас на буксир? А? Ей-богу, мы за несколько дней весь Селигер облазим, только пена за бортом как от бешеной собаки!

— Спасибо. Но нам...

— Это конечно, — перебил он. И неожиданно заговорил, словно его прорвало: — Вы думаете, я случайно рядом с вами выбрал место? Или берега тут не хватает? Как же, просто я сам себя наказал. Решили мы в Москве одной компанией плыть, втроем. Я взялся талоны на базу достать. Но когда достал, подумал про себя: «Зачем мне с кем-то связываться, ждать, пока отпуска, да продукты, да настроение, и то, и се... Одному много ли надо, по трем талонам получу лодку, палатку и все, что полагается». Вот и получил.

Он замолчал и потянулся к котелку с водой. Тут только я заметил, что он порядком до этого выпил. Он слазил в лодку и вытащил начатую поллитровку.

— И кто ее только пьет? — сказал он, морщась и наливая в кружки.

Мы деликатно отказались. Он, передергиваясь и запивая водой, опрокинул водку в себя, остаток вылил в озеро!

— Пусть рыбам... Они тоже люди!

— Не могу один, — вдруг сказал он. — Не могу, что толку, что я вижу Селигер. Красиво, а сказать некому. Рыбу поймал огромную, в жисть таких не ловил, а кому похвалишься... И честное слово, даже рыбалить расхотелось. Пойду за ягодой, такие я тут места знаю, ахнешь! Залежи и россыпи! А на кой шут они мне, все эти залежи, если мне всего кружка и нужна-то... Да я у старух на турбазе куплю, и дело с концом. И вот получилось, что вроде бы я сам себе не рад стал, а только увижу огонек, правлю туда, чтобы не одному быть...

Он ушел спать, захватив с собой бутылку. Утром, совсем рано, он грубо затарахтел мотором и, нарушив

серовато-спокойный рассвет на воде, отплыл в озеро. Потом раз или два мы видели его. Он бешено, на полной скорости резал волну и не смотрел по сторонам. Он по-прежнему был один и, казалось, убегал от самого себя.

Селигер в ветреную погоду кажется больше, оттого что переплыть его гораздо труднее. А тут еще началась буря с дождем, ветром и всякими неприятными холодами, а по ночам казалось, что сюда летит экспресс, такой в нас врывался ляг и грохот. И много раз тот экспресс смерчем пролетал над нами, грозясь переехать и разнести на куски. Что бы я ни говорил себе о цивилизации, о человеке, который покоряет природу, но в жуткой черноте разыгравшейся стихии, оставшись наедине с одичавшей природой, чувствовал, что подчас берут верх силы первозданные, и испытывал первобытный страх и полную свою беспомощность.

Наша палатка качалась, и дрожала, и чудом оставалась на земле, когда ей следовало бы как шару-зонду стремительно умчаться в атмосферу. А в наших беспокойных стенах она медленно, как лодка, плавала неведь где, возвращаясь к утру на старое место. Отсидев двое суток под злыми стреляющими отвесно брызгами, мы однажды утром вылезли наружу и, несмотря на черное, совершенно беспросветное настроение, вдруг рассмеялись. Нам было весело, как путешественникам «Кон-Тики», когда они взглянули на свой плот со стороны. Наша палаточка одиноко и чахло, словно бы съезжившись, стояла среди синих и черных ливней да взбухшей от излишка влаги земли, и пресыщенная земля не могла, не хотела уже принимать воду в себя, а гнала ее прямо по гладким травам, их тонким корням опять же прямо на нас.

Бедная наша палаточка! Все, что вокруг большого, темного и недужного, — все было против нее, тихой пирамидки, простреленной много раз насквозь и живой. Мы развеселились до того, что не сбежали в деревню, как предполагали раньше, а еще сутки провалялись молча, томясь от избытка сна и тупой неприязни к любому шуршащему звуку.

Мы уже не знали, что у нас есть сухого. Два раза, раздевшись до трусиков, залезали в холодную глубину леса, словно в мрачный трюм качающегося корабля, и принимали знобкий ледяной душ с веток, и рубили сухостой и волокли его к себе. Потом, провозившись день с костром и истратив весь запас спичек, мы вдруг создавали огромное пламя ростом до небес, так что быстрые струи не достигали белого нутра его, а соприкасаясь с острыми языками, шипели и исчезали. И тогда можно было наскоро выпарить тяжелые одеяла, и подстилку, и брезент. Все, что было под нами, с боков, сверху, — все была вода с малой примесью тканей. Нам казалось, что даже в консервных банках, которые мы взрезали, доставая красное тушеное мясо, тоже была вода.

Пробуждение после бури особенно приятно. Я лежу, я еще не привык сегодня думать и думать не хочу оттого, что просто само тело чувствует наступление здорового дня.

Вообще говоря, никакого дня не видно, и не видно голубого неба или голубой воды, и все-таки по легкости ощущения, по тому, что ты выспался, что тебе приятно было проснуться, ты, наверное, знаешь, что день будет чем-то удивителен, в радостных наблюдениях и находках.

Потолок у палатки светло-желтый, сочного, пропитывающего света, и по всей длине со стенки на крышу лежит тень сосенки, что растет рядом. Она, эта сосенка, рисуется около моих глаз так ясно, что я вижу любую иголку, ворсинку на стволе и даже небольшой надлом на ветке.

Я гляжу на плоскую эту сосенку, на иглы и все яркое, что отразило ее на моем экране, и тихая радость приходит в меня. В такое время знаешь, что сбудутся самые далекие желания и все-все будет так, как никогда не бывает, — чисто, безоблачно, навсегда счастливо.

А ведь просто переменялась погода, только и всего.

Но еще несколько дней подряд мне снится один и тот же сон, будто нашу палатку гоняет по озеру, раскачивая беспорядочно в толкущихся его водах. Она будто бы плавает сама по себе, поддерживаясь на волнах тонким брезентовым дном, мягко оседая и приподнимаясь. Я несколько раз за ночь просыпаюсь, щупаю под собой брезент

и смущенно думаю: вот ведь, надо же так попасть, опять пол промокнет. В тот момент, когда Валя будила меня на рыбалку, нас с палаткой принесло к острову Хачин и там загнало в глухие камьши, около торчащих корней и коряг. Волна, сбавленная и смягченная в зарослях, переливалась в двери, и мне пришлось поджать замерзающие ноги.

— Пойдешь или не пойдешь? — спросила Валя.

— Надо вытаскивать и сушить скорее палатку, — ответил я, приподнимаясь. — На острове переночуем.

— Не надо ничего вытаскивать, надо только проснуться, — сказала Валя и, рассмеявшись, сильно потрясла меня.

В первое время, надо честно сказать, меня очень смущала эта кажущаяся непрочность нашего брезентового домика. Ночуя в глухом, очень уж нечеловеческом лесу, я всегда клал рядом с собой подводное ружье, просто на всякий случай. И вещи тут, и весла, и кораблик наш... Одни наши попутчики, ребята-москвичи, вообще на ночь накладывали в байдарку всяких банок и склянок, чтобы услышать, если кто-то (совершенно непонятно, кто же это) захочет тронуть судно. Другие туристы, мы соседствовали в одном дивном заливчике близ Залучья, имели целый релейный аппарат с тонкой паутинкой-проволокой, которой они окружили весь лагерь. Стоило бы кому-то (опять непонятно кому) оборвать хоть одну металлическую ниточку, как вспыхивала лампа, редела сирена и вообще, что называется, получалась великолепная тревога.

К чести Селигера надо отметить, что не было ни одного случая, когда этот аппарат пригодился нашим новым знакомым.

Но я все-таки понимаю их, оттого что сам пережил несколько тревожных ночей еще давно, в первые годы приезда на озеро. Первое соприкосновение с глухоманной ночной стихией всегда настораживает и пугает. Особенно если ты остался один в месте затерянном и незнакомом.

Но скоро привыкаешь к этому, так же как к странным ночным звукам, и, привыкнув, вдруг навсегда поймешь: нигде и никогда ты не переживешь такой оглушающей тишины, такой внутренне спокойной самой в себе ночи.

Однажды нам пришлось ночевать в городе Остапкове. Я люблю и неплохо знаю этот старинный, с любопытной биографией город, но писать о нем в этой книге не хочу. Может, оттого, что это своя, отличная от моих задач, тема и когда-нибудь я приду к ней. Так вот, пришел пароход вечером, а почта, куда мы просили переслать деньги на обратную дорогу, открывалась только утром. В гостинице мест не было, на вокзале нам ночевать не захотелось, и как-то дерзко и просто вдруг пришла мысль: а не поставить ли где-нибудь в укромном углу нашу любимую палаточку да не провести ли в ней еще одну ночь... Какая, собственно, разница, думали мы, город сам тих и размерен, и можно легко представить, что поход продолжается.

В зеленом скверике, около самой пристани, мы поставили в кустах сирени нашу палатку и залегли.

И — не могли спать.

Город, как музыкальная шкатулка, оказался битком наполнен странными, чуждыми нам звуками, которых мы почему-то раньше и не замечали. Может быть, именно эти две несовместимые вещи: палатка и город — дали нам возможность острее воспринять и пережить такую ночь. Сразу в двух местах говорило радио, играла на танцверанде радиола, свистели и кричали мальчишки. Особенно старалось радио, оно было очень мощным, наверное, мощность бралась с расчетом на все прилегающие к Остапкову деревни. Оно старалось, истязало весь город и само себя до двенадцати часов ночи, а потом снова с шести утра. А мы тоскливо, бесконечно глядя открытыми глазами в потолок, выслушивали все циклы гимнастики и музыкальные паузы, трижды повторенные последние известия и что-то еще, не говоря уже о прогнозе погоды, который мы выучили наизусть.

Потом загрохотали машины, и было страшно, что они проедут по нашим головам. Кричали молочницы, свистел пароход, громко разговаривали и смеялись люди. И тут еще раз мы поняли лекарственное молчание леса, тихую скромность природы, от которой оживает человек.

Ночь в лесу первобытна и дика, но она прекрасна, эта наполненная своими сумрачными звуками ночь. Свист ле-

тучей мыши, постукивание весел по воде где-то за десятки километров идущей лодки, тонкий хруст ветки то ли под ногами зверя, то ли сам по себе.

В городе все-таки не бывает ночи в ее полноценном понятии. Там есть городская ночь, белесая темнота, при которой стирается и почти не видно небо, и утомленные дома с горячими окнами. После такой ночи, где ты вроде бы один, но одновременно и вкуче со всеми, которые находятся тут же, за кирпичной стенкой, перегородкой или забором, ночь в лесу действительно приносит одиночество и, может, поэтому впервые кажется страшной. Кажется, что тебе постоянно кто-то угрожает, что все начерно сомкнулось вокруг. Возможно, это надо пережить, чтобы перестать бояться лесную ночь и начать любить ее. И тогда узнаешь все лучшее в лесной ночи, о чем даже не подозреваешь. Один человек мне говорил, что он думал искренне, будто только в планетарии рисуют такие яркие и многочисленные звезды.

Но я беру от ночи не только звезды, а все вместе: немую черноту леса на менее черном небе и дымчатое, в то же время невидимое озеро, чуть сыроватую, пахнущую терпкой травой, опять же невидимую землю и еще — мерзкий озноб хрустящего воздуха или его мягкость, ощущаемую даже пальцами. Потом, уже засыпая, услышишь тонкий скрип сосны, шум в воздухе от медленно падающей ветки и даже ее удар о землю, щекочущий шорох от муравья, который забрался к тебе в подушку с сеном, и тихое потрескивание падающей звезды. Именно тут, на Селигере, я впервые услышал, как падают, медленно потрескивая, зеленые звезды и с легким шипеньем окунаются в воду.

Ее тут все зовут Курица. Некоторые даже не знают ее имени-фамилии, но прозвище за ней укрепилось прочно, и люди говорят:

— Курица? Она сегодня на скотном. Она всегда там. Этой зимой по сто коромыслов воды с озера носила... Кудахчет, бегаёт, росточком махонькая, вот вам и Курица!

Около двора коротенькая плотная женщина средних лет, с косынкой на голове, повязанной назад, пыталась

влезть на лошадь. Она подводила лошадь к телеге, взбиралась на телегу, но лошадь в это время снова отходила.

— Да стой, треклятая! — говорила хрипловато, почти по-мальчишески женщина. — Ах ты, дрянь такая, ах ты, стервозница! — А между тем снова подогнала лошадь к телеге и попыталась на нее забраться. Наконец это удалось, она уцепилась, подоткнула в лошадиные бока короткие ноги в сапогах, присвистнула и, по-прежнему ругаясь, галопом поскакала по улице.

Я спросил случайно встретившуюся женщину про Курицу, рассчитывая застать ее за делом.

— Они уехали, — сказала женщина. — В поле сейчас.

— Давно она уехала?

— Так вот, на лошади, значит. Сели и уехали. Она у Авдотьи живет, вы там найдете ее, а сейчас в поле, где сейчас найдешь...

Образ Курицы, который я уже заранее составил про себя, как передовой колхозницы, тонкой, маленькой женщины, которая стесняется рассказывать о себе, совсем не вязался с коротковатой басовитой теткой, седлавшей лошадь. «Конечно, не она была, та уехала раньше». И с тем я решил поискать Авдотью.

В деревне дворов пятнадцать, кругом одни женщины, годов по пятьдесят-шестьдесят.

Авдотья лежала на лавке, охала, приподнимая голову, и никак не могла понять, чего мне надо. Приглохла.

В избе было грязно, чугушки вместе с хлебом и очистками свалены на столе, кругом давно не мыто. На полу сено, ходят куры. Муж погиб на фронте, живет одна. Вот все, что я смог узнать. Я огляделся. Был бы в доме мужик, он бы не допустил такого, ясно. Но и сама хозяйка опустилась. Домишко дряхлый, стекла битые, голые черные стены. Зимой они становятся белыми от мороза.

— Курица? Она во, бегаёт! Она колхоз тянет, — сказала еще тетка. — У меня плоха изба, а у нее нет и такой. У Александры Ивановны ищите, у меня она давно не живет...

— Почему же у нее нет избы? — спросил я.

— С прошлого месяца у меня не живет, — сказала хозяйка.

— Так где же ее дом? — крикнул я сильнее.

— Дык я же сказывала: немцы спалили. Мы тоже в подвалах сидели, а Курица-то отчаянная девка была... Она... ох, в уши стреляет. Ходила к доктору, а он говорит...

— Ну и что Курица? — спросил я.

— А? Курица-то? Она без распоряжения скот-то увела... Да... Там в лесу еще с двумя ребятишками и стерегла скот-то наш. Она, ух, как сатана ругается, оттого я и говорю, переехала к Сандре Вановне...

У Александры Ивановны чисто, светло и три широкие иконы в углу. Доски на полу отмыты добела, пахнет сырой прохладой, теплым деревом и еще чем-то простым и приятным. Иконы — посеребренные, старые, попорченные во время войны, когда их уносили из горящей деревни.

Рядом два портрета, увеличенные с маленьких фотографий, отретушированные, они совсем одинаковы.

— Погибли в войну, — говорила хозяйка. — Оба сына и муж тоже... Были три вербиночки, а осталось... Вот и изба тоже держится на курьих ножках да на бараньих рожках. А сенцы я уже сама пристроила. В год по бревну, так и сладила.

— А что же Курица?

— Так ведь ей тяжелей... Дети опять же, а силы в колхозе все убивает. Есть тут ленинградец, продает «изобучку», но где ей столько взять сразу... Был бы дельный председатель, да помог бы, она бы в ножки ему поклонилась... Она для себя ни-ни, а скотный двор-то на своем пупе держит, а? У нас ведь животноводческое направление, а тут зимой без механизации стали коровыдохнуть... Она же там и переночевала всю зиму, а вещи к тетке Кате снесла, чтобы ближе опять же к скотному...

Тетя Катя — маленькая, старая, примерно одnogодка с теми двумя. Муж умер в блокированном Ленинграде с голоду, живет одна. Телефон в избе стоит. Как был муж в правлении, так телефон с до войны и остался, хотя он ей совсем не нужен. По траве бегают девочка, маленькая, лет двух.

— Не моя, это Курицы внучка, не успела детей подрастить, как, ох... И мне уже не так одиноко, я-то за ней нет да погляжу...

— А где ее муж? — спросил я тетю Катю.

Тетя Катя удивилась, отмахнулась рукой. Нагнулась к девочке, спрашивает: «Ну что тебе?» А девочка еще говорить не умеет, она смотрит на землю и говорит: «Ня» — на ее языке обозначает «дай». Просит, значит.

— На, на, — говорит, суетясь, тетя Катя. — Я тебе, хочешь, редиску найду, ой нужно гряды прополоть, совсем заросли гряды. У нее целых трое детей-то. Двое учатся: один в Остапкове, один в Калининe. В люди выходят, она им еще то посылочку, то пятерочку... Только она не знает, чьи они... В войну, ой, горюшко, идут солдаты с вином в руках, ну, где тут такая-этакая молодуха?! И к ней, Курице, значит. Они-то уйдут, а дети остаются. Хоть бы один солдат возвратился посла, неужто всех-то поубивало? Ох, я думаю, не надо ее больше, войны-то... Жаль мужиков, ох, как жаль...

А девочка тут как тут, она не дает поговорить тете Кате. Чего ей война...

Она дергает за подол, она глядит на солнце и говорит: «Ня». И показывает пальцами, вытягивая ручку к солнцу.

Ей надо все солнце, ни меньше ни больше, и я беру ее на руки и долго с ней стою, потому что так до солнца куда ближе.

Проходя на Пóлновские плесы, я никогда не миновал без остановки Заплавья. Оно чем-то необыкновенно привлекает меня, белая деревушка о двадцати домах. Тут столько своеобразия, от архитектуры до самих людей, что удовольствие тихо побродить по улицам, которых, в сущности, нет, и глядеть помаленьку на чужое житье-бытье.

Прямо под ногами сушится трава с осокой пополам, громко шелестящая. При малейшей тучке из домов выскакивают тетки и начинают энергично сгребать все в кучу. Потом оглянутся, тучка растаяла, быстро раскидают траву по улице и побегут в дома.

Дома же тут почти все с прекрасными украшениями в виде резьбы. Окошки в резьбе, и сточные трубы в резьбе.

и фасад, и фамилия хозяина, и год постройки — все будто выткано, как связано из дерева.

В узкой тоне, заливчике, которым, как голубым пояском, окружена деревня, стоят катера рыбхоза. Тут можно услышать тихую приговорь рыбака, когда он продает тебе рыбу.

— Это же не рыба, это сок... Ты бери, милок, ты не смотри, что мелочь, она же, как снеток, сладкая, милок, рыба.

Высыпав ее, голубую, мокрую, прямо из своего козырька, он стряхнет его и наденет на голову.

У меня есть мечта когда-либо приехать сюда, в Заплавье, и тихо-мирно пожить тут целое лето, никуда не торопясь, не прыгая и не ругаясь по пустякам. Чтобы можно было походить на катерах на промысел, спать на сене, глядеть прямо от крыльца на заливчик, ловя ухом всплески воды, да раз в сутки приходить на разломанную до основания пристань и смотреть, как уходит пароход. Пароход появится прямо из зарослей Полонки, да я много раз видел, как он ходит по самой Полоновке, речке глубокой, но узкой и зарастающей. Двухпалубный огромный пароход, перетащенный сюда во время большого паводка с Волги, неминуемо от Полновских плесов проходит Полоновку и виден в ней за километр. Кажется, будто он движется по кустам, ломая со скрипом деревья. На самом же деле он почти трется о берега, и в тот момент, когда проходит мимо тебя, можно увидеть, как вода быстро станет подыматься и выходить из берегов, а потом сразу спадает, и ты можешь остаться на сухой земле вместе со своей лодкой...

Вот так бы и жить, чтобы пароход уходил, а ты оставался и медленно посиживал около потухающей воды и холодеющих в сумерках трав... Да мало ли у кого какая мечта, а плывем мы дальше, потому что все мы куда-то торопимся и такова жизнь.

Какой-то парусник скользнул наперерез, покачиваясь и взмывая, как широкая белая бабочка. До нас долетела негромкая песня. И вдруг странная необычность объяла меня, словно далекий, откуда-то из моей смутной юности

выплыл этот чудный парусник с песней. В какое-то мгновение я понял, что это наше — и ребята, и парусник, и песня... И быстрая, ловкая наша Зойка, прищулив глаза, правит рулем.

Яхта уходила, смутив все мои чувства, взбудоражив воображение. Она, как «Летучий голландец», пронеслась по краю воды и исчезла в плесах. Можно было подумать, что это мираж, воспоминание далеких дней, но я знал, что все было. И, бросив весла, я заговорил часто, без передышки:

— Поедем! Ну поедем же, я знаю, где они остановились. Лишь один вечер посидим, и все. Ладно?

Мы сидим у костра среди наших ребят. Все тут как прежде: шум, и шутки, и много новых песен.

Антон негромок и уравновешен. Бессменный наш капитан. Он наводит в лагере порядок и говорит:

— Разбегись на двадцать шагов, чтобы на себя взглянуть со стороны!

Юрка хвастун, он показывает рыбу:

— Смотри, ты видел такую щуку? Автор, встать!

Поднимается Лева. Он тоже не очень изменился, такой же циник, и ничего ему не нравится. Церковь Никола-рожок он называет: «Никола-саксофон», но на Селигер ездить не перестает.

Много суетится Володька Магерин, он кричит:

— Запевай, а то я кончусь.

Володька умеет делать все — петь, плясать, играть на аккордеоне или гитаре, рисовать и смешить ребят. Мне рассказывали, что он своими репликами расстроил тут серьезные соревнования по волейболу. Команды перестали играть и легли в сухую пыль прямо на площадках, разрываясь от смеха. Володька же сделал это, как всегда, не нарочно, а только потому, что чудить — свойство его характера. Забегая наперед, я скажу, что я в тот вечер видел Вовку последний раз. Через несколько месяцев он погибнет случайно и бессмысленно от руки какого-то бандита. Мне сообщили не скоро об этом по телефону, а я перестал что-либо слышать, может, я не держал трубку, кто знает. Так и получается, что еще в середине книги я писал про

Володьку живого, посмеиваясь про себя. И не знал, что на последних страницах придется сказать о его смерти. Как у Твардовского, помните: «Словно этой бедной книге много, много, много лет...»

Володька любил говорить: «Эх, жаль, что не брит, а то бы весь мир расцеловал!» И пускай это шутка, но жизнь и Володька, целиком наполненный ею, были одно целое, и трудно сейчас представить, что Володьки нет.

Володька учился в ремесленном на художника-оформителя, потом его взяли на стажировку в ансамбль Моисеева, но у него не хватило терпения ходить и заниматься. Я уже рассказывал, как он плясал в лодке посреди озера. Он делал блестящие репродукции, владея одинаково левой и правой рукой, но после него осталось очень мало оригинальных картин. Потом он работал массовиком в доме отдыха «Ильинское», где в общем-то мог и рисовать и развлекать отдыхающих (Володька один давал концерт часа на два, на три, и не какой-нибудь, а профессиональный и великолепный концерт, мы-то знали). И опять же, его любили в доме отдыха, и девчонки лезли к нему, и отдыхающие наперебой поили его водкой. Такой был путь Володьки Магерина, сложный и вдвойне трагичный оттого, что он сам понимал это. Иногда я заставлял его небритым, каким-то опухшим, с синей кожей под глазами, в его крошечной комнатке при доме отдыха, где с одной стороны валялись краски и десятки начатых эскизов, с другой — планы культмассовых мероприятий и застывшая картошка с котлетой.

— Доехал, — бормотал он смущенно. — Ваганьковское кладбище — наше будущее жилище, ах, черт!..

Один раз вот эти же ребята перетащили Володьку на завод и оформили чертежником. Он, кажется, продержался с полгода и бежал обратно в свой дом отдыха. Но мне хочется рассказать про Володьку что-нибудь другое. Веселое.

Есть у меня в памяти один вечер, который мы провели с Володькой, это было в пятьдесят восьмом году на Октябрьские праздники.

Лева пригласил Володьку, Юрку и меня на свадьбу. Мы вывернули карманы, собрав десятки, рубли и всю мелочь и за сто с чем-то рублей приобрели в подарочном магазине шоколадный набор с фарфоровой статуэткой вместе. Случилось так, что Володька участвовал в двух или трех концертах самодеятельности и мы ждали его до одиннадцати вечера.

— Хватит грызть ногти, сейчас будем грызть пироги, — сказал, прибежав, Володька, и мы отправились к Лева. Мы были веселы и голодны, мы быстро вскарабкались на пятый этаж и постучались, спрятав подарок за спину. Высунулась какая-то старуха, исчезла, потом за дверью раздался подозрительный шепот. Три старухи глядят в щель, не снимая цепочки, а за их спиной играет музыка. Володька потом уверял, глаза у них были цвета испуганного таракана.

— А зачем вам Лева?

— Да знаете, так как-то понадобился, — мычит Володька, меняясь в лице от дурных предчувствий.

— Приходите потом, — сказали нам старухи.

Володька сказал тогда, надвигая шляпу:

— Пусть он сам приходит, когда нас нет дома.

Володька был мужественный человек, и мы оценили это. Он даже не стал ломиться в дверь и звать на помощь тех, кто нестройно пел там: «Все тут замерло до утра». Он даже не обидел старух, хотя мог бы одним словом развеять по ветру их прахообразные души.

— Я хочу жрать, — сказал Юрка.

Володька сумрачно разглядывал окна домов, он никак не мог прийти в себя от нанесенной обиды, такого еще с ним никогда не было.

— И для этого мещанина, который нежится в сытом мещанском тепле с молодой мещанкой женой, мы истратили, как говорят в жестоком капиталистическом мире, последние крохи, заработанные в поте лица.

— Мьир, дыружба, мьир, — как-то слишком истерично сказал Юрка и пошел домой.

В комнатке Володьки, он жил тогда при общежитии, никого не было. Володька быстро прошелся по тумбочкам и извлек на свет древний батон, горсть кукурузных хлопьев

и нераспечатанную пачку краснодарского чая. Хлопья мы тут же съели, не донеся до стола, батон же никак не грызся, он словно окаменел от долголетия. Мы включили электроплитку и поставили чайник, бросив туда всю пачку чая.

По коридору ходили люди и что-то искали. Володька сказал, глядя задумчиво в окно:

— Это они плитку ищут. Впрочем, так им и надо, не будут оставлять ее на кухне. А ты лучше запри дверь.

И вот мы пьем чай, черный-черный, горький-горький, и сочиняем стихи. Задача такая: воспеть в ямбической форме чай и приковать международное мещанство к позорному столбу. Я начинаю строчки, Володька тут же дополняет и поправляет. Вот что у нас получилось:

БАЛЛАДА О СЛАДКОЙ СВАДЬБЕ
И ГОРЬКОМ ЧАЕ

*Да здравствует чай, золотой чай
С клеймом Краснодарского края!
Говорят — праздник, говорят — встречай,
И вот мы встречаем за горьким чаем.
Володька! Ведь мы приглашены
На свадьбу, где друг наш от счастья ярок.
Володька! Ведь мы же должны
Хоть на последние деньги купить подарок.
Но дверь на цепочке, и ко всему
Старухи нас злыми глазами встречают:
— Кто вы? Куда вы? Зачем? Почему? —
Да пусть будет трижды там «горько» ему
(Леве, значит)
От нашего трижды горького чая.
Володька! Поддай-ка чаек огневой!
Неподаренный подарок отодвинут с ворохом.
Мы бы, конечно, съели его,
Если б он не стоил так дорого...*

Пожелав Леве жить и богатеть — спереди загорбатеть, Володька полез под одеяло, а стихотворение мы прибили на стенку.

Я часто хожу на Курский вокзал, там в центральном зале есть росписи, которые сделал Володька. Его как одного из талантливых учеников еще в училище брали с собой опытные мастера. Так однажды он попал расписывать потолок на Курском вокзале, а потом он и другие ребята в шутку вписали в один из рисунков свои фамилии. Это было чуть больше, чем обыкновенное озорство, это была их память, то, с чего они начинали. Так сказать, их первое произведение искусства.

Рисунок там незатейливый, но приятный, такие бутончики цветов по потолку. Когда войдешь в зал, справа от входа вдоль стены можно угадать и фамилии, но, не зная их, прочесть трудно. И вряд ли тысячам торопливых, проходящих тут людей очень важно, какой из этих бутончиков рисовал талантливый ученик Владимир Магерин. Но это все, что осталось после него, ибо после любого человека остается его дело, и только оно служит оправданием нашей недолгой жизни. Я часто смотрю на крошечный тот бутончик и думаю о трудном назначении иметь настоящий талант, который мог бы ярко и удивительно выйти из этого бутона, но так никогда и не вышел.

— Гости, не надоели ли вам хозяйева?

— Оставайтесь, — отвечают нам. — У нас помех нет, у нас трамваи не ходят.

Но пора уходить. Встают гости, их всегда несколько десятков с турбазы, поднимаемся и мы. Часть ребят, среди них Антон и Лева, идут с нами, подсвечивая дорожку фонарями. Остальные встают лицом к просеке и поют под Володькину гитару. Это тоже традиция. Поют они что-то грустное, и мы всю дорогу будем слышать их стройный мужской квартет.

Я оглядываюсь. Мне видны лишь силуэты ребят, но хочется еще на мгновение задержаться, махнуть рукой. Словно навсегда попрощаться. Как прощаются с юностью своей, со всем, что было так прекрасно и что я пережил за этот короткий вечер.

Мы сидели на берегу, на закате долгого, казалось бы бесконечного, дня. Где-то на противоположной стороне протоки трое мужчин ловили с лодки рыбу, и голоса их

странно журчащие, притекали к нам по гладкой закатной воде. Но они, эти голоса, еще больше подчеркивали наступившую тишину.

— Папа, — говорил мальчик, — а у меня окуны!

— Молодец, — сказал отец.

— Папа, он злой, — говорил мальчик. — Он уколол мне палец.

Хорошо, что таких мальчишек привозят сюда. Однажды мы встретили подобного человечка на Щучьем озере на Хачине. По узенькой, как пояс, речонке, которая звалась Тёменка, мы проволокли байдарку до озера и там встали. Стайка голубых окуней плыла впереди моих ног и тыкалась острыми носами в лодыжки. На траве сидел мальчик и ловил рыбу. Мы присели рядом отдохнуть.

— Ловится? — спросил я.

— Отчего ж, — сказал он, не взглянув. — Тут окуньки гуляют, им только червяка потолще в нюх суй, конечно, не навозного, а земляного.

— Почему же нельзя навозного?

— Да потому, что всякая рыба тоже вкус имеет. Леща можно на червя, а можно и на метлицу (знаете, такая ночная бабочка, которая живет несколько часов), а голавля или язя есть даже ловят на ягоды. Не верите? На вишню, например, или на рябину тоже. Если хотите знать, даже от наливки ягоды берут, да еще как! Они, рыбы, тоже не дураки.

Мы все рассмеялись. Сейчас почти одновременно мы вспомнили того мальчишку.

— Если будет сын, он будет такой же.

— Да.

— Он будет все уметь, он поймет настоящую красоту, вот увидишь.

— Когда он будет? — опросил я.

— Он есть, — сказала жена. — Ты можешь после ему сказать, что он уже был на Селигере.

Я сошел тогда к воде и тихо бродил там, прислушиваясь к озеру. Я трогал руками острую тресту, гладил песок и прикасался ладонью к горячей воде, и мне не хватало рук, чтобы ко всему притронуться в тот странный вечер.

А Селигер медленно потухал после захода солнца. Он вдруг теряет все краски и становится по-разному бел, а где-то даже его белизна доходит до черноты.

В такие минуты он особенно умиротворен и нежен в своем выражении, в красках, тишине и воздухе, тоже неподвижном и неярком.

Над берегом черными веерами взмывают тысячи ночных бабочек. Это метлица, метла. Еще ее зовут поденкой. Бабочки взмывают что есть силы вверх на десятки метров и, обессилев, планируют совершенно неподвижно до самой земли, а потом опять, отчаянно и сильно вздрогнув и напружинив крылья, они начинают свой торжествующий взлет в небо. Все они лицом обращены к уходящему солнцу, которое, возможно, и не скрылось, а еще за деревьями, и они стремятся вверх, чтобы продлить свое солнце, чтобы не потерять его. Потому что они видели его всего один час, они родились перед самым закатом и никогда уже не доживут до рассвета.

Я смотрю на их черные вихри, их взмывающие и опадающие фонтаны и думаю о краткости жизни, о силе жизни, если можно так сказать, о страсти жизни, в которой все живое одинаково. И скоростной полет этого дня, зеленые полосы света на траве и податливая земляника – все уходит и потухает, а то, что будет завтра, будет совсем другое. И ягоды, травы, облака и само озеро. И никак не крикнешь, встав посреди этого и поняв все: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

Ибо жизнь во взлетах и падениях, в вечном стремлении за солнцем, перед наступлением ночи, у которой никогда не будет рассвета.

Но завтра будет другое солнце, и потомки этого куста земляники будут несмело кормить моих потомков горячей солнечной ягодой.

А ночные бабочки летят и летят за солнцем, однажды увиденным и понятным, и никакие силы не остановят их в этом счастливом полете.

ПТУШЕНЬКА

Поминовение, то есть воспоминание о лицах,
заслуживших себе доброе имя по части своей деятельности,
которые успели поддержать честь и имя потомству..
и те из них, кто жил в бедности и вовсе не был историческим лицом
в государстве.

РУССКИЙ ОБРЯД

От тети Ани из Смоленска пришло письмо. Оно было адресовано моей сестре Люде, но читали мы его вместе с Людой и отцом.

Тетя Аня писала про своего мужа, брата моего отца, что болел он легкими, а потом это оказался рак, и теперь он в плохом состоянии. Дни его сочтены, и просит он приехать своего брата хотя бы на два, на три дня. Дальше тетя Аня писала, что трудно с продуктами, и опять просила приехать. «Он все плачет, вот я и пишу, не замедлите передать все это отцу».

Вот такое письмо.

Дядя Федя, о котором писалось в письме, был отцовским братом. В Смоленске же ни я, ни отец не бывали с каких-то довоенных лет, когда меня маленького возили на родину отца, в смоленскую дальнюю деревню.

Деревню я запомнил, позже, во время поездки, отец привел меня на зеленый луг среди леса и спросил:

— Где стоял дедов дом?

Я посмотрел, ответил:

— Налево, вон на том пригорке.

— Смотри-ка, — сказал он, совершенно удивившись, — ведь дом действительно стоял на пригорке на левой стороне. Немцы в войну все спалили, теперь тут березы посадили, будет расти лес.

— А помнишь, как ты соты пчелиные из земли вырывал, в огороде за домом? — спросил я.

Этого отец не помнил. А внизу под горкой какой-то дед дал мне кусок меда в сотах. Я стал откусывать, у меня слиплись язык и губы.

— Ведь верно, — сказал отец, — внизу под горкой жил немой, который имел ульи и гнал мед.

Я тогда впервые пробовал мед в сотах и с тех пор ни разу больше не ел такого меда. Я и сейчас помню деревню в наступающих сумерках, я сбегаю под горку и натякаюсь на странный аппарат, который вертится, деревянно грохоча. Неторопливый человек смотрит мне в глаза пристально и серьезно, потом достает кусок меда и говорит «м-м-мы».

Вот я и говорю, деревню я немного запомнил, но Смоленск — нет, хоть в нем мы также останавливались, там жили отцовские братья, Егор, Викентий, Федор и Степан. Егор, самый старший из братьев, воевал в первую империалистическую, был в плену, вернулся в деревню. В Отечественную воевали все пятеро, погиб из пятерых один Степан. Егор умер вскоре после войны от рака, от рака теперь умирал и младший из братьев, Федор, для меня дядя Федя.

Это было к концу апреля, а почти следом пришла телеграмма о смерти его. Отец позвал нас, меня и сестру Люду, к себе и прочел телеграмму. Он стал рассказывать про Смоленск, про деда с бабкой, которые похоронены в деревне на его родине. Похоронены они без крестов, потому что в войну и первые годы после войны не до того было, чтобы думать о крестах. Думали, как бы самим выжить, детей от голода спасти. После же кресты те заказали и сварили из железа, но отвезти в деревню не смогли. Так и лежат кресты на чердаке у дяди Викентия, последнего из оставшихся в живых братьев.

Разговор шел у отца дома, мы выпивали, поминая умершего дядю Федю, и разговаривали. Дом отцов был недостроен, сложен им самим из каких-то отбросов кирпича, отец все умел делать сам: построить дом и оштукатурить

его, сложить печь, вырыть колодец, провести газ, замочить капусту и яблоки. На моей памяти после войны отец всегда что-нибудь строил и никогда ничего своего не имел. Пережив потерю первой жены, нашей матери, войну и разлуку с нами, отец неудачно потом женился, оставил все, что построил, и сейчас начинал снова. У него и теперь, как всегда, насколько я его помнил, шея и руки с февраля—марта месяца были черными, сожженные солнцем, оттого что вставал он в пять часов утра.

Был вечер, резко холодало. Пахло дымом, навозом и землей—щемящий весенний запах Подмосковья. Вдобавок к моей «Столичной», обязательной по приезду, отец принес еще самогонку, чистую, как слеза, отстоянную на пшене и вдобавок профильтрованную через специальный, от старых противогозов, уголь.

— Ты, наверное, не помнишь, как я рыбу ловил и раков, прямо руками, — сказал он.

— Помню, — ответил я.

— Там раки знаешь какие, ахнешь. Ну, выпьем за покойного Федора.

Отец пил легко, мог выпить много, а ведь ему было под шестьдесят.

Закусывая луком, салом да студнем собственного изготовления, он повторил:

— Вот до войны как ездили с тобой и Дусей (моей матерью), в каком же это... тридцать шестом или тридцать седьмом году. С тех пор ни разу и не собрались, и кресты вот тоже...

Отец пил самогон и рассказывал о том, как они с братьями ловили раков в их речке. Выходило, что ничто на свете не было так хорошо, не запомнилось ему так радостно и подробно, как те из дальней его юности раки. Может быть, в таких чувствах виновато было письмо тети Ани, смерть брата и весенний вечерний дух земли, который умеет тревожить в нас что-то очень глубокое и потаенное, то, чего мы сами в себе даже не подозреваем.

Что для меня была Смоленщина, места, которые ни с чем меня не связывали, ни о чем не напоминали? В дет-

домовских анкетах я часто писал: «родился в Смоленске». И сам верил в это. Подчас меня разоблачали, доставали вдруг какую-нибудь сохранившуюся другую мою анкету или метрику, тогда я врал еще больше.

В детдоме мы вообще все были сочинителями своей жизни, иногда это было почти необходимо, когда касалось некоторых репрессированных и расстрелянных отцов.

Подсказывала интуиция, а иногда воспитатели.

Смоленщина же была для меня как какой-нибудь родовой замок для нищего принца, как моральная опора, что мы не безродные, не чьи-нибудь, а у нас есть твердая точка, своя родина — Смоленщина.

Все, что связывалось с отцом в те детдомовские времена: фотография ли, рассказ знакомого, память о принадлежности отца к определенному месту, — было для нас совершенно надежной опорой. Ведь надежнее ничего другого не было.

Прошло детство, его примерность заменили очень серьезные бумажки. Но оставалась смоленская родина отца, деда, прадеда и всех, всего родословного, никем не прослеженного дерева, к Смоленщине был я причастен.

Так в весенний вечер порешили мы с отцом поехать в Смоленск, а потом дальше, забрав кресты, до родной его деревни Спасское. Двадцать седьмого июня мы выехали на машине в Смоленск.

Мы остановились у тети Ани, той, которая написала нам письмо. Встретили нас радушно, искренне обрадовавшись, как радуются гостям еще у нас в провинции, а на следующий день повезли к дяде Викентию, единственному теперь брату отца. Не виделись они лет двадцать, что ли.

Расскажу, как братья встретились. Отец, и тетя Аня, и я подымались в горку по кривой, изрытой дождевым потоком улице, видя уже издалека домик дяди Викентия, одинаковый с другими домиками, в то время как странный пожилой человек лез через забор из сада на улицу. Это был дядя Викентий.

Отец смотрел на него издали, еще точно не зная, может, только чувствуя, что это брат, и как-то глуповато улыбаясь. Наверное, так же, как и тетя Аня и я. И дядя Викентий повернул голову, отцепляя брючину от какой-то проволоки, и встал, глядя на отца. Он первый и закричал:

– Али Сергей?

Хрипло как-то закричал, широко открыв серые глаза, казавшиеся голубыми из-за темной кожи лица. И повторил почти восхищенно:

– Сергей, а? Серега, что ли?

Он мелко побежал навстречу, с тем же радостным восхищением, и можно было его теперь всего видеть, если бы я тоже не разволновался. Я только запомнил, что он ниже отца, суховат и жилист, да с первого взгляда в нем замечалась его мужицкая порода, которую, пошли ты его хоть в Париж, не отнимешь ни в жизнь, она в облике, в разговоре, в руках. От рук его, казалось, так и пахло сырой и тяжелой землей.

Братья обнялись, и, так как отец оставался под горкой, роста их сравнялись, а уже выбегала из сеней жена дяди Викентия, Феня, на которую тетя Аня ссылалась в своем письме. Были слезы и радостный смешок вместе с восклицаниями и приговором:

– Серег, а Серег?.. Я уж смотрю, думаю, кто же такой идет, ведь на улице бы не узнал! Серег, не узнал бы!.. Я и через забор полез, чтобы курей не выпускать, а он идет под горку, вижу, прям будто бы Серег!.. А? Ах-ха!

Мы пошли в дом, беспорядочно толкаясь и пропуская друг друга. Потом дядя Викентий ушел за перегородку и пошептался с Феней. Она накинула темный жакет и, уходя, радостно сказала:

– Нагрянули, аккурат как комиссия в магазине...

И было понятно, что она действительно рада, что так вот неожиданно нагрянули. Но уже после того, как она, пошептавшись, ушла и вернулась с поллитрой, не раньше, отец как бы невзначай вспомнил:

– Ну зачем... Мы вон своего, домашнего, прихватили...

Он знал, что так положено, чтобы Феня бежала за поллитрой, и прежде со своим самогоном нельзя соваться. И дядя Викентий и тетя Аня все это понимали, дядя Викентий ответил:

— Как же зачем, когда брательник приехал, один, который остался? Ты на похоронах Федора-то не был?

— Не успел, — сказал отец и обратился к тете Ане: — После меня он хуже был?

— Да, — ответила она ровно. — Вскоре и помер. Сидел за столом, не кашлял, не задыхался, враз и помер. Он все до ягод, до клубники дожить хотел.

— Могилку мы ему сделали, — вставляет дядя Викентий. — Федя не обидится, хорошую могилку.

— Бетоном? — спрашивает отец.

— Бетоном, — говорит тетя Аня.

— А загородочка — так вот?

— Загородочка повыше будет.

— Значит, до вас не дошла еще московская мода: там выше не разрешают.

— Нет, у нас вот до энтих пор. А на поминках все пили, говорят: Федя не обидится.

— Сколько же ему было?

— Да пятьдесят четыре. Ты, Серег, на два года старше Федора? А я на восемь, вишь как вышло. Значит, наречено так...

— Он раненный был в войну, — сказала тетя Аня. — Ему три пули в живот влетели, а умер — от легких.

— Я и говорю, что так, значит, наречено, — повторил дядя Викентий. — Был у нас фронтовик один, весь фронт прошел, и ни царапины.

— Судьба, — сказал отец.

— ...Повез в город пуд зерна, хотел на поезд сесть на ходу, так дало: черепушки в разные стороны...

— Судьба, — на той же ноте повторил отец. — А бывает только на передовую — и готов. В первый же день!

— Береженого бог бережет.

Тут Феня принесла закуску, дядя Викентий оторвал жестяной колпачок на бутылке и кликнул завозившуюся жену.

— Ну, с приездом, что ли, Серег?

И выпил, долго нюхал корку хлеба. Тетя Аня и Феня тоже сказали: «Со свиданьем», — и тихо выпили.

Отец опрокинул в себя рюмку, пережил секундную отдачу внутри себя, вздохнул и, не прикасаясь к закуске, спросил:

— Что Валентин, был на похоронах?

Валентин — мой двоюродный брат, сын дяди Степана, погибшего на войне. Его фамилию я встретил в газетах много лет назад, о нем писали как об олимпийском чемпионе по конькам. Я не видел Валентина, но очень тогда гордился, что мой двоюродный брат чемпион. И все родственники гордились.

— А я не верю, что умер, — произносит тетя Аня, и глаза ее начинают блестеть, она гасит блеск, прикрывая глаза. — Я его все равно жду.

— Ну вот. Знала ведь, что умирает! Знала же!

— Знала. И не верю. Вот, думаю, скоро Федя придет... Сколько пережито с ним, зачем это — порознь уходить. Один живет, а другой нет.

— Теперь дети, — говорит отец, взглядывая на меня.

— Как бы то ни было! — теперь кричит тетя Аня, высушив глаза платком и выпив еще водки. — Как бы то ни было, а наши дети выросли, мерзавчики не ели!

Я знаю, что стоит за этим восклицанием, о чем думают отец и тетя Аня, когда так говорят. После войны было очень трудно — наверное, даже трудней, чем в войну. Люди вдруг захотели лучше жить, они устали за войну, а было так же голодно. У тети Ани тогда на руках остались трое детей и больной муж, я знаю, как она крутилась, чтобы вывернуться. Она была красивой, очень молодой, наверное, она очень рано вышла замуж. Она привозила в Москву дрожжи, яйца, а потом увозила масло и что-то еще. Сейчас бы, может, такое назвали спекуляцией, но тогда рынком жили все. Однажды я встретил на рынке свою школьную любовь Манечку и, кажется, не очень был поражен, что она продавала машинку для стрижки волос.

Тетя Аня была по молодости очень удачлива.

Я вспоминаю, как она крутилась, как выворачивалась чтобы прокормить свою «тройку», и все-таки она так часто смеялась.

Я сейчас представляю: шепутная, звонкая, она приходит к нам домой, и начинается какой-то странный праздник. Все в доме оживает, начинает блестеть и приятно пахнуть оттого, что прикоснулись ее руки.

А потом вечером она после рюмки вина станет петь песни, забирая так высоко и тонко, что все, кто пел сначала, примолкнут, а если есть еще женщины, они будут ревниво глядеть на тетю Аню и молчать.

А она в конце песни на той же высокой ноте рассмеется, и обидчивые женщины сразу ей простят ее хороший голос, а мужчины начнут тихо влюбляться в нее.

Так же, от приезда к приезду, был в нее влюблен я. Однажды мы вдвоем переписывали с пластинки песню про танкиста. Там через деревню проходили танки, и на привале играл танкист. И девушка влюбилась в него. Он ей говорил:

*Подари мне на прощанье
Взгляд твоих прекрасных глаз.
Предстоит нам расставанье —
Мы на запад уходим сейчас...*

Он обещал вернуться, когда они пойдут обратно. А после танки ушли, а девушка не позабыла танкиста и часто ходила на ту поляну.

*Часто там она встречает
Утра розовый рассвет
И танкиста вспоминает:
Может, шутка, а может быть, нет.*

Мы заводили пластинку много раз и еще отдельные места. Я писал карандашом текст, он казался мне тогда чрезвычайно грустным. Я был в той поре, когда чужая лю-

бовь вызывает сострадание, мучительные предчувствия и раздумья. А у тети Ани все было в прошлом, хотя ей, наверное, было лет двадцать пять или даже меньше. Ей хотелось такой вот мучительной любви к танкисту, а у нее были дети, больной муж и всякие купли-продажи на рынке.

У нее выросли хорошие дети, дочь вышла замуж, младший, Витька, хочет учиться электронике... А тогда, переписывая сентиментальную песенку, она вдруг заплакала. Я говорил: «Тетя Аня!.. Ну, тетя Аня!» А она рыдала так сильно, что я испугался. А потом она так же быстро перестала плакать, ее слезы прошли, как грибной дождь. Она стала смеяться, и все прошло вообще. Кроме этой песни, которую я почему-то запомнил:

И танкиста вспоминает:

Может, шутка, а может быть, нет.

Разговор за столом разгорелся. Дядя Викентий сухой, жилистый и очень носатый, такой нос был у нашей бабки. Голос глуховатый, папиросами пренебрегает, курит свою собственную махорку.

Феня приносит еще закуску. Она почему-то ходит по полу босиком, разглядывая меня то с той, то с другой стороны. Вдруг говорит:

— Ну что, не сын, Сережа? Не сын, да? — Она почему-то не хочет верить, что я Сергеев сын.

— Не похож?

— Похож, да только... Нет, наверное, это не сын, а?

— Как же не сын? — кричит вздорно дядя Викентий. — Кто ж он ему, когда наша порода видна! — Он выбегает живо из-за стола, говорит мне: — Пошли.

— Куда?

— Пошли, я тебе что покажу, — и все тянет за руку.

— Он дом тебе хочет показать, — произносит тетя Аня. — Он же нетерпеливый, как вся ваша порода: задумал — сделал. Ты иди, иди, — говорит она.

«Порода», — сказала тетя Аня, и я, глядя на дядю Викентия, вспоминаю бабкины глаза, до чего отчетливо вижу

их, светлые, круглые. В глазах дяди Викентия живут глаза бабки, до этого я и не вспоминал, какие у нее глаза. Но неистовость, нетерпение — это, пожалуй, от деда. Дядя Викентий тащит меня на другую половину дома, объясняет размахивая руками:

— Во, спальня! Кровати ихние, сын тут, значит. А тут зала, телевизор вот, приемник «Искра», мы тут вечером сидим, чай гоняем...

Он ведет меня дальше, подталкивая за плечо, кричит:

— Дом я кроил из шпал! На работе выписывал, мне полагается! Паровозник я, слышал небось?

Я киваю. Не слышал, но интересно. Я думаю, что, наверное, оттого у него темные руки и лицо, на всю жизнь сажа въелась...

— ...Подвал: смотри, потолок! Ты пощупай руками, не бойсь, железобетон! Чувствуешь? Тут тепло, можно свинью держать. Пошли в огород...

Дядя Викентий торопится, забегает вперед, заглядывает мне в глаза. Восторженно кричит на ухо:

— Огород! Я его поделил: горка, верх, говорю, мне, низ — сыну...

Выходят на воздух тетя Аня с отцом, у обоих разогретые водкой лица, отец вспотевший, пунцовый, а тетя Аня, наоборот, бледненькая, водка у нее блестит в глазах.

Она спрашивает:

— Вика, где у тебя кресты, что для бабки с дедом?

— Кресты? — спрашивает дядя Викентий, поддвигая штаны и оглядываясь. — Кресты?

Он лезет на чердак, копается там, а мы стоим смотрим наверх. Дядя Викентий свешивается и кричит: «Принимай!», подает отцу крест, большой, сваренный из арматурного железа. Отец принимает, прислоняет к забору, берет второй.

Дядя Викентий с лестницы говорит:

— А что, Серег, право, их не украдут зато. А?

— Килограмм пятнадцать. — Отец примеривает крест подымая от земли.

— Сашка заказывал! — кричит с лестницы дядя Викентий, выворачивая голову на отца. — За три креста сварщику пятнадцать рублей дал... Все просили Валентина свезти, да машину ему, видно, жалко. Там дороги — ух!..

Проходящая за забором женщина встала, разглядывая кресты.

— Кому же это?

— Отцу с матерью, вот кому, — сказал ей дядя Викентий, оттаскивая от чердака лестницу и отряхивая руку об руку. Все пошли снова в дом, обсуждая на ходу, как сделать, чтобы кресты не украли.

— Сноха ставила, — говорила тетя Аня. — Кто-то решил, что это из трубки, своротил да бросил...

— Бревно зароем, — сказал отец со знанием дела, — всего полметра поперек, никто никогда не выдернет.

— Цементу, цементу надо! — горячо пояснял дядя Викентий и спрашивал тетю Аню: — Так они, говоришь, в одной могиле похоронены? А крест-то второй можно зятьку, зятек у меня там, поблизости...

— Птушенька покажет их могилу, — отвечала тетя Аня, улыбаясь раскованно и наклоняя голову к плечу. — Она одна все и знает, там никого больше не осталось.

— Птушка? Она жива? — спросили почти враз дядя Викентий и отец.

— Жива, говорят. Она какая-то вечная.

— Постой, — сказал отец. — Как ее фамилия? Бородавкина, что ли? Она ведь замужем была за этим...

— Серег! — кричит через стол дядя Викентий, разлив по рюмкам водку и рассматривая пустую бутылку на просвет. — Серег, ты помнишь, как меня женили? Ты помнишь?

— Птушенька, ах, женщина, — говорит, вздыхая, тетя Аня. — Она скажет: «Птушенька ты моя, кукушенька ты моя...»

— Кто же не помнит! — отвечает, усмехаясь, вздрагивая животом и всем телом, отец и глядит на рюмку, словно в волшебное зеркальце. — У меня тогда руки отсохли, пять

ведер самогону наварил, двое на твоей свадьбе до смерти напились!.. Вот, ей-богу...

— Один мой двоюродный, — взвизгивает, подпрыгивая дядя Викентий, хотя речь идет как будто бы о несчастье. — Я как сейчас помню, литру он выпил, по бороде течет, а он: «Горрько!» Потом в сено лицом хлоп — и помер.

— Сгорел, — улыбаясь, сказала тетя Аня.

— Меня самого тогда откачивали, — усмехаясь, качает головой пораженный собственными воспоминаниями отец. — Молоком меня... Навоз конский давали, чтобы вырвало...

— Ты, Серег, чудил тогда! — кричит дядя Викентий, радостно оскаливая зубы. Зубы у него темные, но все целы. Опять же бабкина порода. — Ой, чудил... Ты сейчас не изменился? Нет?

— Нет! — хохочет отец.

— Тоньку помнишь, Тоньку, в которую влюблен-то был?

— Сашку, — говорит отец.

— Ну да, Сашка была ее сестра!

— Тоню за меня сватали, хотели, чтобы мы с Викентием кунаками стали, — объясняет отец не кому-нибудь, а всем сразу. — Землицы у них было!

— Семь десятин всего, — говорит дядя Викентий.

— А что, мало, семь десятин?

— Сашка неудачно вышла замуж, вы будете, кстати, мимо проезжать.

— Поехали? — спрашивает отец. — Чего ты, на пенсии?

— На пенсии, — озорно всхлипывает дядя Викентий, поразившись предложению отца.

— Ну? Поехали? — кричит, стучая ладонью по столу, отец.

И дядя Викентий, хохоча, подскакивает и через весь стол тянет к отцу восторженное лицо.

— Серег, а всех увидим? Ведь я с двадцать четвертого года не был... как тогда, помнишь?.. Я, Серег... как там без нас?

— Птушеньку увидите, — почему-то разволновавшись и вытирая пьяную слезу, говорит тетя Аня. — Ничего не хочу, только бы Птушеньку повидать.

— А раков, Сергей, помнишь? Какие раки, а, Серег?

— Хороши раки! — отвечает, покачиваясь, то ли смеясь, то ли плача, отец.

Братья стали говорить о раках.

Выехали мы рано. Кресты привязали веревками к багажнику на крыше машины. Чтобы они не стучали, их завернули в мешковину, но они все равно стучали.

В машине отец спросил брата:

— Палец-то на войне отшибло?

У дяди Викентия на правой руке нет указательного пальца.

— Не-е, Серег, не на войне, — говорит тот, вдруг пожившись. — На войне бы враз дезертиром сочли... Слава богу, после войны, когда я в депо работал.

Отец сидит на переднем сиденье рядом со мной. Он поворачивается к брату, спрашивает:

— А Семен где?

— Семен помер, — отвечает дядя Викентий.

— А Соня? Соня, которая потом Фролова?

— Соня тоже померла.

— А Павел?

— Так Павла немцы собаками затравили, — говорит дядя Викентий. — Он тут в войну подпольем руководил. Так на клочки и разорвали Павла Евстигнеевича.

Отец разворачивается теперь совсем назад, чтобы видеть лицо дяди Викентия.

— А Костя? — спрашивает он.

— Костя служит в Грузии, он начальник военкомата.

Сто лет нашему роду, двадцать девять семей с такой фамилией... Хотя многих война повышибла.

В 1874 году родился наш дед Петр Васильевич. У деда Петра было пять сыновей, в живых остались дядя Викентий да отец.

— А Линь? — кричит отец дяде Викентию.

— Ленька-то? (Вот пошло Линь — не отлепишь!) Ленька погиб!

— Птушка?

— Ее дом против нашего стоял, — говорит дядя Викентий. — Она была нашему деду крестной матерью. Она же единственная, кто знает, где кто схоронен, многим закрыла глаза. А что сама пережила: муж погиб, детей расстреляли немцы в сорок втором, недавно правнучка утонула...

— Почему ее так прозвали? — спрашиваю я.

Мы стоим перед железнодорожным переездом. На лево знак поворота в город Починок. Нам проезжать этот город.

— Кличка, — говорит отец. — Звать-то ее я уж не помню как. Александра Егоровна будто. Да ее так и знают, кого ни спроси: «Птушка, Птушенька».

— Птица, — наклонясь ко мне сзади, произносит дядя Викентий. — Птаха, Птушка то есть, ласковое обозначение как бы. Птушенька ты моя, кукушенька ты моя... — сказал дядя Викентий, и братья захохотали. Прощел поезд, мы свернули на боковое шоссе и через пять минут въезжали в город Починок.

Об этом малом городке на Смоленщине я знал по рассказам отца, а у поэта Твардовского есть стихотворение, которое так и называется «Станция Починок».

Вот несколько строк из него:

*Но случилось весной
Мне проехать мимо
Маленькой моей, глухой
Станции родимой.
И успел услышать я
В тишине минутной
Ровный посвист соловья
За оградой смутной.
Он пропел мне свой привет
Ради встречи редкой,
Будто здесь шестнадцать лет
Ждал меня на ветке...*

Это было как бы и про отца с дядей Викентием.

Однажды я спросил отца: слышал ли он поэта Твардовского, с каких он мест?

— Кузнецы Твардовские? — воскликнул отец, оживляясь, и я понял, что он не напрасно пропустил мимо ушей слово «поэт». Это ему было безразлично, он знал Твардовских с другой, более важной для его воспоминаний стороны. — Твардовские, — сказал отец, — жили семь верст от нас, кто же их не знал!

Отец тогда начинал вспоминать Смоленщину, и странные имена, даже названия деревень, необычно будоражили мои чувства, будто поднимали со дна моей памяти такое, чего я и сам не знал.

На пыльной изъезженной лошадьми и машинами площади мы встали. Отец пошел покупать гостинцы для деревенских: конфеты и пряники.

Вочереди он встретил земляка, да тут, наверное, каждый второй земляк. Смоленщина больна землячеством, чтит землячество, для смоляков земляк — первое дело.

Я застал только часть разговора отца с земляком.

— Значит, ты не ляховский?

— Нет, из Радино, Петра Васильевича сын... Не слышал?

— Как не слышал, вас там было сколько... Ты не Сергей который?

— Ну, Сергей!

— Так ты вроде в смоленской столице живешь?

— В Москве я живу, — сказал отец.

— Ишь, — говорил земляк. — Сюда, значит, проведать или как?

— Проведать, — сказал отец. — Только никого не осталось, вот раков половить. Раки у нас отменные были...

— Раки есть, — подтвердил земляк. — Сколь лет-то прошло, тридцать?

— Не меньше, — ответил отец. — Там Птушка жива?

— Жива, — сказал земляк. — Чего ж ей. А ты сильно постарел. Я тебя мальчишкой помню, ишь ты, как бывает.

Нет-нет человека, будто совсем исчез, а он вдруг появляется. Ну, бывай!

Отец вернулся в хорошем настроении, в руках два куля под подбородок. Мы было тронулись дальше, вдруг дядя Викентий сказал:

— Тоньку с Сашкой посмотреть не хочешь?

— И они тут? — спросил отец весело и изумленно.

— Тут как раз, они же в Починках живут, на окраинной улице. Всего пять минут ходу, я скажу, как ехать.

Мы свернули в боковую, почти деревенскую улицу. И скоро нашли их дом.

Насколько я понимал, Тоня и Саша — две сестры, одну из них, Тоню, любил мой отец. Будто бы он даже сватался, но вышла она замуж за сына кулака Филимона, у которого мой отец в те годы работал пастухом. Филимон имел четырех коров, пять лошадей, хороший кусок земли. Должно быть, его раскулачили, но толком я не знаю. Евгений Филимонович учился в военном училище, был по тем временам, наверное, человек образованный, не чета моему отцу. Но тоже вернулся к земле, стал хозяйствовать, как это делали его отец и дед. Тоня как раз кормила утят, и руки у нее были все в сыром хлебном тесте, когда мы встали напротив. Отец молчал, и она молчала. Нетерпеливый, ходкий дядя Викентий воскликнул:

— Тоньк, неужто не признаешь, с кем я приехал? Меня помнишь? Да? А Серегу не признаешь?

Пряча измазанные руки под фартук, женщина произнесла:

— Признаю. Приехал, значит?

— Приехал, — сказал отец.

— С сыном! С сыном он! — закричал дядя Викентий, хохоча и хлопая отца по спине.

— С какого года же мы не виделись? — спросил отец. — С двадцать шестого?

— Да, — кивнула она, так же пряча руки под фартуком. — С двадцать шестого.

— Ну, твои-то дома? — сказал дядя Викентий, забегаая вперед отца и вперед самой Тони. — Шурка тут?

— Все дома. Шура и сам, — сказала Тоня, поборов смущение и приглашая в дом, но втайне стесняясь своей одежды. Вышел Евгений Филимонович, суховатый, загорелый, с седой блестящей щетиной, взглянул с крыльца, прикрыв один глаз. Так он минуту, наверное, напряженно щурился, узнавал. Сдержанно поздоровался, пригласил жестом в дом. Тоня теперь наскоро вытерла руки, поправила платок и, загородясь рукой от солнца, с любопытством впрямую рассматривала отца, который медлил все входить, оглядывая двор и хозяйство.

— Сын? — спросила она, не отпуская глаз от отца.

— Да, — ответил отец, тоже как будто смущенно и в то же время бодро. От смущения он все время усмехался. Добавил: — Они вверх растут, а мы вниз.

— И внуки?

— Два внука, — ответил отец.

— А вы шустрый, — сказала она, засмеявшись. — Не изменились. А у меня вот куры, гуси, свиньи. Хозяйство... — И, спохватившись, что так и стоит, как застали ее, неловко загородила свои глаза.

— Ох, неудобно, неудобно так.

— Чего ж неудобного? — спросил отец. — Что приехал, неудобно?

— Нет, спасибо вам, только не приготовлены мы. Я сейчас, скоро...

Она быстро, как девочка, убежала. Мы прошли прохладные сенцы и сели вокруг пустого стола, так же как у дяди Викентия и у тети Ани, ждали, пока хозяева приготовятся, и все это было в порядке вещей.

Неторопливо разговаривали, обсуждали дорогу и старались не глядеть на стол, где между тем накапливалась закуска. Сало в тарелочках, чистое, нежное, как масло, от хлебного корма, ржаной хлеб, лук зеленый, потом еще лук с головками, тарелка с соленой капустой и огурчиками, положенными по краям, а в конце — яичница с салом,

шипящая на большой сковороде, ее поставили посредине и пригласили сесть «лицом к столу».

Вышли приодетые уже сестры. Шура в скромном, темном, молчаливая, быстро постаревшая женщина. Тоня нарядилась в красную кофту и надела дешевенький медальончик на цепочке. Была она еще крепкая женщина, свежая лицом, часто и с любопытством глядела на отца.

Евгений Филимонович ничего не стал переодевать: так и пододвинулся со стулом в старой гимнастерке, в галифе на босу ногу. Он был по-своему интересен, все шурился, раздумывал. Руки, я обратил внимание, когда он брал закуску, были натруженные, темные от солнца и работы.

Он налил самогона и вовсе не для оправдания, а так уж, кстати, сказал, что власти, мол, самогон гнать для себя не мешают. На продажу — другое дело, а для себя, министр будто бы сказал, можно.

Говорил он это больше для меня, как городского и официального человека, он и дальше спросил: вижу ли я министров, встречал ли в Москве Твардовского, если еще встречу, чтобы передал ему привет.

— Они знают, — сказал Евгений Филимонович, — они с моим братом Костькой вместе в школе учились.

— Твардовские в Загорье жили, — то ли сказал, то ли спросил отец.

— Их отец Трифон Гордеич хутор имел, — сказал Евгений Филимонович. — Сейчас туда переехали все из Уварова, только две избы остались.

Он стал рассказывать, что сын Трифона Гордеича Александр, родных мест не забывает, из своих денег построил клуб и дал на устройство пруда, и мать кузнецов Твардовских живет там же...

Евгений Филимонович говорил и глядел на отца. Он пил, не пьянел, глаза оставались трезвыми, какими-то необычайно цепкими.

Где-то после третьей рюмки, чокаясь с отцом, он вдруг сказал:

— Ты, знаешь, не стесняйся, что тово...

— Чево? — спросил отец.

— «Чего-чево», — сердясь, но по-доброму, расположено к отцу, произнес Евгений Филимонович. — Некоторые встречают, и глаза в сторону, мол, был в пастухах... А чево такого, что в пастухах?.. И я мог быть! Пастух — это ведь и не батрак вовсе!..

— Не батрак, — живо отвечает отец, уже опьяневший и радостный от таких слов Евгения Филимоновича.

Отцу приятно, что его встретили как полагается, это для него очень важно. Он готов согласиться с Евгением Филимоновичем, и оно понятно. Оба прожили жизнь, воевали в Отечественную, оба пришли к земле, к приусадебному хозяйству, на краю Починок, на краю Москвы... Делить им нечего, а что было, то быльем поросло.

— Вот я и говорю, — горячо выговаривает Евгений Филимонович. И подливает самогону. — Как друг приехал! Я всегда рад! У меня Пашка Приставкин два года жил... И Степан жил, не брезговали.

Нет, делить им уже нечего, а дети их строят новую жизнь. Оба садятся уже совсем рядом и говорят о хозяйстве, о дороге, по которой нам придется ехать. Бордебяки, Тюри, Никульчино... Я выхожу во двор. Слышу, как отец говорит:

— На воздухе пройдет, но мы были цепче! Без привычки самогон ударяет...

«Да, не привык», — думаю я. Что он чувствует, глядя на Тоню, понимает ли он, что я могу сейчас думать о его жене и своей матери. У него уже третья жена, а у меня была одна мать, та самая женщина, которая сейчас мне ближе, чем ему. Мы даже на равных не можем говорить о моей матери, но ведь я не упрекаю, я хочу понять, почему так бывает.

— Им особую водку подавай, — говорит уже Евгений Филимонович, рассказывает отцу про хозяйство, про сад, пятистенную пристройку.

— Особая водка, — замечает отец, пьяно посмеиваясь, — это прототип «Старки»...

— Родня, — вставляет дядя Викентий.

— Ну нет, не родня! Была довоенная «Старка», а особая — это как бы ее третье замужество...

Мы прощаемся. Отец садится в машину, но открывает еще дверцу и кричит:

— На обратном пути заедем!.. Раков, раков привезем!

— Заедьте! — кричит, в свою очередь, Евгений Филимонович. — Я бы сам бы с вами, но сына жду... Сын у меня должен приехать.

Они стоят на улице, поросшей до середины забора зеленой травой, с поленницей дров, около которой шныряют куры. Женщины стоят рядом, Тоня приложила ладонь к глазам. Смотрит на нас. Отец барином располагаетя впереди на сиденье, кричит «поехали». И совсем он ничего не переживает, а, наоборот, чувствует он себя сейчас удачливым хозяином: сын, машина, Москва.

— Поехали!

Но кричит он немного сильнее, чем нужно, словно боится, что в его благополучие здесь до конца не поверят.

Едем мы медленно. Дорога в толстом слое пыли, все лето не было дождей. Эта пыль, невесомая, сухая, долго стоит за нами желтым маревом, закрывая солнце, рыжим слоем оседает на стекле.

— Вот рожь, дожди не пройдут, станет мелкая!.. Нужны дожди.

— Останови, — просит отец.

Братья выходят, смотрят на поле, рвут колос. Трут его на ладони, пробуют, нюхают, произносят: «Замученная».

И картошка. «Кто раньше посадил, у того силу набрала».

Много раз потом повторится: «Останови», «Ах, овес, плох овес. Сгорит овес». И про кукурузу, которая «тут вовек не родилась, и теперь чудес от нее не жди». Желтые веточки, как немецкие кресты, рядами. Кладбище кукурузы.

Минули стороной Загорье, родину Александра Трифоновича Твардовского.

Дядя Викентий сказал:

— Тыщ двадцать отвалил на клуб, говорят. В позапрошлом году сам был, в Починках зашел в магазин, поздоровался...

Один раз провалились мы на мосту, потому что мосты тут простые бревна, ничем не скрепленные, в один накат. Подъедет машина, шофер соберет бревна рядком и, не задерживаясь, профугует на второй скорости, так что от задних колес бревна покатятся во все стороны. Другой шофер будет собирать и разрушать все сначала. Таким же образом действовали и мы, «наводили переправу» и, наверное, по неопытности провалились в щель задними колесами.

Посидели, отдохнули.

Думал я вообще о здешней земле, о колхозах, когда все только начиналось и потом было рассказано в поэме Твардовского «Страна Муравия». Вот и отец мой и дядя Викентий люди сельские, у них земля в печенках засела, а жизнь прожили врозь с землей, чего-то искали. И неизвестно, нашли ли...

Час назад дядя Викентий крикнул свое обычное «останови» и вышел из машины.

Мы с отцом решили, что снова хочет он рожь потрогать, в земле ковырнуть, может, и другое что заметил, что мы пропустили.

— Ну, чего? — спросил, выходя за ним, отец, и разминая затекшие ноги.

Дядя Викентий не отвечал.

Молча стоял, глядя то вправо, то влево, подымая землю, нюхал, бросал.

— Что нашел? — произнес отец, оглядываясь так же, как брат, и не находя ничего примечательного, из-за чего бы стоило волноваться.

Дядя Викентий хмурился, смотрел перед собой. Был он возбужден чрезвычайно и никак не мог ответить на вопрос.

— Да что случилось? — крикнул отец, заражаясь беспокойностью и пожимая плечами.

— Серег, это ведь моя земля... Была. Вот, ей-богу, она, я сразу признал. А ведь с какого-то года тут не был. Хлеб тут сеял, хозяйствовал, Серег, — сказал он.

Он пошел по видимой ему одному меже, которой сейчас и не было, время от времени останавливаясь, будто

принюхивался, искал каких-то старых примет. Все тело его было сейчас особенно напряжено, все обращено к ней, к земле, на которой теперь пыльно росла трава.

Так он обошел неровным квадратом весь бывший надел, оглянулся и вздохнул. Потом сел в машину и велел ехать, ни разу больше не оглянувшись.

Он рассказал, как его, безземельного парня, женили на дочери одного хуторянина Бурмистрова, он взял за женой лошадь, корову и эту землю. Но так как он вышел на чужой хутор, о нем говорили: «вышел замуж». Он даже пошел на такое унижение: взял фамилию жены, как с него требовали, и стал писаться Бурмистровым. Поэтому, хотя он и родной брат отца, фамилии у них разные. Это было году в двадцать третьем, а через пять лет стали организовывать тут колхоз, и дядя Викентий отказался в него вступить. Он вылезал из кожи, думал, что сможет сберечь свою призрачную самостоятельность и землю, доставшуюся таким позором. Но его не оставили в покое — раскулачили. Отобрали корову и лошадь, сам он уехал с женой в Смоленск. Поступил в депо, проработал тридцать лет по чистке паровозных котлов, вышел на пенсию. Ни разу не был он тут.

Теперь он впервые увидал свою землю.

От Белых Холмов до родной деревни Спасское всего три километра. Их как бы две родные деревни было у братьев. В какие-то дальние годы по указу Столыпина наш дед Петр Васильевич был выделен из Спасского за версты три-четыре и основал свой хутор, который стал потом деревней Радино. Деревню эту спалили немцы, там посеян, как я говорил, лес. Березы. И скоро не останется места, где стояли дедовские дома. Но Спасское — коренное место нашей фамилии, тут жили все предки, тут и кладбище с их могилами. Сюда же перебрались уцелевшие радинцы, в том числе Птушенька, к которой мы сейчас направлялись.

Немного проехав, братья вышли из машины и пошли пешком. Как ни велико было их желание въехать в свою деревню торжественно, на машине, еще больше хотелось войти в нее своими ногами. Как ходили прежде.

Вот она и показалась, деревня, в которой было дворов девять, без улицы, без заметного какого порядка. Прежде в ней было около ста домов, наверное, и был порядок и улица. Дома исчезали, а оставшиеся держались своих постоянных мест. Деревня постепенно приобрела эту странную теперешнюю форму, она вырождалась.

— Скажите, пожалуйста, где Бородавкина живет?

Отец стоит у березовой с облетающей корой оградки первого от дороги дома.

— Кто? — говорит женщина от крыльца и поворачивается к нам.

— Бородавкина... Птушка... — кричит отец.

— Ага, — произносит женщина, медленно приближаясь к нам, разглядывая сразу лица и машину. — Ага, — повторяет она и не торопясь глядит.

— Который ее дом? — спрашивает отец.

— В конце ее дом, — говорит женщина, совсем подходя к нам и взглядывая из-под платка. — Тот вон, самый крайний и есть.

Больше она ничего не говорит, а смотрит, хотя ей, наверное, очень бы хотелось узнать, кто мы и зачем приехали сюда. Городские гости — случай не частый, да еще на машине. Может, она что-нибудь и чувствует, но вслух говорить сама никогда не станет; это считалось бы неприличным. Да и дядя Викентий не преминул бы «узнать» свое, только нетерпение мешает ему. В родной деревне медлить неохота. Женщина теперь выходит на дорогу и смотрит вслед.

Мы направляемся к крайнему дому по травянистой, неуезженной дороге, у забора стоит Птушенька, тоже приложила ладонь к глазам.

— Кто же это? — произносит она, глядя на забегающего вперед, очень возбужденного дядю Викентия. — Не признаю.

— Не признаете? — кричит дядя Викентий. — Викентий я, Петра сын!

— Господи, какой седой, — говорит Птушенька. — А это кто же такие?

— Не признаете? — кричит дядя Викентий, подпрыгивая и все время забегая вперед нас.

— Не признаю, — говорит Птушенька и смотрит на нас. Теперь она встала вровень, лицом к лицу, отец молчит, точно оглохший, растерянно улыбается.

— Не признаете? — хохочет дядя Викентий, вытирает слезы, так и не переставая хохотать и прыгать. Вдруг оказывается, что он плачет. — Да то же Серега, брательник мой, из Москвы!..

— Ишь ты, — говорит Птушенька, едва смеясь, рассматривая отца. — А Федя-то где?

— Феде сорок дней справили, — говорит дядя Викентий.

— Помер? — спрашивает ровно Птушенька.

— Сорок дней справили, — говорит дядя Викентий.

— Такой молодой Федя-то был! И помер?

— Да, — кивает дядя Викентий, и все теперь замолкают и так стоят.

— У тебя, Егоровна, пожить-то есть где?

Никто не сомневается, что пожить где найдется, вовек другого не бывало, но спросить нужно. Так положено.

— Да есть, есть, — говорит Птушенька, смеясь, целуя отца, дядю Викентия, меня. Она произносит то самое, свое: «Птушенька ты моя...»

Общее потрясение еще владеет всеми, только выражается оно по-разному: дядя Викентий прыгает, то вскрикивая и всклипывая, или закатывается от странного вдруг смеха. Отец же будто онемел и теперь произнес, обретая чувства, слова, почесывая нервно локти и оглядываясь:

— Сеновал есть? На сеновале и ночевать будем.

Лицо у Птушеньки светлое, теплое, ясные, живые глаза. Губы и подбородок ее дрожат от каких-то праздничных для нее чувств, в то время как вся она тиха и спокойна.

— Откель у нас сено-то? — говорит она.

— Мы накосим, нам только косу в руку, — говорит отец, вздыхая глубоко, ноздри у него раздуваются, как после бега. Глаза становятся пьяные, покорные. Блуждающие.

Птушенька смотрит по-голубиному, наклонив голову, снизу вверх, тихо и радостно замирая. Она кивает отцу и спешит в дом. Мы проходим за ней.

Отец не стряхнул даже дорожной пыли с ног, не дал нам присесть и скинуть лишней одежды.

— Пойдем за раками, — сказал он и закричал вдруг: — Ну скорее же вы, всегда вас нужно ждать!..

Он стал нетерпелив и горяч, сердясь за любые промедления, за все, что могло затормозить наш выход. Птушенька готовила закуску, и он сказал ей:

— Через час мы вернемся, через час, Егоровна. Ладно?

Своим нетерпением он заразил дядю Викентия, тот тоже заторопился, забегал, толкая меня и отца.

Вышли.

День клонился к концу, воздух был в теплой дымке, тепла была еще пыль на дороге, а трава уже холодала.

Все как бы остановилось кругом и замерло в это предвечерье. Было тихо, пахло землей. Длинные тени от кустов легли поперек тропинки. Впереди шагал отец. К нему, принаравливаясь, чуть мельтеша, пристраивался дядя Викентий. Мне было видно их со спины — два седых затылка, мелькающие ноги с засученными штанинами, тихое хихиканье дяди Викентия... Будто и не было этих полсотни лет, а все-таки так же, как при их детстве. В руках у них болталось ведерко, а мне показалось, что и походка у них стала другой, упругой, совсем мальчишеской. Они шли на свою речку (господи, что за речка, у нее название-то Свиная). Викентий кричал:

— Серег, а помнишь?

И все он не поспевал за отцом, забегал на обочину, хихикая, глядел ему в лицо.

— Ты помнишь, Серег?

— Помню, — произносил отец.

И снова дядя Викентий кричал, подпрыгивая, задыхаясь от ходьбы или избытка чувств:

— Серег, ты помнишь?

— Да, помню. Все помню, — опять говорит отец, вовсе без досады, с удовольствием. Он оглядывался, жадно чесал под мышками, но ничего не замечал, и не чувствовал, и не держал в уме, я-то уже знал, кроме будущих своих раков. Томительного, ликующего, почти больного предчувствия того, о чем он мечтал всю жизнь.

Руки его стали беспокойными, выражая крайнюю степень возбуждения, глаза блестели, как от вина.

Между тем мы пришли на речку, заросшую ивняком и крапивой. Отец с ходу стал раздеваться, был он будто во сне, ничего не слышал и не видел, думал о своих раках. Он раздевался и бросал одежду как попало. Когда пуговица не расстегивалась, он нетерпеливо дергал ее, глядел с жадностью туда, где за кустами, темная и прозрачная, текла речка. Разделся, оставив на себе майку, и, обжигаясь о крапиву и с наслаждением охая и ахая, он полез в воду.

Его сразу же облепили комары, миллион и еще одна штука, но он не помнил, не чувствовал, не мог чувствовать их. Он наклонился, опустил руки в воду и весь теперь жил в своих пальцах, в том, что было для него под водой да, пожалуй, еще в его собственных переживаниях.

Дядя Викентий поежился, с живым любопытством, с восхищением глядя через кусты на отца, в знак солидарности с ним и для собственного ощущения тоже побрякивая, охая и замирая.

— Серег, — шептал он через кусты, зная, однако, что отец его вряд ли услышит. — Серег, ты под этой корягой... Они там, под этой...

— «Там», «под этой», сам ты под этой, — бормочет отец, лишь бы что-то произносить, и все щупает, щупает под водой руками. И дядя Викентий, треща кустами, идет над ним, шепчет ему, указывая на ту или эту корягу, мучительно переживая про себя. Но все-таки сам не раздевается, стережется. Вдруг за кустами раздался вскрик дяди Викентия — и отцовский смех, удовлетворенный, долгий. Отец крикнул: «Ха-ха-ха — держи-и!»

И тяжелый, темный, крестом шмякнулся у моих ног в траву первый рак, ворочаясь и цепляясь клешнями за стем-

ли, за пальцы. Клешни в середине были у него розовые, с прожилками, над усами катались матовые шарики глаз.

Выскочил из-за кустов дядя Викентий, пришпаренный на коду крапивой, взял рака в ладони и, перебрасывая с руки на руку, как живой огонь, заплясал с ним какой-то немислимый ликующий танец. А уже из-за кустов полетели темными крестами, будто распятые, другие раки. Они глухо ударялись в травянистую землю и лежали там оглушенные, пока к ним не прикасались теплые пальцы. И все время отец хохотал, сопровождая смехом этот параболический полет, он кричал победно «держ-и!..» и еще раз «держ-и!..».

Отчего-то слово «держи» будит во мне сложные чувства, связанные с отцом, с прошлым. Я не помню отца молодым, хотя он в мои дошкольные годы был гораздо, лет на десять, моложе меня по отношению ко мне сейчас и к моему дошкольному сыну.

Отцу было тридцать лет, когда он потерял нашу мать и ушел на фронт.

После смерти матери у нас уже никогда не было настоящей семьи. Пять лет войны пали на самые сложные годы моего формирования, я расстался с отцом десятилетним школьником, а встретился с ним пятнадцатилетним подростком, работающим уже тогда, очень самостоятельным.

Но и отец стал тогда другим.

Я думаю об отце, стараясь проследить его жизнь со дня смерти матери, эта смерть была общей нашей бедой и началом нашего разобщения — вот до этих раков... Когда счастлив человек, ничего не помнит. Ничего не хочет помнить. Не потому, что позабыл, а потому, что лучше не вспоминать.

— Двухкопеечный! — говорит дядя Викентий. — А бывают пятачковые — во! С четверть!

Прищуриваясь и хихикая, он осматривает рака, поворачивая перед глазами.

— Самочка! Шейкой троп-троп-троп... От, Серег, у тебя комарья на спине!.. — кричит дядя Викентий, убегая в кусты и снова возвращаясь.

Все это он делал с необыкновенной юношеской проворностью, заразительно хохоча.

— Ах, паскуда! — кричит он, взмахивая пальцем с висящей на нем клешней, как бельевой прищепкой. — Ах, паскудинка, их, лупоглаз усатый... Клешню оставил, а сам уходит, уходит!

Кто это сказал, что у рака будущее позади?

Я смотрю вокруг, на поля уже пали сумерки, травы потемнели, стали влажными, пахучими, холодными.

— Смени ногу, Серег! — кричит дядя Викентий. — Вылазь!

— Я вылазю, — отвечает отец.

— Давай, а то конца не будет.

— Вылазю, — говорит отец, уходя по речке все дальше и дальше.

— А то всех соберешь, на развод не оставишь...

Дядя Викентий торопит, не желая, чтобы отец скорее вылезал, не укоряя. По привычке. И отец по привычке отвечает, зная, что не вылезет сейчас и никто не сможет ему помешать испытать свое головокружительное счастье до конца. Пока сам не почувствует: все. На сегодня все. Немочь. Но завтра-то, как только рассветет...

Он наконец выскакивает, мокрый, дрожащий весь то ли от холода, то ли от пережитого забвения и радости. Обтирая тело, вздрагивая от хохота, приговаривая: «Ей вы, нули, что заснули!..» И ворошит в ведерке раков, которые сцепились, едва шевелятся, стараясь оборвать друг у друга клешни. Торопливо одеваясь и приплясывая на одной ноге, отец рассказывает, как в дореволюционные времена приехал к ним рачница, поставил мужикам два ведра водки и велел нести всех раков к нему: скупать будет. Не успели мужики порадоваться, как появился второй рачница и тоже стал поить мужиков, а за раков предложил цену вдвое выше. Тут они между собой перегрызлись, и первый со зла возьми да от мельницы и пусти по течению какую-то отраву, вроде бы аммиак. Вся речка Свиная враз побелела, раков дохлых несло. «Косить можно было», — подтвердил дядя Викентий. Целые сутки

несло их, а потом долго не было в речке раков, пока не развелись снова. И каждая баба умеет тут их ловить по норам.

Обретая голос и спокойствие, отец вспоминает про какой-то «солохинский вир», где они брали налима, про «шупаков», как они тут называют щук. Мы идем обратно. Над нами светят первые звезды, голубеет за кустами запад, доносится лай собак.

Мы вываливаем раков в чутунок и прикрываем тяжелой сковородкой, чтобы не разбежались.

Идем в избу.

— Зазябли! — восклицает Птушенька, взглядываясь в нас с порога. — Господи, сейчас, сейчас... Нужно же с дороги в такую прорву лезть.

Мы садимся на лавки. Отдыхаем. Изба у Птушеньки небольшая, посередине русская печка на деревянном фундаменте. Стены оклеены газетой «Знамя», орган Плинковского райкома партии.

— Тут салаш был, немцы дом-то спалили, цурочки на всем участке не найдешь. Теперь салаш поболее...

На стол вливается радостно шипящая в брызгах сала яичница. Отец уходит и возвращается с бутылками самогона, он садится, как хозяин, в угол, под образа.

— Так и живете? — говорит он традиционное, разливая самогон.

Птушенька приносит лук, картофельный аржаной пирог, творогу. Встает за нашей спиной, отвечает:

— Живем хорошо — ждем лучше...

Садиться за стол она не хочет, стоит за нами и смотрит, как мы будем есть.

Отец подает рюмку, говорит:

— Откушай нашего, Егоровна, может, слаще...

И тетке Улье, соседке: «Со свиданьем!»

И Птушкиной внучке, Нине, доярке.

Ее мужу, механику.

Но сам отец не пьет, а ждет, смотрит с любопытством, с тайным восторгом, как будут пить другие. Как задохнутся,

ловя воздух и быстро нюхая хлеб, каждую слезу принимая как дань его искусству, умению и таланту. Выпила Птушенька быстрехонько и легко, точно рукавом взмахнула, обтерла рукой губы, произнесла:

— Закусывайте, не побрезгуйте нашим.

— А мы какие? — сказал дядя Викентий. — Мы что, не отсюда, что ли?

Птушенька выплывает за моим плечом, я этого не знаю, я чувствую по движению воздуха, будто от широких неслышных взмахов крыл. Вот она действительно произносит, приговаривает:

— Ешь соленое, работай до соли и помрешь — не сгниешь!

Тут она пододвигает мне пирог аржаной с картошкой, горячий, сытный, какого я не ел всю жизнь, только помнил по бабкиному дому, что он существует...

В войну на станции Томилино можно было за десять рублей купить пирожок с картошкой, не из муки — из отрубей и всяких отбросов. Но как я его съедал в те редкие, истинно праздничные дни, когда у меня откуда-нибудь бралась заветная десятка.

Я и сейчас представляю тетку, что продавала те пирожки у станции возле забора с левой стороны, из кастрюли, накрытой сверху тряпицей.

Тетка, наверное, была больная, с темным лицом, измученными глазами. Иногда, совсем голодный, я приходил на рынок без денег, чтобы заглянуть в кастрюлю и понюхать хлебно-картофельного запаха. Убеждаясь, что пирожки еще есть, я ощущал удовлетворение, значит, у меня было все впереди. Тетка не запрещала глядеть на пирожки, только замученные ее глаза вовсе останавливались, когда я, приходя, смотрел в кастрюлю. Наверное, ей было тяжело оттого, что я так смотрю, но она ни разу не предложила пирога. Да я и не представлял, что такое возможно: на рынок люди шли не из-за любви к своему ближнему, а из-за того, чтобы самим выжить.

Такого же большого, дышащего пирога с картошкой ни разу не видывал с детства. Картошка была желтая от

примешанного яйца, с крапинками зеленого лука, она крошилась и была до головокружения сладка. Я держал пирог в руках и дышал его запахом, в то время как Птушенька неслышно летала за нашей спиной, что-то принимая со стола, что-то добавляя.

— Вот так нас дед с бабкой принимали, — сказал отец. — Любили они тебя.

Я оглядывался на Птушеньку, думал, что лицом она похожа на мою бабу: большой нос, глаза щелочками, и вся доброта подобралась под эти глаза. Было ей сейчас семьдесят пять, но живость ее, быстрый язык и любопытство к жизни никак не зависели от возраста. Память ее была необыкновенна, она помнила все не хуже отца, воспроизводила некоторые сцены живо, почти в картинках, дополняя мимикой то ли движениями рук.

— Какова была бабка Варвара? — спросил я Птушеньку.

— Варя-то? — спросила она. — Такая же, как я. Чуть пониже, может быть. И все плавает, плавает, пола не касается, — говорила Птушенька, проходя по избе и изображая с улыбкой бабку Варвару.

И все смотрели, смеялись, отец хохотал, что-то вскрикивая, уже красный от выпитого.

— А дед? — кричу я через общий шум. — Дед здоров был?

Спрашиваю я немного ревниво, мне всегда казалось, что я из-за детдома затормозился ростом, недобрал своего.

— Да, крупный дед Петр был, вон, как отец твой, пошире только! — отвечает Птушенька, полная ко мне ласки и любопытства. — А в кого же ты такой непьющий будешь? В Варвару разве?

— Дед Петр колдуном в деревне был, — говорит, наклоняясь ко мне, отец. — И верил в заговоры... Рожу лечил.

— Я же теперь табак нюхаю, Петрович, — сказала Птушенька. — Привыкла и вот нюхаю.

— Не помнишь? — говорит, оборачиваясь к ней, отец, а потом ко мне. — Я Варваре табакерку сделал на заводе!

— Помню, — отвечаю я.

И действительно вдруг вспомнил эту удивительную табакерку, сверкающую, гладкую, овальной формы. На ней была замысловатая вязь букв — то ли инициалов, то ли деревенской надписи. Я тогда читать не умел. Но табакерку потому и запомнил, что она мне нравилась своим блеском. Сверкала, будто волшебная.

— Она была овальной формы? — спросил я отца.

— Правда! — сказал он. — Я на заводе изготовил, от- никелировал, вся деревня ходила на нее смотреть...

Возвращается Птушенька и, не слыша нашей беседы, вдруг говорит:

— А табакерочку Варварину помнишь, Петрович? Она ведь мне досталась после ее смерти...

Отец открывает рот от возбуждения, смотрит многозначительно на меня, на дядю Викентия, все хочет произнести «покажи», но получается: «Пыжи...»

Птушенька понимает его, всплескивает горестно руками и тоже никак не может ответить.

— Где уж! — говорит она, покачивая головой. — Ее полицейские забрали. Я на полочке схоронила, думаю, на полочке не найдут. А они, уходя, туды-сюды, туды-сюды, — нечего взять. Со зла как по полке кулаком ширнут, табакерочка и выпала. Лежит на полу, сверкает, как красное солнышко, такая была табакерочка... Они так и бросились, наверное, подумали, золото, что ли. Дерутся проклятые фашистские полицаи, а я смотрю из угла. Жалко табакерочку, Варварина память.

Дядя Викентий покраснел от вина, он развернулся, глядит на Птушеньку. Ему хочется, чтобы она рассказала еще про мать, про Варвару.

— Вы ее рядом с отцом схоронили? — вроде бы невпопад спрашивает он.

— Вместе, Петрович, — говорит ему Птушенька, называя и дядю Викентия Петровичем. Да кто ошибется, их теперь двое на всем белом свете и осталось, Петровичей. И никакой тут ошибки нет.

Дядя Викентий ничего не спрашивает. Но ждет, когда Птушенька соберется с мыслями.

Никто не торопит ее. Все повернулись. Ждут.

— Она померла от тифа, — рассказывает Птушенька. — В избе, может, не померла бы, да тут в окопе, в лесу. Немцы нас загнали, верст двадцать-тридцать отсюда. Яков, мой муж, хороший ей вырыл окопчик-то, но четыре дня шли дожди... Прибегает дочка, говорит: «Руки у бабки Вари посинели, не дышит она...» Пошли посмотрели, а она кончилась. Половина тела в воде...

— Как ее схоронили? — спрашивает дядя Викентий. — Без гроба? Без всего? — спрашивает он будто ровно, но все понимают, почему так спрашивает, узнавая подробности материнской смерти двадцать лет спустя. И отец сидит, в стол неподвижно смотрит, лица не повернет. Будто весь самогон из него вышел.

Все молчат.

— Почему же без всего, Петрович? — говорит плавно Птушенька. — Мы ей досочки сделали, обвязали веревочкой да понесли. Через болото, через речку, все лесом, где погуще, так и несли день и ночь. Ночью подошли к деревне, окраиной пришли на кладбище, и в вашей, приставкинской, могиле мы зарыли Варвару... Чтобы, значит, не в лесу, а со своими лежала. Сделали все как положено.

Я от отца уже знаю, что в мае сорок первого года бабка Варя приезжала к нам в Люберцы, под Москву. Дед помер, и решено было, что бабка поедет в деревню, продаст дом и вернется жить у нас. Так было решено, и семнадцатого июня выехала она в Смоленск, в свою деревню. Через пять дней началась война, а где-то в сентябре-октябре, бабка, отцовская мать, умерла в лесу, в окопе. На месяц пережив мою мать, отцовскую жену.

Одна Птушенька помнит, как все было, где кто лежит.

Спали мы на сеновале, на старых зимних одеждах. Утром я проснулся от тишины.

Люди, исправляя несовершенство мира, в конце концов заметно изменили этот мир. Они проложили дороги, прорыли каналы, построили дома, заводы и гидростан-

ции. Но, нарушив первородность природы, отторгая у нее часть за частью как бы в борьбе за прогресс и большие удобства для себя, человек незаметно лишил себя тишины. Он постепенно привык к моторам, он перестал воспринимать непрерывный шум, исходящий от всего, что нас окружает, шум, который стал как бы необходимой частью его жизни. Под шум мы рождаемся, под шум умираем. И никто не опомнится, не вспомнит, что так не должно быть, так не было. Странная, почти неосозаемая вещь тишина, она сама по себе есть прекрасное в нашем мире.

Опомнятся ли люди, поймут ли, среди самой совершенной техники и прекрасных устройств, — что они потеряли? Может, я так и не думал в тот час пробуждения на сеновале под соломенной, прямо перед лицом, крышей. Я чувствовал и радовался внутреннему спокойствию и тишине.

Через невидимые щели светило солнце, пахло сеном. Но оглушающий запах сена сперва только поражал, он ведь тоже был стар как мир, пряный, с легким дурманом, напоминающий о солнечном тихом дне. О спокойствии. От него приятно кружилась голова и погружало в забытью, в котором, однако, чувствовалось и ощущалось все, что происходило вокруг: игра света по чердаку, спор воробьев на крыше, скрип открываемой двери и шлепанье ног по деревянному полу внизу — кто-то босой входил в избу. Отца рядом не было, он встал до солнца, как привык вставать. Как вставали тут его отец, дед, прадед. Это наше поколение любит поспать и по своей воле не сдвинется утром с подушки: слишком много лучших минут недоспано в будни, когда беспощадный будильник зовет нас на работу.

Мне уже привиделся какой-то большой сверкающий, как солнце, маятник, который меня раскачивал, и воробьи спорили и терзали солому на крыше. Я подумал вдруг, что я опять сплю, хотя понимаю это сам и все осознаю вокруг. За открытой в избе дверью я различил голос Птушеньки, она разговаривала с моим отцом.

Пододвинувшись к чердачному окошку, я увидел отца с косой в руках. Он уже успел выкосить всю траву вокруг дома и теперь собирался куда-то идти. Ему все не терпелось испробовать сразу, он спешил, будто боялся, что ему помешают, не дадут сделать это.

Птушенька, которую мне не видно, говорит:

— Ах ты француз!

Это она ругается так на отца.

— Иди завтракать, Петрович, сына не буди, молодому спать дольше нашего надо. Поешь, а после хоть в колхоз вступай, мне не жалко.

— Ты еще, Егоровна, в колхозе числишься? — спрашивает отец, проводя рукой по лезвию косы, пробуя жало.

— Кто ж меня пустит с колхозу, — отвечает Птушенька, и мне представляется, что она тихонько посмеивается, произнося это. — Вот помру, тогда в отпускную...

Птушенька не жалуется, в ней много живого участия к жизни, притягивает ее такой, как она есть. Ей нравится жить, несмотря ни на что, с годами в ней вызрела эта легкая усмешка как защита от всего, что могло накопиться под сердцем и убить его.

Она безыскусственна и проста в понимании окружающего, но путь к этой простоте и радости повседневного был такой страшный.

Вот рассказывает она, как ее сыновья воевали в войну. Одному из них было восемнадцать лет, другому — двадцать. Ушли партизанить «вон в те леса». Птушенька укажет в окошко «вон в те...» и ровно будет продолжать, как пришли к ней немецкие солдаты и стали спрашивать про детей.

— Где ваши дети? — спрашивали они. — Во зинд ире киндер?

Русские полицаи переводили ей.

— Да на фронте, где ж они могут быть, — отвечала она спокойно, сложив руки под передник и глядя снизу на солдат.

— Отвечайте, где ваши дети! — кричали солдаты.

— Я ж говорю, воюют, так же как и вы, в шинелях... Вот только покультурнее, наверно, они на свою мать не кричали никогда.

Она понимала всю бессмысленность таких вопросов, им нечего было с нее взять; она прежде сделала свое: родила и вырастила детей, которые теперь били этих чужеземцев. «Ах ты француз!» Так она сказала тогда, вырвавшись на немца. Тот не понял, сказал:

— Нейн! Их бин дойтше солдат!

Она тогда чуть не засмеялась врагу в лицо. «Ах ты француз!» Говорят, это ругательство пришло от давних наполеоновских времен, но ведь Смоленщина есть, а от французских захватчиков только одно ругательство осталось. А двое ее сыновей бой в лесу ведут. Пусть их попробуют словить — так она думала.

Но она ошибалась.

Нашлись люди, которые точно указали, где находятся ее сыны.

Немцы подослали к ним из деревни человека, который якобы от матери сообщил, чтобы они не скрывались, а шли домой: прибыли бойцы Советской армии и хотят помочь им перебраться через фронт к своим.

Ребята поверили человеку. Они пришли домой на рассвете, постучались: «Мама, ты нас звала?»

Тут их и схватили, она и понять ничего не успела. Только: «Мама, ты нас звала?»

Связали. Повели на Ельню. Специально по деревням, чтобы везде видели, что будет с каждым пойманным партизаном.

В каждой деревне их избивали, а она пошла вслед и все видела. По тем же дорогам, босая, точно раненая птица, она прошла до самой Ельни. Видела кровь, что оставалась за ними на песке, подбирала клочки одежды в местах, где их избивали. Ее видели солдаты, однажды погрозили винтовкой, но не тронули. Она шла тихая, будто бы спокойная даже, никому она не мешала. Брела на отдалении, только белый платочек мелькал. След в след, с сухими глубокими глазами, устремленными на детей.

«Мама, ты нас звала?»

Так она пришла в Ельню, пережив каждый шаг детей своих. На краю Ельни двух ее сыновей расстреляли. На том месте сейчас их могила.

— За двух ребят получаю я пятнадцать рублей пенсии, — объясняет просто Птушенька. — А ребята какие были, Петрович!

Третий ее сын умер недавно от старых ран.

— Александра Егоровна, — говорит отец, не вмешиваясь в ее негромкую, очень ровно рассказанную историю, только повторяя в паузах: «Александра Егоровна...»

Он и сам не знал, наверное, что он может сказать. Так просто повторял, чтобы слышала Птушенька свое имя, произнесенное с достойным уважением.

— Александра Егоровна!

— Растет другая внучка, — говорит Птушенька, и подбородок ее вздрагивает от тихого смеха. От светлого чувства к этой внучке. — Слава богу, может, будет все хорошо. Как ты смотришь, Петрович?

Отец сказал: «Гулять мы ходили за приставкинский колодец».

Колодец этот стоит сейчас вроде бы в центре деревни, но близ него домов никаких нет.

Была тут изба деда нашего (до переселения в Радино), прадеда Василия и прапрадеда Ивана, теперь же ровное зеленое поле, хоть стадион устраивай. Один приставкинский колодец торчит. Вырыли его давно, при предке Иване, лет сто назад. Тогда наш род жил одной семьей.

Сруб клали не из осины, от которой вода поначалу горчит, а из березы. Она в воде не гниет, от нее и вода слаще.

Пользовались колодцем девяносто изб, и вода в нем была на редкость удачна. Сейчас колодец обвалился, вода в нем загнила, и вся деревня ходит за водой на речку, на криницу. После завтрака отец пришел к колодцу, осмотрел, спугнув в лопухах курицу, потрогал деревянный сруб, сказал «м-да».

— Осина, — с некоторым осуждением, с досадой произнес отец, заглядывая за оком, пытаюсь разглядеть все до дна. — Сперва береза идет, потом ремонтировали, осину местами подкладывали. И тут все осина. Торопились или не до того было...

Ощупывая медленно дерево, как бы приноравливаясь к нему, отец говорил:

— Тут вот рогатину оставили, специально шли в лес, десяток верст обходили, чтобы найти подходящую сосну. Потом в рогатину вставляли жердь, на жердь вешали деревянную бадью, сцепленную обручами на два с половиной ведра. Здесь корыта стояли деревянные, вся деревня поила коров и лошадей, а посреди деревни шел ров, вроде бы искусственной речки...

Подошли дядя Викентий со стариком Семенычем, и Семеныч так же вдруг сказал:

— Приставкинский колодец. Но вода в нем кончилась, иссякла.

— Как же так кончилась? — спросил дядя Викентий. — Сама она, что ли, кончилась?

— Может, и не сама, — сказал Семеныч. — Может, люди забросили, я уж не помню.

— Вот главное, что люди ленивые! — подхватил дядя Викентий, взмахивая руками и едва, так же как отец, не наступив на курицу среди лопухов. — Им легче полверсты отмахать, чем почистить и исправить колодец...

— Во-от, — сказал поучительно дядя Викентий, трогая сруб руками. — Осину ставили на колодец, видимое ли дело?!

— Никого людей-то нет, — сказал миролюбиво Семеныч и стал тоже трогать сруб и заглядывать внутрь. — Иссякли люди, иссякла и вода, как ваш приставкинский род, — был и нет в деревне. Никого ведь нет. Кто же будет чинить и уметь рыть колодцы, если все будут так уезжать?

Отламывая подгнившее дерево и вертя на расстоянии от глаз, Семеныч стал говорить, что тут уж забыли, как нужно рыть колодцы, а прапрадед Иван с сыновьями понимал, как вода происходит под землей, в других дерев-

нях не было такой сладкой воды, как в приставкинском колодце.

Мужчины сели на траву, кто на камень тут же, у колодца, и стали говорить об умении рыть колодцы, ставить избу, ложить печь.

— Предположим, шведку... Тут надо знаты! — горячился дядя Викентий и срывал руками лопухи. — Если с плитой еще, ого как не просто!

— Первую печь с опытным печником надо ложить, — говорит отец. — Там бывает шесть оборотов...

— Семь! — кричит дядя Викентий.

— Даже вот русскую печку, — откликается Семеныч, до того задумчиво глядевший на небо. — Вот не так просто, как кажется, а?

— Чело, — говорит, усмехаясь, отец. — Тут вся хитрость в челе.

Мужчины соглашаются. Все дело в челе.

— Ну, сколько кирпичей чело? — спрашивает Семеныч.

— Пять! — говорит отец.

— Да ну?

— Пять! — встраивается и дядя Викентий.

— Конечно, пять! — настаивает, загораясь, отец. — Пойдем посмотрим?

Все направляются к избе Птушеньки смотреть русскую печь. Заходят, шаркая по скребленому полу ногами, глядят на широкое отверстие, считают кирпичи. Их по высоте оказывается действительно пять.

— Тут пламя бьет, — говорит, показывая, отец. — Оно сюда вверх, потом назад, через чело переваливает и снова вверх...

— Вверх, вверх! — горячо поддерживает дядя Викентий.

— ...Сделаешь ниже, четыре кирпича, например, тяги не будет, дым в избу пойдет, а выше — так весь огонь утечет наружу... Улицу будешь топить, как Фома...

И тут вдруг все начинают хохотать. Отец только произносит:

— Как Фома... Помните, яйца... который... потерял?

И Семеныч, и дядя Викентий, и подошедшая от домашних дел Птушенька — все смеются и так долго не могут ни вздохнуть, ни сказать слова.

— Повез, понимаете, Фома яйца продавать. В соседней деревне напился, заснул... — приговаривает отец, будто поет слова песни, и дальше не может вымолвить, захватило его. — Проснулся... Проснулся...

— Нет яиц! — взвизгивает дядя Викентий восторженно, и все начинают стонать от смеха: Семеныч закидывает голову и хрипит, будто полоскает горло, отец валится ничком на лавку, и Птушенька закатилась, замерла, не в силахдохнуть, дядя Викентий плачет и мотает головой... Временами кто-то из них вскрикивает только: «Нет яиц!» — и снова все умирают, заходясь от смеха.

В конце уже, затихая и обессилив, отец произносит конец истории:

— Ну, с тех пор и повелось: в той деревне, знаете, где Фома яйца потерял?

Эту историю я слышал еще в Смоленске и еще несколько раз, потом мне и самому стало казаться смешным: «как Фома яйца потерял...» Она была как легенда или песня, из той далекой отцовской юности, когда им все было смешно и легко.

Отец, дядя Викентий и я собрались за водой на речку Свиную, где она хоть и темная, но мягкая, добрая, годная для стирки.

Для питья же воду берут из родника, криницы, которая бьет от самого берега.

— Это ж у Черного вира, неужто не помнишь? — объясняла Птушенька.

— Помнить-то помню, — сказал отец. — Да где теперь через столько лет.

Мы берем в провожатые соседского мальчишку Серегу, человека лет семи, отчаянно рыжего.

Серега убегает надеть штаны, возвращается и ведет нас полем до самой речки:

— Тут где-то.

Показал и стал ковырять в носу.

— Где тут-то? — спрашивает, недовольно сопя, дядя Викентий, обходя берег и обваливая землю в воду. И воскликнул вдруг: — Вот она! Криница! — Он встал на краю берега, заглядывая вниз. — Я-то слышу, звенит, ровненько так... Вы послушайте! Послушайте!

Действительно, звенела вода, точно пел дальний жаворонок.

— А? — сказал дядя Викентий, будто он изобрел этот серебристый звон. — А?

Мы стали спускаться к невидимой кринице и тут из-под берега разглядели прозрачный родник, уходящий в черную береговую грязь.

Отец тронул пальцами, любопытно и осторожно:

— Как самогоночка.

— Так чем ее, кружкой, что ли?

— Ты землю, землю подкопай! — кричит дядя Викентий. — Чтобы ведро подставить...

Он горячится и сердится, как люди не могли додуматься до этого прежде. Они с отцом часто теперь сердятся, встречая бесхозяйственность вокруг, и удивляясь, и досадуя на очевидность ее. Вот речка заросла сплошь, а прежде мужики лозу использовали и речке светлей было.

Или мост — что за мост, глядеть же тошно. Поглядят, выругаются в сторону, неизвестно чью, и тут же начинают менять бревна... Одно бревно откатят, одно перевернут или поменяют местами. Все-таки лучше.

Проходят полем, мимо трав, вспомнят, что тут были лучшие в округе травы у некоего Лизочкина. И отец и дядя Викентий нанимались тут косить, им ли не помнить те травы? Сейчас на том же месте, но похуже, а те, что скошены, давно пора переворошить...

— Вишь! — горячится дядя Викентий и тычет мне в нос пук травы, будто я виновен в том, что ее не перевернули. — Энта сторона белая. Весь же запах трава потеряет...

Щупают руками, вслух жалеют, вспоминают хозяйственного Лизочкина:

— Нет, не дал бы он траве перестоять или пересохнуть. Хозяин был.

Землю под ключом копали концом коромысла, приговаривая: «Лопату бы сюда... Обкопать, воткнуть железную трубу, чтобы как у нормальных людей было!.. И водичка по-хозяйски течь будет».

Дядя Викентий походил у речки, нарвал камыша, как они называли его, «яверя», выходя на берег, с хрустом открутил верхушки.

— Детство вспомнил? — спросил отец, с удовольствием обкапывая грязь и расчищая русло для воды. — Есть будешь?

— Да не... Серег, — отвечал дядя Викентий, трогая прозрачно-розовые корешки и поднося их к носу. — Для запаха нарвал. Дюже у яверя запах приятный. От детства, что ли... Моя жинка специально его на рынке берет и стелет дома на пол.

Дядя Викентий сдирает у одного кожу, будто очищает банан, и откусывает.

— Ишь ты, впрямь вкусно, — восхищается он и так все съедает.

Отец ставит ведро под родник, и вода звенит, ударяясь об оцинкованное железо. Она чиста и серебриста. Отец зачерпнул кружкой, ахнул от холода, хватив лишку, но, выпив всю до дна, подумал и, вздохнув, сказал:

— Пожалуй, еще одну.

Рыжий Сергей сидел наверху на траве и гонял веткой комаров.

— Откель она бежит? — спросил он, глядя на отца.

— Из глубины, — ответил со страстным уважением дядя Викентий. С уважением не к вопросу, не к Сергею, а к воде и к глубине той.

— А отчего ж она вверх течет? — спросил рыжий Сергей. — Получается, в гору?

— Выхода нет, — с тем же сочувственным уважением в воде проговорил дядя Викентий. — К солнышку она стремится. Как бы темно, худо ни было, все солнышка ищет и вода тоже...

Он повернулся вокруг себя, показывая на деревья, на поле, на видневшуюся вдали деревню.

Мимо проехал грузовик с женщинами, видимо с косьбы.

— Прежде же сроду бабы не косили. — Дядя Викентий поглядел им вслед, покачав головой.

Тут встала над нами Птушенька с ведрами на коромысле, спросила, наклоняясь:

— Аль нашли? Я уж думала, не заблудились ли наши мужики... — и засмеялась совсем молодо, глядя на нас. И, сходя к кринице, налила воды в ведро, зацепила коромыслом сперва левое ведро, потом правое и пошла медленно, зная, что мы идем за ней.

Было в ней, едва согнутой под ведрами на фоне неясного белого неба, что-то очень знакомое — по каким-то картинам, что ли. Наверное, и отец об этом подумал, глядя на Птушеньку, на деревню, не торопясь брать ведра.

Как все похоже, думал я, оглядываясь и не зная точно, на что похоже. Вообще похоже, а скоро мы уедем. И никогда, может, не вернемся. А это будет существовать само по себе, вечное, как Смоленщина, как Русь. Как Птушенька.

«Как все похоже», — говорил я про себя, веря, что такое мгновение я уже переживал, уже чувствовал. Что я тысячу лет знаю это все и по наитию мог бы показать все деляны, что я вырубал, лес, все уголья, где косил с мужиками травы, теплую избу, где любил и рожал детей... И где я помер, я тоже знаю.

Отец и дядя Викентий встают чуть свет, часов в пять, и начинают искать себе работу.

Косят траву, рубят дрова, чинят грабли, и мне, добирающему рассветные, самые сладкие минуты, здесь, на сеновале, слышны их голоса.

Потом они завтракают.

Дядя Викентий нажимает на сало, отец ест картошку или яичницу. Потом отец пьет чай, много и долго, до пота, выступившего на груди и на руках. Дядя Викентий пьет молоко, чая он не любит.

Потом они снова ищут работы. То ли сухой травы принести, то ли за водой сходить.

Ведро они дают мне намеренно меньше, чем себе, и всячески стараются делать больше, чем я.

Будто бы так полагается, что они старше, а я молодой еще и слабый. Все это без слов, как само собой разумеющееся. Впервые я был этим тронут, ведь сколько я прожил без отца вообще, я давно, лет с четырнадцати, привык, что обо мне думал только я сам. Неужели вот это: деревня, Птушенька, запах с поля и речка Свиная — могло изменить отца?

За раками мы ходим каждый день. Отец ловит раков молча, терпеливо, с наслаждением.

Дядя Викентий же молча не может, он смеется, разговаривает с отцом, со мной или с теми же раками. Он уговаривает их, сердится, подтрунивает, насмехается или незлобно клянет. Он говорит:

— Сидит, задом в нору залез, а клешню на клешню положил... Ах, мать твою... На! Хватай! Чего ж ты пятишься, лупоглазенький?.. Рак пятится назад, а щука тянет... Да на, хватай, не стесняйся, голубчик! Ну, ах ты, язви, забрался, ты цапай, цапай — на!..

Раков уже ведра полтора, отец вытряхивает последних из рубашки, говорит:

— Много уже.

Дядя Викентий бормочет, всплескивая водой:

— Не-е... Я сегодня что-то охочий...

Руки у него и у отца изуродованы корягами, изъедены бодягой.

Проходит по тропинке женщина, говорит одобрительно, глядя на машину:

— Ишь, катаются. За раками да на машине... Так прежде и барин не ездил...

— Видал! — хвастливо кричит дядя Викентий. — Теперь на деревне разговору будет сколько лет. Приставкины на своей машине приезжали, а?

Есть в их самохвальстве самоутверждение, как городских преуспевающих людей. А в чем они преуспели? Прошли все, что можно, первые пятилетки, войну, потеряли столько близких, что не сосчитаешь...

— Эх, Серег! — восклицает, хохоча и подпрыгивая на траве, дядя Викентий. — Всех бы наших сюда! А?.. Валентина бы на «Победе», да мово сына с автобусом, да другого на мотоцикле... Так всей колонной ухнуть по деревне... Ляди, мол, наши едут! А, Серег?

Они хихикают, подталкивают друг друга локтями, босиком, с голыми животами. Смешные. Трогательные. Не похожие на тех, которых я до сих пор знал.

Опять я думаю об отце.

После смерти матери он стал действительно другим. Но между потерей матери и нашей встречей с ним была война, целая эпоха в моей и его жизни. Она могла кончиться плохо и для нас и для отца.

Начав от Мурома, через Северный Кавказ, Приазовье, Кишинев, Бухарест и далее, отец прошел весь положенный ему войной путь и в сорок шестом вернулся в Россию, чтобы найти нас. Спасибо полевой треугольной почте с постоянными штампами: «Просмотрено военной цензурой». Полевая почта ни разу не разорвала тонкую, как паутинка, связь, и мы не пропали, не растворились по разным детдомам, безымянные, несущие, как память от прошлого, только свои фамилии. Да то, что мы сами про себя сочинили!

Но одна фамилия, даже родина, придуманная про Смоленщину, значили так мало! Я никогда не думал прежде, что случилось бы со мной и сестренкой, если бы отец не вернулся.

А он мог сто раз не вернуться, теперь я это хорошо понимаю, и, наверное, хорошо, что тогда этого не понимал.

Что уберегло отца на минном поле под Новороссийском, когда подорвались его друзья и на отца была уже написана похоронка?..

Что спасло его при лобовой атаке на Глубую дивизию у Сиваша, что тысячу и один раз хранило его там, где другие клали головы?

«Случайность», — сказал бы он сам.

Правда, один раз он рассказал совсем уж невероятный случай, как спасла ему жизнь наша умершая мать.

Будто бы отдыхала их часть после трудного боя, отец спал под деревом на траве. И встала над ним моя мать словно живая, он даже запомнил, что была она одета в самое свое любимое красное платье. Она сказала: «Сереза, проснись, посмотри, где ты лежишь?» Он огляделся и увидел вокруг много грязи и кала, забрал шинель с вещмешком, перешел за бутор и снова заснул. А тут начался артналет, и в дерево попал первый же снаряд, не оставив даже корешков, и многие товарищи отца погибли.

Отец мой, ясное дело, не верит в загробные чудеса, он просто рассказал то, что ему привиделось или приснилось. И стоило ли разубеждать его, если ему очень хотелось, чтобы его любимая жена сохранила ему жизнь даже после своей смерти.

Ему хотелось так, и это произошло. А мне даже нравилось вспоминать этот случай, потому что в нем была моя мать, о ее жертвенности я слышал и прежде. Я точно знал, что если бы моя мать могла спасти жизнь отцу, она бы это сделала и мертвая, такая она уж была.

Ведь все умеет делать мой отец, мне бы его руки!

Как только стал готов дом, пришла в него молодая женщина, новая его жена.

А совсем недавно родилась у отца дочка, которую называли Светланой.

До кладбища от деревни километр без дороги. Расположено оно на зеленой крутой горе, видной издалека. Машина с крестами на багажнике прошла прямо по клеверу, оставляя двойной след, въехала между деревьями на опушку и встала. Первой от машины пошла Птушенька, в аккуратном, надетом для этого случая платье, в белом платочке на голове. За ней двигался дядя Викентий, держа за руку правнучку Птушеньки, потом отец с лопатой и свертком, где были самогон, закуска и обязательное тут рушниковое полотенце с вышивкой по краям.

Птушенька встала у огромной, единственной тут такой сосны, обхвата в два, повернулась ко всем и сказала:

— Это место ваших, Приставкиных.

Отец ткнул лопатой в землю, огляделся.

— И дед Василий? — спросил дядя Викентий.

— Все, начиная от корня, от прадеда Ивана, все тут лежат. А там Леоновы, там вон наши, Бородавкины... у всех свой район, но ваш, приставкинский, в центре.

— А мать с отцом? — спросил опять дядя Викентий.

Птушенька указала место, где похоронены дед Петр и Варвара.

— Петр Васильевич перед войной помер, — плавно, речитативом сказала она. — Ему гроб ставили на столбах, чтобы не касался земли. Так просил он... Говорят, так колдунов хоронят, что ли...

Отец стал рыть землю, а Птушенька рассказывала, как дед Петр умел заговаривать рожу, и когда одному человеку хотели отрезать ногу, дед сказал: «Выписывайся из больницы, я тебя вылечу». Тот отказался от операции, приехал к деду, и через три дня рожка начала спадать, а потом исчезла совсем. Вся деревня знала о том случае, потому что человек дал деду за лечение три рубля.

— Три пуда зерна, — сказал дядя Викентий, забирая у отца лопату, чтобы покопать самому. — Рубль пуд стоил!

— Сыновья поставили ему гроб на столбах, — говорила Птушенька. — Сверху сделали настил из бревен, как землянку в войну делали, а тогда уже засыпали землей...

— А мать? — спросил дядя Викентий, распрямляясь, глядя на могилы и на Птушеньку. — Мать прямо с ним захоронили?

— Варвару Семеновну мы положили в ногах у Петра Васильевича, головой к его ногам, — спокойно объяснила Птушенька. Она прошла и села на старую, размытую дождями могилку.

— Тут лежит, — произнесла она. — Мы ее тогда несли ночью, копали, все немцев стереглись, а лопата о камень — чирк... Чирк... Аж замрем все. Так и ушла Варвара, никого ваших не было в последний час...

Птушенька наклонила голову, тихо вдруг сказала, будто пропела, покачиваясь над могилой:

— Семеновна, слышь, сыны к тебе вернулись...

Я помнил бабку по довоенному теплому лету, когда мы гостили у нее в деревне. Широкая, плавная вся, будто удивленная, она приносила белые лепешки масла, угощала меня ягодами с молоком, кажется, сильно баловала. Запомнилось, что я боялся грозы, присмиревший, сидел в дальний угол и смотрел на окно, в которое сверкала молния. Все тогда посмеивались надо мной, больше всех отец, а бабка защищала, суеверно уважая мой испуг и отмахиваясь от всех.

— Не надо! — говорила она громким шепотом, округляя удивленно глаза. — Не надо над ребенком смеяться... Футь, взрослые, а дураки!

И тихо смеялась, трогая меня ласково. От ее рук пахло теплым молоком. Это было время тридцатых годов, начала в общем-то колхозов, я запомнил, как бабка Варвара ходила в поле дергать лен. Бригадир стучал им в окно, бабка открывала створки и находила яблочки, положенные с той стороны.

Она почему-то всегда удивлялась этим яблочкам и рассказывала про них с теплой радостью и озарением: «Стучит в окно бригадир, я открываю, а там яблочки лежат.. Сладкие-пресладкие, он всем так оставлял...»

И то, как бабы дергали лен («Семеновна, внук пришел!»), как окружали меня в белых платочках, а потом на стане угощали молоком да пели какие-то песни, и эти яблочки — я запомнил вместе с бабкиным счастливым удивлением. Наверное, это было первое и очень чистое чувство к тому новому, что тогда приходило в бедную смоленскую деревню.

Отец между тем очистил широкую ямку, обровнял края, потом прибил крест поперек к деревянной массивной колоде, чтобы никто не смог своротить его, и стал зарывать. Дядя Викентий утрамбовывал землю ногой и черенком лопаты. Однако он успевал работать и говорить.

— А тут кто? — спрашивал он Птушеньку, указывая на могилу.

— Тут лежит Евстигней, двоюродный брат деда Петра, а рядышком сын его, Павел Евстигнеевич...

— Не тот, которого в партизанах немцы собаками за-
травили?

Птушенька не слышала вопроса, продолжала:

— Тут сестренка ваша, Катя...

— Вот где дом родной! — воскликнул дядя Викентий, вдруг удивляясь и садясь на могилу. — Слышь, Егоровна, я скоро еще приеду.

— Да нужен вам наш угол забытый, — нараспев улыбаясь, проговорила Птушенька и отмахнулась руками, точь-в-точь как бабка Варя.

— Нет... Зовет, — горячо возразил дядя Викентий и посмотрел на отца, окончательно притаптывающего землю. — Я бы ведь раньше приехал, честное слово!.. Но ведь не знал ничего: кто, что, где...

— Теперь знаешь?

— Приеду! Я теперь тут все знаю. Во — наш район, по сосне найду... Если сосну спилят, по кресту!

— Ах ты, моя кукушенька, ах ты, моя птушенька... — говорит растроганно Егоровна и кивает головой. — Приезжай, я тебе напишу, когда лучше приехать. Малина поспеет, а потом брусника...

— Я и сам знаю, когда они поспевают! — восклицает восторженно дядя Викентий. — Я же свой человек!

Отец воткнул под конец лопату в мягкую землю и оставил ее торчком. Расстелил на бабкиной могиле принесенный рушник, достал и порезал хлеб, сало, почистил лук, отбрасывая очистки подальше в траву. Четверть стакана самогона он плеснул на могилу, как полагалось, потом налил всем и себе. Сказал:

— Помянем.

Все выпили, захрустели луком, и Птушенька выпила, легко, будто смахнула крылом. Поднесла кусочек хлеба к губам и усмеялась.

— Ну, скоро и мне к ним.

Так просто и сказала: «Скоро и мне к ним», будто говорила не о смерти — о ночлеге.

— Не торопись, Егоровна, — сказал отец. — Подожди нас.

— Всех не дождешься, — отмахнулась она, глядя с мягким любопытством на отца. — Ваше место не тут. Разлетелись, будто семена. От Семеновны... — Она засмеялась светло и добродушно такому странному сочетанию: «Семена от Семеновны» — и, оглядываясь, добавила: — А меня уж своя земля погрееет... Плянь, какая широта!

Кладбище действительно было высоко, за соснами виднелись деревья, поля, а над дальним лесом спокойное небо. На приставкинской сосне (ее тоже так называли) наверху была привязана выжженная изнутри колода дерева для пчел, чтобы не сбежали во время роения. На склонах росла черника с земляникой, свистели птицы. Густо рос на полянах щавель. И как-то понятно стало вдруг — родина, хотя это слово не произносили здесь.

Я подумал, что если бы отец попал сюда раньше, может, по-другому бы у него сложилась жизнь. Ведь что-то переменялось в нем, стало лучше, при соприкосновении со своим детством, с землей предков, с Птушенькой, которая была сама как корень жизни.

Мы допили самогон, возвращались в деревню пешком. Дядя Викентий нес обратно лопату и все оглядывался, запоминая место.

Назавтра мы уезжали. Птушенька вышла нас провожать. Она поцеловала отца, просила приезжать его и дядю Викентия. Но, кажется, не верила, что это будет скоро.

— Приедем, Егоровна!.. Соберемся и приедем, верно говорю.

Она стояла на траве и, прикрывая рукой глаза, смотрела, как мы залезаем в машину.

Занятые посадкой, отец и дядя Викентий теперь не обращали на нее внимания. Только отъехав, стали оглядываться и махать из окна. Птушенька смотрела на нас, едва ссутулившись. О чем она думала, глядя нам вслед, мне никогда не узнать.

СОЛДАТ
И МАЛЬЧИК

Васька возвращался из школы. День был теплый, пасмурный, приятный. Зеленая острая травка вылезла через прошлогоднюю листву. Почки на деревьях разбухли, стали мясистые. Васька, наклонив сук, обгладывал эти почки, а потом сорвал ветку и всю ее обгрыз вместе с корой, облизал белый прутик. Кора была горьковато-терпкой, пахла весной.

Навстречу попался Витька, Васькин одноклассник, который сегодня не был на уроках. Впрочем, он и вчера не был, и позавчера. Может, он вообще забросил школу.

Витька бежал по тропинке и делал Ваське издалека какие-то знаки. Васька решил, что Витька будет его снова просить прийти домой, чтобы Витькина мать поверила, что сын ее ходит исправно в школу. За такое вранье в прошлый раз Витька дал две картофелины. Васька сразу их съел в сыром виде. Схрупал, как кролик морковку, и попросил еще. «Жирный будешь! — сказал Витька. — Потом придешь, получишь».

Теперь Васька сообразил, что предполагается пожива, и, бросив горькую веточку, спросил:

— Ты чего? Снова пропустил?

— Тише! — прошипел Витька. — Из школы, Сморчок?

— Ага. А ты почему не был?

— По кочану, — ответил Витька и оглянулся. — Сморчок, дело есть.

— Какое дело? — спросил Васька.

— Тише ты! Иди сюда. Скорей, тебе говорят!

Васька приблизился к забору, с интересом глядя на Витьку. Тот шептал:

— Стой тут, смотри! Если какой шухер, свистнешь! Понял?

— Не... — сказал Васька. — А ты чего будешь делать?

— Что надо! Потом узнаешь. Так, понял? В четыре глаза смотреть!

— Чур, моя доля, — уже шепотом сказал Васька.

Витька оглянулся, кивнул. Нырнул в узкую дырку и скрылся.

Ваську в детдоме и на улице звали Сморчком. Откуда пришло такое прозвище, он и сам не знал. Но откликался, когда его звали. А почему бы не откликаться! У всех были какие-нибудь клички: Жаба, Король, Дыра, Обгрызок... Ну а он Сморчок. Повариха однажды сказала ему, что сморчок — гриб такой весенний, после зимы вылезает на теплых полянах, серый и кривой. И хоть виду в нем никакого нет, да и вкус ненастоящий, все-таки он гриб, а не поганка. Его едят, а нынче-то, в войну, чего не едят... А он, сморчок, хоть уродец, прет из земли этой весной кучей, как детдомовская шпана на поляне...

Так ли объясняла повариха, а может, и нет, Васька не запоминал. Запомнил другое, что она разрешила ему собрать картофельные очистки и поскребыш из мусорного ведра. И пока она рассказывала ему сказки о грибах, Васька живо, будто фокусник, слепил из очисток комок, сунул в духовку и через пару минут ел его обжигаясь, слезы текли из глаз. Знал, что у дверей дежурят шакалы. В детдоме шакалами зовут тех, кто вечно торчит у дверей кухни, просит, ноет, ждет кусочка. Увидят съедобное, изо рта вырвут. Васька это помнил и, пока не выгнала повариха (он дежурил по дровам и подлизывался, получил очистки), быстро, быстро, стоя в дверях, сжевал все и проглотил.

Потом уже вышел наружу. Теперь проси не проси, а если проглотил — твое.

Васька попробовал вспомнить вкус поджаристых очисток, но во рту и на губах еще оставался горький запах коры. Вот если бы Витька тяпнул что-нибудь съестное, буханку хлеба, например... Он везучий, тут и Ваське перепадет кусок, отломок от угла, да с кислым мякишем, да с коркой...

Бывало же время, это еще из глупой довоенной Васькиной жизни, из далекого, значит, времени, из детства, — сейчас он числил себя иным, — когда он не догадывался, не знал, что нужно наесться про запас. Тогда не только картофельные очистки, а гуща, капуста и крупа водились в супе, и даже корки хлеба оставались на столах. Вот бы знать, Васька вмиг сообразил, как все это добро применить, подсушить, скопить, заханырить на черный сегодняшней день! Но ведь мал был, неумен, неопытен, одним словом — дурачок! Об этом времени мало что помнилось, но осталось счастливое и щемящее чувство, как во сне. Но при удобном случае кто-то из ребят обычно произносил: «Ну, как до войны». И тогда понималось, что оно было, было, хоть и давно, и хоть не так, как представлялось теперь. Потому что, пережестывая через собственную фантазию, один из помнящих все в той сказочной довоенной жизни однажды утверждал и божился несуществующей родней, что на какой-то праздник, на Новый год, что ли, детдомовцам принесли от шефов мешок баранок и еще горсть конфет в золотых бумажках, и никто не шарапил, не тырил в заначку, а высыпали на стол, и можно было брать без счета, — вот случались какие непостижимые, почти легендарные случаи!

Он будто очнулся, вспомнив, что поставлен на шухере обрабатывать свой кусок. Быстро, словно носом вынюхивал, посмотрел по сторонам. Пусто. Редкий сосняк, за которым далеко видно. Васька подошел к дыре и осторожно заглянул за забор. Сразу увидел нескольких ребят, все постарше его и Витьки. Наклонившись, что-то они

шуровали у забора, и только Витька прыгал, мельтешил около них, временами оглядываясь в сторону лаза. Васька догадался вдруг, что Витька сам был оставлен сторожить. Быть на шухере, но передоверил свое дело ему, то есть Ваське, чтобы самому не остаться внакладе. Витька — цепкий, зубастый, он-то свое возьмет. Он из горла вырвет, если что...

У Васьки зоркий глаз, но, как ни щурился, как ни напрыгался, не мог разобрать за спинами, что они делают. Вот один из компании разогнулся, и Васька узнал толстого мордого Купца — так его звали. Еще бы Ваське не помнить Купца, который издевался над детдомовскими: встречалих по пути в школу и начинал медленно клещами-пальцами щипать кожу... Через одежду выворачивал кожу так, что она потом вспухала и болела, не могла зажить. А Купец требовал, чтобы стоял под его щипками прямо и не смел чтобы голосом. А в горле крик застревал, когда он медленно крутил кожу, и слезы брызгали на полметра, и, несмотря на запрещение, вырывалось: «А-а-а!» Купец блаженно прищуривал поросячьи глазки, но всевидящие, цепляющие, как крючки, проходящих, и делал новый щипок, где-нибудь в чувствительном месте, под ребром, при этом смотрел в твои глаза, наслаждаясь и удивляясь твоей нечеловеческой боли...

Как же Ваське не узнать Купца, он даже вздрогнул, увидев толстое лицо с цепучими глазками. Даже шею вытянул Васька, но Купец сейчас не смотрел по сторонам. Он держал в руках мешок и быстро туда что-то клал. Долговязый незнакомый парень поднял с земли длинный предмет, и еще один парень, тоже незнакомый, который был к Ваське спиной, помогал ему возиться с этим предметом, а Витька прыгал вокруг, суетился, мешал. Вдруг оглянулся, увидел торчащую Васькину голову и показал кулак. Мол, смотри, Сморчок, не сюда, а смотри на дорогу. Васька миготнул от дыры, зыркнул быстрым глазом во все стороны, сунулся в лаз, но смотреть уже было нечего.

Купец с мешком в руках — Васька увидел, что это зеленый вещмешок, — бежит от забора в сторону парка, за сосны. Толстый Купец, но легко бежит, прыгает через пеньки, а за ним долговязый с другим парнем. Этот оглянулся, налетел на дерево, ударившись ногой, присел, скорчился от боли. Его не ждали, и, хромя, он поскакал дальше, вслед за дружками. Все моментально, как в кино.

Теперь Васька увидел у забора на земле лежащего человека в зеленом. Еще не сообразил, солдат убитый ли, а может, пьяный, как налетел Витька, крикнул «бежим», и они рванулись вдвоем, дальше и дальше в лес, прочь от пагубного места. Долго бежали, пока вдруг поняли, что вне опасности. Витька опустился на пенек, а Васька лег на землю, и рот у него был открыт. Он задохнулся, не мог произнести ни слова. Только грудь часто ходила, глаза вылезли от натуги. Не было сил шевельнуть рукой или ногой.

Витька снимал ботинок, он с разбегу влетел в какую-то лужу и одним глазом весело следил за Васькой, думал про себя: «Эх, Сморчок, не бегун ты, нет, не бегун... Задохнулся так, что плашмя лег и слюну пустил. А если бы догоняли? Нет, Сморчок, с тобой накроют на мокром деле. А ты кусаться по-настоящему не умеешь и бегать не умеешь, не жилец ты на белом свете. Подохнешь однажды, когда будут гнать. И не своруешь — подохнешь, прутиками не наешься. Куда ни кинь, все не жилец... А ведь тоже тявкает, тоже чего-то хочет. Чего он хочет еще?»

— Чего ты хочешь? — сказал Витька. Он сидел на пне, руки в боки. Хозяин, настоящий хозяин, не чета всякой вшивоте.

— Что... взял? — спросил Васька и стал подползать к Витькиному пню. Подползал и смотрел на него снизу, два собачьих просящих глаза.

— Взял-то? — произнес Витька и сплюнул. Вот Сморчок, с ним не о чем и поговорить. Лишь бы хапнуть что-нибудь. За чужой счет. Сам он ничего не умеет. Пни его ногой, не обидится... Будет ждать, пока ему кусок не бро-

сишь. За кусок он землю будет есть, шнурки проглотит, не подавится.

— Он что, он пьяный был? — спросил Васька и сел, держась руками за землю. У него еще кружилась голова, поташнивало.

— Кто? Солдат-то? — произнес Витька и поболтал снятым ботинок, выливая воду. Несколько капель попало на Ваську, но он и не заметил. Витька сухой травой вытирал ботинок изнутри, говорил: — Спал, как убитый!

— А может, он убитый?

— Да нет, храпел...

Витька положил ботинок рядом с собой, полез за пазуху. Вынул оттуда черную квадратную коробку — электрический фонарик! Васька шею накрепко, чтобы разглядеть чудо-фонарик. Витька будто равнодушно осмотрел его, дыхнул на стекло, протер рукавом, и оно заблестело: двинул двумя рычажками, и сразу красное стекло выползло, а потом шторка с щелью. Нажал на кнопку, и засветилось, полоснуло Ваську по глазам ярким светом.

Витька как бы невзначай направлял на Ваську свет, но сам будто и не видел Ваську, а был занят чудо-фонариком.

А Васька ловил Витькин взгляд и тихо, совсем тихо-нечко, по-мышинному пискнул:

— Дай... мне...

Витька не услышал, стал включать и выключать свет.

— Дай, Вить...

Васька не заметил, что его собственная рука протянулась к черной игрушке, а Витька — хлоп, больно ударил по руке.

— Не лапай, будешь косолапый! — крикнул Витька и спрятал фонарик под рубаху. Надел ботинок, собрался уходить.

— А мне? — спросил Васька.

— Тебе? — удивился Витька и посмотрел на Ваську нахально-невинными глазами. — Чего тебе, Сморчок?

— Я же стоял? — пробормотал быстро Васька и старался поймать Витькин взгляд. Все было в глазах у Васьки — и просьба, и подобострастие, и жалость к себе, и молчаливый страх. Страх было больше всего.

— Мог бы и не стоять, — сказал Витька и сплюнул.

— Но ведь я стоял... Я стоял... Стоял!.. — заныл Васька. В голосе у него появились слезы. Вот Сморчок, и дела от него никакого нет, а если начнет просить, не отстанет.

Витька даже замахнулся на него, но не ударил. Не до конца разозлился. Если бы разозлился настолько, что ударил, то еще бы тогда разозлился и смог бы побить Ваську. А сейчас только заорал на него:

— Отстанешь или нет! Вот, держи!

На ладони у него лежал круглый компас. Васька замолчал и даже съежился, когда Витька протянул ему этот блестящий, как часики, компас. Не поверил, что отдаст, и правда: только протянул руку, как Витька зажал компас в кулаке и сунул ему кулак под нос:

— Во тебе! Понял! Во, а не компас!

И вдруг швырнул прямо в лицо Ваське компас, так что тот ударился в глаз и упал ему прямо в руки. Васька сжал компас в двух руках, не в силах поверить, что он его...

Витька смотрел, не скрывая своей враждебности. Никогда бы не отдал он такой драгоценной вещицы, если бы не острая мысль о том, что Васька может проболтаться. Дело-то было нешуточное, тут фонарик, да компас, да еще что-то, чего не видал Васька, — пустячки. А главное... Пусть возьмет этот компас и молчит. Как-никак, а с компасом он соучастник. Компас ему замком на язык.

— Жаль, — сказал Витька искренне. — Мы бы и без тебя очистили солдата. Одурел он или выпил... Как мертвый... Хотели шинель из-под него вынуть, да побоялись... Проснется...

— Еще что взяли? — спросил Васька, а сам отвернулся, спрятал компас куда-то внутрь себя. Попробуй-ка разыщи теперь.

— Тебе все и рассказать? — спросил Витька, словно опять озлясь.

— Может, хлеба там...

— Вот Сморчок! — сквозь зубы крикнул Витька и встал. — Тебе мало? Мало, да? А хочешь, компас заберу?

— Нет, — быстро произнес Васька и сделал шаг назад.

— Тогда чеши отсюда... Косолапья... Подальше. Да смотри, если пикнешь!

— Не пикну, — тихо отвечал Васька.

Он обождал, пока приятель скроется за деревьями. с оглядкой извлек компас, стал смотреть. Поцелкал стопором, нашел север и юг, покрутил, пытаюсь обмануть стрелку, но ничего у него не вышло. Наигравшись, спрятал Васька компас снова и рысцой двинулся к детдому. Он и без часов, минута в минуту, мог сказать, когда у них обед.

2

Воспитательница Анна Михайловна построила ребят на поверку. Быстро пересчитала. Выходило, что нет шестерых. Ну, Сычева, или Кольку Сыча, никто никогда и не спрашивал. И он никого не спрашивал, хотел — приходил, а не хотел — не приходил. Да и попробовали бы его спросить. Он тут никого не боялся. Это его боялись, в том числе боялись и воспитательницы.

Его не трогали, лишь бы не тронул сам. Все — и воспитанники и воспитатели — были только рады, что нет сегодня Сыча.

Не оказалось двух братьев Кузьминых, или, как их звали, Кузьмёныши. Они уехали к родне. Куда пропали еще трое — никто не знал. Может, кто знал, да помалкивал. То ли гуляли, то ли сбежали, сели на проходящий санитарный поезд да подались на фронт. Многие так делали. Или на крыше товарняка поехали искать край посытнее нашенского. На восток, на юго-восток. Там, говорят, из-за корочки хлеба не давятся, там даже мясо настоящее жрут. Потому что в тех местах война не проходила.

Но возможно и так, что сидят все трое в каталажке за незаконные действия на рынке с честными советскими гражданами, сидят и ноют, скулят через замочную скважину: «Дяденька милиционер, отпусти... Отпусти, мы детдомовские...» А что с них возьмешь, у них ничего и никого нет. Подержат да отпустят, припугнув для острастки. А наш беспризорный брат — пуганый. Чем больше пугают, тем больше не боится.

Васька вспомнил, как однажды они козу сперли. Попробовали доить, а она такая дура — не доится. Держали ее под домом в подвале, пока она не заблелела от голода на весь поселок.

— Вывернуть карманы, — сказала Анна Михайловна и пошла по ряду. Все вывернули, и Васька вывернул, размышляя над тем, что вот Анна Михайловна, воспитательница, — не дура, не чета той козе. А простой истины не понимает. Кто же станет прятать ценные вещи в дурацких карманах? И без них в одежде столько тайных мест, что на спор мешок картошки вынес бы со склада, если бы тебя пустили на тот склад... А уж для всяких там мелочей вроде ножичка, денег или корки хлеба — тысяча самых загашных мест, попробуй-ка их сыщи! Можно в ботинок под стельку положить, сунуть в манжетину штанов, в трусы между ног или сбоку под мышкой... А то за подкладкой, а то и в кармане у самой воспитательницы, пока она проверяет.

Рядом с Васькой стоял Грачев Сашка, Грач, заложив что-то за щеку, громко сосал и чмокал. Вот тоже вариант — положить в рот и молчать, покуда шарят. Анна Михайловна проверила у Васьки карманы, посмотрела у Грачева, пошла дальше.

— У тебя чего? — спросил Васька.

Грач высунул изо рта кусочек жмыха и тут же убрал обратно.

— Подумаешь, — сказал Васька и вынул свой компас. — Смотри! Только руками не лапай!

— Часы? — спросил Грач. У него получилось: «Чаши».

— Дура, компас это. Стороны света показывает.

— Дай посмотреть! — У него вышло: «Вайошошеть».

— А ты — жмых!

— Посмотреть?

— Пощупать... — сказал Васька. — Языком... Я только лизну...

— Ладно, — подумав, согласился Грач. — Лизни. — И предупредил: — Зубами не грызи, он тоненький.

Незаметно обменялись, Грач уткнулся в компас, стал искать север и юг. А Васька только засунул в рот жмых, впился зубами. Авось отколется краешек. Напрасные усилия, жмых был как каменный. Повезло Грачу: неделю можно сосать. Интересно, где он свой жмышок прячет на ночь? Небось так и держит во рту. Полезешь, полруки отхватит. А что, если компас попробовать прятать в рот? Не залезет разве? Рот как резина, его и растянуть можно. Но ведь компас не жмых, он от слюней испортиться может...

Васька снова изо всех сил надавил на жмых зубами. Чтобы протянуть время, затеял с Грачом отвлекающий разговор.

— Нашел юг? — получилось: «Нафолюг».

— Что? — спросил Грач.

— Нафолюг?

Грач ничего не понял, но сообразил, куда гнет Васька. Пора возвращать жмых, а то ничего не останется, будь он трижды каменный. Получив свой жмых, Грач внимательно осмотрел его со всех сторон, произнес с обидой:

— Ну и зубы у тебя! Вон сколько выскреб!

— Он не скребется, — сказал Васька.

— Что я, не вижу!

— Ты думаешь, компас не портится, когда его без умения крутят?

— Подумаешь, север, юг... Ну и что?

Васька сказал Грачу, как по секрету:

— А то, что на юге этого жмыха завались. Говорят, около станции валяется в кучах, на него никто и не смотрит.

— На жмых? — произнес Грач так удивленно, что чуть не подавился своим жмышком. Вот бы был номер, если бы Грач проглотил его! Он бы заплакал от жалости.

Ваське стало так смешно, он сказал:

— Что жмых, они им коров кормят.

— Врешь?

— Еще свиной, — добавил Васька с превосходством. — Ая тебе не скотина, чтобы его жевать... Не свинья какая-нибудь.

Васькин компас был отомщен. Но тут Грач опомнился, крикнул:

— Ах ты Сморчок! Ты все от зависти придумал!

— Что за шум? — спросила, повернувшись, Анна Михайловна.

Она закончила обыск и теперь стояла, глядя на строй. Глаза у нее были синие, этот цвет шел откуда-то из глубины ее, он не согревал. Временами даже казалось, что она никого кругом не видит, а взгляд ее сосредоточен на чем-то, что за пределами окружающего.

Вот и сейчас она молча смотрела, но ничего не видела. Опомнившись, произнесла быстро, чтобы ребята приготовились к обеду, помыли руки.

Все ждали этих слов и с криками «ура» ринулись прямо к столовой. Анна Михайловна предусмотрительно перекрыла вход, встав в дверях, и крикнула, что пускать будет с чистыми руками, когда накроют. Ее не слушались, толпились у дверей, заглядывали в щелку.

Васька смог всунуть один глаз между остальной ребятней и сразу углядел, что в столовой дежурит Боня (полное имя было Бонифаций), а на Васькино обеденное место положена тощая пайка.

Ребята кричали из-за двери:

— Боня, мне горбушку! Мне горбушку!

Каждый кричал, и каждый хотел горбушку. А где возьмешь столько горбушек? Васька не стал кричать из-за двери. Он шмыгнул во двор и залез со стороны окна. Он наперед всех сообразил, что в столовой уже открыли окна: на дворе весна. Карабкаясь, пробормотал: «Наши войска захватили высоту «Н»...»

Васька лег животом на подоконник, сразу оценив, что раздача еще не кончилась и можно отсюда, как маршал с

высоты, обозреть окрестности и влиять на ход боя. Противником в сражении был Боня, а добычей в победе — крупная горбушка. Стоило начинать сражение.

Васька сказал негромко:

— Боня! Боня! Я тебе что покажу...

Бонифаций раскладывал пайки, а на Ваську не среагировал. Лишь глаз скосил в его сторону. В это время он считал: «Двадцать один, двадцать два, двадцать три...»

«Ну, подожди, — подумал Васька. — Буду дежурить, ты у меня запляшешь. Ты у меня танец живота будешь на пороге исполнять».

Васька, как на экране, представил картину, поменяв сейчас себя и Боню местами. Боня канючит с подоконника, а Васька положил ему тоненькую, как стеклышко, пайку, добавок перенес другому. Но от вымышленной картины легче не стало. Воспользовавшись, что Анну Михайловну атаковали от входа, Васька под шумок крикнул:

— Бонифаций! Положи мне горбушку!

Как и предполагал Васька, тот лишь отмахнулся:

— Иди, Сморчок! Не засть мне свет. Нет у меня для всех горбушек.

— Мне не для всех, мне для меня.

— Где я возьму? — спросил Боня.

— Поищи, — настаивал Васька. Он понял, что разведка кончилась, пора бросать в бой главные силы. Почти независимо произнес: — А у меня тут компас, между прочим...

— Какой компас? — спросил вроде бы без любопытства Боня, но приблизился, стараясь разглядеть, что там держит Васька в своей руке.

— Настоящий военный компас, — отчеканил Васька энергично. — В темноте светится!

— Покажи?

— Потом, — предложил Васька. — Хоть целый час играй.

Тут Анна Михайловна, гнущаяся под голодным напором, как деревце под бурей, закричала, повернув голову:

— Быстрее, быстрее, а то я запускаю!

— Сейчас, — ответил ей Боня и так ловко перетасовал пайки, что на Васькино место легла поджаристая горбушка, на которой еще был крошечный добавок.

«Вот это куш!» — выдохнул про себя Васька, увидев горбушку с добавком. Бросился бежать вокруг дома, на крыльцо да в коридор и с первыми ворвавшимися стремглав на свое законное место, чтобы, не дай бог, на ходу не сменили, не подсунули худую пайку. Успел Васька по спицам, напролом через кого-то к своей родной горбушке, рукой прижал ее к столу. Тут она! А сердце колотилось от бега, а рука держала, ласково корочку гладила, как птенца все равно. Пальцы раздвинул, посмотрел, восхитился: мать честная! Поджаристая корочка, серый упругий мякиш, от одного запаха голова кружится. А тут и добавок, кстати. Невелик, но можно в рот взять, пососать, насладиться и запахом и вкусом. А еще горбушка целая, ее с разных концов по маленькому кусочку откусывать — конца не будет.

Кругом стучали ложками, требовали бурды. Васька вдруг подумал, что день у него сегодня невероятно везучий, компас принес удачу.

Анна Михайловна стояла посреди столовой и кричала, вовсе при этом не нервничая:

— Прекратите стук! Сейчас же прекратите стук!

Но ее заглушало: «Бур-да! Бур-да! Бур-да!» И первый слог, как нарастающая лавина, как горный гул, чтобы окончиться, утвердиться падающим и гремящим:

— ...Да! Да! Да!

И Васька, схватив ложку у соседа, стал бить, стал барабанить, изображая марш победы. Он сегодня выиграл свой бой. Васька стучал изо всех сил, и очень здорово у него выходило.

3

Принесли свекольную бурду, на второе пюре из гороха. Желтенькое, как дрисня. Шлепнули ложку, оно расползлось до краев. Со стороны посмотришь — много. А тут

таракану — по щиколотку. Но Васька знал, как из ничего, из одной видимости, создать обжорную порцию. Накроши хлебца, перемешай, и вот уже половина тарелки навалено. Да еще как будто ешь с мясом, корка в дрисне мясной вид имеет. И почти сыто, почти довольно.

Впрочем, когда языком до блеска вылижешь тарелку и крошечки, не больше маковых зерен, по столу соберешь в рот, знаешь, все равно чувствуешь, что мог бы съесть еще столько, а потом еще столько же. В общем-то Васька был уверен, что есть можно без конца. Поставили бы тут кастрюлю, Васька бы и ее съел.

Был у Васьки счастливый один случай, когда сперли они котел щей с кухни, ели без ложек, через край, а гущу ловили руками. Съел тогда Васька порций пятнадцать, а то и двадцать. Раздулся, как пузырь, дышать нечем было, а все ел. Не мог никак наесться. Хлебал, хлебал и почувствовал, что до горла залит, и уже что он берет, все обратно вытекает. А тут еще затошнило его, скрутило так, что лежал, умирал Васька. Все вылезло из него — и гуща, и жижа, и еще что-то, чего он, кажется, и не ел.

Выворачивало Ваську до пота, до сотрясения кишок, и все-таки успевал он поглядеть с жалостью на то, что приходилось отдавать, а почти было твоим. И сам Васька не знал, отчего больше лились у него слезы: от боли или от жалости.

Сейчас Васька вспомнил, стало приятно. Как же, чуть от обжорства не умер! Не у всех бывают такие хорошие воспоминания в войну.

Нельзя сказать, что Васька совсем не думал о будущем, хотя мысли о настоящем — как выжить — подобно многим заслоняли эту прекрасную перспективу.

Но выходило Васькино будущее уж очень одинаково и только так: стоит посреди леса детдом ихний, а посреди детдома стол во всю ширину и длину. А на столе огромных размеров мешок с баранками, а второй мешок с конфетами. И никто не шаркает, не тащит по карманам и за пазуху. Чинно все сидят, даже шакалы последние и те берут баран-

ки по одной, а их заедают конфетами: суют в рот, жуют, а золотые бумажки через зубы выплевывают. Это чтобы не терять времени на разворачивание и облизыванье фантиков. С баранками — с теми проще!

И Васька, вот чудо, не хапает, чинно тянет руку к мешку, хоть зудит его легонько заначить горсть-другую в рукаве на черный день. Только о каком таком черном дне разговор может идти, если в будущем все дни только светлые будут!

Чай из железной миски пьет Васька, наклонясь, однако, так, чтобы мешок тот чудотворный из виду не терять. Будущее будущим, а все-таки! А рядом с миской пайка Васькина лежит, он ее ладошкой ласкает. А размером та пайка ровно с буханку, даже добавок на ней такой, что с ходу не съешь. Это и есть самое светлое Васькино будущее, которое называется «послевойны» и в которое Васька, если честно, не очень-то верит. А кто поверит, скажи про мешок с баранками да пайку таких размеров...

И одной мечты нет у Васьки, чтобы дорасти до высоты, до положения Кольки Сыча, который и там, в будущем, найдет свое генеральское место в торце стола, зыряка оттуда в сторону шакалов и малышни, не слишком ли стараются они, поедая добро из мешка.

Васька подумал: отчего ему так приятно сегодня, даже раз мечтался вишь, — сразу мысль о компасе. Тоже не думал не гадал, а ведь случилось же! И как бы вновь обрадовался. Решил тут же, что надо сходить в лес, поиграть со стрелкой под деревьями. Правда, оставался за Васькой должок Боне, да кто ж не знает, что долги не отдаются по своей воле. Как говорится: кому должен, всем прощаю. Боня придет и напомнит, не постесняется. В детдоме стыдливые не живут.

Васька соскакивал с крыльца, когда услышал, как Анна Михайловна звала на подготовку уроков. Усмехнулся Васька такой наивности. Если бы до обеда пригрозили Ваське голодом, он, может, сделал вид, что готовит уроки. Но сейчас, сейчас... Все понимали это и разбежались,

разбрелись по укромным уголкам, как горох, рассыпались по щелям, собери-ка их. Одни торопились испечь приобретенную картофелину, другие выменять корочку хлеба на что-то, что похуже, но побольше, а иные побрели поискать молодую крапивку по канавам, листики у нее сладкие и пахнут свежим огурцом. Некоторые залезли на чердак или в подвал, чтобы поспать. Во сне время до ужина летит быстрее.

Васька услышал, что воспитательница упомянула Первое мая и шефов. При слове «шефы» он приостановился, наострил уши. Но тут же спиной почувствовал, что Анна Михайловна смотрит на него, ускорил шаги. И точно, вслед донеслось:

— Мальчик! Мальчик!

Она не видела лица, а беспомощное «мальчик» выдало ее до конца. Мало ли тут мальчиков! Васька, не оборачиваясь, завернул за угол и направился по тропинке в сосняк. Он раздумывал, отчего упомянули шефов... Их шефами назывался колхоз, который время от времени привозил на телеге всякие овощи, картошку. Иногда, а если точнее сказать, это было дважды, ребят возили в колхоз и кормили от пуза. Да... От такого бы праздника Васька не отказался.

Но сейчас приятную мысль о шефах перебивала другая, тоже приятная, но более близкая: она звала подальше в лес, на волю. Правду кто-то сказал, что как ни корми детдомовца, он все в лес смотрит!

По сухой тропинке, которую, как змеи, перевивали толстые корни деревьев, Васька углубился в сосняк. Хотел было остановиться, вдруг увидел человека, сидящего на земле. Васька прошел мимо и оглянулся. Человек сказал негромко:

— Эй, пацан!

Васька удивился:

— Меня?

Разглядел, что у сидящего шинель внакидку, а сапоги снял, они стоят в стороне, как сами по себе на параде: пятки вместе, носки врозь. Тут же портянки валяются.

— Тебя, тебя, — сказал солдат. — Поди сюда!

Васька сделал шаг и остановился. Солдатики Васька нагляделся достаточно. Недаром их на стадионе гоняют строевыми песнями. Как проходишь, всюду новобранцы под деревьями сидят, рубают кашу из котелка. Иногда позовут, предложат ложку. Но Васька, если честно говорить, не любил одалживаться у солдат. Он считал, что для войны мужчина должен быть сытым, не в пример детдомовцу. Ваське проще: он достанет, добудет что-нибудь. Если не достанет, украдет. Сейчас все крадут, кто больше, кто меньше. А Ваське меньше других надо.

Но солдат ничего Ваське не предлагал. Он и смотрел на Ваську без всякого интереса. Безразлично смотрел, будто и не на него, а на лес и на сосны. Лицо у солдата было серое, стертое. Усталое, а может, больное. Тут Васька понял, что солдат из госпиталя, наверное, пошел гулять, да заблудился. Рана заболела...

— Ну? Подойди! — сказал солдат, не повышая голоса. — Ты что, местный? Тут и живешь?

— А где мне еще жить? — спросил Васька. — Вон, в детдоме живу.

Солдат оглянулся, чтобы посмотреть, в каком детдоме живет Васька, но ничего не увидел и не мог увидеть, потому что были они в лесу. Он поднял голову, вздохнул. Не глядя на Ваську, сказал ровно:

— Понимаешь, украли... Оружие вот... Да, да... Оружие украли.

— Какое... оружие? — повторил Васька и вдруг обмер, осекся. А живот у него заныл. Он и сам не понял, чего испугался. Но живот заныл, а ноги стали как чужие.

Солдат не видел Васькиных превращений, потому что не видел и самого Ваську. Глаза, обращенные в глубину леса, ничего не выражали.

Как-то равнодушно произнес:

— Какое? Обыкновенное. Винтовку, значит... Пока спал, ее украли. Да все украли, вещмешок, вещи. Документы из кармана... И оружие тоже... — Это слово «оружие» он произнес отдельно и хотя так же ровно, но с невыносимой тоской. Солдат не Ваське говорил, а себе будто говорил. За-

молчал, глядя на ноги свои белые, белее портянок. Васька сейчас мог уйти, солдат не заметил бы этого. А он стоял перед солдатом как дурной, как оглушенный все равно. Никак не мог сдвинуться с места. И заговорил он помимо своей воли, не соображая, что и зачем говорит:

— Откуда мне знать, кто украл... Ничего я не слышал вовсе. Если бы я знал, конечно, я бы сказал, но я ничего, ей-богу...

Выходило нескладно, неловко... Ой-ой-ой как все глупо выходило. Васька, не терявшийся ни при каких условиях, мямлил и мялся и выдавал себя с головой. Если бы солдат хоть раз взглянул на Ваську, если бы прислушался к его голосу да просто бы пораскинул мозгами, он понял бы все сразу.

Солдат не разобрался и не почувствовал ничего. Он поднял пустые глаза на мальчика и увидел рваные, подвязанные веревочками галоши вместо ботинок, штанишки неведомого цвета, залатанные на коленях, но опять с дырками, странный пиджачок без пуговиц, короткий, с короткими рукавами. Узкое лицо мышонка с каким-то странным, почти звериным испугом и глаза... Непонятные были у мальчика глаза: детские и недетские одновременно.

Тут солдат впервые подумал, что он напугал мальчишку. Видом своим или вопросом, действительно странным вопросом, если послушать со стороны. Ишь вытарачился весь, дикий, того и гляди шмыгнет в кусты.

Солдат попытался улыбнуться и сам понял, что неудачно у него это вышло.

— Ты не бойся, я ведь вообще спрашиваю. Я всех спрашиваю. Хожу тут и спрашиваю. Всех спрашиваю, понимаешь?

И солдат вдруг бестолково и быстро заговорил, что он не тронет того, кто взял оружие и взял документы. И ничего не сделает он этому человеку, пусть только вернет.. Винтовку вернет. Солдат подвинул к себе сапоги и добавил, что он сапоги еще отдаст... Часы отдаст...

— Не знаю я! — громко, с отчаянием воскликнул Васька. — Чего вы ко мне пристали! — И повторил бессмысленно просящим голосом: — Я ничего не видел! Может, кто-нибудь другой знает, а я не знаю, дяденька...

Так произносил Васька и понимал, что чепуху произносит. Он был явно не в ладах с собой, с языком своим. Сам себя разоблачал и еще больше пугался от мысли, что солдат решит его обыскать. Компас лежал у Васьки в загашнике, под рубашкой с левой стороны. И Васька — вот дурак — тут же рукой пощупал это место. Как вскочит сейчас солдат, хватать Ваську за бок! Это ведь не Анна Михайловна, солдат знает, что где прячут. Найдет компас, и конец тут Ваське. Лишь брызги полетят по стволам. А кто будет спрашивать о Ваське: куда и зачем пропал Сморчок? Дня два подождут на линейке и вычеркнут из списков. Мало ли вычеркивали других? Всех не перечтешь, не разыщешь, да и некому этим заниматься. Вот и получится: был Васька — и нет Васьки. Как будто он и не должен быть.

— А кто может знать? — спросил солдат и чему-то удивился. Он и не Ваську спросил, а себя спросил. А удивился тому, что еще спрашивает, что еще что-то хочет узнать, когда и узнавать нечего. Никто не скажет. Как в лесу все равно.

— Я вообще сказал... Подумал, что, может, кто знает... — проворачивал с трудом, как жилы через мясорубку, Васькин язык, в то время как сам Васька прощался с собой. Он не мог знать, что солдат тоже прощается с собой. Или уже простился? Он еще смотрел на Ваську, но безнадежность, бессмысленность появились в его глазах.

Так бывает, когда все равно.

Однажды Васька видел такого человека. Он шел по платформе к стоящей электричке. Васька, оказавшийся у него на пути, увидел, какой безумный, устремленный в пустоту взгляд был у человека. Электричка тронулась. Васька оглянулся, чтобы посмотреть, как тот будет садиться на ходу, а он почему-то не сажился, а все шел и шел рядом с вагоном, а потом побежал. И вдруг сразу повалил-

ся под колесо. Хрустнуло, лопнуло, брызнуло, и у Васьки круги пошли перед глазами. Кто-то, наверное, закричал, а Васька онемело стоял, глядя на пустые без поезда рельсы, где лежали две половины человека, и ноги были странно вывернуты, изуродованы и залиты кровью...

Так Васька с тех пор и носил в памяти лицо и вытаращенный, безумный, глядящий в неведомое взгляд этого человека. Вдруг от солдата повеяло на Ваську холодом, ужасным гибельным чувством, похожим на давнюю смерть.

— Я пойду, — сказал он обреченно. Будто попросил солдата отпустить его. Тот не услышал. — Я пойду, дяденька...

Какой-то всхлип у Васьки получился, а не голос.

— Иди, иди, — сказал машинально тот и сочувственно посмотрел вдруг на Ваську. Глаза у солдата подобрели, какая-то легкость появилась в них. Он поднялся сразу, без рук, подошел сам к Ваське. Почти весело подошел, так что Ваське стало страшно. — Иди, чего ты, — промолвил доверчиво солдат и провел рукой по Васькиным запаршивевшим волосам. От такого прикосновения по спине ток прошел. Что-то в груди у Васьки задрожало и оборвалось. Как перед ударом в затылок. А по коже все лихорадка, дрожь волнами переливалась.

Слишком ласково разговаривал солдат, чтобы это было по правде. Так обращались к Ваське, когда хотели бить. А били Ваську за воровство, как тесто взбивали кулаками, сильно и неторопливо, через кости, через их хруст, до нутра Васькиного добирались, и тогда наступала мертвая темнота, идущая как спасение.

За кошелек так били, а за украденный в школе глобус не били. И Васька с поразительной ясностью понял, еще когда за волосы волокли, еще в эту минуту светлую, что за свое бьют сильнее. За общественное сильнее судят. Но Васька был неподсуден, это он быстро понял и считал своей удачей. Он старался лазать туда, где были вывески.

Васька стоял под рукой солдата, обреченно стоял, может, он уже умер или все в нем умерло в ожидании, ког-

дашибанут его по темечку и отобьют мгновенно память. Посыплется все и опадет. Васька и не боялся темноты, но боялся ожидания удара, а потом боялся бреда. Когда ожил, но ничего не понимаешь вокруг, а только лежишь и плачешь, а почему лежишь и почему плачешь, не в силах уразуметь. За голову держишься, а она чужая головка, не своя... А ты руками обхватил ее, чужую. И хоть глаза открыты и ты видишь, что люди вокруг, а ты у них под ногами валяешься, корчишься и все плачешь, плачешь. Не так плачешь, чтобы разжалобить, а для себя плачешь, о своей жизни... Один раз с Васькой было такое. Пьяный мужик, у которого он распорол мешок с картошкой на рынке, бил его по голове.

Солдат все гладил Ваську, а потом легонько толкнул:

— Ну, иди, иди!

Васька тихо пошел прочь, костылял, будто не на ногах, а на палках. Не веря, что уходит, подвигался как во сне, дальше и дальше от несчастья своего. Медленно просвет выходил, и Васька спиной знал, что медленно, но уже рождалась в Васькиных шагах надежда. И вдруг солдат крикнул вдогонку. Васька аж присел и в штаны брызнул с испугу. Он ничего и не понял, что ему кричит солдат.

Но и солдат удивился своему крику. Откуда взялось, что он почувствовал в Ваське спасительную ниточку. Нет, не надежду что-то найти. А надежду надеяться и ждать. Может, Васькины слова о том, что кто-то знает, ничего и не значили, они точно ничего не значили. Но они были произнесены и сейчас дошли до сознания солдата. Он ухватился за них, потому что не было ничего другого. Он за Ваську поэтому ухватился, ведь их Васька произнес. Солдату вдруг показалось, что если Васька вернется, то он может ждать его. А ждать означало для него жить.

Вот и закричал солдат неожиданно:

— Ты... Подожди! Ты придешь? Ты в детдоме будешь?

Васька странно вывернул шею, не повернув туловища, и осклабился, голос потерял:

— Я спрошу... Если узнаю...

— Ты приходи! — крикнул солдат. — Я буду тебя ждать!

Сколько прозвучало в его голосе вдруг надежды! Вместе с надеждой и страха и тоски.

Тут и рванул Васька. Может, не он сам, а ноги его бежали, которых он не чувствовал. Эти ноги получили приказ бежать давно, а теперь понесли, да так неловко, вихляя и заплетаясь, что Васька с размаху ударился о торчащий сук и покарябал веко, побил переносицу. Но все равно продолжал бежать, пока не увидел свой детдом.

Силы оставили Ваську, он сел на землю и заплакал. С обидой заплакал, как будто его в самом деле избили. И даже затылок, даже волосы болели у Васьки от чужого прикосновения.

В глазах зарябило, то ли от боли, то ли от пережитого страха. Где-то долбила, прорезалась тоненькая мысль, что скорей надо Ваське спрятаться, исчезнуть, зарыться в подвальчик и пережить все наваждение, как вражескую бомбежку. Ведь надо же так вляпаться! Шел бы Васька по другой тропинке, их вон сколько, тысячи в лесу, и все бы сложилось хорошо в его жизни. Зачем надо было вообще идти в лес? Зачем он оглянулся на солдата? Мало ли солдат в лесу, чтобы на каждого оглядываться, около каждого стоять, разговаривать?

Но все произошло, и не в воле Васьки, как бы он сильно ни хотел, изменить этот день и эту встречу. Страшную вдвойне оттого, что солдат не бил его, рукой по волосам провел.

Болят Васькины волосы, до нутра прошибло прикосновение. Вот что ужасно. Когда бьют — привычно. Когда словами и руками ласкают — больней стократ. Васька даже охнул, вспомнил, почувствовал чужую руку. Страшная рука, которая гладит.

Волосы носили больное, дикое, неиспытанное ощущение чужой руки, и этого Васька не мог изменить. Было... Ужасно это было. Лучше бы память Ваське отшибло, чем так, рукой его. Последнее злодейство — детдомовца гла-

дить. Но от солдата можно сбежать, можно закопаться, а от себя? От своих лапанных волос куда уйдешь?

В панике зарыскал Васька, себя стал бояться. Сидел сам себе чужой и понимал, что все несчастья в жизни от его непостоянства. То он крадет, то стесняется, то врет — не покраснеет, а то и соврать не способен. Назвался по глупости детдомовским. Придет солдат и спросит: «Где тут детдом?» Да каждая собака этот детдом знает. Потому что он как осиное гнездо. Не клади за километр, что плохо лежит. Ворюги, известное дело. Васька Сморчок — ворюга, он все и украл...

Да был бы кто-нибудь, а то солдат, в котором и хитрости нет, одно простодушие. На простодушии и попался Васька-дурак. Не пытали, не трогали, еще и сапоги с часами предложили.

Как Васька в милиции защищается, любо-дорого самому вспомнить. Закатится слезами, норовит через мундир старшину до нутра пронять. Жалостью его да тонкой нотой, а если надо, и небольшой истерикой с причитанием. «Дяде-нька, отпусти, не виноват я, сиротой расту, брошенный на всю мою жизнь!» Вздохнет старшина, может, сынишку вспомнит, выпустит, а то еще червонец сунет неловко. Мол, бери да не воруй больше, а то плохо кончится. А ты ему: «Спасибо, дяденька, не буду воровать, я учиться пойду. Выучусь, пойду милиционером работать!» Тут он расчувствуется, скажет: «Ишь, шпингалет, соображает... Была бы семья, что-нибудь из него путное вышло. А все война, война...»

Посидел Васька, подумал и решил, что перво-наперво нужно ему от компаса избавиться. С компасом он жулик, а без компаса вполне честный человек. Зашел Васька в сарай, где кирпич пирамидкой лежал, оглянулся несколько раз, не следит ли кто. Вынул из серединки кирпичину, а за ней пустота оказалась: старая Васькина записка. Ловким движением сунул туда компас, завернутый в лопух, и кирпичом заложил. Для гарантии помочился на это место, чтобы не лезли.

Из сарая Васька вышел не спеша, сильно сплюнул. Все было в этом плевке: чувство облегчения, отсутствие вины и вообще конец этой истории.

4

От Саратова, где формировалась часть, тащились до Москвы трое суток. Но уже сейчас, на подъезде, Андрею Долгушину, как другим солдатам, было ясно, что в столице они не задержатся. По Московской окружной дороге перебросят на северную, а может, и наоборот, на южную ветку, сейчас от севера до юга затяжные бои. Но солдаты, и не имея информации, склонялись к тому, что путь их ляжет в направлении Курска. «Солдатское радио», никем не уточненное и не подтвержденное, все-таки упорно указывало на юг... Так они предполагали, покуривая самокрутки из едкой махры и разглядывая длинное Подмоскovie, деревья, а то и целые рощицы, стоящие в воде, темные деревеньки вдоль дороги, где не было видно ни людей, ни скотины.

Но солдат предполагает, а командование располагает. Так сказал боец Воробьев, взводный балагур и философ. До войны работал он прорабом на строительстве в городе Бежицы. Хватка у него была, наверное, профессиональная, что касалось достать, выпросить, организовать. Такие люди не пропадают нигде, да и другим с ними легче жить. Случись какое затруднение с жратвой, посылали Воробьева, а на подхват ему Гандзюка.

Коротышка Гандзюк, брюхо шире плеч, правый фланг замыкает, но насчет кормежки первой нет его. Еще разводящего, как именуют половник, не успели окунуть в варево, а он уже с котелком на изготовке...

— Гандзюк, — кричат ему, — будешь торопиться — обожжешься!

— Ничего, — отвечает, гипнотизируя глазами кухню. — У человека сто метров кишок, и все для того, чтобы, съев горячего, не ошпарить задницу.

Эшелон между тем замедлил ход и тащился едва-едва, а потом и вовсе встал. Дернулся раз, другой и замер навсегда. Поглядели — кругом другие эшелоны, где-то репродуктор говорит, наверное, станция.

Сказали: «Боец Воробьев, сходи на разведку. Отчего с утра не несут? Или повара проспали? Натрескались, поди, на ночь, теперь переваривают до Москвы или как? А солдатиков-то потрясло дорогой, им дровишки только подбрасывай!»

— Проси хоть кипятку, если нет покруче! Да узнай, сколько стоять.

— Я так думаю, — скоро говорил Гандзюк, вскидываясь идти вслед за Воробьевым. — На парад нас везут в Москву. А уж там от пуза кормят, это я точно знаю!

— Ты, Гандзюк, учти следующее, — обернулся к нему Воробьев. — На параде ногу вскидывать надо. Чем выше ногу, тем больше мяса — такой закон. За каждый сантиметр сто грамм набавляют. За пять — банка тушенки...

Посмеялись, и Андрей улыбнулся, вспомнились недавние учения во дворе старых, как говорят, еще екатерининских времен серых казарм, от вокзала по левую руку. Сержант Потапенко, немолодой уже, лет тридцати, крупный мужчина, глаза навывкате, голос трубный: «Ногу! Ногу! — кричал свирепо. — Горох, а не шаг! Носок тyani, печатай ступней!» Весь световой день на плацу. С подъема, как труба под высокими сводами прогремит, и до серых сумерек топали. Сдваивали ряды, ходили кругом и с винтовкой наперевес. Гандзюк как для парада старался, драл ногу выше головы, при рапорте ел глазами начальство.

...Боевая винтовка образца тысяча восемьсот девяносто первого года дробь тридцатого, созданная замечательным тульским оружейником Сергеем Ивановичем Мосиным, состоит на вооружении всех родов войск Красной армии. Поражает противника на ближнем и дальнем расстоянии. На дальнем расстоянии прицельным одиночным и групповым огнем, на ближнем — штыком и прикладом. Состоит из следующих основных частей...

Все уже наизусть знали — и винтовку, и гранату, как рыть окоп в полный рост, как скрываться от танка, когда он прет на тебя. О танках говорили особенно много, учили бросать связку гранат из укрытия, вплотную метать бутылки с зажигательной смесью.

Бывшие в боях красноармейцы, раненые или контуженные, рассказывали о встрече с танком, учили, сердясь, когда у новобранцев не выходило, показывали, как оно будет по-настоящему.

— Вишь, поползли из-за бугра, на тебя горой прут.. Гремят, лязгают, стреляют, лежишь, думаешь — хана! Надвинулось чудовище с крестом, а ты лежишь... Лежишь. А потом на него: «Ах ты, сука, в мать, в Гитлера и в того, кто его породил, — уррра! Бей фашистскую гадюку! Так ему! Эдак! Ура! Вперед! За Родину!» — И ожесточенно, с серым лицом, искажившим черты, с глазами, в которых отчаяние и слепое ненавистное чувство, вскидывались, готовые к броску... И тут только вспоминали, что на ученье, не в бою, растерянно оглядывались, со вздохом махнув рукой, приказывали повторить встречу с танком, молвив при этом: — Ты тут, а он где-то уже есть, вот и представь, что вы встретились. А встретитесь вы обязательно.

С тех пор как стали их водить на полигон, поняли, что время подошло, скоро отправят на фронт. Андрей, как и другие бойцы, ждал, мысленно торопил события. Фронт, какой бы поначалу страшный ни был, означал новый этап в жизни солдата. Попасть на передовую означало обрести до конца свое место в сегодняшних реальных событиях. А цель была единая, святая: бить, сколько хватит сил и жизни, ненавистного чужеземца, проклятого фашистского захватчика, уничтожать его до тех пор, пока он топчет родную землю! Это не были слова, таких бы слов не произнес Андрей сроду, это было самочувствие его. Оно определяло надолго его судьбу.

В это время, как потом утверждали в мемуарах, наблюдалось на фронтах затишье, самое длительное за всю войну. Но обе стороны лихорадочно готовились к летней

кампании, которая началась пятого июля величайшей Курской битвой.

События нашей повести развернулись, возможно и случайно, именно в это время. И хоть бойцы понимали, что временное затишье на фронтах не может не кончиться ожесточенными сражениями, к которым их готовят, они — ни один из них — не могли бы сказать, куда протянется их дорога. Двадцать пятого апреля сорок третьего года их подняли по тревоге в четыре часа утра. Выстроили на плацу в холодный рассветный час, зачитали приказ и повели к станции.

С Волги, вдоль проспекта Ленина дул пронзительный ветер, подгонял их в спину. Но они и так шли ходко, молча, не глядя по сторонам. Единый шаркающий звук сапог нарушал тишину пустынной улицы. Старший сержант Потапенко шагал не как на учениях, сбоку, а впереди строя, никаких команд он не подавал.

С этого мгновения вообще все было по-другому — и мысли, и внешнее проявление чувств. Долгое ожидание в Андрее Долгушине, как и других, теперь сменилось чувством напряженного нетерпения, а может быть, и некоторого страха. Не перед фронтом страха и не перед врагом. К мысли о встрече с жестоким врагом их приучили, и они сами жаждали такой встречи. Но каждый еще знал, что наступит первый бой и каждый станет тем, кто он есть на самом деле. А кто он есть? Он, Андрей Долгушин?

Воробьев с Гандзюком успели вернуться, они сообщили главную новость: эшелон встал на неопределенное время, возможно, будут добавлять новобранцев. Их в каких-то Петушках формируют. Пока доставят, распределят, время... Одним словом, велели ждать.

— Ждать можно, если на сытый желудок, — резюмировали бойцы.

— Сейчас накормят, по-настоящему, — суетился Гандзюк. — У них тут, хлопцы, стационарная кухня, я бы ее по запаху, по одному бы дыму нашел. Но дальше эшелона не пускают.

— А как зовется станция? Где остановились?

— В маленьком городе «Н», как поется в песенке, — отвечал Воробьев будто по секрету. Он добавил: — А на вокзале написано: «Люберцы».

— Тю! Это же Москва, — протянул кто-то. — Здесь, говорят, электрички ходят.

— Электричек не видели, — сказал Воробьев, — а девушки ходили, своими глазами наблюдал.

Андрей не слышал разговора, но при слове «Люберцы» вздрогнул. Он понимал, что эшелон не минет родного его городка, надеялся тайно, что может выйти минутная остановка.

Теперь они стояли, а он от растерянности не знал, что надо сделать. Сунулся к двери, но ничего не увидел. С обеих сторон эшелоны, грязно-кирпичного цвета вагоны, теплушки, едкий дым из многих труб.

Вскоре соседний эшелон ушел, и взору открылась знакомая с детства картина: широкое поле, темное, кочковатое, в самом конце его паутина радиомачт и старое люберецкое кладбище, припавшее к полотну дороги. Городок и станция были с другой стороны.

Две девчушки в ватниках, сапогах и зимних ушанках выскочили из-под вагона, спрямляя путь по шпалам. Сначала их приняли за парней-подростков, да и немудрено ошибиться. Но Воробьев первый понял, что к чему, и, вываливаясь в дверную щель по пояс, крикнул:

— Эй, красавицы! Что за странная деревня — хлеба не на что купить!

Та, что была пониже, круглолицая, чернявая, оглянулась и охоткой произнесла:

— Город, дяденька! А вас откуда везут?

— Отсюда не видать, — отвечал Воробьев, оскаливаясь. — Построили нас, говорят, надо помочь люберецким, а то они без нас не управятся с делами...

— Ваши дела не тут! — выкрикнула девушка, а другая, что покрупнее и, возможно, постарше, потянула ее за руку. Мол, нашла время беседы разводить. Но младшая еще добавила: — Вы бы там помогли! — И указала рукой в пространство, предполагая, конечно, фронт.

— Для того и едем! — орал Воробьев вслед. — Вы-то где живете?

Девушка повернулась и махнула рукой:

— Мы, дяденька, из поселка Некрасовка... Поля фильтрации, слышали?

— Как же! Как же! — перевешиваясь, едва не выпадая, кричал Воробьев. — Значит, приглашаете?

— Мы не жадные, приходите. У нас танцы в клубе...

— Придем! — завопил вдогонку Воробьев, улыбаясь и показывая зубы.

Старшая снова дернула за руку, и девчонки побежали, перепрыгивая через рельсы, лет им было не более шестнадцати. Вот, хоть и война, а у них свои небось девичьи дела и свое молодое счастье в отпущенный короткий срок. Андрей, как и остальные, смотрел на них и неожиданно для себя подумал о том, что мог бы, не случись войны, оказаться в некрасовском клубе, желтом и длинном, встретить эту круглолицую, а может быть, и познакомиться с ней. А сейчас выходило по-иному. Где-то, как чужие, оставались его Люберцы, с одноэтажным домиком, в котором он жил, с улицами, прудом, городским садом, кинотеатром, школой, все свое, родное, а он проскакивал мимо, уезжая неведомо куда. А если он не вернется?

Сожаления не было, он, настроенный к предстоящему и скорому фронту, не готовился и не думал, что сможет увидеть свой город, дом. Но странное чувство недоумения, жалости, растерянности оставалось. Именно потому они и были, что эшелон волей случая не проскочил мимо, а стоял здесь. Небось стоял час, сколько еще простоят?

Дело же, видимо, затягивалось, наступил вечер и ночь, а потом утро. Никаких команд дано не было. Дважды кормили их щами и пшенной кашей, уже некоторые успели сбегать на станцию, посмотреть и купить семечек. Но никто ничего не знал. Пожалуй, один Гандзюк, неутомимый как радио, продолжал утверждать, что привезли их на парад. Андрей не пошел на станцию, чтоб понапрасну не расстраиваться. Решил для себя, что лучше

для него ничего не увидеть, а так и проехать, промахнуть мимо — как неродное. Легче будет оно, спокойнее потом. Решить-то он решил, а сердце тихо прибаливало, щемило.

К обеду следующего дня велели взводу построиться у вагона. Старший сержант Потапенко подал команду: «Смирно! Равнение на середину!» — и доложил лейтенанту Сергееву о наличном составе.

Лейтенант Сергеев ехал в командирском вагоне. Он был молод, едва ли старше своих красноармейцев, и по молодости улыбчив и добродушен. Он велел стоять вольно. Прошелся вдоль строя и сказал:

— Вот, товарищи, мы прибыли в столицу нашей родины. Находимся мы в пригороде Москвы, но, как вы успели заметить, здесь ходят электрички. Наверное, многие не видели города, хотели бы побывать на Красной площади около Мавзолея Ленина...

— Так точно! Интересно посмотреть! — подал голос Гандзюк, но Потапенко строго взглянул на него и произнес:

— Разговорчики в строю!

— Да ладно, — отмахнулся лейтенант Сергеев и добавил: — В ожидании дальнейших действий и приказов нам разрешено съездить в Москву. Разумеется, в организованном порядке. Какие будут вопросы?

И Потапенко спросил вслед за ним:

— Какие будут вопросы? — но именно с такой интонацией: вопросов быть не могло.

Андрей Долгушин подал голос:

— Есть вопрос, товарищ лейтенант. А кто не захочет ехать?

— Как так? — сказал, поворачиваясь, Потапенко.

И лейтенант удивился:

— Почему? Вы уже здесь были?

— Я здесь родился, — ответил Долгушин.

— Вот и прекрасно! Вам повезло побывать в своем городе. Я бы вот тоже перед фронтом мечтал, но... Не судьба, как говорят.

— Мой город — Люберцы, — произнес Долгушин почти виновато. Старший сержант прямо-таки ел его глазами. — Я жил здесь, совсем недалеко.

— Понятно, — произнес лейтенант. — Потом подойдете ко мне. Разойдись!

— Разойдись! — крикнул следом Потапенко и почти без паузы приказал красноармейцу Долгушину подойти к нему.

Но Андрея умело прикрыл Воробьев, который, четко откозыряв, как любил Потапенко, спросил:

— Разрешите обратиться, товарищ старший сержант?

— Ну, давай, давай, — сказал тот. — Чего там сочинил?

— У меня тут родственник, товарищ старший сержант. Проживает в поселке Некрасовка в системе люберецких полей орошения. Орошает, так сказать. Разрешите по этому вопросу обратиться к командиру взвода?

— Не разрешаю, — ответил Потапенко. — Съездим в Москву, там видно будет.

— Слушаюсь — ехать в Москву, — произнес Воробьев.

— Красноармейцу Долгушину тоже передайте мой совет ехать на экскурсию, а не заниматься фантазией.

— Так точно! — подтвердил Воробьев. — Совет начальника — закон для подчиненных!

— Вот и идите, — сказал старший сержант.

— Слушаюсь! — отвечал Воробьев. Все-то выходило у него ловко, быстро. Смотрел в глаза, заученно произносил привычные слова, и только в лице где-то, в губах, во взгляде, таилась вовсе неприметная ухмылка, к которой придраться было никак невозможно.

5

Стоял теплый день. Около насыпи в луже купались воробьи. В поле за кладбищем сжигали прошлогоднюю траву, и запах дыма доносил до станции. В этот апрельский полдень он казался мирным, почти родным.

Долгушин оглянулся на вагон, откуда смотрели ему вслед друзья, а Воробьев кричал:

— Помни солдатскую геометрию: всякая кривая короче прямой, проходящей мимо начальства!

— Стой! — крикнул маленький Гандзюк и, пошарив по карманам, извлек пачку папирос, наверное, самую большую свою драгоценность. Поглядел на нее и швырнул Андрею. — Держи! Пригодится! — И почти вслед: — В штабе когда будешь, закуришь, вот когда пакет передашь. Мол, мы тоже не лыком шиты, а «Беломор» потягиваем!

— Ладно! — отмахнулся Андрей, но папиросы спрятал и при этом еще раз пощупал, на месте ли и хорошо ли схоронен на груди пакет для штаба. Никогда не держал он ценных бумаг в конверте, жестко шелестящем под рукой. Сдать по форме, расписаться и получить отметку о сдаче. При этом помня, что при оружии и, значит, такая штука, как сопровождение пакета, не мелочь, а факт значительный. Может, от него зависит путь и направление всего эшелона?

С вещмешком и винтовкой Андрей стоял посреди путей, и сердце его громко колотилось. Он постарался улыбнуться, но махнул рукой и пошел, будто вообще ходил первый раз, до того неуклюжи, робки были его шаги.

Вот и деревянная платформа, и деревянный мост, а за мостом рыночная площадь с одноэтажной, тоже деревянной кассой пригородного сообщения и еще всякими торговыми точками. Все это Андрей фиксировал мимолетно, как во сне, а в голове его, как апрельский ветер, пронеслись легкие мысли: «Мой город! Ведь мой город, который я помню весь до последней дырки в заборе и в то же время отвык и забыл. Потому что казался он недостижимым, и вдруг я здесь...»

Вроде бы Андрей Долгушин сам по себе, со своей скаткой и со своим оружием, со старшим сержантом Потапенко, со своим поездом, со своим фронтом... А город лежал за пределами этого, даже за пределами войны. Был он, как в

мирное время, в золотом солнце, веселый и праздничный, как из нестареющей сказки детства. И не нашлось бы фантазии представить его другим.

Теперь это был другой город, как бы двойник того, который Андрей знал. Он повторял внешними чертами свой довоенный облик, но категорически отличался от самого себя, в чем именно, сразу понять Андрей не смог. Он оглядывался, схватывая внешние перемены, внезапно озадачиваясь и теряясь.

Исчезли деревянные заборы, ограждения, даже скромный штакетник вдоль тротуара, ромбовидный, крашенный всегда зеленым. Пропали деревца, их спилили на дрова... Зато вся полезная земля была перекопана под картошку. Грядки были повсюду — посреди города, вдоль насыпи железной дороги, в бывших садиках и скверах.

Невероятно разросся рынок: черная кровь города. Он занял прилегающие улицы, даже ту пристанционную площадь, где сейчас стоял Андрей. Оттого, может быть, несколько раз глянули на него искоса: чем он тут барышничает? Потом подкатились прямо: «Что есть, солдат? Хлеб, тушенка? Сапоги? Нательное белье? Сукно шинельное? Махорка?»

Андрей повернулся и пошел в сторону, противоположную рынку, срезая наискось площадь и выходя на просторную Смирновскую улицу, которую он помнил и любил из-за магазина «Три поросенка». Тогда, в довоенное время, украсили витрины, непривычно большие, стеклянные, тремя поросятами, держащими на подносах вкусную снедь. А маленькие ребятишки, тот же Андрей, всегда останавливаясь, глядели на поросят и, показывая пальцем, кричали: «Три поросенка! Три поросенка!» Так магазин и прозвали, люди говорили: «Вы где покупали колбасу? В «Трех поросенках?»»

Стеклянных витрин не оказалось, все глухо забито досками. Но сам магазин работал, и Андрей с удивлением услышал, как пожилая женщина произнесла: «В «Трех по-

росенках» крупу отоваривают». А тут же, за перекрестком, штаб, куда, собственно, Андрей и направлялся. Пробыл он тут недолго. Сдал пакет и заторопился домой.

Со Смирновской Андрей повернул налево, мимо пожарной команды и большой каменной школы, выстроенной почти перед войной, он прошел к кинотеатру, возвышавшемуся в глубине двора и круглым фасадом напоминавшему некую крепость.

Это был его, Андреев, кинотеатр, тут были просмотрены все прекрасные фильмы детства, эти фильмы, спроси про них, он помнил наизусть. За кинотеатром простирался также его, Андреев, городской парк, почему-то называемый «глазовским». И прудик мелкий за садом, а дальше одноэтажные панковские домики, и с левой стороны — двенадцатый по счету — родной дом Андрея.

Ему стало вдруг душно от волнения. Он сел на камень, расстегнул воротничок, сдавивший шею. Винтовку он поставил рядом, прислонив к камню, но так, чтобы чувствовать ногой. Но все равно не мог успокоиться, сердце колотилось как шальное.

Тетка Поля бы сказала: «Весенние штучки». Когда по весне начинается сердцебиение, когда кружится голова, тетка любила повторять: «Весенние штучки». После смерти матери Андрей воспитывался у тетки, отца он не помнил, знал только, что был его отец летчиком и разбился на самолете в тридцать втором году. В доме у них висела фотография, где был снят отец, молодой еще парень, в кожаной куртке, в шлеме с поднятыми летными очками.

Как из-под земли вынырнул патруль. Андрей вскочил, подхватив рукой винтовку, другой в это время пытался застегнуть пуговицу на гимнастерке. Из-за этого промедлил с приветствием. Лейтенант с солдатом быстро подошли и потребовали документы. Лейтенант тщательно и, как показалось Андрею, подозрительно изучал бумажку, в то время как солдат, рыжеволосый, конопатый, с веселой острой мордочкой, спросил негромко:

— Табачком не отоваришь?

Андрей молча вытащил пачку «Беломора», так щедро отданную Гандзюком.

Рыжий уважительно, двумя пальцами, взял папироску, достал самодельную зажигалку в виде снарядика и с первого же движения зажег пламя. Андрей закуривать не стал, он и не курил в общем. Папиросы нужны были на случай встречи с кем-нибудь из дружков, так, для шика.

Между тем лейтенант, сухонький, неопределенного возраста, похожий скорее на бухгалтера, чем на военного, так и эдак вертел документ, глядя то на него, то на Андрея. Вдруг спросил:

— Из эшелона, значит?

— Прямо из эшелона? Вот здорово-то! — следом повторил рыжий и сильно задохнулся дымом.

Почему здорово, Андрей не понял, но кивнул.

— Кто посылал? — спросил лейтенант, и Андрею показалось, что он может сейчас забрать документы и все на этом кончится.

— Комбат, — отвечал Андрей.

Действительно, с лейтенантом Сергеевым сходили в командирский вагон и лейтенант просил у комбата за Андрея Долгушина, объясняя, что солдат из этого города и рядом его дом, в то время как они простоят неизвестно сколько.

Комбат был человек в годах, с редкой сединой. Он постоянно откашливался, закрываясь ладонью. Говорили, что он поморозил легкие в белофинскую кампанию. Спросил хрипловато:

— А город ты знаешь?

Как же Андрею не знать своего города! Здесь родился, бегал по улицам, ходил в кино и на пруд, здесь пошел учиться. Не в ту красивую большую каменную школу, что была, кстати, рядом с домом, а почему-то в другую, двухэтажную, деревянную, на другом конце города. Не просто знал, город был как неписаная биография Андрея, каждый

кирпичик, камешек еще хранил его следы. Но об этом ли разговор! Спрошено ведь так, почти попутно.

Андрей и лейтенант Сергеев ждали. Не было в них никакой уверенности, даже малой надежды на успех в разговоре. Но все спокойнее на душе, если было спрошено, получен отказ и надеяться не на что.

Но комбат Егоренко не торопился отказывать. Спросил про город и задумался. Старый кадровый военный, переживший в тридцатые годы много тревог и переездов с семьей, с малыми детьми, порой от границы до границы, через весь Союз, порой и мимо родных уральских мест (он был родом из Миасса), он не мог не понимать, что чувствует молодой солдат, проезжая на фронт мимо дома. Может быть, последний раз проезжая. А солдат, хоть не скажет ничего, затаит в себе дальнюю неисполненную мечту и через всю войну будет тащить, как ненужный груз, как моральную обузу, как недобрый знак судьбы. Но кто сказал, что неисполнимо? Вот посыльного нужно в здешний штаб по поводу ускорения формирования. Часть-то неполная, и в Саратове было решено, что дополнят его новобранцы, которых в течение нескольких суток доставят из Петушков к эшелону. Доставить-то доставят, но вот они тут, а новобранцы придут только послезавтра, да их надо принять, разделить поротно, повзводно, поставить на довольствие. Обмундировать, вооружить. Это еще сутки.

Вроде бы все это не имело прямого отношения к Андрею, к его просьбе. Но и имело. Комбат Егоренко знал, что имело. А через несколько дней, когда тронется эшелон дальше, прямым ходом на фронт, поймет это и солдат, который сейчас перед ним. Если и не скажет, то подумает уж обязательно: вот, несколько дней рядышком с домом, а часа не хватило, чтобы навестить. Было, было так однажды с майором, тогда он не был еще майором, а они проезжали Миасс и застряли на вторых путях. Не пара километров, как тут, но тоже рядом, и мать-старуха еще жива была. А он стоял на шпалах, курил, глядел вдаль, но не рискнул попроситься. Теперь поздно жалеть. Но мать

он так и не увидел больше. И много раз вспоминал это, как стоял в нерешительности на шпалах, курил и все не мог пойти попроситься. Сейчас-то решился бы. Как этот солдат...

Майор Егоренко коротко посмотрел на него. Он уже знал, что скажет.

— Штаб известно где?

— Так точно, товарищ майор, — не сразу среагировал Андрей, уж очень обнадеживающе это прозвучало. И лейтенант Сергеев понял так и повеселел.

— Доставишь срочный пакет, — сказал майор обычным тоном, хотя по смыслу ни больше ни меньше повествовал он о вещах почти фантастических, таких, как встреча с родным домом. — Отнесешь пакет и можешь задержаться. — Он прикинул еще: — До следующего дня. До восемнадцати ноль-ноль. Достаточно?

— Конечно, товарищ майор!

— Все. Можете быть свободны.

И, глядя вслед солдату, не без легкой зависти подумал опять о своем доме, к которому вела такая дальняя теперь дорога.

Въедливый бухгалтер-лейтенант из патруля, как окрестил его про себя Андрей, документы не торопился возвращать, а все выпрашивал, чего-то добивался. Спросил, где пакет, когда снес и сделал ли отметку.

— Так точно, сдал, на обратной стороне отмечено, — отвечал Андрей, глядя на короткую щеточку усов, ужасно невоенную, на лице лейтенанта. — При оружии, как положено.

Тут и рыжий солдат кивнул одобрительно. Мол, так положено. И, обращаясь почему-то к нему, может, как более понимающему, Андрей добавил, что ему после пакета разрешено было зайти домой и пробыть там до следующего дня. До восемнадцати ноль-ноль. Это почти сутки. Сегодня полдня, да ночь, да завтра время... Это же столько, если подумать!

— Где будете проводить время, красноармеец... красноармеец Долгушин? — спросил вдруг лейтенант.

— Дома, — отвечал Андрей. — Я здесь недалеко живу. —
И указал рукой в сторону Панков.

Лейтенант посмотрел в указанном направлении, будто хотел проверить, там или не там находится дом Андрея. Вернул документ, добавил с угрозой:

— Запомните — не пить, по улицам не болтаться. Оружие... никому не доверять, держать при себе.

— Слушаюсь, — сказал Андрей.

— Отставание от части рассматривается как дезертирство.

— Так точно, — кивал Андрей.

Лейтенант еще раз осмотрел Андрея с ног до головы, будто искал, к чему бы еще прицепиться. Но козырнул и отошел. Рыжий солдатик попросил на дорожку папиросочку. Андрей протянул ему пачку:

— Возьми. Я, знаешь... бросил...

Тот удивился, но пачку взял. И косолапя побежал за своим командиром. Андрей посмотрел вслед. Только когда они скрылись, облегченно подумал: «Пронесло». Он повернулся, сделал несколько шагов в сторону дома, все ускоряя их, и вдруг побежал. Испугался, что кто-то сможет еще помешать ему дойти эти несколько шагов до дому.

6

Когда Андрей проходил по городу, ему казалось, что он обязательно встретит кого-нибудь из знакомых, из приятелей. Городок-то маленький, как можно не встретить.

Но попадались незнакомые, чужие лица. Отрешенность, вот что было в них.

Прошла мимо старушка, озабоченная отовариванием. Она держала в руках продуктовые карточки, что-то про себя подсчитывала. Инвалид на костылях вел на веревке козу. Два парня много моложе Андрея, в ватниках и сапогах, прошагали, оставив за собой запах машинного горелого масла. Проскочил солдат, попалось несколько женщин с лопатами, тоже в сапогах и телогрейках.

Впервые Андрей подумал: «Война пошуровала здесь». Кто в тылу, или на трудаботах, или на фронте, как он сам... Остались вовсе непригодные для фронта старики, инвалиды, подростки. Но и они воевали здесь по-своему, отрабатывали смены на заводе Ухтомского, ковали общую победу над врагом.

Если прикинуть, война шла целую вечность. И хоть каждый, от самого маленького человечка, знал, что победа будет за нами, но не мог не осознавать, что и до победы оставалась такая же вечность. Никому не известно, кто сможет все перенести и выжить. Не знал этого и Андрей, вдруг необычным образом посреди войны, посреди двух вечностей, вставший перед своим родным домом.

Дом показался немного чужим, при всех своих родных подробностях. Он как-то оголился, исчезли заборчик и кусты акации, прикрывавшие дряхлый фасад. Не было перилец у входа, видать, и они пошли на дрова. Эти перильца Андрей хорошо помнил: буровато-желтые, вылизанные дождем, отглаженные многими руками, они были крепкими, как слоновая кость. Андрей на них съезжал на животе.

Дверь в сенцы показалась ниже, хоть она была та самая дверь, а не другая, с железной щеколдой и пустой дыркой от бывшего когда-то, еще до Андреевой памяти, внутреннего замка. Он с силой толкнул эту дверь, и щеколда отозвалась стуком, а дверь из-за своей косости проскребла по полу, как по сердцу Андрея. Старый родной звук, он забыл о нем.

Теперь он встал перед другой дверью, обитой грубой мешковиной, с ленточками клеенки крест-накрест. С ходу дернул он за ручку, ему показалось, что закрыто изнутри. Тогда Андрей снял с себя винтовку и вещмешок, сложил у стенки на полу, рядом с ведрами воды. Поправил шинель, пилютку и после этого постучал. Сперва тихонько, а потом кулаком забарабанил изо всех сил.

Никто не открывал ему.

Ударив напоследок ладонью с какой-то отчаянностью, он повернулся и вышел на крыльцо. Постоял в растерян-

ности и сел, не находя в себе никаких мыслей. Он мог предполагать и думать разное, когда он торопился сюда, но одно он не представлял и не держал в голове: что дом будет закрытым.

Он сидел и думал, что жалко, он не увидел тетку Полю. Сколько Андрей помнил себя, тетка не имела своей семьи, а всегда жила у них, занимая маленькую комнатку возле кухни.

Когда умерла мать Андрея, тетка поплакалась соседям на неустроенную свою жизнь и отвела его на другой конец Люберец в ремесленное училище. И хоть пришли они с опозданием, осенью, но Андрея приняли, и он покинул свой дом без сожаления... К тетке он был равнодушен. Кормили их не жирно, а тетка работала не-вдалеке на заводской фабрике-кухне, но Андрей ни разу не воспользовался случаем, чтобы зайти и бесплатно пообедать.

Это было давно, очень давно, до войны. Все изменилось с тех пор. Изменился и сам Андрей, повзрослел, стал мягче. Война хоть и была жестокая, но учила людей доброте. Андрей знал, что ему очень хотелось посидеть с теткой за чашкой чая, расспросить об отце и особенно о матери, которую он начал забывать.

Именно сейчас, на пороге дома, со всей очевидностью он понял так ясно, яснее некуда, что жила тетка и только поэтому уже было хорошо. Родная кровь, другой не сыскать на целом свете.

Пустой дом не казался своим домом, он был как реликвия, как фотография прошлого. Вроде музея детства.

Андрей поднялся, заглянул в окошко. В полумраке помещения трудно что-нибудь разобрать. Стекла были грязные, а между рамами лежала пожелтевшая вата, наверное, она лежала с довоенной поры.

Андрей вдруг вздрогнул: прямо у его лица за стеклом пробежала большая мышь. Хоть он не мог чувствовать, но показалось, что в нос шибануло тошнотворным мышиным запахом.

За его спиной кашлянули. Он обернулся, так, машинально, на дорожке стояла старая женщина в валенках и шубе, придерживая воротник рукой.

— Вы кого-то ищете? — спросила она простуженным голосом, срывающимся на шепот.

Андрей, не поворачиваясь, сказал:

— Нет, не ищу. Я домой пришел.

Это прозвучало странно. Но он сказал именно так: «Я домой пришел».

Женщина продолжала смотреть на него, не двигаясь и не мигая. Андрею стало не по себе от ее неподвижного, неживого взгляда. Заметила ли она что-то в его лице или просто пришла в себя, но ровно произнесла:

— Значит, вы Андрей? Как же я вас не узнала? Но вы выросли... Ну, конечно, вы были мальчиком, а стали мужчиной.

Женщина не удивлялась, она просто вспоминала вслух. Ей, наверное, было безразлично, что он-то ее не помнил. Впрочем, она сказала:

— Вы меня забыли, и немудрено. Столько лет... И столько лет войны. Но я вас помню и маму вашу помню. Меня зовут Марина Алексеевна. Дети меня называли тетя Маня.

Теперь, когда она произнесла это, в памяти Андрея прорезался образ женщины, молодой, быстрой, смешливой, которая приходила к матери, что-то колдовала с ней на швейной машинке. Иногда мать разрешала Андрею вертеть ручку.

Андрей вспомнил, что у этой женщины была девочка Оля, крохотное существо с кружевным воротничком и голубым бантом. Однажды Олю привели в гости, и все шутили, называя их женихом с невестой. Андрей тогда изо всех сил невзлюбил девочку.

Вот что он сейчас вспомнил, удивляясь своей памяти. Никогда он об этом не думал и не догадывался, что это возможно. Война как ударом ножа поделила воспоминания на те, что были существенны для дальнейшей жизни, ко-

торые помогали жить, и на те, что ничего уже не значили, как бы ни казались прежде велики.

Женщина все понимала, как Андрей. Она произнесла:

— Да, война, война. Многое переменилось. Но ведь ваши здесь не живут, вы не знали? Пелагея Сергеевна эвакуировалась на Урал... Или за Урал, я уж точно не помню. Она уехала вместе с заводом.

— Уехала, — сказал Андрей и замолчал. О чем же теперь говорить, если эта тетя Маня одним махом отняла отдаленную надежду на встречу с теткой в родном доме.

Без интонаций, без интереса он спросил, кто же сейчас живет в их доме. Ведь кто-то живет?

— Конечно, — отозвалась женщина. — У вас поселили начальника гаража, он сам из Литвы. Но вещи ваши стоят, хоть, правда, я давно не была... Но думаю, что вещи целы, они вам принадлежат.

Андрей стоял молча, и тетя Маня повторила:

— Я говорю, что сейчас многих вселяют в чужие дома, а потом возвращать будут. Вы-то, простите, надолго?

— Не знаю, — произнес Андрей. Сейчас он действительно ничего уже не знал. Он добавил: — Да нет, ненадолго. Проездом.

Тетя Маня кивнула, хоть ничего, наверное, не поняла.

— Можете зайти ко мне, я через два дома живу. Оленьку мою помните?

— Да, — сказал Андрей.

— На фронте. Как все. А у меня снимают площадь военные, муж с женой. Заходите, Андрюша.

Последнее: «Заходите, Андрюша» — она произнесла будто жалея его. Повернулась и тихо пошла, с хрустом приминая старую траву своими валенками. Андрей остался стоять. Полез в карман за папиросами, но вспомнил, что отдал их рыжему солдату, и пожалел. Не мешало бы сейчас закурить.

Он прислонился к стене дома. Чужого теперь дома. Бездумно глядел перед собой, чувствуя только пустоту и

холод. Медленно дошел он до крыльца, чужого крыльца, взошел по чужим ступенькам и вошел в чужие сенцы. Взял мешок и оружие и, так держа их в обеих руках, пошел прочь по обочине Рязанского шоссе. Шел, все ускоряя шаг, будто боялся, что его могут окликнуть и спросить, а кто он такой и что он делал в этом доме.

7

Андрей возвращался в часть. Теперь он не только понимал, а болезненно чувствовал, что его родной город изменился. Не просто изменился, он стал похожим на все другие города, как похож на солдата солдат. Военный быт, недавняя близость фронта, ощущение пережитой опасности — все это наложило на облик города свой суровый отпечаток. Но изменились и люди, их лица, их походка. Не было просто гуляющих, торопились на смену, со смены, в магазин или по служебным делам.

Многие встречные тащили в руках или под мышкой дровину, доску или прямо в авоське кусок торфа.

Счастье, что кончилась очередная военная зима и можно вздохнуть свободнее. Но еще холодны апрельские ночи, и нужно подтапливать печку, готовить пищу, да и оставалась забота о будущей зиме. Она хоть и была за горами и до нее еще требовалось дожить, но по возможности сейчас надо было запастись, собирать по крохам будущее тепло. Холод съедал все живое в человеке, сковывал его душу. Огонь же приносил облегчение, надежду. А как без надежды возможно жить и приближать победу над проклятым врагом?

Андрей подходил к станции, посмотрел на часы. У него были ручные часы, толстые и большие, марки Кировского завода. Ему вручили их как драгоценную награду при выпуске из ремесленного училища. Он был лучший ученик.

Это произошло незадолго до начала войны.

Андрей понял, что не использовал и трех часов из отпущенных ему двадцати четырех. Он уже мог видеть

свой эшелон, солдат, сидящих перед вагонами. Живо представил лейтенанта Сергеева, сочувственные лица дружков и старшего сержанта Потапенко, который будет рад его возвращению больше остальных, готовый принять Андрея в свои железные объятия. Но не сержантской хватки боялся Андрей Долгушин. Боялся он расспросов, которые неминуемо будут, а еще больше не хотел сочувствия.

В нерешительности стоял он посреди полотна железной дороги. Неизвестно, сколько бы он колебался, но вдруг засвистела электричка, и он отпрянул назад. С визгом, грохоча колесами, пронесли мимо Андрея вагоны, подняв кругом пыль. Он не испугался этого неожиданного, невесть откуда взявшегося поезда, а испугался другого: что едва-едва не вернулся обратно. Война есть война, от нее ничего не ждешь приятного. Завтра их отправят дальше. И будет он казнить себя за эти неиспользованные двадцать часов гражданской жизни на родине, которые подарила ему судьба. Что скажут другие — ладно, сам себе будешь говорить: «Вот, Андрей, дурище, был у себя, и ничего не узнал, и ничего не смог увидеть».

Андрей сел на камень и стал переобуваться, уже понимая, как он будет действовать дальше. Он снял сапоги, перемотал портянки, хотел шинель завернуть в скатку, но передумал. Время клонилось к вечеру. Забросил за спину мешок, винтовку повесил так, чтобы было удобно. Теперь он направился в сторону поселка Калинина.

Снова миновал рынок, без любопытства заглянул, чем тут люди промышляют. Какие-то тряпки, консервы, часы, зажигалки. Вынырнул из толпы почти перед баней, которую хорошо помнил. Сюда он ходил с матерью еще маленьким, в женское отделение, а мать таскала с собой тазик с бельем.

От бани Андрей свернул налево и мимо родильного дома (как говорили, тут он родился), мимо банка на углу, пересек центральный Октябрьский проспект и обогнул здание горсовета, высокое, приметное в городе здание с колоннами и красным флагом наверху. Андрей никог-

да не бывал внутри, но гордился, что в их городе такой красивый горсовет. А за горсоветом уже видать училище, белый многоэтажный дом, сложенный из силикатного кирпича.

Здесь, в ремесленном, в родной ремеслухе, освоил он профессию токаря. Здесь жил целых два года. Практиковались они на заводе Ухтомского, в баню и в кино их водили строем по центральной улице. И когда они проходили в своих шинелях и форменных фуражках с блестящими буквами «РУ», ребятишки вслед кричали: «Рубли! Рубли!»

Что ж, на втором году они зарабатывали первые трудовые свои рубли. Гордились и на это подпитывались, добавляя свой пай к небогатой столовской пище.

Теперь Андрей стоял перед дверью с плакатом наверху: «Мы куем победу над врагом!» Он вдруг решил не заходить, испугавшись, что и тут все переменялось, придется снова переживать знакомое чувство отчуждения и пустоты.

Медленно прошел вдоль окон, опытным ухом уловив ребячьи голоса. У того вон углового окна стояла его койка. Первое время после выпуска, когда жил в заводском общежитии, он часто приходил сюда, никак не мог отвыкнуть от своего училища.

Андрей вздохнул и пошел по направлению к поселку Калинина, где пробыл недолго. Через час он сидел в домике тети Мани, в теплой уютной комнате, с железной печуркой в углу. От этой печурки под потолок тянулась длинная труба.

Тетя Маня обрывком бумаги ловко разожгла в печке огонь, и в трубе загудело, заиграли блики на полу, а печка и нижняя часть трубы стали быстро накаляться. Тетя Маня поставила на горячее железо огромный зеленый эмалированный чайник и ушла в прихожую за картошкой. Андрей смотрел на чайник, на люстру со стеклянными трубочками, свисающими как сосульки, на толстый комод с зеркалом и двумя вазочками по краям, и вспоминал, что это все он когда-то видел или знал. Это были вещи из его

довоенных воспоминаний, из почти забытой жизни. Как приятно их встретить! Пожалуй, только железная печка была точной приметой военного времени.

Тетя Маня вернулась с картошкой, объясняя на ходу, что прошлой осенью она накопала целых три мешка, но сейчас все кончилось и осталось немного на посадку. Но тут по радио говорили, что сажать, оказывается, можно не целыми клубнями, а срезам или глазками, остальное же употреблять в пищу.

— Ко времени объяснили, — произнесла тетя Маня с улыбкой. — Я уж на жареную воду перешла.

— На что? — спросил Андрей.

— Жареную воду, я так чай называю.

Тетя Маня сидела перед печкой, но все равно мерзла и куталась в черный большой платок. Было видно, как она худа.

Тут Андрей вспомнил про свой запас, полез в мешок и поставил на стол тушенку, хлеб и сахар. Все, что у него было. Но тетя Маня сразу замахала руками, требуя, чтобы он забрал обратно и немедленно, иначе она рассердится. Она и вправду сердилась, а Андрей уже не знал, как удобнее теперь забрать, потому что и забирать тоже было неудобно.

— Останется, я возьму, — произнес он стесненно.

Тетя Маня пристыдила его:

— Нельзя, молодой человек, ходить в гости со своими продуктами. Я понимаю, сейчас война, многие так поступают. Но в нашем доме этого не водится. Как бы скучно мы ни жили, но мы ставим на стол то, что у нас есть. А эти штуки... чтобы с глаз долой.

— Ладно, — сказал Андрей. — Потом заберу.

Тетя Маня смягчила тон и стала спрашивать, что он носит в своем мешке, есть ли у него книги.

— Одна книга, — отвечал Андрей.

— Какая?

— Ну... в общем-то она детская...

— Как называется?

Андрей, смущаясь, сказал, что называется она «Волшебные сказки». Тетя Маня охнула от неожиданности и засмеялась.

— Вот как выходит — красноармеец, война... А с собой носит детскую сказку.

— Да, — улыбаясь, кивнул Андрей и почему-то добавил: — У нас ее все бойцы во взводе читают.

— Кто же не любит сказок! — произнесла тетя Маня. — Чем хуже человеку, тем больше он любит сказку. Да в вас еще и детства много. Ну и еще что в мешке? Какие-нибудь носки, белье?

— Портянки, — сказал Андрей.

— А фотографии? Ведь фотографии-то должны быть?

— Нет их у меня, откуда...

Тетя Маня посмотрела на Андрея задумчиво, полезла в комод, в нижний ящик, извлекла старый альбом в голубом плюше. Листы в альбоме были серовато-глянцевые, с овальными щелями в три ряда: для карточек разных размеров. Тетя Маня открыла первую страницу и показала своих родителей и портрет бабки. А потом и себя, молодую, такую не похожую на сегодняшнюю тетю Маню, что Андрей без подсказки не догадался бы. Далее шли фотографии родных и знакомых и дочка Ольги.

Ольгу бы он тоже не узнал. Он помнил ее маленькой, с бантом, помнил, как ей кричали: «О-ля! На музыку-у!» Здесь, на фотографии, стояла девушка с белой косой, в руках цветы. Она откинула голову, не в силах сдержать свой смех.

Андрей задержался и почему-то долго смотрел на нее, и тетя Маня смотрела.

— Это в день рождения... Сколько же ей тут? Пятнадцать? Ну да, перед войной, пятнадцать лет. Прибегает она, веселая, хохочет, что-то ее развеселило. У меня в это время сосед был Петр Николаевич, он фотограф-любитель, жил напротив нас. Он говорит: «Станьте-ка, Оленька, я вас такой увековечу». Любил он ее сильно, а своей семьи у него не было. Ну, он свой «Кодак» развернул гармошкой и снял

ее. А потом приносит карточки и рассказывает, что, пока снимок делал, все смотрел и улыбался...

— А сейчас? — спросил Андрей. — Сейчас она где?

— Как где? — тоже спросила тетя Маня. — Как все, на фронте. Она у меня, Андрюша, фронтовая артистка.

— Поет? Играет? — спросил Андрей и снова посмотрел на фотографию. Действительно, веселая фотография.

— Оленька играет на аккордеоне, — ответила тетя Маня и провела ладонью по фотографии. — Ей бойцы трофейный аккордеон подарили, «Хоннер» называется. Он легкий, ей удобно играть. А то ведь концертов много, а руки женские, попробуйте весь день продержаться инструмент...

— Я помню, как ее учили музыке, — сказал Андрей.

Тетя Маня взяла нож и ткнула острием в картошку, не сварилась ли. Отставила чайник и подложила в печурку несколько палок.

— Их там на бомбовозе катают, — сказала, разгибаясь. — Прямо на крыле самолета выступают. Где тяжелые бои, туда их и везут. Вот последнее письмо она с Кавказа написала. Городов она не называет, пишет, что кругом горы и горы. Нетрудно догадаться.

— Нас, наверное, на юг повезут, — вставил Андрей.

— Ох, война везде одна, — молвила тетя Маня. — Тут в Москве мы тоже пережили. Вот наш Петр Николаевич, фотограф-то, он ушел как с ополченцами и погиб, и могила неизвестно где... А он винтовку-то не держал в руках никогда, он садовод-мичуринец, у него вишни и яблоки были хороши. А сейчас дом забит, сад пропал и хозяина нет. Вот какая война, Андрюшенька.

8

Картошка поспела, а квартирантов все не было. Тетя Маня взглядывала на часы и произносила: «Да они сейчас будут подойдут». Когда перестали ждать и решили садиться ужинать, в сенцах затопали и в дверях появился мужчина в

военной форме капитана. Андрей встал, поприветствовал. Прихрамывая, капитан подошел к Андрею вплотную, рассматривая его, а тетя Маня сказала:

— Олег Иваныч, знакомьтесь, наш сосед Андрюша, проездом на фронт...

Мужчина подал руку:

— Да садитесь, чего вы...

В это время на пороге встала женщина, и тетя Маня также представила ее:

— Это наша Муся... Уж мы заждались, хотели без вас ужинать.

Муся не подошла к Андрею, а кивнула издали и стала раздеваться.

— Муська! — крикнул Олег Иванович, тяжело садясь на стул. — Помоги Марине Алексеевне! Достань продукты, и вообще...

— Сейчас, — отвечала она глухо. В минуту у всех на глазах привела себя в порядок, подобрала волосы и кинулась по делам.

Женщины суетились, ставили на стол тарелки, а Олег Иванович отдыхал, откинувшись на стуле и поглядывая на Андрея. Лицо у него было широкое, асимметричное, небольшие рыжие усы.

— Так вот, Андрей, — произнес он, будто знал его давно и продолжал прерванный накануне разговор. — Боец, солдат у нас самый первый гость. Значит, на фронт?

— На фронт, — отвечал Андрей.

— Вишь как, я уже отвоевался. Интендантом служу. Ногу оставил под Великими Луками, с тех пор по тылам и служу, и Муська со мной служит.

Андрей кивал, не зная как отвечать и вообще как вести себя с капитаном. Он вроде и был старше по чину, но вел себя по-домашнему, как штатский человек.

— Небось и пороха не нюхал, — спросил Олег Иванович.

— Пока нет, товарищ капитан.

— Брось ты... Капитан... Мы тут дома. — Он крикнул жене: — Рюмки, рюмки не забудь!

Тетя Маня принесла картошку, а Муся подала американскую колбасу в овальной консервной банке и хлеб.

Теперь Андрей увидел близко белые ее руки, худые плечи, худую, тонкую, как у девочки, шею и бледноватое лицо. С удивлением рассматривал он женщину, она почувствовала его взгляд, быстро посмотрела и отвернулась. Олег Иванович принес из другой комнаты бутылку водки и громко поставил посреди стола.

— Встреча да провожание, одна бутылка на два таких события — не так много.

Он стал разливать водку по рюмкам. Это были даже не рюмки, а высокие тонкостенные бокалы, видать, довоенной поры. Но остановился, прислушиваясь, и вдруг крикнул:

— Тише! Последние известия передают.

Черная тарелка-репродуктор, которую Андрей поперву и не заметил на стене, зашуршала, затрещала, и сквозь этот треск пробился, как издали, знакомый голос диктора: «От Советского информбюро...»

Олег Иванович так и замер с бутылкой, выжидающе глядя на радио. И тетя Маня подошла, встала под самый круг, чтобы лучше слышать. И быстрая Муся остановилась, тихо, на цыпочках приблизилась и встала за спиной у тети Мани. Все, что было живого в доме, даже огонь в печурке, казалось, стихло, насторожилось и тревожно ждало.

«В течение последних суток, — говорил ровно диктор, — по всему фронту шли бои местного значения. В результате боев было истреблено и захвачено...»

— Упорные, — произнесла тетя Маня, не поднимая головы.

— Местного значения, — вслед за ней сказал Олег Иванович. — Значит, все спокойно. Спокойно, Марина Алексеевна.

— Конечно, спокойно, — добавила Муся.

— О господи, как может быть там совсем спокойно? На фронте-то? — спросила тетя Маня.

— Ну, не совсем, а относительно...

— И почему же так много «истреблено» и «захвачено», если спокойно?

Олег Иванович воскликнул:

— Но ведь хорошо, Марина Алексеевна! Значит, они сдаются, значит, потеряли веру в свою победу. А мы, наоборот, верим как никогда. Вот за это и выпьем... — Не вставая, Олег Иванович сказал: — За победу! — и выпил. Потом снова себе налил, поднялся, чокнулся с Андреем, глядя на него. Все встали, и Андрей увидел общее к себе внимание, глаза, устремленные на него, как будто грядущая победа сейчас только от него и зависела.

Тетя Маня пригубила и тут же вытерла губы. Муся выпила легко, как воду, и с любопытством уставилась на Андрея, ей было интересно, как он станет пить. А он чувствовал ее испытующий взгляд, медлил, смущаясь. Потом разом опрокинул в себя горячую жидкость, задохнулся, не смог дышать. Быстро схватил картофелину, но и она оказалась горячей, он поперхнулся.

Муся громко засмеялась, заблестели белые ровные зубы, а тетя Маня весело стукнула Андрея по спине, сказала с укоризной:

— Ишь, ядовитая, не пошла!

— Пойдет! Потечет, как по маслу, — добродушно успокоил капитан Олег Иванович и снова налил себе и Андрею. Подумал и немного добавил Мусе.

Андрей опомниться не успел, как опять выпили, и оно решительно сейчас пошло. Только в животе изнутри толкнуло, зажгло и теплом понеслось по жилам. Он удивленно посмотрел на рюмку и вокруг себя. Разговор зашел обычный, как и должен быть, о войне, о Гитлередушегубце, который живет небось в бункере под землей, закопался поглубже и дрожит, знает, что ждет его за все людские муки. Вспоминали, кто где воюет, кто погиб, а кто пишет с фронта письма и какие в них слова.

Тетя Маня так и не одолела первой рюмки, но еще сильней побледнела, почти пожелтела, по лицу пошли красные пятна. Она принесла письма от Оли и стала читать их вслух. Девушка писала, что сейчас у них затишье

и давно такого затишья не было. Они отдыхают, готовятся, скоро будут новые и, наверное, ужасно сильные бои. «Мамочка, не волнуйся, у меня все хорошо. Все хорошо». Эти слова она повторяла несколько раз. А может быть, так прочитала тетя Маня.

Капитан Олег Иванович поднял тост за героических воинов Красной армии, за Олю, комсомолку, которую он не видел, но представляет как замечательную и отважную девушку, за Андрея, хорошего бойца... Снова все встали, потому что говорилось очень серьезно, почти торжественно. А тетя Маня вдруг запела хрипловато: «Выпьем за Родину нашу привольную, выпьем за доблестный труд!»

Ей заклопали, а она махом выпила то, что оставалось в рюмке, и заплакала почему-то. Так плачут от хорошей радости, что у нее в доме такие собрались славные люди, героические воины, как сказал капитан, и она надеется дожить до великого дня победы, когда и на нашей улице будет, как предсказано, праздник. Вот тогда и помереть не грешно, а сейчас главный приказ — это выжить и победить.

— После победы тем более жить надо, — негромко произнес Андрей.

Тетя Маня благодарно посмотрела на него, слезы ее быстро прошли. Она придвинула стул к Андрею и стала рассказывать, как она работает учительницей и они ходили холодной осенью в позапрошлом году рыть противотанковые рвы... «Ох, Андрюша, что наша работа, — мы уставали так, что падали от усталости, но еще больше мы боялись, что не остановим врага...»

Неожиданно, но какая приятная была эта неожиданность, зашипел за спиной патефон и заиграла музыка, разбитной веселый мотивчик, знакомый с давних пор. Тетя Маня закрыла глаза и стала подпевать. А Муся схватила руку сидящего Андрея и, смеясь, потащила его на середину комнаты.

Андрей встал, оглянувшись, никто не обращал на них внимания. Тетя Маня сидела, покачиваясь и прикрыв

ладонью глаза, а капитан рылся в пластинках, что-то искал.

Андрей как можно осторожнее, стараясь не приближаться, взял Мусины руки, сделал несколько шагов, сразу замечая, как быстро пошли кружиться вокруг стены. Все понеслось: тихо сидящая тетя Маня и капитан Олег Иванович, накручивающий патефон как шарманку и пристукивающий в такт деревянной ногой: «Саша, ты помнишь наши встречи, в приморском парке на берегу...»

Издали, как из небытия, приходили к Андрею знакомые слова, их тайное тайных, повествующее о чем-то смутном, необъяснимо волшебном, которого не было в жизни Андрея, как не успело быть настоящих танцев, настоящих девушек и моря с приморским парком на берегу. Но рядом была Муся, тонкая, гибкая, странная женщина с худыми плечами и детской шеей. Он не мог не чувствовать ее, как сильней и сильней кружилась, заставляя крепче держать ее плечи. В какой-то момент она приникла к нему вся, и было это ужасно, как землетрясение, как удар от воздушной волны. Одно мгновение, но он почувствовал и запомнил все: твердую грудь, горячий живот и будто прилипающие колени... И хоть он тут же отстранился, напрягаясь и желая соблюсти пространство между ними, но Муся увлекала его по комнате, заставляя быть ближе и ближе. Он увидел вдруг ее глаза, широко открытые, огромные, отчаянные, и, отпустив руки, споткнулся... Встал посреди комнаты, пытаясь что-то сообразить, прийти в себя и опомниться. Не удержался, вцепился в спинку стула.

Услышал, как капитан Олег Иванович орал издали:

— Муська, дьявол! Что ты делаешь с парнем! Пяди — мозги закружила!

Тут Андрей попытался сесть, но не вышло, как он думал, на стул, а почему-то мимо стула, и, падая, он слышал, удивленный, как задумчиво, тепло обращалась к нему женщина с пластинки: «Саша, ты помнишь легкий вечер, каштан в цвету...» Захотелось подпевать, но к горлу под-

ступила сильная тошнота. Он поднялся и пошел к двери, вывалился на крыльцо. Долго, бессмысленно смотрел на темное небо, желая что-то вспомнить. Но все продолжало кружиться, и ласковая женщина с пластинки орала ему на уши, и было ему плохо.

9

Ему снилось короткое, отрывочное, но спокойное. Ни разу во сне он не понервничал, не напрягся. Но запомнил он только последнее, что привиделось перед самым пробуждением. Ехали в эшелоне, он был со своим взводом, но и с тетей Маней, с капитаном Олегом Ивановичем и с Мусей... Сидели на краю вагона, свесив ноги, их приятно обдувало ветерком. А день был сверкающий, небо да солнце да какие-то поля, Андрей не видел, что росло на этих быстро мелькающих полях, но оттого что глядеть на них было приятно, а все казались великодушно настроенными, Андрей знал достоверно, что едут не на фронт. Да никакого фронта и нет.

Тут мягко тронули Андрея за плечо, и он сгоряча решил, что боец Воробьев опустил сзади руку в знак молчаливой солдатской дружбы. Но уже в следующее мгновение ясно ощутил, что это не была рука Воробьева, легкая, непривычная, перебивающая весь его складный сон.

Андрей напрягся, желая вспомнить нечто прояснившее бы картину. Все было так, как было: состав, край вагона и земля, идущая крутом перед глазами, но почему-то была и эта рука, касающаяся его шеи, подбородка и щеки.

Он проснулся мгновенно. Увидел чужие обои перед глазами и сразу — эту руку, белую, узкую, с длинными пальцами. Он следил за ней глазами, не шевелясь, будто опасаясь ее спугнуть, как прекрасную бабочку, настороженно и внимательно, но уже явно волнуясь, сам не зная отчего. Это не было мужское, а скорее детское чувство счастливого пробуждения и радостного предчувствия необычного, не

похожего ни на что утра. С таким ощущением и с таким же выражением лица он повернулся, увидел Мусю, сидящую у его постели. Как она смотрела на него!

— Что? — спросил он, голос его прозвучал хрипло. Сейчас только он вспомнил вчерашний вечер и танец: немыслимое кружение предметов. У него вдруг снова поплыло перед глазами, и он закрыл их, представив, как он стоял, мучаясь, пытаясь стошнить на землю... Как раздался по крыльцу деревянный стук капитана Олега Ивановича, вышла и тетя Маня. Взяли под руки, отвели к постели и стали снимать гимнастерку, сапоги... А он уже повалился в мягкое, беспмятно спал.

Ему сейчас не хотелось смотреть на Мусю; он вылеживал с закрытыми глазами, притворяясь спящим. Было за вчерашнее стыдно.

— Просну-улся, — произнесла Муся шепотом и враспяжку. Она произнесла так, как будто знала его всю жизнь, и всю жизнь, каждое утро, встречала его пробуждение, и радовалась, и немного, совсем немного, упрекала его в долгом сне. Она протянула руку и снова прикоснулась к его щеке, а он вдруг отстранился, чего-то испугавшись.

Она не могла не заметить этого движения, но не убрала руки, ласково обволакивая словами:

— Проснулся, милый, как хорошо ты спал. Тихо спал, как ангел все равно.

Теперь Андрей вспомнил и остальное: пластинку, танец и прикосновение этой женщины, ее грудь, живот. Стало ему больно и горячо. Все тело вдруг заломило, Андрей даже глаза закрыл, переживая это никогда не испытанное сильное мужское чувство. Оно было мучительным и сладким и стыдным одновременно. И Муся это видела, видела. Но бесстыдно смотрела и руками, от которых теперь бросало в дрожь, перебирала по его телу, соскальзывая на грудь и на живот, каждым своим движением принося новую, все так же неиспытанную блаженную муку. Текли ее слова, будто ничего не значащие, но было в них то же, что и в руках. Никогда не слышанные, оттого неправдо-

подобные, эти слова возбуждали его еще больше рук. Они были стыдней, потому что произносились, глядя прямо на него, откровенно, ласково, жадно.

— Милый, — произнесла она шепотом и нараспев. — Милый, молодой мой... Такой молодой, хороший мой мальчик...

Так, не отпуская руки, она прилегла рядом, на то одеяло, под которым лежал Андрей. Он повернулся, скидывая одеяло, словно связывавшие его путы, сбрасывая его на пол. Судорожно и неумело он обхватил ее руками, сжимая изо всех сил, сотрясаясь и всхлипывая. Плохо понимая, что с ним происходит, он обнимал, мучил ее сильными руками и больше ничего не умел сделать. А она вовсе не старалась помочь ему, только целовала его куда попадетсЯ, в грудь, в плечо. Еще эти странные, будто рабские, поцелуи доводили его до безумия.

Она поняла и сжалилась, и стало хорошо. Он ничего не слышал, ничего уже не знал. Лежал как оглохший, будто не понимая, что произошло.

Некоторое время они лежали вместе. Он молчал, пришибленно и недоуменно. Она о чем-то думала, глядя на него. Умиротворенная и чужая, совершенно чужая, встала легко и уже сверху посмотрела на него с любопытством. Она не пыталась сейчас касаться его руками, зная, наверное, что будет ему не просто неприятно, а ужасно будет и противно.

— Ми-илый... Какой ты милый! — произнесла, неожиданно наклонилась, поцеловала его в губы. Он вздрогнул.

То, что он видел стоящую перед собой обнаженную женщину так близко, так подробно, поразило Андрея не меньше, чем то, что между ними произошло. Значит, возможно так, что они только соприкоснулись, но уже нет ничего, что бы их разделяло, нет никаких условностей, а все уже открыто и все доверено друг другу? Женщина стоит перед ним, какую невозможно было представить раньше, и он, стыдясь своего взгляда, смотрит на ее остренькие груди, на чуть припухший

узкий живот и белую, какую-то особенно нежную кожу с пупырышками от холода на ее коленях. Колени были на уровне его глаз.

Он отвернулся и вдруг почувствовал, неожиданно для себя, что он снова желает эту женщину, вот сейчас, сию минуту, так же сильно, нет, еще сильнее, чем в первый раз.

А она, уже озабоченная, занятая собой, надевала странные, никогда не виданные им одежды и лифчик, попросила, поворачиваясь к нему спиной и приседая: «Вот здесь застегни. Да нет, не так. Ладно, я сама».

Побежала что-то греть, собирала быстро на стол. Он лежал, прослеживая каждое ее движение, и то надежда, то радость и почти восхищение попеременно возникали и гасли в нем. Он уже знал, что она к нему подойдет, обязательно подойдет, и караулил эту минуту. Она будто услышала его, оглянувшись, все бросив, подошла:

— Милый... Милый, уже пора. Вставай, дружок. Вставай, милый.

Он приподнялся, взяв ее за плечи, пригибая к себе. Но выходило как-то неудобно, потому что она наклонялась, но не хотела присесть или прилечь, а стояла наклонившись и пережидая его поцелуи. Потом легко освободилась от его рук, произнесла со вздохом:

— Все, милый, мне надо идти. Вставай, мы вместе завтракаем.

Через десять минут они сидели друг против друга, пили чай. Андрей будто следил исподтишка за ней и думал, думал. Странные мысли были у него. Стесненно произнес:

— А где... где сейчас товарищ капитан?

— Он выходит раньше меня, — сказала Муся, — Марина Алексеевна в школе преподает, разве ты не знал?

Андрей помотал головой и взялся двумя руками за горячий стакан, все наблюдая за Мусей, как она спокойно, с видимым удовольствием завтракает, иногда поглядывая на часы. «Вот так, — подумалось ему, — все так и будет. Словно ничего не произошло. А чем дальше, тем проще.

Сейчас она придет на работу, станет разговаривать с другими людьми, потом встретится с капитаном... Как это возможно?»

Он чуть ли не вслух, а может быть, вслух — он не уследил за собой — повторил несколько раз: «Как это возможно? Жить дальше, делая вид, что ничего не произошло?»

Муся вдруг отложила хлеб и, подперев ладонью щеку, глядя прямо в глаза Андрею, спросила:

— Я у тебя первая?

Он поперхнулся, закашлялся. Но и без того было видно, что он покраснел, совсем еще мальчишка.

— Переживаешь? — Она протянула руку, но Андрей отстранился, и вышло, что она погладила рукав. — Не надо, мильй, не переживай. Я не виновата перед Олегом. Он был контужен в белофинскую, так что он и не мужчина вовсе.

Это она сказала ровно, но глядела на Андрея, и было в ее взгляде то, чего не было в словах и даже в интонации, — страшная пустота и горечь. След давней трагедии, как дно высохшего родника.

Он неожиданно спросил:

— У тебя еще было?

— Как? — Она посмотрела на него широко открытыми глазами. — Как было?

— Другие... — он произнес, как подавился, едва-едва.

— Мужчины? Кроме мужа? Ты это хотел спросить?

Андрей кивнул. Ему было жалко ее. Она помолчала, кивнула. Потом вдруг зажмурилась, но еще прикрыла ладонью глаза.

— Как же я? Ведь живая. Может, я плохая, да уж точно, не хорошая. Тут книгу Ванды Василевской все читали, про немцев... А там русская девушка с фашистом жила. Ее тоже Муся... А я чуть не расплакалась. Все думала, неужели мое имя такое, что я нехорошая. Ведь муж и война. А я не умею себя держать. Совсем я не умею себя держать. Вот думаю, молодость, и все. Кончится война, а я старуха. Но что делать? Что делать?

У Андрея горло перехватило от жалости. Ноздри задергались, он почувствовал, как защемило в уголках глаз.

Сам не понимая, как вышло, он руку протянул и провел по волосам, ощутив, какие мягкие, ласковые у нее пряди. Никогда он не трогал женских волос. Наклоняясь к ней, стал целовать ее лицо и прикрывавшие его ладони, ощущал на губах теплые и странно соленые слезы. А она плакала и плакала. Наверное, его, Андрея, и не было в этих слезах. Плакала она о себе и для себя. Но вдруг перестала, взглянула на часы и засуетилась, начала одеваться.

— Ох, опаздываю. Сейчас строго. За двадцать минут судят.

Он смотрел на нее и снова поражался таким переходам в ее действиях, как и в ее чувствах. Старая мысль повторилась, что она придет на работу, будет жить среди других людей, рядом с мужем, и все станет так, как было до Андрея. А он... Он будто бы и не ее уже, ничей вообще. Она там, а он где-то в другом месте. Черт, как это возможно? Неужели это возможно? А если возможно, то почему? Почему?

Она подошла к зеркалу и стала краситься, пудриться, он отвернулся. Не хотелось смотреть, как она портит себя. Но вот она легко подошла к нему и уже не поцеловала, а только прислонилась к нему щекой.

— Ты сегодня будешь? Или — все?

— Не знаю, — отвечал он. Он вправду не знал, не думал об этом. Но даже если бы он имел возможность к ним снова прийти, как бы он смог прийти и встретиться с капитаном? Как с ним разговаривать станет, как посмотрит в глаза?

Но Андрей вдруг понял, что сейчас нельзя сказать правду, а нужно соврать. Может, впервые в жизни соврать, даже если она поймет, что это — вранье. Он не имел права лишать эту теперь уже близкую женщину надежды. Так странно ему было думать и называть ее про себя близкой женщиной. Он знал точно, что не забудет ее целую свою жизнь, как бы она, эта жизнь, ни сложилась. Да и вообще, с сегодняшнего дня все для него не могло быть, как прежде. Это их различало и разделяло. Она могла жить, как жила, а он уже не мог.

— Если не дождешься Марины Алексеевны, прикрой дверь на замок, он в сенях, — торопливо произнесла Муса, но уже шла к двери, и все в ее походке, в ее движениях было чужим. — Ключ положишь под половичок у входа. Ну, — она остановилась и мгновение, не больше, смотрела на него. — До свидания, милый.

— До свидания, — сказал он.

10

Андрей прошел город как по воздуху, ничто не коснулось его. Он и не глядел по сторонам, сосредоточившись на себе, на только что пережитом. За короткое время, меньше суток, он испытал приливы и отливы, находки и потери, все это не могло не потрясти его душу.

Он думал: «Отчего так устроено, что человек, встретив другого человека, не может его любить и встречаться. Ведь это так естественно — делать и поступать по своим чувствам, а не так, как велят условности». Он всю жизнь свою, короткую, но вовсе не легкую, учился жить по правде, этому его учили дома, в ремесленном училище, в армии... Но ведь если поступать по правде, то не капитан Олег Иванович, а он, Андрей, оказывался мужем той женщины. Значит, легче всего было бы сказать ей: «Давай поженимся, если ты меня любишь, если я тебе нравлюсь».

Тут Андрей остановился, будто налетел на невидимую стенку. Сейчас только он осознал, что никто не говорил ему о любви и никто не говорил, что он нравится. Не было этого. А что же тогда было? Любовь без любви? Вот уж неправда. Он любил, он знал это. Но, может, то, что ему стало понятным как любовь, как супружеское чувство, для нее вовсе не было таковым? А только как случайная встреча, как необходимая короткая связь, за которой не следует ничего?

Странные были мысли, что-то они разрушали внутри Андрея, низводили его с небес на землю. Словно бы он нес

сверкающее, как зеркало, а какая-то машина с хрустом наехала и давила, превращая нечто большое и прекрасное в грязное стекло...

Но хоть был он солдат, но еще молод, чтобы до конца поверить самому себе.

И Андрей постарался отмежеваться от оскорбительных, невозможных для него понятий, а думать иначе и лучше. Кто он, в конце концов? Проезжий солдат, который сегодня сядет в свой эшелон и уедет на фронт. Что он может предложить любимой женщине кроме своего чувства и долготерпеливого ожидания с фронта, треугольников с короткими сводками о себе да надежду на неопределенное будущее? В общем-то немного. Если еще учесть, что она старше его. Ее годы идут, уж это точно, а рядом тыловые мужчины, и офицерские пайки, и семья, какой бы она ни была.

Что значит их любовь в сопоставлении с тем, что преподносит им жизнь? Не это ли могла, но не сказала Муся в своей отчаянной реплике о молодости? Не сказала, но была права. Права, что думала так, а не иначе, и права, что не сказала, оберегая Андрея? Вот к чему он пришел в своих мыслях, затушевывая ту очевидность, которая ему так ясно представилась вначале.

Он смог почти убедить себя, но боль его не прошла. Он принял лекарства, но душа еще не излечилась, для этого надо было время.

Ему необходимо было двигаться, идти куда-то, чтобы в ходьбе, в каких-то сверхусилиях, заглушить самого себя.

Об эшелоне он не вспоминал. Эшелон был вчера и будет сегодня. В подпамяти солдата четко отмерялось отпущенное ему время, и он чувствовал, что его хватает. Другое дело, что между двумя эшелонами, вчерашним и сегодняшним, произошло столько иного, разного, несоизмерного со всей его еще маловоенной жизнью, что, казалось Андрею, он сам, как и вчерашний его эшелон, в который он вернется, все, все будет иным. Миновал он крошечный поселок и углубился в лесок, который показался

ему коротким, но между тем все тянулся, полого спускаясь вниз и переходя в плоское болотце.

Отчего-то раздражаясь против себя и против этого леса и этого болотца, Андрей тем не менее продолжал идти, желая сделать себе больней и этим заглушить внутреннюю боль, которая исподволь жгла и сжигала его, а могла испепелить и вовсе. Настолько очевидным становилось теперь и для него все, что произошло с Мусей.

С каким-то непонятным ожесточением ступал он в густую осоку, проваливаясь в черный торф, и уже видел, что вода вот-вот будет заливать за голенища, но мысли при этом были отрешенно-холодные, как про кого-то другого, дурацкий лес, дурацкое болото. Но так и надо. Промокни. Дурак такой...

Только когда правая нога вдруг погрузилась в темную пузырчатую жижу и не нашла дна, он с очевидной ясностью подумал: «Вот. Залез, называется, дурак такой. А все из-за своего характера».

Он попытался с ходу вытянуть ногу, но увяз еще больше, проклиная эту глупую лужу, которая взялась неведомо откуда в этом глупом лесу. Но даже сейчас, в неприятную минуту, он был подсознательно рад неожиданному приключению, потому что оно помогло снять ноющую занозу.

С недоумением оглянулся, пытаясь сообразить, как ухитрился он забраться сюда. Теперь он и болотце вспомнил, как же! Оно еще в недавнее время было старым, заброшенным карьером, где брали песок для посудной фабрики в незапамятные времена, а потом забросили, и ребяташки, не имея поблизости хорошей реки, в том числе и Андрей, любили сюда ходить купаться. Говорили, что глубина тут пятьдесят, а может, и все сто метров. А рядом, вон он, дачный поселок, за соснами, и домики, и остатки заборов.

Он цеплялся судорожно за траву, лез, полз, пораня об осоку руки, желая скорей избавиться от гнилой трясины. Едва не захлебнулся, хватив тинной воды... Выбрался,

шагнул сквозь сосны к поселку и вдруг не захотел больше никуда идти. Он бросил на землю шинель, положил рядом винтовку, вещмешок и лег, закрыв глаза.

Заснул он мгновенно, будто умер, и спал, ничего не чувствуя. Было вначале какое-то ощущение потери, невозможной и неисправимой, но потом и оно отошло, исчезло бесследно. Остался только холод, несильный, тупой, пониже лопатки в спине.

Холод этот шел от земли, от ее нутра, которого не тронули первые лучи солнца. Земля заостенела, застыла за долгую военную зиму, и много, очень много настоящего тепла надо было ей, чтобы вся эта глыба льда начала оттаивать, и задышала, и ожила.

Андрей проснулся, почувствовав через шинель этот глубинный холод и странную пустоту вокруг себя. Протянул руку, не открывая глаз, желая тронуть деревянный приклад винтовки, нащупал он только траву. Словно кольнуло его иглой в самую середину сердца. Он подскочил, не помня себя, озираясь со страхом вокруг, веря еще, что ему померещилось с испугу, со сна, а винтовка тут, положена с другого бока.

Но не было ничего с другого бока, не было в ногах, не было около головы...

Еще не сознавая ужаса совершившегося, шарил он руками под шинелью, под забором, раздвигал сухой бурьян. Полез в карманы — не было ни документов, ни денег.

Он поднялся, оглядываясь недоуменно, никак не желая понимать, что не стало оружия и вещей. «Боже мой, боже мой», — повторял он про себя, все на что-то надеясь, ему лучше было бы думать, что он спит. Да и состояние, как во сне, невесомо-отчужденное, словно это не он и творилось вокруг не с ним, а с другим человеком. Вот сейчас все переменится, перевернется, как в сказочной, любимой им книге, и настанет легкое пробуждение.

Андрей провел рукой по лицу. Вдруг он отчетливо понял, что произошло. Не про кражу, не про потерю всего, что с ним было. Нет! Он так очевидно смог представить себя

без своих бумаг, без вещей, но главное — без оружия. Кто же он теперь, в таком виде? Голый, выставленный посреди улицы, в чужом городе, в чужой толпе?

Клик раненого зверя пронесся по лесу, так ему показалось. На самом деле он лишь застонал, охватив голову руками и покачиваясь из стороны в сторону. Яростная сумасшедшая сила подкинула его с места и швырнула в лес. Он закружил, ничего не видя, не понимая, будто слепой. Но он и был как слепой: великан-циклоп с выколотым во сне глазом. В отчаянии налетел и сильно ударился о корявый ствол сосны, но даже не почувствовал боли. Руками ухватился за ее кору, отламывая рыхлые, податливые куски и отбрасывая их в сторону...

...Крошат землю снаряды, взбивая фонтаны земли. Плотное облако гари, пыли, мелких камушков оседает на окоп, на солдатскую каску. Тело твоё вжато в узкую земляную щель, голова в тело, а сверху, как убежище, как панацея от всех бед, эта самая каска, с которой горькая сажа и пыль сыплются на лицо, забивая рот и глаза.

В исподне-черной, развороченной снарядами утробе неба (а черт его знает, небо это или что-то другое!) вспыхивает сигнальная ракета. Багряное пятно в дымной завесе. Ничего не освещая, как бы сама по себе, она висит и не гаснет, требуя, призывая тебя к атаке.

Медленно, не спуская слезящихся глаз, запорошенных глаз с этого пятна, руками оперся на край окопа, чувствуя, как острая колючка впивается в ладонь, но даже ее принимая как благо, ибо она лишь колючка, напоминающая тебе о малой боли, а значит, о том, что ты еще живой. Правая нога на бруствер, на колено, а ты уже на виду, открытый для всех пуль, и бомб, и снарядов, которые нацелены теперь только на тебя. Винтовка приросла к руке, хоть ты и не чувствуешь до поры ее прекрасной спасительной тяжести.

С головой, одновременно пригнутой, но вывернутой чуть в сторону, чтобы из-под каски видеть солдат по отделению, по взводу, а еще и то, что впереди, хотя впереди

ничего и нет, темная завеса да бурое пятно ракеты — остаточный след на сетчатке глаза, — на полуватных согнутых ногах твой первый шаг от окопа, как первый шаг в жизни... Чтобы только не упасть. Но за ним второй шаг по инерции и третий, лишь он настоящий, осознанный — вперед. А из гортани, а может быть, из печени или из всех твоих внутренностей сразу, от внутренностей и от костей изошел странный клик, одинокий, сливающийся, хоть этого ты слышать не можешь, с другими такими же одинокими голосами: «У-у-у! А-а-а!»

Звук утробный, пришедший от нашего рождения. Не случайно ли он прорывается так первично в этот последний смертный час?

И весь твой яростный, охвативший тебя порыв до бесчувствия, до отрешенности, до счастливого осознания собственного бессмертия нацелен туда, вперед, в неизвестность, к единственной желаемой цели в жизни. Ибо без нее, ее достижения никакой больше жизни и нет.

Не будет у Андрея Долгушина первой и главной в его жизни атаки. Захлебнулась она до того, как началась. Один он в лесу, никому не нужный, даже этим деревьям с теплой корой, у которых свой, единственный, но такой естественный путь в жизни. Вот что он сейчас понял.

Он не смог стоять, опустился на землю. Холод, пришедший к нему во время сна, распространился по всему телу, сковал его насмерть. Он не мог двинуться, даже произнести слово, так страшно ему стало.

Сидел, бессмысленно глядя в землю, ни о чем он не думал. Проходили минуты, а может, часы, он этого не понимал. Все, что он мог бы сделать: бежать, кричать или даже заплакать, — ушло в эту бессмысленную неподвижность. Он как умер. Еще мгновения отделяли его от пробуждения, но он уже не был тем человеком, который, проснувшись, провел рукой по голой траве, там, где должно лежать оружие.

Все в нем омертвело с тех давних пор, и сам он успел прожить вечность и состариться.

Где-то по тропинке проходили люди, слышались голоса — ничто не касалось его. Люди жили совсем в другом мире, а там, где жил сейчас он, была мертвая пустыня. Голоса почему-то мешали ему и не были нужны в той жизни, которую теперь он вел. И он встал, пошел, пока не почувствовал, что ноги плохо его слушаются. Тогда он сел, снял сапоги. Поставил их рядом, как ставил в казарме перед отбоем. Хотел наvertеть на голенища портянки, но не смог, бросил их рядом.

Он смотрел на сапоги, и простая мысль, первая, реальная, пришла в голову, что сапоги так снимают перед концом. Он даже вздрогнул, когда понял, о чем он думает, посмотрел вокруг. Он сидел в лесу, а по тропе мимо него бежал мальчик.

Андрей смотрел на него так же, как на все остальное. Но странно, что мальчик оглянулся, они встретились глазами. Вот тогда Андрей, не желая ничего и ни о чем не думая, произнес:

— Эй, пацан!

Все вышло помимо Андрея. Он уже забыл про мальчика — если бы тот пошел дальше, Андрей о нем и не вспомнил бы. Но мальчик стоял и ждал. Чего это он ждал?

— Тебя, тебя. Пойди сюда, — сказал Андрей, опять сам себе удивляясь. Никаких мыслей и никаких слов в нем не было. Единственная четкая мысль о сапогах никак не могла быть связана с мальчиком. Вот это он знал. Они оба молчали, и оба не были нужны друг другу. Андрей все пытался зацепиться мыслью за сапоги и продолжить, а оно будто не имело продолжения, а заканчивалось на слове «конец». Несколько раз повторил Андрей про себя, отыскивая тот первоначальный смысл, который его озарил. Поднял глаза и удивился, что мальчик еще здесь, что он стоит перед ним.

Где-то отдаленно, как чужой, прозвучал собственный голос:

— Ну? Подойди! Ты что, местный? Тут и живешь?

— А где мне еще жить? — спросил мальчик. — Вон, в детдоме живу.

Андрей поморщился при слове «живу». Мальчик вот живет, а что делает он, Андрей? А он уже не живет? А что же он тогда делает?

Андрей оглянулся, вздохнул. Это был его первый вздох, но он не касался Андрея, а тем более мальчика. Вздох остался от тех невероятно дальних времен, когда Андрей тоже жил. Ходил по городу, гостил, любил, спал... И все было потому, что при нем как часть его самого существовало его оружие. Это оружие хоть и носилось снаружи, но было как ядро в Андреевой жизни — изыми, и останется одна оболочка. Без оружия и без документов его отдадут в трибунал и будут судить по законам военного времени. Но разве об этом речь?

Андрея лишили всего, что он имел: имени и фамилии, так как пропали документы; лишили вещей, которых не может не иметь любой человек, если он надеется жить; взяли оружие, которое ему доверили для борьбы с врагом. Кто же он остался после этого? Мертвое тело, которое еще могло произносить слова, но уже ни для кого ничего не значило? И для самого Андрея не значило — вот что главное.

— Понимаешь, все украли... Оружие вот... Да, да... Оружие украли.

Он и дальше что-то говорил, хотя мог и не говорить. Слова сейчас, а особенно его слова, ничего не значили. Зачем он говорит? Зачем этот мальчик и что мальчику от него надо?

Андрей впервые рассмотрел его: штанишки, и куртку, и галоши на ногах, подвязанные веревочкой. Но удивили глаза, испуганные, будто у зверька. Чем это я его напугал? Или они сейчас все в войну испуганные? Или я такой, что он не мог не испугаться? Ужасный небось вид, но что с того, какая разница, как ему, Андрею, выглядеть? Мальчика напугал, вот что скверно.

Постаравшись улыбнуться (что такое улыбка... у неживого?), он сказал просто:

— Ты не бойсь, я ведь вообще спрашиваю. Я всех спрашиваю. Хожу тут и спрашиваю. Всех спрашиваю, понимаешь?

Кого это он спрашивал? Никого он не спрашивал. И мальчика он тоже не спрашивал. Понимал, что спрашивать — значит обнадеживаться. А надежды у него быть не может. Но почему-то продолжал говорить и сапоги в руки взял, обещая и сапоги отдать, и часы, и что уютно, если бы нашлось оружие.

Тут и мальчик закричал, что он ничего не знает, и Андрей опал, обессилел. Бессмысленная вспышка, никчемное бормотание, несвязные движения, и эти сапоги... Зачем, зачем это? Прорвалось, как ответное чувство на испуг мальчика, как само спасительное движение его, Андреева тела, но не души.

Надо было с этим кончать. Документы лежат где-то изорванные, да оружие по частям разложили, а то и в уборную бросили. Кончился Андрей, и пора бы это зафиксировать.

Но сейчас еще нужно что-то сделать... Ах, да, мальчик! Надо сказать мальчику, который встал на пути, на последнем пути, сам того не ведая, у Андрея.

Андрей поднялся, какая-то легкость появилась в нем.

— Иди, чего ты, — сказал ему Андрей и понял, что он прощается с мальчиком, как бы прощался с самим собой. «Я не буду, но он будет жить. Кончится война, и вырастет этот человек. Возможно, он не вспомнит солдата. Да уж точно не вспомнит. Не за что помнить. Что ж от того?» Андрей сейчас отдал бы последнее, чтобы вырос пацан в человека. И чтобы никто не смог обидеть его.

А ведь обижали! Андрей это почувствовал, когда прикоснулся к волосам мальчика. Тот дрожал под рукой, как дрожит пойманная птица — каждым перышком, каждой ворсинкой. Ах ты воробей, серая птица!

Андрей уже не думал о себе. О себе он знал все. Неожиданный прилив нежности, испытанный к мальчику, был благодарностью за эту странную встречу. Он гладил, гладил... Потом легонько толкнул его в спину:

— Ну, иди, иди.

Глядя мальчику вслед, вдруг понял, что это он сам от себя уходит. Мальчик — последнее, что связывало с други-

ми людьми, со всем божьим миром. И не для того, чтобы обрести надежду, а от чувства потери всего, что было, закричал он:

— Ты приходи! Я буду тебя ждать!

Голос выдал то, в чем не мог Андрей себе сознаться: очень хотелось жить. А между тем он точно знал, глядя на убегающего за деревья мальчика, что не вернется он.

11

Запятав компас, Васька вышел из сарая. Он мог теперь не думать об этой неприятной истории, ее как бы и не существовало. Прошел испуг, и Васька понял, что сдрейфил он зря. Что может сделать ему солдат? Да ничего не может. Руки короткие, как говорят. Ну, укажут ему детдом, еще добавят несколько нелестных слов, мол, шпана такая, не клади, что плохо лежит. Мол, их и запомнить и отличить друг от друга невозможно, все тощие, на одну одежду, на одно лицо. Ну, скажут, ну, придет, ну, узнает даже Ваську, а дальше что?

А дальше ничего. Видел? Не видел. Ну и отзынь на три лаптя!

Тут к Ваське подбежал Грач, шмякая жмыхом во рту:

— Сморчок, на хор!

Васька скорчил рожу, схватился за живот:

— У меня резь пошла... Такая резь, ох как болит. — Заныл, даже сам поверил, что болит. И вправду заболело.

Грач добавил, все слюнявя во рту жмышок:

— Сказали, что отметят по списку. Кто не будет петть, ужина не получит!

Васька разогнулся, живот прошел. Вдохнул: надо идти. Не дадут ужина, и вечер сразу пустой станет. Будешь мысленно обсасывать несъеденное, изведешься, не уснешь. Уж лучше петть, чем не есть. Хотя петть Васька не любил. Снова Лохматая будет кричать да еще поставит впереди хора. Лохматой они звали музыкантшу.

Васька все медлил, спросил вдруг:

— Слушай, Грач, тебя кто-нибудь по голове гладил?

— Как это? — не понял Грач.

— Ну, вот так, — показал Васька. — Кто-нибудь? А?

Грач задумался. Дупо спросил:

— А зачем?

— Ну не знаю! — вспыхнул Васька. — Гладил или нет?

— Не помню, — сказал Грач. — Бить били, а гладить...

— Да бить-то сколько угодно! — засмеялся напряженно Васька.

— Не помню, — повторил Грач.

— Я тоже не помню, — произнес Васька. — Ну пошли...

Васька вслед за Грачом протиснулся в директорский кабинет, где находилось пианино. Пианино стояло здесь потому, что в другом месте от него бы ничего не осталось. Вот и занимались в кабинете, хоть был он маловат для этого.

Васька притерся к стенке, встал за спинами ребят постарше и притих. Но Лохматая при помощи Анны Михайловны быстро построила всех в три ряда, а самых маленьких, в том числе Ваську, вытащила вперед. Как ни сопротивлялся Васька, как ни ловчил, а попал прямо на глаза Лохматой. Теперь она изведет своими нотами. И пальцы у нее тоже щипучие, не зазря стучит на инструменте. Выволакивала Ваську из глубины, оставила на руке синяк.

Васька торчал впереди, вперившись в Лохматую, глядя, как она взмахивает седыми волосами, бьет по клавишам и кричит: «Начали!»

*На рейде большом легла тишина,
И море окутал туман,
Споемте, друзья, пусть нам подпоет
Седой боевой капитан...*

— Стой! Стой! — кричит Лохматая и смотрит на Ваську. — Ну чего ты кричишь? Вот, слышишь: «лег-ла ти-шина»... Плавно, спокойно. Понял?

— Ти-ши-на, — проблеял, подражая Лохматой, Васька, и все загоготали. Голос у Лохматой был блеющий, а Васька только повторил его.

— Тише! — сказала Лохматая и снова ударила по клавишам:

На рейде большом легла тишина...

Васька перестал петь совсем, он только открывал рот. Или он кричит, или открывает беззвучно рот. Средне петь он не умеет, считает, что в этом нет смысла. Лохматая старательно стучит по клавишам, головой изображает музыку, но иногда поворачивает к ним смуглое усатое лицо, и тогда Васька старательно, не моргая, смотрит ей в глаза. Васька изображает, как он краснеет от натуги, и он действительно краснеет, Лохматая кивает ему: «Вот, теперь правильно». Васька старается изо всех сил, он физиономией изображает песню, закатывает глаза, вздыхает, играет грусть и волнение. Лохматая, которая дальше Васьки не видит никого, не нарадуется, какой музыкальный, какой чуткий попался мальчик.

Потом Лохматая вытащила вперед солистку Верку Агапову — Агапиху, — и та запищала, поднимая глупые глаза:

*Под сосною, под зеленою
Спать положите вы ме-е-еня...*

Васька эту песню откровенно не любил. Потому что ее выла Агапиха и потому что непонятной она была. Как это — под сосною класть человека? Зачем его там класть? И потом, для чего столько выть? Пойди да ляжь, никто тебе слова не скажет. Вот мучает, вот нудит, хуже зубной боли. А положили, так ведь снова недовольна:

*Ты сосенушка, ты зеленая,
Не шуми-и ты на-до мно-ой...*

Вдруг вспомнилось про солдата, который сидит под сосной. Сидит и ждет Ваську. А может, не ждет. Так уж он

и поверил, что Васька бегает по поселкам, ищет ему жуликов. Все знают, что Ваське верить нельзя, обязательно соврет. Натреплет с три короба, неделю не разберешься, что было на самом деле.

Дурак, что ли, солдат? Но почему же он тогда кричал, что будет ждать? Странно так кричал, будто просил или умолял Ваську, обращался как маленький к большому.

Васька посмотрел на Агапиху, которая пицала свое «Лю-ли, люли», и ему стало невмоготу. Он вдруг запрыгал, затрусил на месте, перебирая ногами и изображая на лице крайнее нетерпение. «Ой, лю-ли, лю-у-ли», — орала Агапиха, скашивая на Ваську недоуменный глаз. «Ой, лю-ли, лю-ули...» И сорвалась, хмыкнула напоследок.

Лохматая повернулась, остановив музыку, спросила:

— Ты что, мальчик?

— Мне надо! — простонал Васька и запрыгал еще сильнее, изображая, как ему надо.

— Что тебе надо? — недоуменно повторила Лохматая.

Весь хор вразной заорал ей:

— Это Сморчок! Он в штаны намочит!

— Что? Что? — старалась вникнуть Лохматая. Она поморщилась, долго же до нее доходило...

Тут Боня, который считался старостой хора, крикнул:

— Он у нас среди дня мочится, если ему не напомнишь. У него пузырь не держит.

— Это правда! Правда! — завопил хор.

А Боня добавил:

— Ночью он тоже... Он сперва заплачет во сне. Потому что не может терпеть, а проснуться тоже не может. А пузырь у него не держит... Вон он заплачет, а потом слышно — зажурчит...

— Ах, зачем такие подробности, — сказала Лохматая. — Замолчите все. А ты иди, иди, мальчик.

Васька еще секунду потрусил на месте, как бегун на старте, а потом ринулся к двери, выскочил в коридор, на улицу. Остановился, глубоко вздыхая. «Хоть у тебя на голове и лохмы, а ты дура», — решил весело.

Васька стал прикидывать, что можно сделать, чтобы остаток дня прошел полезно. Сбегать ли на станцию, на добычу, или сперва зайти к Витьке и предупредить о солдате. Мол, рыщет тут, будь настороже. Но Витька смеяться начнет. Скажет: «Матрос — в штаны натрес!» А может, и вправду солдата нет? Подождал, подождал да уехал? Вот бы подкрасться, посмотреть издалека.

Васька дважды обошел дом, а это означало, что он сильно колебался. Остановился под окном кабинета, послушал, как завопил дружный хор, и решился: пойду, посмотрю. Оставаться возле дома было небезопасно. Кто-нибудь увидит Ваську, погонит обратно петь. А это еще хуже, чем врать солдату. Открывает щука рот, а не слышно, что поет.

— Ой люли! Люли! — заорал Васька изо всех сил, стараясь показать, как ему противны эти «люли», которых он представлял в виде шишек, висящих на сосне. Висят «люли», свесившись вниз, а между ними, закатывая фальшиво глаза, ходит Агапиха, жеманно нюхает, говорит манерно: «Ой, люли, люли»... Дать бы ей по шее, чтобы не тянула кота за хвост. Васька часто во время хора показывал Агапихе фигу в кармане. Хоть она и не видит, а приятно.

Однажды Васька набрался нахальства и спросил:

— Я могу сам по себе петь?

— Это как? — удивилась Лохматая. — Ты хочешь солировать?

— Ага, — сказал Васька, — солировать.

Лохматая очень удивилась. Но ее интеллигентность взяла верх. Васька на это и рассчитывал, он знал, что интеллигентность ее погубит.

— А что ты хочешь петь?

Васька только и ждал такого вопроса. Он напружился и заорал что есть мочи:

*Одна нога была другой короче,
Другая деревянная была,
И часто по ночам ее ворочал;
Ах, зачем же меня мама родила!*

— Это что же такое? — возопила громко Лохматая, и даже усики у нее зашевелились. — Ведь это же хулиганская песня! Мальчик, ты понимаешь, что ты спел?

Васька все понимал, а вот Лохматая не понимала. Если бы она послушала, какие песни они закатывали по вечерам, когда воспитатели уходили домой! У нее бы затмение вышло от их песен. Вот что подумал Васька, снисходительно глядя на Лохматую. Но сказал он ей так, что лично он не думает, что это была хулиганская песня. В ней и слова-то ни одного особенного нет. Но если ей хочется что-нибудь почувствительнее, он может спеть ей «Халыву»... «Женился, помню, я на той неделе в пятницу...»

Лохматая взвилась со стула, и брызги полетели у нее изо рта. Она что-то кричала, что именно — Васька не разобрал. Она выскочила за дверь, схватив свои ноты, а Васька с тех пор навсегда охладел к пению.

За мыслями Васька не заметил, как ноги сами привели его в лес. Потянуло, что ли, на старое место. Солдата он увидел издалека. Хотел остановиться, но вдруг понял, что и солдат его заметил, он даже привстал навстречу Ваське, смотрел на него не отрываясь.

Васька шел к солдату и раздумывал, как бы соврать получше. Оба смотрели друг на друга. Васька с любопытством, даже весело, он теперь ничего не боялся. А солдат смотрел выжидательно, он глазами на расстоянии пытал Ваську, но в то же время будто и боялся новости, и не хотел ее. Для него важнее слов было Васькино возвращение.

— Я спрашивал, — начал Васька, еще не дойдя до солдата. — Никто ничего не знает.

— Да, да, — кивнул солдат. И продолжал так же смотреть на Ваську.

— Я бегал, бегал, — произнес Васька. — Туда, сюда...

— Я понимаю, — сказал солдат.

— Одному говорю: «Стырил? Отдай! Тебе бочата в награду предлагают за твою честность». А он говорит: «Нет, я такими делами не занимаюсь».

— Правильно, — ответил солдат. Он что-то сообразил и уже не смотрел на Ваську. Может, он догадался, что Васька врет? Вряд ли, Васька старался врать как можно честнее. — Ладно. Спасибо, — произнес солдат. — Я понял сразу, что ты хороший человек.

Он сказал, будто отрезал Ваську от себя. Повернулся и пошел по тропинке, не оборачиваясь, никуда не глядя. А Васька продолжал стоять, никак не беря в толк, почему солдат уходит, почему он назвал Ваську хорошим, хотя Васька ничего пока хорошего не сделал.

Споткнувшись на бегу о корень, он догнал солдата, спросил сзади:

— А ты куда идешь?

Тот вовсе не удивился, что Васька еще здесь, ровно произнес:

— Не знаю. Ничего не знаю.

— Тебя арестуют? — спросил Васька.

— Наверное, арестуют.

— А ты не ходи, — посоветовал Васька. — Они все равно не знают, где тебя искать.

Солдат запнулся при таких словах. Он даже посмотрел на Ваську, будто не поверил, что тому могла прийти в голову подобная мысль. Отчего-то спросил:

— Тебя как зовут?

— Васька Сморчок, — сказал Васька. — А тебя?

— Андреем, — ответил солдат и добавил: — Звали. Ты добрый, Василий. Я сразу почувствовал, что ты меня жалеешь.

— Зачем тебя жалеть? — пожал плечами Васька. — Мы же взрослые люди. Я бы тоже так поступил. Я несколько раз прятался, когда меня искали. У нас в сарае такая за-начка есть... Мы травы наложили, чтобы мягче ждать было.

— От кого тебе прятаться, Василий? — спросил солдат.

— От кого? Думаешь, не от кого? От всех, кто против меня.

— Есть такие?

— Всякие есть, — отмахнулся Васька. — Я тебе так скажу: у каждого серьезного человека должна быть своя заначка.

— А если ее нет? — Солдат опять посмотрел на Ваську, с любопытством посмотрел.

— Как же без заначки? А жить как?

— Как? — спросил солдат.

— Не проживешь, в том-то и дело. Вот есть у меня вещь. Ну... Рогатка к примеру. (Васька сказал «рогатка», а думал он про компас.) А еще картофелина. А еще заточенный гвоздь вместо ножа. Где все это держать? Дома? Так дома-то нет! Есть, правда, постель, которую на дню несколько раз перетряхивают, что-нибудь ищут. Воспитатели трясут и свои, которые жулики... А заначка — это и есть дом. А кто я буду без заначки? Никто!

Солдат остановился, о чем-то раздумывая. Светлые брови его сошлись. Был он сейчас как мальчишка, Васька подумал, что слабак солдат в сравнении с любым детдомовцем. Потому его и обокрали. А уж сам Васька куда опытнее солдата. Ведь приходится объяснять элементарное, что и в объяснении не нуждается. И выходит: Васька должен учить солдата жить.

— Ты чей, Василий, будешь? Родители твои где? — спросил солдат.

— Не знаю, — произнес Васька равнодушно. — Я всю жизнь сам по себе. Мне никто не нужен.

— Ишь какой самостоятельный! — воскликнул солдат, он даже улыбнулся.

Васька не воспринял чужой иронии, а отвечал достойно, что сейчас все должны быть самостоятельными, потому что время трудное, идет война.

— А разве ты, дядя Андрей, не самостоятельный? — спросил Васька и с сомнением посмотрел на солдата.

— Я? — удивился солдат — не вопросу, а тому, что мальчик этим вопросом ставил их как бы на один уровень. Он присел на какой-то пенек и со вздохом сказал: — Ну...

Если мы с тобой такие... Давай подумаем, как дальше нам жить.

— Давай, — поддержал Васька и сел рядом на траву. — Ты куда должен идти?

— В эшелон, я тут, Василий, проездом.

— На фронт?

— На фронт, Василий. А если я сегодня не приду, то будут меня считать дезертиром.

— Но ведь ты не дезертир?

— Конечно, нет. Я, Василий, фашистов бить хочу. Только чем я буду бить? Мое оружие пропало... Если бы сыскать...

— Тогда что? — спросил Васька и внимательно занялся галошей. Развязал, а потом завязал узелок на веревке.

— Тогда бы я стал снова солдатом. Без оружия солдат — пустой звук. Он пользы народу не принесет.

— А ты попроси, они тебе другую винтовку дадут. Или трофейный автомат поищи. Я в кино смотрел, там после боя много всяких автоматов валяется...

Солдат посмотрел странно на Ваську, ничего не ответил. В лесу начинались сумерки. Не было темно, но дальние деревья начинали сливаться.

Солдат встал, протянул Ваське руку:

— Прощай, Василий! Славный ты человек. Но и ты ничего не можешь. Здесь никто ничего не может. Дальше — я сам.

Солдат повернулся и пошел. Быстро шагал, так что, пока Васька переваривал его слова, он уже скрылся за деревьями.

— Подожди! — крикнул Васька, чего-то испугавшись. Он побежал за солдатом, не зная еще, что он может предложить, чем помочь. Васька понял сейчас одно, что без него солдат пропадет. — Подожди же! — повторил он, задыхаясь, нагоняя и стараясь попасть с солдатом в ногу. — Я хочу тебе сказать... Может, еще не поздно...

— Что? — спросил солдат, не останавливаясь. Ему, наверное, очень не хотелось, обретя уверенность и яс-

ность цели, заново передумывать и снова, в который раз, обнадеживаться.

— Я тут... Я знал одного человека, — тяжело дыша, с перерывами говорил Васька. — Я могу у него спросить...

— О чем спросить? — говорил солдат на ходу.

— Об оружии, конечно.

— Вот как! — солдат остановился и посмотрел на Ваську. Пристально. Прямо в глаза.

Васька потупился, сделал вид, что его заинтересовала веточка на земле. Наклонился, поднял, помахал в руке. Но солдат продолжал смотреть, и при этом он странно молчал.

— Я давно его знаю, — произнес Васька, как будто он был виноватый и пытался объясниться. — Он недалеко живет, может, он чего подскажет...

Солдат покачал головой, о чем-то раздумывая. Но все время взглядом он возвращался к Васькиным глазам. Что-то в них искал и не находил.

— Значит, ты думаешь...

— Да, он все знает! — воскликнул Васька простосердечно. Ему стало легче от собственных слов.

Солдат взял Ваську за плечо и тихо спросил, словно боялся спугнуть Васькины слова:

— Все... знает?

— Конечно, — сказал Васька уверенно. — Он должен знать!

— Должен?

На солдата стало жалко смотреть. Вся его уверенность пропала. Он съежился, испугался чего-то. Стал суетным, торопливым, и заговорил он теперь по-другому, будто унижался перед Васькой:

— Пойдем к нему, а? Пойдем, Василий! Где он живет?

От такой перемены Васька вдруг почувствовал себя неуютно. Что-то пропало у него к солдату, а может, это у солдата пропало к Ваське, он точно не мог разобрать. Исчезло равенство, которое так задело Ваську за живое. Снова солдат стал чужим, осталась к нему голая жалость.

Васька посмотрел на солдата снисходительно, он знал, что скажет ему. Он так и сказал:

— Сейчас нельзя. Его дома нет. Может, он там вообще не живет.

— Когда же можно? Василий, когда? Когда?

— Ну, утром, — произнес Васька неуверенно.

— Утром?

— Ага. Он такой... Как филин! Днем спит, а ночью выходит на добычу.

— Ну да... Ну да, — сказал солдат, как будто он что-то понимал.

— Если он только вообще не переехал, — еще раз подчеркнул Васька.

— А если переехал, можно по адресу найти?

Васька засмеялся. Взрослый человек, кажется, а ничего не понимает...

— Адрес я могу и сейчас сказать... Таганка! Окошко в клеточку: ты меня видишь, я тебя нет!

Ваське надоел детский разговор. Что в самом деле, нанялся он, что ли, учить этого солдата. Сам погорел, сам и выкручивайся. А то, что он к Ваське по-доброму, это еще хуже. Васька — звереныш, ему нельзя привыкать к чужим рукам, он за ласковую руку и укусить может.

— Пойдем, — сказал Васька солдату, — отведу в заначку.

Они пошли по стемневшему как-то в одночасье лесу, и Васька шел впереди, а солдат сзади. Всю дорогу они молчали, лишь один раз солдат спросил:

— Тебе сколько лет, Василий?

— Все мои, — ответил тот, о чем-то раздумывая. Но решил снизойти, ответил: — Ну, одиннадцать. А что?

— Мало вырос, — сказал солдат, действительно понимая, что Васька хил, как городской воробей по весне. Ему и неинтересно, видать, каков он со стороны. Живет и все знает, и никаких у него сомнений ни в чем нет. Вырос как ветка под бурей...

— Солей нет, — ответил Васька на вопрос солдата. — У меня и зубов мало, потому что они не растут, потому что солей нет.

Тут пришли они к сараю, Васька показал, куда надо лезть. Солдат просунулся в узкую щель между поленищами дров, обвалив несколько чурбаков на себя.

Вздыхая, произнес:

— Как волчья нора... А ведь первых два часа живу без увольнительной.

— Здесь никто не найдет, — убежденно сказал Васька. — Хошь до конца войны живи. Я бы тебя прокормил, не думай.

— Спасибо, Василий. Значит, до утра.

— Ага. Спи, не бойсь.

«До утра», — повторил солдат, понимая тот единственный смысл, что может он жить еще до утра.

12

Васька поужинал без всякого интереса. Съел он, правда, все, вылизал, как положено, тарелку, подобрал крошки. Но чужую тарелку долизывать отказался и вел себя, в обычном понимании, странно: конечно, это если бы кто мог бы замечать такие незначительные подробности. Но замечать их было некому.

По коридорам Васька в темноте не носился, в спальню к девочкам под кровать не полез, чтобы завуть оттуда, и к единственной печке, облепленной пацанвой в два слоя, как пирог мухами, не стал притираться. Прибился к своему топчану, вполз на соломенный холодный матрац и свернулся в комочек, чтобы скорей согреться.

Сверху одеяльца, кургузого, серого от грязи, накрылся Васька курточкой своей. Все так делали: поверх одеяла накидывали то, что было из верхней одежды. Нужно экономно дышать под себя, вовнутрь созданного пространства, чтобы накопить тепло.

От жесткого в буграх матраца пахло мочой, но Ваське даже нравился этот запах. Нравился потому, что был он свой. Едва перестал Васька дрожать от холода, стал думать. Вот о чем он думал: выдавать Витьку он не может. Это он решил еще там, в лесу.

С тех давних пор, как стал Васька помнить себя, он впитал этот закон вместе с затирухой, с баландой, тужлой капустой, которой их кормили. Кстати, и запах тужлой капусты Ваське нравился, как и запах мочи. Это были запахи его детства.

Не продавать своих — вот что Васька запомнил первым в своей жизни. Но, возможно, не первым, а вторым, потому что первым было не это. Постоянный звериный голод — вот что было первым. И как следствие — любыми путями достать пищу. Любой ценой, любым доступным способом: выклянчить, выпросить, обмануть, разжалобить, украсть, отнять, обменять...

А далее — второе: не выдавать соучастника. Воровал ли ты, или только стоял на шухере, или видел со стороны, а может, и не видел, а только слышал — это все равно. Молчи как убитый. Как бы тебя ни наказывали, ни терзали, ни допрашивали, ни потрафляли, даже прикармливали, хотя этого в Васькиной жизни и не бывало, но могло, наверно, быть. — молчи.

Не в силах снести — уйди из детдома, прибейся к другому и начни жизнь сначала. Но продать ближнего — еще никому не прощалось. Васька, выросший, воспитанный на железных законах беспризорщины, знал это не хуже, а лучше других.

В спальне стоял крик. Швырялись подушками, ходили по головам, дрались. Кто-то дважды наступил на Васькину голову, он промолчал. Надо было высовываться, открывать одеяло, остудить то, что надышал. Но все равно толку мало: кто бы обратил внимание на то, что там орет Сморчок. Эка невидаль, Сморчок голос подал! Тихо! Заткни хлебало, а то щами воняет! Врезать ему по первое число! Москву изобразить! «Велосипед» организовать!

«Салазки» загнуть! Темную ему! Цыц, паскуденюк, не то соплей перешибу.

Лучше молчи, сожмись, дрожи про себя, чтобы не заметили, не съели, пока ты малек. Кто не знает, что детдом — прибежище для всех заплутавших, и кто сюда не залетит, чтобы спасти шкуру, когда тебя ищет где-нибудь в Ярославле милиция, когда «малина» разгромлена, а новой пока нет... Иной на зиму придет отсидеться, а иной и на одну ночь.

Всякие тут были и есть, и знает Васька, ох знает, что правит в детдоме сила, а вовсе не директор с воспитателями. И пока ты не набрал живого вещества, не вызверел, не охамел и не стал пугалом для других мальков — заткнись, ходи неприметный в мелкоте. Скажут: тащи пайку — тащи, не медли. Скажут: будь рабом, ползай, оближи палец на ноге, выпей мочу на лету из струй... Все сделай, чтобы выжить. Скажут избить — бей, скажут украсть — кради! Все нужно пройти, чтобы потом творить с другими то, что творили с тобой.

Это и есть главный тут закон. Сперва едят тебя, а потом ты ешь других. Васька умел пока только откусываться.

Можно, конечно, прослыть чудиком, то есть придурком, что по временам и делал Васька. К придуркам были снисходительнее, ими развлекались, но о них и помнили, а это было опасно. Лучше, когда не выделяешься, а ползаешь неприметным безымянным муравьем. Наступят так наступят, но могут и не наступить.

Васька лежал, но все он слышал, чувствовал, что сегодня его обошли. Кому-то устраивали «балалайку» и «велосипед»... Надели на руки и ноги бумажные колпачки, пока человек спал, подожгли бумагу. Спит бедолага, снится ему лишняя пайка хлеба, а тут ноги начинает припекать, он дрыг, дрыг ими. И руками заиграл. А потом уже от боли крутит изо всех сил на велосипеде, дрынькает на невидимой балалайке! А все собрались вокруг, смотрят, жмутся от удовольствия, хохочут, гы-хают, блеют, надрываются. Жалеющих здесь нет, это не

поощряется. Жалеющий может попасть в ту же компанию музыкантов.

Уже пламя на ногах и на руках, велосипедист-балалаечник жмет изо всех сил, плачет, еще не проснулся. А главное — впереди. Кто-то наготове около лица дежурит, следит, когда проснется соревнователь. Только он открыл глаза и рот, чтобы вдохнуть для крика воздуха, ему в рот горящую бумажку. Вот когда, знает Васька, сама жуть начинается: в глазах огненные шарики побегут, и внутренность как ошпаренная, и дыхания нет, и ноги и руки горят... А ты ничего от страха, от боли не чувствуешь, не понимаешь! Ах, знает, знает Васька, что такое «велосипед» с «балалайкой», и никому не желает его!

Но коли он существует и его делают, то лучше кому-нибудь, чем Ваське. Сжался Сморчок, слушает, как развиваются снаружи события. Вот загорелось, зверем завыл пострадавший, вскочил с постели, ничего не видит, не соображает, бросился к окну, вышиб стекло и сиганул на землю. И тут первый раз вдохнул, закричал на всю ночь, как зверь все равно, страшно стало.

Примолкли сразу, тишина. Вошла дежурная с лампой, увидела разбитое окно, спросила:

— Что случилось? Кто разбил окно?

Но отвечать-то некому, спят все, а иные похрапывают.

— Я спрашиваю, что случилось! — кричит дежурная. — Если не ответите сейчас, за директором пошлю.

Директора не боятся, но к чему ночью директор.

— Ничего особенного, — подают из угла голос. Смирный такой голос, невинный, почти детский. — Этот, как его... Грачев, Грач, со сна перепутал, что ли, в уборную в окно выскочил.

— Паразиты! — кричит дежурная. — А бумаги кто жег? Паразиты несчастные, — повторяет дежурная, смотрит, высовывая лампу в разбитое окно. Потом идет на улицу, а в спальне начинается смешок, мелкое хихиканье. Недосмеялись, недорадовались, теперь время наступило. Когда

возвращается дежурная с плачущим Грачом, снова затаиваются. Слушают, чтобы не пропустить новость.

Дежурная укладывает Грача, накрывает его и говорит:

— Бесстыжие рожи, измываться над человеком. Изверги, а не люди. Над маленьким-то изгиляться...

— Кому он нужен? — насмешливо спрашивает Колька Сыч. — Вы его спросите, кто его трогал. Грач, кто тебя трогал, а?

Голос у Кольки нахальный, самоуверенный. Он-то знает, что сможет ответить Грач. И тот тихо бормочет:

— Ни-ни-кто меня... не трогал...

— Слыхали? Никто не трогал! А кто тронет, тому я в ухо съезжу. Я ему гляделки испорчу. Я ему мошонку повыдергиваю. Слышал, Грач? Ты мне скажи, не стесняйся.

Ваське становится не по себе от голоса Сыча. Зверь, а не человек. Но у него здесь шайка. Он никого не боится, а все боятся его.

Хочет Сыч — живет при детдоме, не хочет — не живет. Исчезает на месяц-другой, и становится легче. Правда, вылезает на первый план другой какой, но Сыч быстро его к ногтю, когда вернется. Только объявиться успеет, посмотрит вокруг, как царь зверей, и все уже видит, все понимает. Кто новенький, тот валяй скорей на поклон. Испытает, карманы вывернет, в зубы даст на всякий случай. А незваному лидеру отходную сделает. При всей спальне догола разденет и покажет на окошко: иди не возвращайся! У нас не богадельня, чтобы нищих терпеть!

Таков Сыч, не терпит рядом сильных. А Витька хоть не детдомовский, но живет рядом и с Колькой Сычом связан. Васька это знает. И сейчас подумал только, как он чуть не вляпался из-за солдата. пожалел его, а себя не пожалел. Спит солдат в заначке и видит во сне, как Васька ему помогает. А у Васьки только и мыслей, чтобы завтра вывернуться, соврать поскладнее.

Солдат пришел да ушел, а Ваське тут жить. Если приклеют ему доносчика, ни в жизнь не отмыться. Душу из

Васьки вытрясут да рассеют по Подмоскovie. Хочешь — беги, а не хочешь — так пропадешь. Сыч съест, да не он сам, а помощникам доставит удовольствие мучить и истязать Ваську.

Вот до чего довела жалость, жестокая это штука! Бьет рикошетом по жалеющему. Насмерть бьет. С тем Васька и заснул, ощущая, как он сам спит и как спят остальные. Всклипывает во сне Грач, а ветер задувает в разбитое окно. А там, в сарае, спит солдат, и Васька во сне помнит про солдата. Пугается перед ним, ловчит, желая выйти сухим из воды. Просыпается от испуга, когда наступает утро.

Васька вошел в сарай, шепотом позвал солдата. Ему никто не ответил. Сунул в лаз голову, увидел только примятое сено, а на нем двух воробьев.

Васька удивился, вздохнул. Стало легче, что солдат пропал. Может, он еще найдется, а вдруг да нет. Поднявшись на ноги и оглядывая сарай, в белых зайчиках от солнца в щелях, подумал Васька не о солдате, а о воробьях, что возились на соломе. Небось гнездо собирают, нужно их проследить. Будут тогда у Васьки летом яйца. Серенькие, невзрачные яички у воробьев, не чета сорочьим, но ведь тоже доход, а не расход. Несколько штук со скорлупой проплотишь — чувствительно.

Насчет гнезд у Васьки глаз остер. Однажды нашел куриное гнездо, а в нем двадцать шесть яиц, чуть в обморок не упал. Целое лето кормился, брал по два яйца в день, а курица еще приносила. Но кто-то выследил, зацапал, пожрал.

Васька хоть и огорчился, но понимал, что все по закону. Иметь свои заначки, чтобы никто не нашел, но отыскивать чужие — на это профессиональный нюх должен быть у детдомовца.

Он вышел из сарая и тут увидел солдата, сидящего на солнышке, за стеной.

Сразу Васька поник, проканючил:

— Здравствуйте, дяденька.

— Привет, — сказал тот. — Что, плохо спал?

— Ничего. А вы не замерзли?

— Так у меня шинель, — ответил солдат. — Знаешь поговорку, когда солдата спрашивают: тебе зимой не холодно в шинели, а он отвечает: она у меня суконная. А летом не жарко? Так она же без подкладки...

Васька с уважением посмотрел на шинель, на солдата. То ли от утра, то ли от Васькиного свежего впечатления солдат не показался таким старым, как вчера. Глаза у него ожили, лицо потеплело. На Ваську смотрит выжидательно, но доверчиво. Хоть ничего не говорит, но Васька шкурой чувствует, что солдат воспрял духом, потому что хочет верить Ваське. А Васька весь извелся, чтобы ему наврать.

От такого противоречия, не испытываемого прежде, Ваське сделалось больно и тоскливо.

Он пробормотал:

— Вы, дяденька, подождите, я сейчас...

— Я тебе, кажется, говорил, что меня Андреем зовут. — произнес бодро солдат. — Так и зови. Ты надолго?

— Нет, только отпрошусь.

— Иди просись, я здесь посижу.

Пошел Васька к директору детдома, едва волоча ноги. Понимал, что наовсе запутался, не может соврать солдату. Выпалить бы с ходу, спрятав глаза: мол, простите, дяденька, я вчера подумал, что мы куда-то пойдём, а сегодня я понял, что мы никуда не пойдём. Сказать так — и гора с плеч. Живи себе Васька, благодумствуй, никаких больше в жизни проблем нет. Солдат сам по себе, а Васька сам по себе. А теперь... Чем дальше, тем хуже. Чувствует Васька, что хуже, инстинкт ему подсказывает. Шепчет ему инстинкт: пропадешь, мол, ты, Васька, влезешь в историю, будет тебе ой как худо... Раем покажется вся прежняя жизнь!

Не заметил Васька, как дошел до дома директора. Дом большой, с садом, с деревянным высоким крыльцом. На крыльце, прислонившись к пирамидальным столбикам, ребята ждут, когда выйдет директор Виктор Викторович после своего завтрака. Завтрак ему носят из детдомов-

ской кухни, и для собаки носят есть. Однажды и Васька таскал щи для собаки, успел рукой гущу несколько раз со дна гребануть. Но это дело засекли. Теперь повариха от кухни до поворота проглядывает, а тут жена директора встречает.

Васька прислонился к ступеньке, стал слушать, кто о чем говорит. Давно усвоил Васька привычку внимать чужому слову, ловить, запоминать, докапываться до смысла. Одно дело — сам промышляешь, а другое — другие. За пустым словословием что-нибудь промелькнет, не удержится. Иной раз ухватить сказанное — как заработать пайку хлеба, даже больше.

Васька сидел, как дремал все равно, а уши у него торчком стояли. Все намотал на свою память. Про Москву, где мороженое появилось, сласть какое вкусное; про рынок в Малаховке, где народу больше, а значит, и поживы. А в Люберцах кино «Багдадский вор» идет, и уже повторяют: «Вор у вора дубинку украл!» Интересно бы посмотреть, как у них там воруют. Лишний раз поучиться не грех. Вроде как обмен опытом.

Хлопнула дверь, и встал на пороге директор, высокий, худощавый человек в белой рубашке. Все разом вдруг завопили, негромко, но очень проникновенно, страдательно, в унисон:

— Отпустите, Виктор Викторович... К родным, Виктор Викторович... Давно звали, Виктор Викторович...

И Васька заныл, создавая страдательное выражение лица. Посмотришь — сразу видно, что невозможно ему не попасть к родне, которая его зовет не дозвется.

Знает Виктор Викторович, ой, наверное, догадывается, что нет у ребят никакой родни. Но играет с воспитанниками в одну игру. Кивает, делает вид, что верит им. А все потому, что экономия на бурде выходит, значит, двойная детдому польза: те, что уйдут, промышляют, а те, что послабей и промышлять не могут, бурды поболее хлебнут. И здесь политика. Никуда в наше время без политики. Ложку не опустишь без нее в затируху.

Виктор Викторович дал каждому по листку бумаги, заготовленной заранее, и все побежали, полетели, как на крыльях, к кухне, получить свои хлебные пайки. Иначе стали бы они отпрашиваться да врать про несуществующую родню. Ушли бы, да и дело с концом.

Васька доскакал быстрее всех до кухни, сунул листок в раздаточную. Всего две каракули на листке: «Разрешаю отпустить». Но каждая каракуля двести граммов хлеба весит. Отполосовали Ваське ножом кус, бросили на весы, крошек сверху добавили и протянули в окошко. Пока Васька хлеб ломал, крошки начали сыпаться, Васька их на лету ловил. Не заметил, как половину куска съел. Само проглотилось, проскользнуло. Это ведь долго ждать, когда накормят, а есть не бывает долго. Но самое обидное, когда вот так машинально съешь. Никакого самочувствия, ни зубы не подержали, ни язык не поблаженничал, не помял, не послюнявил, ни желудок, ни пищевод не обласкали...

Васька вспомнил вдруг про солдата. Разломил оставшийся кусок пополам, а крошки снова съел, не виноват же он, что столько крошек остается. Вернулся повеселевший, сказал, протягивая хлеб:

— Меня отпустили.

Солдат полулежал, подложив руки под голову и глядя в небо. Он спросил, не двинувшись:

— Куда тебя отпустили?

— Домой.

— У тебя есть дом?

— Конечно, нет, — сказал Васька. И так как солдат хлеба не видел и не брал, положил ему пайку на живот. Поскорей положил, боялся, что потом пожалеет. Свою он тут же съел.

— У нас новый директор, он не знает, у кого есть дом, а у кого нет.

— Тебе-то зачем врать? — спросил солдат.

— Как зачем? — удивился Васька. — Хлеб сразу дадут.

— А потом весь день голодный?

— Потом? — Васька прикинул. — Главное сейчас, а потом видно будет.

Солдат покачал головой, уясняя для себя эту звериную логику. Спросил, подымаясь и придерживая хлеб рукой:

— Ты ведь не наелся, да?

Васька сделал вид, что вспоминает, наелся он или нет. Сказал с сожалением:

— Меня, дядя Андрей, накормить трудно. Я обжора. Я что угодно могу съесть. Я однажды двадцать порций щей съел. Раздулся — во, как пузырь, а толку мало.

Андрей посмотрел на Ваську, и снова пришло на память сравнение с весенним воробьем. Комочек жизни, а в чем она там держится, никак не поймешь.

— Вот, — солдат протянул Ваське хлеб. — Пока ты ходил, я закусил кое-чем. Ты уж сам доедай.

— Спасибо, — сказал Васька. Взял свой хлеб и моментально проглотил, глядя с благодарностью на солдата.

Вот ведь странно, ел свой собственный хлеб, а чувство было такое, что подарили со стороны.

Как менялось при этом Васькино настроение. Только недавно он боялся и переживал. А сейчас и утро, и хороший солдат, и пайка в животе приятно тяжелит. Все кажется простым и доступным. Васька зажмурился, от пищи и тепла его совсем разморило.

Он представлял, что хорошо бы на дороге найти продуктовые карточки. Штук пять сразу. Три бы Васька на рынке продал, а остальные себе оставил. Каждый бы день отоваривался, и житуха бы наступила! Развеселые дни! Ребята утверждают, что карточки часто теряют и кто-то их должен находить... Нужно только внимательно под ноги заглядывать. Они цветные, розовенькие, зелененькие, их издали видно. Но нет, сколько Васька ни смотрел, не находил он карточек. Паспорт находил. Кошелек пустой находил. Однажды рубль нашел мокрый. Пока рассматривал, кто-то пальцем по нему ударил, и рубль расползся пополам.

Тут сквозь Васькины грезы голос солдата проник, что пора бы, мол, и двигаться, а то утро пройдет, никого они не застанут.

— Куда двигаться? — спросил невинно Васька.

— Забыл, что ли? — удивился солдат. — К этому, кто знает... Ну, сам же вчера говорил!

— Ах, к этому... — сказал Васька — Так его дома нет.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю. Его трудно найти.

— Но мы с тобой его найдем, — сказал решительно солдат. — Найдем, Василий. Если только ты не испугался.

— Кто? Я? Я испугался? — вяло запротестовал Васька.

— Да нет, — раздумчиво произнес солдат, глядя прямо на Ваську. — Я как раз подумал, что ты человек смелый. Смелый и серьезный, правда?

— Конечно, — более уверенно повторил Васька. — Я смелый, в общем.

— И друг ты настоящий?

— И друг, — подтвердил Васька. Потом опомнился. — А может, потом сходим?

Но солдат был тверд.

— Нет, Василий, потом мне поздно будет. Четырнадцать часов просрочил. Ведь жизнь моя зависит... Зависит вот от этого, пойдем мы сейчас или нет.

— Вся жизнь, — вздохнул Васька, он думал про себя.

— Может, тебе трудно понять, — говорил солдат.

— Про жизнь я понимаю, дядя Андрей, — воскликнул Васька с болью. — Они ведь расправятся...

Хотел добавить: «Со мной», но не добавил.

Солдат думал про свое. Он подтвердил:

— Да, судить будут, это точно.

— Да какой суд! — вскричал Васька. — Они знаете как... Страшно.

— Не страшней, Василий, когда себя теряешь, — сказал солдат. — Вот ведь вчера-то я решил, что и не человек я уже...

— Я все понимаю, дядя Андрей, — произнес Васька. Как было трудно ему произносить! — Пойдем, — сказал он, но сам сидел на месте. — Пойдем к этому человеку! Пойдем!

Словно себя уговаривал, а не солдата. А сам продолжал сидеть. Поднялся, вздыхая. И солдат встал.

Отряхнувшись от мусора, они двинулись по тропинке, ведущей к станции. Васька шел первым. Он был направляющим, как сказал солдат. А направлялся Васька прямо к Витькиному дому.

13

Они открыли калитку и вступили в узкий дворик, в углу под досками еще лежал снег. На веревке, растянутой поперек, сушилось белье. Откуда-то подкатилась под ноги черная лохматая собачонка и сильно залаяла, пятясь и виляя хвостом.

— Бармалей! Бармалей! — крикнул Васька, присев на корточки. Собака сразу им поверила, стала лизать мальчику руки.

— Это Бармалей, собака такая, — сказал Васька. — Она огурцы соленые ест.

— Мы что, пришли? — спросил солдат.

Васька кивнул, с сожалением оставил собаку. Прощмыгнул под белье, постучал в окошко. Посмотрел, делая скобочкой руки, и снова постучал.

В дверях показалась молодая женщина, невысокая, в косынке.

— Теть Нюр, Витька дома?

— Зачем он тебе? — спросила женщина.

— Дело есть.

— Если дело... Заходите. Скоро он придет.

Теть Нюра разговаривала с Васькой, а смотрела она на солдата. Ей было интересно узнать, что солдата сюда привело. Пожалуй, только из-за своего любопытства она предложила войти в дом.

Комната была чистенькая, но Васька сразу заметил, что вместо занавесок на окнах широкие бинты. И на комодке бинты. Марля да бинты были кругом, как будто они могли скрыть голую бедность. А они еще больше ее выдавали.

Тетя Нюра посадила Ваську на диван, а солдату дала стул. Сама села на табуретку напротив, спросила напрямик:

— Что-то натворил мой сынок?

Васька пожал плечами, посмотрел на солдата. Тот помолчал, произнес, разводя руками:

— Не знаю, как лучше объяснить. Может, и вы можете. У меня тут винтовку, вещмешок украли, еще документы. Я в эшелон не могу вернуться.

— Вот как, — протянула тетя Нюра. — Пьяный был? Раз оружие-то стянули?

— Нет, не пьяный, — сказал солдат.

— Нешто трезвый оружие теряет? Арестуют теперь?

— Не знаю... Наверное.

— Не наверное, а точно. Это трибунал, милый мой, — сказала тетя Нюра.

Васька слушал открыв рот. Быстро спросил:

— Что такое трибунал?

— Военный такой суд, — ответила тетя Нюра, глядя на солдата. — Видела я, как одного судили. Солдатик помоложе тебя был... Сколько тебе?

— Девятнадцать, — сказал он.

— Вон что? Я думала, старше. — Она встала, посмотрела в окошко, потом опять на солдата. — А Витька тут при чем?

— Ваш сын там... В общем, был при этом.

— Как то есть был? — спросила тетя Нюра. — Воровал, что ли?

— Я не знаю, — сказал солдат и посмотрел на Ваську. Но тот молчал. — Может, он ничего и не взял, но... Он знает, кто украл оружие.

— А вам откуда известно? — спросила опять тетя Нюра.

Солдат не ответил. Все трое теперь молчали.

Тетя Нюра вздохнула, произнесла:

— Не знаю, что вам и сказать. Витька, конечно, от рук отбился. Мужика в доме нет. Я день и ночь в госпитале, санитаркой служу. Тут не уследишь, ясное дело.

— Да, — сказал солдат.

— Я среди раненых кручусь, у самой мужик на фронте. Ак нам все как из мясорубки, куски тела, а не люди идут... А я уж грешным-то делом и подумаю иногда: хоть бы с одной ногой или с одной рукой пришел. Все-таки мужик, если он в дому. От него и запах в горнице другой... А Витьке яуши надеру, как он вернется.

— Не надо драть, — попросил солдат. — Может, он не виноват ни в чем.

— Как же не виноват? А кто ружье стащил?

— Я думаю, что это не Витька. — Солдат посмотрел на Ваську, с упреком посмотрел.

А Васька, озираясь по сторонам, скучно пробормотал:

— Там и другие были...

— Постарше Витьки? — спросила тетя Нюра Ваську.

— Угу.

— Шайка, что ли?

— Не знаю.

— Ну, я узнаю. Я все узнаю.

Она ушла и почти сразу вернулась с тарелкой в руках. В тарелке лежала белая лепешка, разрезанная по радиусу на узкие дольки.

— Попробуйте, — предложила тетя Нюра. — А я сейчас чаю поставлю. Да пробуйте, не бойтесь, это из казеинового клея. Тут, на авиационном складе, достаем. Отмачиваем да в тарелках на холоде оставляем. Он как сыр на вкус.

Тетя Нюра засмеялась, добавила:

— Голь на выдумки хитра. Я Витьке утром говорю: сходи на рынок, продай по червонцу за кусочек, а на деньги картошки купи. У нас картошки нет. Праздник ведь на носу, Первое мая. А в доме пусто, с какой стороны ни поглядишь.

Тут слышно стало, как залаял Бармалей. Солдат и Васька одновременно привстали. Но это был не Витька. Какая-то женщина постучала в окно, тетя Нюра вышла к ней. Но в дом не повела, а стала негромко переговариваться в прихожей. Было слышно, как тетя Нюра несколько раз сказала: «Поможем, поможем... Дай срок». А женщина ей отвечала: «Да сроку-то мало осталось. Куда же мне рожать!» А тетя Нюра опять ей негромко: «Сульфидин пропал. Будет, и все сделаем. Забеги завтра...»

— Будем ждать? — спросил солдат Ваську.

— Не знаю.

Оба взяли по кусочку казеинового сыра. Васька проглотил, не заметил вкуса, взял и опять проглотил. Решил взять последний раз и пожалел, что такие маленькие кусочки. Небось Витька каждый день по тарелке сыра жрет.

Васька не завидовал семейным, каждому, как говорят, свое. Но семейным живется в войну сытнее, это Васька знал. Тут во дворе опять гавкнул Бармалей, послышался голос Витьки. Тетя Нюра о чем-то спрашивала, он отвечал. Голоса стали громче, и тетя Нюра закричала, и Витька закричал. Вместе они появились в комнате. Витька, не поздоровавшись, прошел к комоду и положил деньги. Быстро и враждебно посмотрел на Ваську, солдата он как будто не видел. Тетя Нюра стояла в дверях, руки в боки, не сводила глаз с сына.

— Ну? — спросила громко. — Скажешь?

— Чего вы ко мне пристали! — завопил Витька. Он был вообще истерик. Васька это знал. — Ничего не видел! Ничего не брал!

— Брал, — сказала тетя Нюра. Она положила на стол перед солдатиком фонарик. — Ваш?

Солдат взял фонарик в руки, осторожно повертел его. Произнес почти пораженно:

— Мой.

— В кармане нашла, — говорила тетя Нюра. И вдруг закричала на сына, шагнув к нему: — Так что! Тебя на людях выдрать?

Даже Ваське стало страшно от ее крика. Никто так на Ваську не кричал. Уж бог с ней, с семейной сытостью, ни за какие бы казеиновые сыры не продал Васька своей свободы.

Витька задрожал, заплакал, забормотал сквозь слезы, что он ничего не брал, кроме фонарика. Все остальное забрали Купец и Длинный, а он не брал...

— Документы кто взял? — спросил солдат негромко.

— Не брал... Не я... — как-то пронзительно неприятно завопил Витька. — Вот Васька тоже видел, он компас получил!

— Ладно, ладно, — произнес солдат, поморщившись. На Ваську он и не взглянул. — Ты можешь показать, где живут эти... двое?

Витька взвыл еще пуще.

— Можешь или не можешь? — спросила тетя Нюра. — Прекрати вой и говори нормально! Ну! — Она крикнула «ну», и Васька снова вздрогнул, а Витька сразу замолчал. Следя за руками матери, членораздельно произнес:

— Купец у магазина живет, зеленый дом, а другого я не знаю.

— Зеленый дом? — повторил солдат и встал. — Как его зовут, твоего Купца?

— Сенькой, — отвечал Витька, не глядя на солдата.

— Ладно, — сказал солдат. — Если не врешь...

Он не оглядываясь вышел во двор, в калитку. Васька побежал за ним. На ходу успел оглянуться и увидел, что Витька выскочил вслед и показывает ему кулак.

Некоторое время солдат шел впереди, в его движениях появилась уверенность. Васька решил, что не оборачивается и не заговаривает солдат из-за компаса. Но тот будто слышал мысли Васьки, приостановился, поджидая его.

— Вот что, Василий, — сказал солдат. — Теперь гляди в оба, нет ли патруля. Знаешь, какой бывает патруль?

— Знаю, — ответил Васька. — Тебя могут схватить?

— Могут. Я теперь, Василий, как дезертир все равно. Никогда бы не смог представить, что буду скрываться.

— А когда винтовку найдешь, не будешь скрываться?

— Не буду. Только бы найти!

Некоторое время они шагали молча и вышли на окраинную улицу дачного типа. На дороге копались в песке куры. Кое-где жгли весенний мусор: старую ботву, листья, хворост, и горьковатый серый дым витал над огородами.

— Я не за оружие борюсь, Василий, — снова начал солдат. Было видно, что он не перестает думать об этом. — И не за документы. Я за себя борюсь. Потому что я уронил себя. Кто же должен меня подымать, как не я сам... Ты понял?

Васька кивнул, спросил:

— Дядя Андрей, хотите, что-то покажу?

Васька полез в потаенное место, достал кусок стальной ножовки, заточенной на конце.

— Вот!

Солдат повертел обломок, присвистнул, глядя строго на Ваську.

— Выбрось ты эту штукювину, Василий, — посоветовал он. — Опасная игрушка. Лучше я сам закину...

Васька вцепился в руку солдата, крикнул:

— Нет! Нет! Отдай!

— Зачем она тебе? — спросил тот. Подержал на ладони и протянул Ваське. Васька засунул обломок в штаны.

— Нужно. Вы же сами сказали, что без оружия мужчина не солдат.

— Я, Василий, про фронт говорил.

— А я про тыл, — отрезал Васька сердито.

Но долго злиться он не умел. Через несколько шагов спросил:

— Дядя Андрей, а вы катюшу видели?

— Нет, не видел.

— Говорят, их никто не видел, потому что их возят под брезентом. У них там мина лежит под машиной, как толь-

ко фашисты окружают и захотят узнать про катюшу, наши кнопку нажмут и взорвут ее.

— Смотри-ка, — произнес солдат, — какие у тебя сведения.

— На заводе их делают в разных местах, и никто не знает, что это катюша. Дядя Андрей, сказать вам один секрет?

— Ну?

— Катюши делают на нашем Ухтомском заводе.

— Ты-то откуда знаешь? — спросил солдат, усмеявшись.

— Так все знают...

Они остановились около магазина. Здесь была длинная очередь: женщины, старухи, дети.

— Что выбросили? — спросил Васька.

Одна женщина ответила:

— Пока ничего. Говорят, мясные талоны будут селедкой отovarивать. С утра ждем, а ничего нет.

— Будет, — уверенно сказал Васька. — Это же ОРС, а ОРС знаете как расшифровывается? Обеспечь раньше себя, обеспечь родственников своих, обеспечь родственников сослуживцев, а остальное рабочим и служащим.

В очереди засмеялись, завздыхали, стали вспоминать всякие случаи, но Васька не дослушал, побежал вслед за солдатом. Тот уже стучался в дом, который был зеленого цвета.

Долго им не открывали, хотя и Васька и солдат видели, что в окне мелькают какие-то лица.

— Открывай! — крикнул им Васька. — Чего тянете? Испугались?

— Почему испугались? — спросил солдат.

— Они думают, что вы монтер, — сказал Васька.

— Ну и что?

— А у них электроплитки: штрафуют. Тетя Нюра однажды увидела монтера и спрятала плитку в комод. А монтер проверил счетчик, а потом и говорит: «Чего это

у вас, гражданка, из комода дым идет?» Открыли, а там белье горит...

Загремел засов, защелкали замки, щеколды, дверь отворилась. На пороге встала крупная женщина, широкое простоватое лицо, волосы комьями свисали вниз. Тетка Акулина, Акулиха — так ее звали.

Глядя от порога сверху вниз, она громко произнесла:

— Чего ломитесь? Невмоготу? Принесли что-нибудь?

— Здравствуйте, — сказал солдат. — Нам Сеня нужен.

— Какой такой Сеня? — спросила Акулиха, прищуриваясь.

— Ну, Сеня... — Солдат пожал плечами и оглянулся на Ваську.

— Сенька Купец, — подсказал Васька. — А вы его мать? Вы на него похожи.

— Это он на меня похож, — отрезала Акулиха. — Чего надо-то?

— Поговорить, — сказал солдат.

— Ну, говорите. Я слушаю.

— Мы бы хотели с ним... лично...

— С ним? Нет уж, сперва лично со мной.

Акулиха сделала шаг вперед и прикрыла за собой дверь. Васька смотрел из-за спины солдата. Подобных стервозных баб он встречал на рынке, такой попадешься, убьет на месте.

Васька дернул солдата за рукав, но тот не услышал, а может, не захотел слушать. Он стал рассказывать женщине про кражу вещей и оружия, про свое положение.

— Ну и что? — спросила Акулиха. — Вы на что намекаете, гражданин?

— Я не намекаю, — сказал солдат. — Ваш Сеня там был.

— У вас есть доказательства?

— Его видели, — солдат оглянулся на Ваську, и Акулиха посмотрела на Ваську и закричала:

— Кто же мог его видеть? Этот сопляк, что ли? Я его тоже знаю! Ну, подожди! Сенька придет, он тебе устроит

желтую жизнь! Он тебе разобъяснит, как доносить на него!

— Не кричите, — громко оборвал солдат. — Вы не имеете права на мальчика кричать, а тем более запугивать.

Акулиха сплюнула и вытерла плевком ногой. Спокойно произнесла:

— Я так на ваши слова, поняли? Потеряли оружие, теперь ищите виновных? Не выйдет у вас ничего. А если станете приставать, то мы вас в милицию сведем да проверим, какой вы солдат без оружия и куда вы его пропили... А теперь угрожаете мирному населению...

Солдат смотрел на нее широко открыв глаза. Потом, будто опомнившись, махнул рукой, пробормотал:

— Вот дура.

Он повернулся, пошел не спеша от дома, в то время как в спину ему раздавался громкий крик Акулихи:

— Сам дурак! От дурака слышу! Все потерял, какой же ты не дурак! Вчерашний день ищешь! А я вот крикну участкового, может, и не солдат, и не дурак, а диверсант переодетый!

Васька сплюнул на дорожку, чтобы хоть чем-нибудь досадить противной тетке, и пошел вслед за солдатом. Нагнал его у магазина и сказал:

— Не бойтесь, дядя Андрей, она не позовет милицию! Тьфу, противная баба! Акулиха зубастая!

— Ладно тебе... баба. Где ты научился выражаться?

— А как ее назвать, если она орет как баба? — спросил Васька. — Курица не птица, а баба не человек!

Солдат молчал.

— Ясное дело, — продолжал Васька. — Купца дома нет. Что будем делать, дядя Андрей?

Тот пожал плечами:

— Посидим подождем?

— А сколько ждать? Он ведь может вообще не прийти?

Солдат посмотрел на Ваську.

— Ты вот что, Василий... Иди-ка домой. В детдоме могут забеспокоиться, что ты надолго пропал. А я сам здесь покараулю.

Васька усиленно замотал головой:

— Не-е, обо мне никто не будет беспокоиться. Я само себе всегда беспокоюсь. Потом, меня отпустили.

— У тебя родные какие есть? — спросил солдат, присаживаясь на обочину дороги. Васька продолжал стоять.

— У меня никогда никого не было. Я из детприемника сюда поступил.

Солдат не знал, что такое детприемник, но догадался: туда относят маленьких детишек. А вот кто относит и почему относит? Их бы расстреливать, этих сучек, которые отказываются от своих детей. Живет Васька и не понимает, что можно жить иначе, что существует родительская ласка, забота, материнское тепло. А где-то тут рядом мать живет, не знает, а может, и знать не хочет, что в этой беспризорной толпе ее оборванный сын бегаёт... Маленький звереныш, но и человек.

Солдат отчего-то закашлялся, отвернулся. А Васька увидел, как из калитки, где они только что были, вышла девочка в красненьком пальто, в беретике, сзади две косички и большие банты. Васька сорвался с места, на ходу крикнул:

— Оксана! Оксана!

Девочка оглянулась, посмотрела внимательно на Ваську, очень удивилась.

— Здравствуй, Вася. Что ты здесь стоишь?

— У меня дела, — сказал Васька, подходя к девочке.

— А почему тебя не было на уроке? Смотри, тебя могут исключить.

Васька оглянулся, не слышал ли солдат всего сказанного. К счастью, не слышал. Васька законно считал, что не следует солдату знать о всяких временных Васькиных неудачах, в том числе со школой. Понизив голос, Васька спросил:

— Ты что, Оксан, здесь живешь?

— Меня зовут не Оксана, — поправила девочка. — Меня зовут Ксана. Ну, Ксения, понимаешь?

— Какая разница, — возразил Васька. — Меня вот хоть чугуном назови, только в печку не ставь.

Девочка засмеялась, и Васька засмеялся. Они стояли посреди улицы и смотрели друг на друга. Васька заметил эту девочку, когда она пришла в класс. Но сам бы он к ней не подошел. Во-первых, она одевалась как барышня, а детдомовские — кто во что горазд... Во-вторых, они вообще не дружили с домашними. У тех всех своя жизнь, родня, хозяйство, дом... Их кто-то встречает, кто-то провожает, кладет в газетку хлеб, картошку, а то и конфету... Все у них не как у людей, и Васька этой жизни не понимал, не хотел понимать.

Вот даже отношение к еде. Васька навсегда запомнил, как одна девочка, не Оксана, держала в руке хлеб, намазанный повидлом, и вдруг взяла да бросила в окно. Васька чуть сам не упал вслед за хлебом. Он бы тут же сбегал, нашел его, но был урок. И это был мучительный для Васьки урок, потому что он не слушал, а думал о хлебе, намазанном повидлом...

Васька нахохлился, совсем по-другому, и хмуро спросил:

— Эта, которая пасть на всю улицу раззявила... Твоя мать?

Девочка перестала улыбаться. Тоже холодно спросила:

— Кто раззявил? Я ничего не слышала.

— Ну, с вашего дома! Акула которая!

— А-а, — произнесла Ксана. — Тетя Акулина, наша хозяйка.

— Какая хозяйка?

— Мы у нее снимаем площадь, — объяснила Ксана. — Мы ведь беженцы, из Белоруссии, а там сейчас немцы.

— Вот как, — сказал Васька и посочувствовал Ксане. У него и тон и обращение сразу переменялись. — Я думал, что ты как другие... А ты что, с матерью приехала?

Ксана кивнула, простив Ваське всякие грубости, предложила:

— Ты приходи, если захочешь. У меня мама портниха, она тебе одежду зашьет.

— Зачем мне зашивать? — нахмурясь, спросил Васька. — Я и сам шить умею. Ты лучше скажи: где сейчас Сенька?

Ксана посмотрела прямо в Васькино лицо, строго спросила:

— Ты с ним водишься?

— Да нет, не вожусь. Он мне, понимаешь, нужен... Для одного дела. Но это секрет.

Ксана сделала к Ваське шаг и оказалась так близко, что он услышал странный тонкий запах, исходивший от нее, увидел крупные веснушки на переносице, открытые серые глаза.

— Знаешь, он ведь жулик, у него, говорят, шайка. А Акулина ихняя спекулирует на рынке. Мы их боимся. Мы бы давно от них перешли, но мы задолжали им денег за квартиру. А теперь мы боимся... Мама говорит: «Вдруг прирежут».

— Ты не бойся, — тоже негромко сказал Васька. — Если что, я их быстро к ногтю!

— Ты?

— А что? Я ведь не один!

Васька оглянулся на солдата и сейчас только заметил, что он делает ему призывные знаки. Васька заторопился. Быстро спросил:

— Значит, Акула — спекулянтка?

— Она продает всякое белье, которое ей приносят. А Сенька вместе с ней весь день торчит на барахолке. Я видела, как он уходил с каким-то свертком...

— Ладно. Спасибо, — сказал Васька. — Встретимся в школе.

— Ты лучше с ним не связывайся, он убить может, — предупредила Ксана, глядя на Ваську. Произнесла так, будто она давно знала Ваську, а теперь переживала за его жизнь.

Ваське стало приятно, что за него могут так переживать. Впервые в жизни делал Васька настоящее дело, и впервые за него переживали.

С какой-то лихостью, которая не могла не поразить Ксану, он произнес:

— Знаешь, как говорят... Двум смертям не бывать, а одной не миновать! До встречи!

Повернувшись и чувствуя ее очарованный взгляд, Васька героем шел по улице, к ожидавшему его солдату.

15

Время клонилось к обеду. Солнце ласкало землю, над огородами стояло волнистое марево.

Солдат задумчиво задрал голову, поскреб в светлых волосах. Произнес с сомнением:

— Опасно на рынок-то. Патруль там...

— Мы спрячемся, — сказал Васька. — Там в толпе как в лесу.

— Так-то оно так, да не совсем.

— Тогда я один пойду! — воскликнул Васька.

— Один? — спросил солдат и посмотрел на Ваську. Он подумал: «Нет, Василий, один ты пропадешь. Если раньше не пропадал, так и дела такого у тебя не было, чтобы бороться с целой шайкой. Нам теперь, Василий, надо быть вместе. Вместе мы много сильнее. Вот и я бы без тебя сгинул бы, наверное. Я без тебя ноль. А ты хоть и единица, но в одиночку тоже невесть какая. Вот и выходит, что только мы вдвоем и можем жить».

Так солдат размышлял. Вслух он произнес:

— Пойдем, пожалуй.

Они миновали окраинные улицы, мимо текстильной фабрики, мимо керосиновой лавки выскочили прямо к рынку. Трудно было сказать, где кончался и где начинался этот рынок. Толпа заполняла бывшее узкое пространство люберецкого рынка, а также площадь перед станцией и прилегающие улицы, вплоть до бани.

Солдат смотрел вокруг с любопытством, но и с некоторой растерянностью, в то время как Васька был тут

как рыба в воде. Он довел солдата до тихого, насколько это было возможно в толпе, закутка, между стеной дома и пивной, сказал:

— Стой здесь, дальше я сам пойду. Один я быстрее найду Купца.

Васька ввинтился в толпу как вьюнок все равно. Быстро, ловко скользил между группами и одиночками, у иных под руками ухитрялся пролазить и одновременно успевал что-то углядеть, пощупать, даже понюхать. Но двигался он вперед.

Какое богатство был военный рынок. Вся человеческая бедность, вынесенная напоказ, создавала странную иллюзию обилия. Все тут возможно встретить: зажигалки, одеколон, бритвы, плоскогубцы, книги, гвозди, пуговицы, штаны, абажур, глиняную копилку-кошку с узкой щелью на закривке.

Кто-то кому-то пояснял, что означает номер сверху консервной банки (не рыбная, какая же она рыбная, мясная эта банка, чудак!), кто-то жег спичкой нитку на шерстяном отрезе и совал в нос покупателю, доказывая, что шерсть есть шерсть, а не что-нибудь иное. «Слышь, завоняло? То-то же!» И Васька сунул нос, вынырнув из-под руки, и точно, воняло, как паленым от собаки.

— Отрез из собачьей шерсти! — сказал он мимоходом, но его тотчас шуганули.

Старикашка кричал громко:

— Мастика для бритвы! Мастика для бритвы! Мастика для бритвы! Женщины любят бритых да молодых!

Васька посмотрел на старика и крикнул на ходу:

— Сам-то чего небритый?

Старик тут же среагировал:

— Сам бы брился, да других надо уважать! Покупайте, молодой человек!

— Не отросло еще, — сказал Васька.

Старик подмигнул, восклицая:

— Вострая бритва везде сгодится!

Но Васька уже его не слышал, он уставился на чьи-то руки, державшие часы. Спорили двое, и хозяин часов говорил: «Да хошь, я их об землю сейчас? Хошь? Ты вот скажи, что хошь, и я их об землю!»

— Зачем их об землю? — спросил покупатель.

— Как зачем? Ты говоришь, мол, часы негодные или плохие? А я говорю, что лучше этих часов сейчас на рынке нет и не было. Вот шмякну об землю, и посмотрим. Какие они...

— Я не говорю, что они плохие!

— Ага, значит, думаешь! А ты не думай, это тебе не штамповка какая-нибудь, сам у фрица с руки снял!

Васька постоял, подождал немного, а вдруг тот, что с часами, действительно возьмет да шмякнет. Но он продолжал хвалиться, и Васька разочарованно отошел, размышляя над тем, что купля-продажа это не столько сама вещь, сколько разговор вокруг нее, и красноречие здесь, а попросту язык, и есть самая большая ценность. Уговоришь — значит, продашь. Голод заставит быть разговорчивым.

Васька уперся глазами в двух сидящих у ящика людей. Один из них играл в «петельку», другой — в «три карты». Ну, «петельку» Васька знал. Там, куда ни суй палец, пусто будет. И все это знали. Поэтому игра шла по дешевке, по рублю. А вот карты... Тут, как говорят, ловкость рук и никакого мошенства...

Васька, затаив дыхание, смотрел, как пьяный дядька раскладывал у всех на виду карты, приговаривая для любопытных, собравшихся вокруг: «Игра простая, и карта такая, вот тебе туз, а вот король... Попадешь на туза, не возьмешь ни фига, а попадешь на короля, сто рублей с меня!.. Кладу на виду!»

Васька точно угадал, где лег король, и все вокруг видели, как и Васька, что король лег с левого края. Но стоило кому-нибудь показать на карту, как дядька кричал: «Червонец сперва на стол!» Вот тут, как догадался Васька, и есть самый главный фокус в игре. Червонец-то

не близко, за ним лезть надо. Кто теперь близко прячет? Только человек руку отпустил от карты да двумя руками за бумажником полез, ан карта там уже другая. Отпусти руку — и все тут, нет короля, как не было. Положил человек червонец, переворачивает: не та! А все кругом хохочут! Не первый такой ты дурачок... Не первый и не последний!

Дядька кое-как сует смятый червонец, а там в кармане у него другие торчат... Эх, словно зачесалась у Васьки рука, пальцы зазудило. Но близко локоток, да не укусишь. Знает Васька по опыту, что вокруг картежника выются свои, разжигают страсти, заинтересовывают толпу, сами для виду играют. Ловят простачков в свои сети. Уж дядька недосмотрит, так эти углядят, прибьют.

Поднял Васька глаза, а рядом Купец стоит. Тоже в карты уставился. Норовит не заплатя угадать.

— Эй, — сказал Васька, — чего продаешь? Это что, машинка для стрижки волос?

Купец только рыжими глазами повел на Ваську, буркнул недовольно:

— Не лапай, не купишь.

— А мне она и не нужна, — сказал Васька. — Тут один бывший парикмахер искал... Мол, машинка ему нужна...

Купец перестал шарить глазами по картам, обратился к Ваське, недоверие на лице. Не доверяет, а отпустить Ваську боится.

— Кто такой? — спрашивает. — Покажи!

Васька посмотрел в лицо Купца, конопатый, глаза, как у лягушки, широко расставлены, а в них плохо скрытая жадность. И губы толстые, шлеп-шлеп... В детдоме бы его сразу нарекли «губатым».

— Пошли, — сказал Васька и полез снова в толпу. Издалека увидел солдата, ткнул Купца в его сторону:

— Он!

— Солдат, что ли?

— Ага. Интересовался твоей машинкой!

Только подошел Купец к солдату, как Васька его сзади обхватил и закричал солдату:

— Это он, он! Это Купец тот! Держи!

Купец не успел и среагировать, как солдат взял его под руку, интересно так взял, что и не вырвешься и даже не пошевелишься: больно будет.

— Чего тебе? Чего хватаешь? — заныл Купец сразу. И голос стал хлипкий, противный.

Солдат посмотрел на него и, задвигая поглубже в простенок, спросил негромко:

— Слушай, Сенька, у меня к тебе такой вопрос. Ты у меня винтовку брал? И вещмешок? И документы?

Купец даже нить перестал, глаза вывернулись наизнанку. Попытался что-то сообразить и только губами безмолвно шлепал. Васька стоял на выходе из простенка и знал, что если Купец рванется и ему удастся освободиться, то Васька ляжет ему под ноги. А солдат поднадавил на руку, так слегка надавил, но Сенька застонал от боли.

— Брал или нет?

— Нет, — сказал Сенька.

— А если вспомнить?

— Нет, не брал я.

— А если еще вспомнить?

— Клянусь, не брал!

Солдат оглянулся вокруг. Проходили мимо люди, некоторые обращали внимание. Понял солдат, что ничего из Сеньки таким путем не вытянешь. Да и времени нет с ним возиться. Не в лесу, на рынке. Тут у Купца знакомых блатяг видимо-невидимо. Один углядит, и все пропало.

Солдат опять оглянулся, велел Ваське остаться тут, а сам повел Купца в сторону. Сперва держал, как прежде, за руку, а потом и держать перестал. Уговаривал, внушал, а Купец все мотал головой.

Васька смотрел издали, но уяснил уже, что ничего не скажет Купец. Его не напугаешь, он стоеросовый! Весь в свою маму Акулу. От коровы теленок, а от свиньи поросенок! Васька увидел, что солдат снял часы, посмотрел время, что-то прикидывая, и показывает Купцу. Тот зашлепал губами, впился в них, глаз не сводит. А солдат ему

прямо в руки. На, мол, смотри. Схватил тот, к уху прижал, а лобик у него узкий, как у обезьяны...

Васька смотрит на Купца, а Купец то на часы, то на солдата. Пытается что-то сообразить. А что соображать, видно и так, что Сенька Купец продажный. Он за деньги мать родную продаст и себя в придачу.

Увидел Васька, как Купец торопливо засунул часы в нагрудный карман, извлек огрызок карандаша и тут же на пачке «Беломора» стал что-то писать, карандаш он слюнявил во рту. А Васька с яростью, так что горло перехватило, подумал: жаба! Сказать, крикнуть не мог: боялся испортить дело.

Солдат принял написанное, прочел, сунул в карман. Уже громко произнес:

— Ну, смотри, Купец! Если тут насочинял!

— Во, клянусь, — забормотал тот, бледнея и отодвигаясь на всякий случай в толпу. Может, он испугался, что часы заберут обратно. — Что я, враг себе, что ли. Договор дороже денег...

— Для тебя-то? — без улыбки спросил солдат. Брезгливо отвернулся, показывая, что разговор кончен и ему противно стоять рядом.

— Жаба, — сказал Васька, вложив всю свою ненависть. — Ты, Купец, жаба!

Тот зыркнул на Ваську, но никак не среагировал, а сразу влез в толпу и пропал. Ясное дело, дал ходу подальше. А солдат продолжал стоять как раньше, словно забыв, где он находится.

— Дядя Андрей, — позвал Васька.

Тот обернулся, незрячим оком окинул рынок, Ваську. Медленно дошел до стены, сел на завалинку.

— Подожди, Василий... Сейчас, что-то устал.

Дышал он тяжело, будто долго работал. Щеки опали, и глаза ушли. Посмотрел сбоку Васька, как жизнь измочалила человека. Его накормить надо, вот что. Без жратвы и без сил он долго не протянет.

— Посиди, я сейчас, — сказал Васька и полез в толпу.

Де ужом, а где ласточкой пролез, проскользнул, прырнул Васька — напрямки к картежному барыге. У того по-прежнему червонцы смятой горстью из кармана торчат. А он, видать, поддал еще, шумит, карты местами перекладывает.

Васька пристально посмотрел на него издалека, точно измерял глазами или вдушал что-то. Притерся сбоку, вперился в карты, а руки сделали остальное. За угол двумя пальцами, как ножницами, потянул бумажку на себя. Тише дуновения ветра было это движение. В лице оживленное внимание к картам, в теле немота и напряженность в каждой отдельной мышце, в ногах — пружинистый, готовый к прыжку рывок. А руки сами по себе работают, знают, как делать дела. Тончайшая, ювелирная работа, если по достоинству оценить. Указательный и средний по миллиметру тянут, а другие пальцы на подхвате, в малый комок сворачивают, в рукав продвигают. Уж готово, да не совсем, паузу требуется выдержать. Постоял Васька, на небо поглядел, все-то чувствуя вокруг, — и крабом в щель, в толпу. Вот теперь — все.

Вынул червонец, оглядел с двух сторон, разгладил, потом свернул вчетверо. Положил в левую ладонь и свободно, как гуляя, к барыге-картежнику подошел. Стоял, жвав червонец в руке, караулил.

— Игра простая, карта золотая! Вот тебе туз, вот тебе король!

Васька смотрел не моргнув, ел глазами карты, засек намертво, что король лег с правой стороны. Шмякнул на него рукой, к месту прижал: «Тут!»

Барыга захохотал, и все кругом оскалились.

— Деньги на бочку! — произнес, будто отрыгнул сивухой, показывая желтые, прокуренные зубы.

Васька правой вцепился в карту, а левой протянул червонец — вот, мол, держи.

Тут барыга улыбку стер, в упор взглянул на Ваську, потягивая носом. Нагло прошипел:

— Проиграешь, цуцик! Не советую!

— А мне, дядя, денег не жалко, — овечкой смотрит Васька, глаза доверчивые, как у дурачка. Барыга и тот усомнился: идиотик, что ли, он, влез на мою голову. Если идиотик, недоношенный, отцеплю.

Чувствует Васька, как сзади поднадавили, кто-то свой старается, гнет Ваську, мешает ему. Хотел оглянуться, а тут карта сама собой, как живая, поползла из-под пальца. Васька второй рукой вцепился. Вот-вот упустит короля.

— Мал еще! — как закричит барыга. — В школу ходить надо, а не на рынке играть!

Знает, куда бить. Но не на таковского напал. Васька за себя постоять может. Вперился в zenки барыги, руками карту держит, а ртом работает, кричит как можно сильнее, чтобы скандалом толпу привлечь.

— Ты, дяденька, на сына кричи, а я сам свои гроши зарабатываю. Ты по росту не смотри, мой червонец ничуть не хуже, чем твой. Ты прямо, дяденька, скажи, почему я не могу играть!

— Пусть играет, — сказали в толпе. — Что тебе, чужих денег жалко?

Откуда-то инвалид появился с пустым правым рукавом. Посмотрел на карты, на Ваську, спросил басом:

— Чего ты? Дай мальчику сыграть. Не все равно: он или я? Ну, считай, что моя карта.

— Сам и плати! — сказал зло барыга.

— Заплачу, — произнес спокойно инвалид. — Держи, мальчик, свою карту, поскольку у нас три руки на двоих. Сейчас мы его потрясем немного...

В толпе засмеялись. Васька чувствовал: теперь все на их стороне. Инвалид положил свой червонец, а Васькин забрал.

— Переворачивай, мальчуган! Посмотрим, какое наше счастье!

— Переворачивай! — крикнули нетерпеливые.

Но странно, и барыга повеселел, по-свойски крикнул инвалиду:

— Не боишься? Хочешь, я сумму удвою? А утрою? А? — и захохотал принужденно. Васька почувствовал, как

играет барыга, но не мог смекнуть, к чему это. Пугает ли, ва-банк пошел? Давит инвалиду на психику. Расчет-то верный, у фронтового человека равновесия не может быть. Разве что выдержка, и то до поры. Вот барыга и жмет на эту самую выдержку, вывести из себя пытается.

— На тыщу, — орет, — играем! Как?

Толпа замерла. И Васька замер. Вот до чего дошло, на его карту ставят целую тыщу. Глаза сошлись на инвалиде, и Васька смотрит, но жалобно смотрит, испугался. За свои бы, наверное, нет, но деньги-то чужие, а карта Васькина!

Пошевелил инвалид губами, состояние свое прикидывал.

Вдруг махнул единственной рукой:

— Валяй на тыщу!

Ахнули все. Круг придвинулся, задние на цыпочки встали. А барыга руку сверху Васькиной положил, чтобы, значит, не торопился.

— Не боишься? — зубы оскалил радостно.

— А чего тут бояться, — смеется тоже инвалид. — Сотня, тыща... это не жизнь... А жизнь — не игра.

— У кого не игра, а у кого — игра, — с вызовом бросил барыга.

У Васьки пальцы онемели держать карту. Уж сам не знает, что он держит, может, под рукой и карты никакой нет. Чего вдруг барыга развеселился, разошелся? Как правоту чувствует?

— Хватит, переворачивай, — кричат в толпе.

— Переворачивай, — говорит инвалид.

— Ладно, — сказал барыга, — не буду на тыщу. Не хочу грабить героя-бойца, а червонец — возьму, чтобы не лез на рожон, в лобовую атаку.

Снял он свою руку, и Васька со страхом перевернул. Все подтянулись, чтобы посмотреть: король! «Вот, нагленок, короля держал, а если бы вправду на тыщу! Хватай деньги и тикай, пока не отняли!»

Инвалид хлопнул дружелюбно Ваську по спине: мол, бери, твои — и отошел. Видать, торопился. Стали все расходиться. А барыга считал червонцы медленно, поглядыва-

вая по сторонам, положил сто рублей Ваське в ладонь, но руку не отпустил:

— У нас так, милый, не водится, играй еще!

Васька и сам сообразил: не отпустит. Ткнул пальцем заведомо другую карту, отдал червонец и тут же смотался. На Васькино счастье, кто-то подвернулся играть.

Тут же купил Васька полбуханки хлеба, пять вареных картофелин и огромный, бурого цвета соленый огурец. Прижимая все к груди, пролез к стене, где недавно оставил солдата, и не нашел его. Быстро посмотрел во все стороны и тут только увидел в спину, что уходит в сторону вокзала дядя Андрей, а рядом с ним еще два военных с красными повязками на рукавах.

Хотел Васька побежать следом, да ноги отнялись. Сел он на ту самую завалинку, где недавно солдат сидел, хлеб положил, картошку, огурец. Посмотрел на свою провизию, слезы потекли из глаз. Из-за них, из-за картошки да хлеба, потерял он дядю Андрея. Оставил одного, хоть обещал беречь. А теперь его забрали, навсегда увели. Остался Васька один — на всю его жизнь.

16

Андрей не заметил, как подошли к нему двое.

— Почему не приветствуете, товарищ красноармеец?

Андрей вскочил, отдал честь.

— Документы, — сказал один.

В глазах у Андрея, оттого ли, что встал, или от общей усталости и от голода, все померкло, покрылось серой пеленой. Он провел рукой по глазам, встряхнул головой, но увидел солдат как издалека.

Многажды за эти сутки он представлял, как его возьмут, как поведут... Было это страшно. От одной мысли холодело в животе. А теперь вот они стояли, как представлялось, и только не было страшно. Он пережил раньше свой страх, оставалась одна пустота.

Андрей вздрогнул, посмотрел на лицо солдата. Вспомнил, что давным-давно, в непонятные времена, рыжий красавец ефрейтор просил у него закурить. А тот улыбался во весь рот, конопатины на носу светились.

Андрей натянуто улыбнулся.

— Свой, — сказал рыжий ефрейтор длинному напарнику. — Я у него проверял. Как дышится в родном городе? — спросил он Андрея.

— Да ничего, — ответил Андрей каменно.

— Девки небось заездили?

Они прошли несколько шагов вперед, и рыжий что-то спрашивал, Андрей отвечал. Был он как во сне. Не верилось, что могло так гладко пройти. Сейчас поговорят, пошутят, а потом дружелюбно предложат: «Айда-ка, парень, с нами. Что мы, не видим, что ты без оружия и без документов. Пойдем, пойдем...»

Сам Андрей вдруг предложил:

— Пойдем? — Он решил, что так станет легче. Он честно все расскажет, не будет носить свою тяжесть. Что бы там ни случилось, но хуже, чем сейчас, не будет.

— Иди, иди, — воскликнул рыжий. — У тебя время — золото! — Протянул руку, бросил мимоходом, незначаще: — Не забывайся, хоть в родном городе... Всему свой срок!

Андрея мгновенно мысль сквозная прострелила: «Вот что! Запомнил рыжий про суточную увольнительную. Выручил, потому что решил, что прогулял он лишнее. Тоже грех, но не столь велик, каков был на самом деле».

Андрей как выдохнул:

— Спасибо, друг!

— Не за что, — сказал рыжий, козырнув. Подмигивая желтым пронизательным глазом, пропел весело: — «Вспомню я пехоту, и родную роту, и тебя за то, что дал мне закурить...»

Разошлись, чуть полегчало. Сейчас только подумал солдат про Ваську, стал проталкиваться к старому месту. За чужой толпой увидел: ссутулившись, сидит мальчик на завалинке, как потерянный, глаза руками трет.

Сел солдат рядом, взял за плечо:

— Ну что, Василий? — а тот дернулся, обернулся, замер счастливо. Сердце чуть не выпрыгнуло у Васьки.

— Дядя... Дядя Андрей! А я-то подумал...

— Ага, — сказал солдат. — Я тоже, Василий, так подумал. Пойдем-ка скорей отсюда. Хватит нам испытывать судьбу.

— А у меня глядите! Хлеб с картошкой!

Солдат ничего не сказал, забрал продукты в широкие горсти и торопливо, локтем вперед, пошел через толпу, Васька за ним. Выбрались с рынка, и только за домами, когда пошли заборы да огороды, солдат чуть уменьшил шаг. На какой-то полянке вывалили хлеб наземь, картошку, огурец и оба сели.

Жевали, глядя друг на друга, словно впервые увидели.

— А ты, Василий, жук! Ох, жук!

— Почему, дядя Андрей?

— Гм... Еще спрашиваешь почему?

— Ага, я непонятливый с детства.

— Сейчас поймешь. Где взял еду?

— Нашел, — сказал Васька и поглядел солдату в глаза.

— Валялось? — спросил добродушно солдат с набитым ртом. У него вышло так: «Ва-я-ось?»

— А что, не бывает, что ли? Карточки теряют... А однажды я слышал, будто корову целиком потеряли.

— Дойную? — спросил солдат серьезно.

— Не знаю. Да ну вас, чего пристали. Говорю, нашел!

— Увидел, нашел — насилу ушел! — сказал солдат, как в шутку, но лицо у него оставалось строгим. — Давай-ка на первый случай договоримся, Василий, с тобой вот о чем...

— О чем? — спросил Васька, перестав жевать.

— В общем-то мелочь, но... Давай так: с сегодняшнего дня не красть. Ладно?

Васька с готовностью кивнул. Про себя он подумал: «Ишь ты! Не красть! Разве так бывает? А я не хуже других, только и всего!»

Хоть Васька наклонился, спрятав глаза, солдат услышал Васькины мысли. Впрямую изрек:

— Я, дружок, не шучу. Пойми, настоящие люди этим не занимаются.

— А как жить? — Тот вытянул резко остренькое лицо к солдату.

— Так и жить. Не врать и не красть. Настоящие люди уважают других людей.

— Сейчас война, — убежденно рассудил Васька. — А красть можно и у жуликов, они нынче во — разъелись!

— Какая же разница, если все равно кража? Тут враг против нас, весь мировой фашизм навалился. А мы... Что же, мы должны как звери — только бы выгадать да уцелеть? Так разве надо?

— Нет, — помотал головой Васька.

— Представляешь, какими бы мы были, если бы каждый человек стоял только за себя?

Васька представил, как он сейчас живет без дяди Андрея, и вышло это плохо.

— Украли у меня вещи, оружие... — размышлял вслух солдат. — А мне гадов бить надо. А я тут, в тылу, как последняя сямка скрываюсь, вместо того чтобы за нас с тобой грудью стоять. Отчего так, Василий? Оттого, что мелкие хищники, тыловые сучки, не думают о нашей общей победе. Каждый суслик вырыл свою нору и туда тащит, как будто нет у нас общего врага. А он придет и по отдельности передушит. Если по отдельности...

— Дядя Андрей, — влез Васька робко. — Дядя Андрей... Я хотел тогда сказать, что я ведь тоже там был.

— Где ты был, Василий? — рассеянно спросил солдат.

— Там! — Васька мотнул головой и закашлялся. Из рта полетели крошки. Ваське стало жаль крошек, он зажал рот ладонью, пересилил кашель. Сжевал, посмотрел на солдата. Тот ковырял травинкой в зубах и молчал. — Вы не думайте, — тревожно произнес Васька, — я к вам и не подходил вовсе, хотя они компас...

Солдат отвернулся лицом к деревьям, покрутил головой, встал. Не спеша отряхивался, собираясь уходить.

Васька понял, что солдат сейчас уйдет, бросив его. Он уже сообразил все про Ваську, что Васька — мелкий хищник, гад, который не хочет бороться вместе со всеми за победу над врагом.

Васька подскочил с земли, забежал спереди солдата, отчаянно захлебываясь, замельтешил торопливо, глотая слова вместе со слезами. Он говорил, что хочет вместе со всеми, а не сам по себе, как жил он до сих пор. Он, Васька, и в мыслях не держал, что он кому-то нужен. А если бы он оказался нужен, то Васька весь тут, готов бороться за победу... А потому он никогда в жизни не возьмет чужого, ему и не надо ничего, лишь бы считали настоящим человеком.

Были слова такие или не совсем такие, а может, лишь сплошное бормотание сквозь Васькину истерику. Но солдат разобрался. Стоял, упершись глазами в мальчика, изучал. Как проверял все равно.

— Ладно, Василий. Я твое слово запомню.

Ночью Андрею приснилось, что его ищут. Все знают про него, мальчишки из-за сосен следят, пальцем указывают. А бойцы разбились цепью, прочесывают вокруг лес. Хочется крикнуть: мол, с вами я, не успел. А голоса-то нет! Все украли: оружие, документы и голос... Пойти бы в штаб, доложить по форме: мол, боец Долгушин прибыл. Дайте снова оружие, оправдаю, товарищи, кровью. Сказали бы ему: иди добудь винтовку у врага. Мы верим, что ты, Андрей, честный человек, хоть и споткнулся. Мы куем победу над врагом, и надо доказать, что ты да Васька — со всеми вместе, а не отдельно.

Как же случилось, что лежит он в сарае, скрывается, как последняя шкура? А цепи сходятся тесней, и видно, как шагают Воробьев и Гандзюк, а старший сержант Потапенко сурово поджал губы. Лейтенант Сергеев хлещет по сапогам прутиком, как бы гуляет меж деревьев.

и вдруг этим прутиком тычет в сторону сарая: тут проверьте!

Роют уже поленья, швыряя их в сторону со стеклянным стуком. Пропал Андрей! А голоса нет, и сил нет, чтобы подняться и стоя, а не лежа, встретить своих... Не по-собачьи, сжавшись в узелок.

Застонал Андрей от своего позора и проснулся. Сразу сообразил, что стонал он вслух. За пленницей кто-то ворошит дрова. На улице светло. Солнце в каждой щели, сечет сумрак лучами. И воробьи наверху чвикают, ссорятся, пищат, крошки и всякий мусор сыплется Андрею на лицо.

Он скривил губу, пытается сдуть с себя, со щеки эти крошки. Услышал, как встали на солнышке по ту сторону стены ребятишки, судачат о своем. Через доски их видно по контуру щелей.

Андрей прислушался: говорили о своих делах. О том, что какого-то Грача вызвали к директору за разбитое окно. Директор, мол, сказал, что сам разбил, сам и вставляй. Почему все должны мерзнуть? Не вставишь, мол, и не приходи. А где он, Грач, найдет новое стекло, легче ему из детдома уйти. А Сморчок, тоже чудеса, стал пропадать неведомо где. Раньше кусочничал, под ногами вертелся, норовил в рабство за кусман продаться. А теперь... Прибежит, глазами поворачивает и спать. Может, спер по-крупному да подъедает потихоньку, надо последить...

Тут крикнули со стороны: «Завтрак готов!» И ребята посыпались от стены, вмиг не стало никого. Андрей стал думать о Ваське, но сон вспомнил, настроение его погасло. Повернулся резко, аж воробьи перепугались, вспорхнули. Так решил: сегодня последний день у него. Найдется али не найдется оружие, надо выходить. Хватит по-звериному жить и усугублять свое положение. Дальше фронта не угонят, ближе тыла не пошлют.

Принял решение и стал выбираться из лаза на волю.

Теплым вечером возвращался Васька в детдом. Шел и оглядывался. Небо и земля, крыши домов, голые скелеты деревьев — все обрело необыкновенный сиреневый оттенок. Будто плеснули химических чернил. И запах был цветной, густой, вечерний.

Странное чувство испытывал Васька. Он впервые увидел в жизни настоящую весну. Вдруг спала с глаз пелена, и узрел он мир в прозрачных сумерках, в удивительном закатном свете. Так пронзительно, так ярко все увидалось. Зима казалась теперь одним непрерывным серым днем, без запаха и цвета. Но она кончилась, с ледяным голодом, промозглыми холодами, и наступила перемена в Васькиной теперешней жизни.

У дома на пустыре ловили майских жуков.

Ребята приседали, чтобы лучше видеть на фоне светлого неба. Когда издали появлялись тяжелые, замедленно и неровно летящие жуки, все бросались им навстречу, швыряли галоши и шапки, размахивали ветками, пучками прошлогодней травы. Ползали по земле, отыскивая их на ощупь, старались разглядеть, поднося к глазам, какого цвета шейка. У самочек шейка была красная, у самца синяя. Самцы попадались реже.

Так продолжалось до темноты. Впрочем, никакой темноты еще и не было, но сгустилось настолько, что жуков, еще летящих, гудящих над головой, никто не различал. Но и от одного их близкого дребезжащего гуда в этих серых, синих, сиреневых сумерках у Васьки приятно кружилась голова.

Детдомовцы, собравшись, пересчитывали добычу, хвалясь друг перед другом и поднося спичечные коробки к уху, было слышно, как в них царапается и шуршит. Васька вертелся между всеми, слушал, смотрел и никак не завидовал чужой удаче. Была бы охота, он завтра наберет их хоть корзину с молодых березок. Спящие жуки, только потряси ствол, сами посыпятся, как желуди, наземь. Но разве интересно собирать спящих жуков. Другое дело —

ловить вот так, с воем, с криком, отчаянным азартом, когда колотится сердце от захватывающей этой охоты. Но еще пуще, это впервые сегодня понял Васька, была сама причастность его ко всем, объединявшая их общность ловли и азарта.

А тут еще кто-то крикнул:

— Скорей! Радио известия передает!

И всем скопом, с топотом и сопеньем, ринулись на крыльцо и в кабинет директора, где висел репродуктор с порванной тарелкой.

В давние времена кто-то из воспитателей принес его в детдом, прицепил на гвоздь, так он и висел, сквозь вырванный черный клочок была видна стена.

Все могли разрушить детдомовцы: топчан сломать, на котором спали, миску сплющить, из которой ели, ножку у стола отвернуть... Но репродуктор этот, висящий, как говорят, на честном слове, который можно было сто раз унести, раздраконить, разобрать по частям, никто никогда не тронул... Да и попробовал бы тронуть! Он приносил ребятам главное: вести с фронта. А кому они были важней, как не детям, чьи отцы шли через войну к тому дню, когда вернуться и заберут их домой.

И каждый понимал это. И каждый лез под самую тарелку, чтобы лучше знать, слышать, что происходит на переднем крае. А Васька, который в обычное время слушал как бы издали, потому что не ждал никого и никогда, а ждал победу, которая в его жизни могла вдруг все изменить, нынче Васька протиснулся ближе всех. С появлением в его жизни дяди Андрея фронт и новости, идущие оттуда, стали его интересовать. Не сегодня завтра дядя Андрей поедет туда, и очень нужно Ваське знать, как там сейчас, очень ли опасно будет для его дяди Андрея.

Диктор сообщил от последнего Совинформбюро, что на фронтах шли бои местного значения. Голос в репродукторе дребезжал, а временами даже звенел от резонанса. Но тихо было в комнате, как не бывает никогда при большом скопище детей.

И тут вновь, и опять же впервые, почувствовал Васька, что все они, и он и другие ребята, от самой малой пацанвы до великовозрастных, объединены чем-то большим, чем просто их жизнь в детдоме...

А потом кончилось, распалось, и всяк оказался сам по себе. Расползались пацаны, как выпущенные на волю жуки: каждый в свою щель. А Васька побрел в спальню.

В комнате, в дальнем углу, сидел Толька Рябушкин со своим отцом — старшиной, он служил неподалеку в части. Каждый вечер старшина приходил с зеленым вещмешком, одним движением развязывал петлю и доставал котелок с кашей. Отгородив сына от назойливых ребячьих глаз, садился и молча смотрел, как Толька поглощает свою кашу.

Никогда ничем не интересовался этот озабоченный и скучный человек. Перед скорой отправкой на фронт жил в нем один непроходящий страх, вызванный неминуемым расставанием с сыном.

Никого из Толькиных дружков не помнил он в лицо, да, кажется, их побаивался. Может, он себе и детдом представлял как скопище одинаково больших и прожорливых ртов, которые норовили что-нибудь урвать из содержимого котелка, предназначенного сыну, лишь ему одному.

Возможно, старшина сам недоедал из-за своей так проявляемой любви и некоторой доли вины за то, что он уедет на фронт, а сын останется тут голодать.

И он пихал, пихал в Тольку свою кашу.

Упрашивал, умолял съесть и утешался, и вздыхал свободно, когда котелок освобождался, а Толька наполнялся до краев.

Вот и сейчас сын уже давился, прикрытый отцом как каменной стеной. Он канючил сквозь набитый рот:

— Паа, я не хочу... Я не могу... Я потом...

— Что ты! Что ты! — пробормотал старшина испуганно, суетливо. — Ты ешь сейчас. Отдохни и поешь. А потом я снова принесу.

Толька Рябушкин пыхтел, откидывался навзничь, стараясь вдохнуть воздух. Даже привставал, чтобы больше умялось.

Ребята занимались в спальне своими делами, готовили постели, но слышали они все, и каждый звук со стороны Тольки, каждый скребок ложкой по металлу раздражал их, вызывал голодную слюну.

Старшина не выдержал длинной волынки, выскочил в туалет.

Толька и его котелок, стоящий на коленях, открылись как царский трон все равно.

Не спеша обвел он спальню царским оком и голосом повелителя — куда теперь пропал его писк — стал выкликать дружков. Но первыми позвал Боню и Сыча. Так покупалась желанная свобода, независимость и дружба Толькина.

Каждому вываливал он ложку каши в протянутые ладоши. Счастливыцы отбегали, трусили через спальню, поедая кашу на ходу, облизывая пальцы.

Сыч не пошел сам, ему принесли в ложке.

Васька залез с головой под одеяло, скрючился, один витой буторок от него.

— Сморчок! — крикнули ему.

Прозвучало неожиданно, как труба архангела.

Все было в этом призыве: жалость к Сморчку, высокомерие, снисхождение и что-то неуловимо унижительное, чего никто из других ребят не замечал, да и Васька бы не расслышал в иное время. Но сегодня его слух и зрение были особенными.

— Сморчок! Долизывать! Живо!

Все удивились, как повезло Сморчку. И он сам удивился. Уж так всегда бывает: везет, когда не ждешь.

Васька даже одеяло открыл, упустив драгоценное тепло.

Но вдруг подумалось, что брошенный с лету кусок не радует его, как обрадовал бы, скажем, вчера. Но ведь и сам Васька не такой, как вчера. Он сегодня жил по-другому, а с

ним был дядя Андрей, который стоил тыщу таких старшин, с тыщей их котелков с кашей.

Только нетерпеливо прикрикнул:

— Ну? Сморчок? Не веришь своим ушам? Тебе, тебе!

— А вдруг он не хочет? — хихикнули.

Спальня с готовностью заржала. Где это видано, чтобы Сморчок отказался от куска! Мочу пил за ложку каши. Клянчил, шакалил, в рот смотрел. А тут задарма, по одной Толькиной милости, весь поджарок долизовать на дне. Да скорей гром небесный грянет, чем Сморчок не побежит за котелком. Тут еще уследить надо, чтобы железо не проскреб наскрозь!

За смешками да шуточками не уловили сразу Васькин жалкий голос. Как он вскрикнул растерянно:

— Не хочу.

Сам удивился, как смог такое произнести. Что же тут говорить про остальных! Смех пропал, как ветром сдунуло.

Кто-то пискнул по инерции, стало тихо.

— Что? — спросил Толька, вытягивая шею.

— Не хочу.

Ко всему здесь привыкли. К издевательствам, к унижению, к голодным просьбам о помощи, к рвачеству, воровству и хищничеству. Но такого не было, да и быть не могло.

Недоуменное молчание затягивалось, копилось, становилось угрожающим. А потом будто разверзлось небо и пала на Васькину голову гроза. Обвалом грохнула, канонадой, рассыпалась синими молниями.

Кто ревел, кто визжал, а кто блеял.

Иные закатились от истерики.

Но самые скорые жлобы, шакалы, ублюдки, сявки и прочая мелочь подлетели к незабвенному котелку, просили, молили, вопили о каше:

— Толик! Толик! Толик!

— Мне! Мне! Мне!

— Дай! Дай! Дай!

И он растерялся, поднял котелок над головой, чтобы не вырвали, выбирал достойнейшего, тут и старшина вернулся. Вмиг рассыпались все по койкам. Озабоченный, погруженный в свои невеселые мысли, он заглянул в котелок, и все будто с ним заглянули, стал опускать его в мешок. Ребячьи сердца оборвались, когда он завязывал странной петлей, когда закидывал на спину и уходил.

Вся неудовлетворенная страсть, ребячий недосыт, недобор, пережитое в конце унижение обратились теперь на Ваську.

— У-у, Сморчок! — крикнули угрожающе. — Обожрался, что ли?

— Может, карточки спер, поделись!

— Может, бухарик накалымил?

— Надыбил мешок картошки?

— Солонину высветил?

— Тушенку изобрел?

— Может... хрусты?

— ...Стибрил? Стащил? Украл? Слямзил? Стянул? Спер? Сваланда! Обчистил? Обобрал? Наколол? Сверзил? Скукурил? Стырил?

Швырнули подушкой, ботинком.

Наступили ногой на голову.

Пхнули топчан, он покачнулся, но не упал.

Неизвестно, чем бы все кончилось, скорей всего «темной» — избиением, узаконенным детдомовскими обычаями.

Голос Бони прозвучал вразрез с общим настроением.

— А чего, — рассудил насмешливо Бонифаций. — Виноват он, что ли, если запор, к примеру, вышел. Али понос какой... У меня тоже бывает.

Охотно засмеялись.

Кто-то запел:

— Сморчок-чок-чок! Пошел на толчок-чок-чок! Залез в говничок-чок-чок! Нашел пятачок-чок-чок! Облизал и молчок-чок-чок!

Уже на «чок» подпевала вся спальня. Зло ушло в шутку, в крик.

Васька понял: пронесло.

Не то чтобы он сильно переживал. Но сердце заняло, сжалось. Кожа покрылась сыпью от нервного ожидания. Холод камнем засел в животе. Засосало, закрутило в утробе от черного, от беспросветного одиночества.

А ведь только недавно вместе ловили они жуков! Как дружно, как счастливо в общем единении у них выходило.

С тем же азартом, с той же безжалостностью обернулись теперь против одного, сообща гнали, как майского жука неопытного в первый день его вылета!

«Держись, Василий, — будто голос солдата рядом. — Начать жизнь по-новому ой как не просто. Будь человеком, мальчик, держись».

Проснулся Васька раньше других, специально себя на такое время завел. Выскочил в коридор и наткнулся на воспитательницу Анну Михайловну. Не смог увернуться, поймала за плечо, стала назначать дежурным. В другое бы время Васька с радостью, кто ж не хочет быть дежурным, пайки тасовать.

Анна Михайловна достала карандашик, бумажку, спросила:

— Как фамилия?

— Тпрутпрункевич, — сказал Васька.

— Пру... Как? — удивилась воспитательница, глядя на Ваську холодными синими глазами.

Тут Боня с делами всунулся, мол, хор нужно организовать, выступление в госпитале. Анна Михайловна Васькино плечо выпустила, он и был таков.

На завтрак съел порцию жиденькой каши, вылизал тарелку.

— Смотри, — сказал Грач за столом и начал быстро-быстро отрывиваться. Непонятно, как ему удавалось.

— А он воздуха наглотался, гад! — крикнул Толька.

— Как это?

— Просто... Ходит и глотает целый день. А потом из него прет наружу. Называется привет от самого нутра!

— А может, так сытней? — спросил Васька с надеждой.

Мимо Анны Михайловны выскочил на высокое деревянное крыльцо, зажмурился. Солнце било прямо в глаза, лучилось из-за сосен, полосами ложилось на землю.

Васька лег на перила и животом почувствовал, что они горячие. Съехал вниз, как по воздуху проскакал до сарая, сунул мордочку в лаз. Солдата там не оказалось.

Васька соображал недолго, смекнул, что дядя Андрей, как вчера, встал пораньше, нежится на солнышке за стеной. Но и там никого не было.

Остановился в недоумении. Не мог же в самом деле солдат дядя Андрей взять и уйти?

Шагом обошел Васька вокруг детдома, глянул за кустами на пустыре, зачем-то сунулся в кухню, снова посмотрел в сарае. Радость его таяла.

Потерянный стоял Васька, чувствуя, как неуютно стало вдруг жить. Появился солдат в Васькиной жизни, и смысл появился в самом Ваське, во всяких его делах.

А так кому он нужен? Разве что самому себе?

Но подобным образом мог жить Васька раньше, до дяди Андрея. Теперь он так жить не мог.

Разве зазря он человеком себя почувствовал, чтобы назад возвращаться? Эх, дядя, дядя! Зачем же ты Ваську возродил, дал понять радость жизни не для себя, для других, из первобытности вывел? Жил бы Васька как гад болотный, ползал да пресмыкался и считал бы, что это и есть настоящая жизнь... А теперь...

Последний раз, без всякой, впрочем, надежды, оглянулся Васька, двинулся в сторону школы. Не потому, что вспомнил об уроках, ему было безразлично куда идти.

— А-а! Сморчок! Вот так встреча!

Две фигуры посреди тропинки.

Вытаращился Васька, глядит оторопело. Никак не сообразит, отчего встали поперек пути напыжившийся Витька, а с ним долговязый хмырь.

Ноги расставили, как фашисты в карауле, прищурились в упор на Ваську. Долговязый сплевывает через губу, во рту фикса блестит. Блатяга, у них фикса высший шик.

Вот когда Васька сообразил, что никакая это не встреча, караулили его. Хоть бы один Витька, а то блатягу захватил на голову выше себя. Где-то Васька его видел. Но где? Вспомнился день кражи и долговязый, ударившийся ногой об дерево... Конечно, он.

— Что скажешь? — шепелявит Витька.

Вдвоем он сильный. Подражает блатяге, сплевывает через губу. Его слюна повисает на воротнике. Не торопясь он вытирает его рукавом, цедит сквозь зубы:

— Прро-дажна-я тварь!

— Я не тварь! — вскидывается Васька, отступая назад.

Он уже понимает, что удрать не удастся. Нужно так встать, чтобы не зашли со спины. Еще шаг, и он уперся в дерево. Напружинился, хочет угадать, кто первый из этих двух ударит.

У блатяги руки в карманах, держится позади. Стоит свободно, не суетится, понимает, что Васька у них в руках. Витьке дает инициативу, пусть, мол, натешится, отведет душу. А я успею...

Витька лезет, надрывается, хочет доказать, что он сам шишка на ровном месте. Запугал блатягой жертву, голыми руками норовит взять. Отпора не ожидает.

Сообразил это Васька, молниеносно сунул головой противнику в нос. Тот лишь охнул, стал ловить воздух руками, падая, потащил Ваську за собой.

Оба покатались по сухой траве. Пыхтят, руками, ногами шуруют. То один сверху, то другой.

Витька пересилил. Уперся коленкой в грудь лежащего, замолотил кулаками по голове.

Васька шею втянул, закрыл лицо руками.

Глова как чужая, как тот старшинский котелок звенит, но уже не больно. Станным образом в короткий миг

припомнилось вчерашнее и Толькин котелок с поскребышами. С целой спальней выстоял Васька, неужто с одним не выдержит...

Поел бы вчерашней каши, не зафордыбачился, может, сил хватило скинуть с себя врага. Витька на домашних харчах созрел, на сырах, пусть они и казеиновые, из ворованного клея в авиации. А у Васьки всей мощи что от бурды и затирухи. Ее хоть бак съешь, никакой прибыли, кроме лишней мочи, не будет.

Бил, бил Витька, запыхался, решил передых сделать. А из носа разбитого красная юшка течет, Ваське на лицо капает.

Как сквозь красный туман видит он над собой противника, блатягу в стороне. Тот прислонился к дереву, одобрительно кивает: «Бей его, добивай, чтобы не жил. Без таких лучше. Да не кулаками, чего кулаки марать! Ты деревяшку возьми, деревяшкой скорей будет!»

Нагнулся блатяга, шарит палку под ногами. Отчаяние Ваську взяло. Убивают ведь, и никто не может защитить, спасти его. И дяди Андрея нет рядом. Знал бы он, какой бой досталось вести Ваське, не ушел бы тогда. Неужто конец приходит?

Не напрасно, видать, Васька зверенышем рос, сам себе главный друг и главный защитник. Извернулся змеей, от отчаяния будто силы утроились, дотянулся головой до Витькиных штанов и хватил его зубами в самый живот.

Взвыл тот нечеловеческим голосом, вся утроба в нем возопила. Волчий клик пронесся по лесу, сам Васька напутался. С испугу он и свалил врага. Сел на него, в шею вцепился.

Шкурой почувствовал новую опасность — блатяга крадется сзади, готовит палкой удар. Прыгнул Васька в сторону, выхватил стальной обломок, зажал за спиной в руке.

Знал твердо: как подойдет тот поближе, сунет ему острием в лицо, как фашисту... Потому что он и есть для Васьки главный фашист.

Блатяга углядел — блеснуло. Отпрянул, кричит:
— Эй, брось! Ты чего, финкой, да!

Васька отвечать не намерен. Как волчонок поджался, вот-вот прыгнет на врага от отчаяния. Бормочет сам не зная что:

— Воткну! Воткну! Воткну!

С тем и попер на блатягу, мало соображая, как в психическую атаку.

Растерялся долговязый, отступил на несколько шагов, глядя со страхом на взбесившегося Ваську, и вдруг побежал.

Витька за ним, пригнувшись, облапив свой живот. Может, Васька до кишок ему прокусил, вкус чужого мяса на зубах.

Остался он один посреди леса с железкой в руках. Озирался, не сознавая своей победы. Швырнул железку и сам бросился бежать, опомнился возле школы.

Ноги и руки дрожали, и весь Васька трясся от страха, который теперь до него дошел. Обессиленно лег на скамеечку, заныл, заскулил как звереныш. Жаловался самому себе на боль и еще неизвестно на что, растирая по лицу чужую и свою кровь.

Приговаривал:

— Били Ваську... Били Ваську больно... Ой, как больно били Ваську! Жалко! Били Ваську! По го-ло-ве!

18

На серой папиросной пачке было накорябано несколько слов. «Поселок Калинина, дом пятнадцать, Шурик».

Солдат шел по адресу, Ваську с собой не взял. Не хотел мучить. Пусть отдышится пацан, в школу ходит. Хоть было бы вместе не в пример занятней, веселей. Все-то Васька знает, ловок, живуч, оборотист. Перемешано в нем худое с добрым, блатное с благородным, а взрослое с детским... Дитя войны! Но кончится же она, проклятущая.

Вырастет Васька, выпрямится, как согнутое под снегом деревце...

Солдат выскочил на окраину улицы. Тут и поселок Калинина, пятнадцатый номер на двухэтажном оштукатуренном доме.

Девочка скакала по асфальту, стриженная наголо, в косыночке. На малокровном лице одни большие грустные глаза.

Остановилась, выслушав солдата, с поджатой ногой, показала рукой на дверь. Первый этаж налево.

Андрей постучался, никто ему не ответил.

Понимал он, конечно, что Сенька Купец, несмотря на уговор, предупредит дружка и тот успеет запрятать оружие. А может, и сам скроется куда-нибудь.

Он и не рассчитывал на скорую удачу. Хотелось встретиться с неведомым Шуриком, потолковать по-мужски. Не деревянный же он, что-то поймет. Ну а не поймет, тогда... Андрей заранее не придумывал, что тогда. Действовал, как учили в армии, по обстановке.

Постоял перед запертой дверью, дощатой, крашенной в бордовый цвет. Вышел наружу, присел на врытую у стены скамеечку.

Светило в лицо солнце. Пищали воробьи под крышей. Белье полоскалось под ветром на веревке. Не белье, а какая-то рвань.

Девочка, тонконогий птенец, прыгала перед глазами, играла сама с собой. Швыряла со звоном баночку от ваксы, обскакивала квадратики.

Обернувшись, спросила:

— Вам Шурик зачем? Вы родственник, да?

— Нет, не родственник, — ответил солдат, щурясь от прямого солнца.

— Он уехал... Вечером уехал, взял удочки, еще что-то. Завтра ведь праздник.

— Удочки? — переспросил солдат. — Какие удочки?

Девочка посмотрела себе под ноги, вспомнила, наморщив лоб.

— Такие, ну... длинные, завернутые в мешок.

— Так, так, — заинтересовался солдат. — И куда он? Куда направился?

— Может быть, на речку? — предположила девочка. — А вы его бабушку знаете? Она на заводе в ВОХРе работает, охранницей. Она ушла на сутки, а завтра она придет.

— Только завтра?

— Ага. Она вам все объяснит. Она добрая такая. Меня сахаром вареным угощала. И книжки приносит читать.

— Что же ты одна-то играешь? — спросил солдат. Он подумал вдруг о Ваське.

— А с кем мне играть?

— Ну... С подружками.

— Я ведь болею, — произнесла девочка серьезно. — У меня от голода болезнь. Мы с мамой приехали из Ленинграда. Я все болею и болею и в школу не хожу.

— А из школы к тебе приходят?

— Кто же придет? — удивилась девочка. — Они меня не знают. А я лежала, а сегодня вышла. Только я забыла, как играть. Я чего-то все забываю.

— А мама твоя где?

— На работе. Она у меня ударница, только поздно приходит...

— Небось плохо все одной?

— Я привыкла, — ответила девочка и вздохнула. Вздох ее был как у взрослой. Казалось, что она по-женски мотнет головой и произнесет привычное: мол, сейчас война, всем тяжело.

Но девочка спросила:

— А вы чего один?

— Как? — удивился солдат.

— Вы же военный... А военные ходят помногу.

— Ах, да! Я, в общем, не один. У меня друг настоящий есть.

— Фронтовой друг?

— Да нет... Тыловой.

— Все равно хорошо, — решила девочка. — Я тоже пойду на фронт, когда вырасту.

— Когда ты вырастешь, фронта не будет, — убежденно сказал солдат и встал. — А вот без друзей в любое время нельзя жить. И в войну нельзя. — Он помедлил, глядя на девочку, но говорил он будто не ей, а себе. — В войну особенно нельзя. Счастливо, подружка.

Протянул ей руку, девочка подала свою, тонкую, невесомую. Ниточка, а не рука. Никогда не ощущал солдат такой странной детской руки. Сейчас только дошел до него страшный смысл слов о голодной болезни.

— Приходите завтра, — предложила девочка, впервые улыбнувшись. — Завтра ведь праздник и у военных тоже? А я вам куклу покажу, Катьку, она тоже перенесла блокаду... Даже не пискнула ни разу. Придете?

— Приду, — очень серьезно пообещал солдат.

Уходя, оглянулся. Она по-женски, приложив руку к глазам, смотрела вслед.

Андрей направился в сторону железной дороги, решившись на что-то, чего сам до конца не осознал.

Около путей осмотрелся, бегом пересек их. Полеп вышел к станции. Издали увидел товарняк на том месте, где был их эшелон.

Показалось жизненно важным узнать сейчас, немедленно, тот ли самый эшелон или другой, будто могла измениться от этого судьба Андрея.

Знал он, что ждут его комендатура, короткий суд и все, что положено в таких случаях. Если поймают, и того короче. Не в эшелон лежал его путь.

Знал, но потянуло взглянуть на поезд, на свой вагон, где еще двое суток назад жил он иной, праведной жизнью. Числился примерным бойцом, дружил с остроязыким Воробьевым, стоял на довольствии, и все было понятно в его пути на фронт.

«Вы же военный... А военные ходят помногу», — определила девочка, царапнув, того не зная, по самому больному.

Отчего так бывает, когда случится в нашей жизни чрезвычайное, ставящее нас на самый край, начинаем мы ценить обыкновенное, чем мы жили и чего не замечали?

Андрей разглядел теперь, что эшелон этот свой. Свой, если мог он еще так его называть. Пригнувшись, пересек он старое люберецкое кладбище, с гнившими деревянными крестами и старыми мраморами, поверженными в беспорядке наземь.

Лег и пополз по-пластунски. Ползать во всякие времена и при всяких условиях научил его старший сержант Потапенко.

Андрей прикоснулся лицом к сухой траве, почувствовал горький щемящий запах, напомнивший о чем-то неподвижно-вечном. Подумалось, как просто было бы лечь здесь и заснуть навсегда.

Еще обломок камня попал на глаза, со странными стихами. «Прохожий, ты спешишь, но ляжешь так, как я, сядь и посиди на камне у меня. Сорви былиночку, подумай о судьбе, я дома, ты в гостях, подумай о себе...»

Последнее, хоть миновал камень, больно, как гвоздь, воткнулось в память. Подумай о себе... Господи, сколько он передумал!

Острый глаз Андрея уже различал вагоны, солдат тут и там. Кто-то завтракал, сидя на насыпи, иные, раздевшись до пояса, загорали.

«Как в доме отдыха», — подумалось с горечью.

Тут увидел он, — пальцы дрогнули и смяли сухую веточку, — из вагона, его вагона, прыгнул рядовой Гандзюк, начал споласкивать над рельсами котелок с водой. Рядом встал старший сержант Потапенко, что-то внушал солдату. Но говорил он, кажется, лениво, медленно, скорее по привычке, и все тыкал рукой в сторону кладбища. Может, какое поручение давал.

Рядовой Гандзюк ушел, а Потапенко вдруг повернулся, — Андрей сжался, сердце его холонуло, — стал смотреть как раз туда, где он лежал. Суеверно подумалось: «Видит! Он всегда и все видел, все замечал!»

Но конечно же ничего видеть Потапенко не мог. Он стоял задумавшись, и мысли его были невеселые. О бойце Долгушине, посланном в штаб и пропавшем безвестно два дня назад, о срочном приказе эшелону завтра ночью на-

правиться на юг, в район Курска. Не из-за этого ли томили несколько суток на маленькой станции, что решалась их судьба?

Не мог знать Андрей, о чем думал Потапенко, но и сам Потапенко еще не в силах был заглянуть на месяц-другой вперед, в тот горячий день пятого июля, когда начнется великая из битв войны, на Курско-Белгородском направлении, и будет это главным испытанием для него самого и его солдат.

Андрей глубоко вздохнул, трава под ним зашуршала.

Он завидовал всем, кто был в эшелоне. Чужим солдатам, маленькому Гандзюку, Потапенко, всем на свете.

Пришел бы сразу, пусть без оружия, без документов, стало бы проще все в его жизни. Пригибаясь, уходил он от поезда, и большее и отчетливее возникало в нем чувство одиночества.

Как стало не хватать ему Васьки, который бы посмотрел доверчивыми глазами и сказал какие-нибудь слова! Васька живое существо, и Андрей живое существо. Они нашли друг друга по несчастью. Беда свела их, но она может и развести навсегда.

Вспомнилось, Васька сказал: «Ладно, дядя Андрей, я вас до конца войны прокормлю».

Солдат спустился по дороге к Некрасовке, но в поселок не пошел, а обогнул его лесом. Пересек железную дорогу, оказался в Панках.

На дороге встретил девочку с портфелем.

Она оглянулась, окликнула:

— Эй, подождите! Подождите меня!

Андрей остановился, вспомнил, что видел, кажется, эту девочку вместе с Васькой. Одноклассница, что ли, его.

— Здравствуйте, Вася искал вас, — произнесла девочка, глядя на солдата снизу вверх. У нее были голубые глаза, две косички торчали из-под пушистого беретика.

— Где он? — спросил солдат.

— Его выгнали из школы... Он там сидит.

— Выгнали? Почему выгнали?

Девочка не ответила. Молча пошла впереди, указала рукой:

— Он там.

— Где?

— Под платформой. Это его любимое место.

— Какое еще любимое, — произнес солдат с сомнением, заглядывая в узкую щель, куда можно было залезть лишь на четвереньках.

Так он и сделал.

Васька валялся на земле и смотрел вверх, на белые широкие щели между досок. Услышав шорох и шаги, поднял голову, но никаких чувств при виде солдата и Ксаны не проявил.

Место и впрямь было тут у Васьки родное. Вроде бы около людей, но кровное, свое. Здесь можно было лежать или сидеть, глядя на шатучие вверху доски, слушая чужой разговор, объяснения, секреты.

Многого наслушался тут Васька, коротая время.

Все, кого он видел или слышал, начинались с ног и по ногам Васька легко узнавал их хозяев. Хромовые скрипучие сапоги, желтенькие ботинки, звонкие туфельки с каблучками. А то стоптанные брезентовые тапочки, подошвы от протекторов, галоши, скрывающие бесподметность в башмаках... Какие веселые выслушивал он дробь, когда танцевали тут! Но танцевали редко.

Соответственно хозяевам летели сюда оброненные вещички. Дорогие «бычки» от папирос и самокрутки, огрызки, бумажные фантики, монеты, даже рубли. Один раз упал кошелек, в котором почему-то оказались кусочек мыла и две булавки.

В двух шагах с железным грохотом и с вихрем пыли проносились электрички, громоподобные колеса высекали кучу искр, это было красиво. Паровозы ухали и гудели, наполняя все пространство теплом и паром. Тяжело оглушали длинные составы, Ваське было видно, как гнутся, прогибаясь, стальные рельсы. Иногда он начинал тревожиться, выдержат ли, не сломаются. Но рельсы всегда выдерживали.

Здесь же, под платформой, жили всякие брошенные и никому не нужные твари: кошки, собаки, крысы, птицы. У каждой твари была своя жизнь и свои заботы, как у всех в войну, и друг друга они не трогали. Так же, как никто не нарушал Васькиного спокойствия, а оно временами было ему просто необходимо.

Как сейчас, например.

Посудите, что бы делал Васька, не будь такого удивительного изобретения, как пригородная платформа. Где бы протекала без уединения, затаенного тихого места, личная его жизнь?

Где бы мечтал он о всяких крошечных своих радостях? Где бы горевал о потерях? Где скрывался от детдомовских хищников, блатяг, хамов, милиционеров, воспитателей, учителей, пьяниц, свирепых домохозяек, бандюг и прочих, могущих его обидеть, извести, уничтожить?

Где мог он съесть без торопливости добытый кусман, не беспокоясь, что кто-то налетит, отнимет, вырвет из рук, изо рта?

Где прочел бы украденную в чужом окне книжку? Да в конце концов где пересидит он дождь, снег, а летом сонный зной?

Только здесь, под деревянной, гулкой, качающейся платформой, был Васька словно у себя дома. Платформа была длинной, может, кто еще вроде Васьки имел тут убежище, это его не волновало. Тут хватило бы места для личной жизни всех подмосковных отщепенцев: безымянных, брошенных, выгнанных, бродячих и ничьих детей.

А сколько по Рязанке, а сколько по другим дорогам таких чудо-платформ!

— Ты чего? — спросил солдат, принаравливаясь рядом с Васькой и тоже с любопытством заглядывая вверх.

Васька повел плечом, говорить ему не хотелось. На солдата он не смотрел. Ксана сидела тут же, на корточках, подобрав полы своего вишневого пальто, слушала их странный разговор.

— А синяки... Подрался?

— Да так, — сказал Васька.

Солдат сказал строже:

— Ладно, вставай. Нечего валяться в грязи. Пойдем...

— Куда? — вяло спросил Васька. Но, кажется, ему нравилось, что так с ним заговорили.

Он повернулся, и солдат отметил про себя, что драка была нелегкая. Уж не по поводу ли их совместных дел?

— В школу пойдем.

Это решилось само собой. Солдат в следующую минуту сам понял, что иначе он сказать не мог. Кто сейчас поможет Ваське, если не он, единственный заинтересованный в мальчике человек.

Впрочем, единственный ли?

Вот и Ксана подала голос:

— Нужно идти, как же иначе, Вася?

Тот хмуро посмотрел на девочку, на солдата. Нехотя приподнялся, отряхиваясь от прилипшей грязи, полез наружу.

— Кто у вас там главный-то? — спросил солдат.

— Завуч Клавдия Петровна, — дорогой говорила Ксана — Понимаете, Вася пришел и сел сзади. Я сразу увидела, что ему плохо. Он сидел, сидел и никому не мешал, пока не увидела Клавдия Петровна. Она как закричит: «Что это такое? Посмотри на себя, где ты дрался?» А Вася взял и вышел, ничего не объясняя. И под платформу полез...

Школа была двухэтажная, деревянная. Они прошли прохладным коридором, поднялись на второй этаж. Ксана указала на дверь учительской: «Она сейчас здесь».

— Ждите.

Солдат помедлил, постучался.

Никогда бы не смог он так прийти, чтобы защитить себя. Учительская с детства внушала ему страх.

Несколько женщин и старичок сидели вокруг письменного стола и пили чай. На солдата посмотрели с любопытством.

— Мне бы Клавдию Петровну, — произнес он от дверей.

— Слушаю вас, товарищ... боец.

Одна из женщин поднялась, не выпуская из рук стакан. Немолодая, грузноватая, она сделала навстречу солдату несколько шагов, и он увидел, что у нее отечное лицо и толстые ноги — признак больного сердца.

— Здравствуйте, — сказал он, совершенно робея. — Я пришел по поводу мальчика, которого выгнали...

— Садитесь, пожалуйста, — предложила завуч и сама села. — Какого мальчика?

— Да Василия...

Он вдруг подумал, что не знает Васькиной фамилии.

— Ах, Василий, — сказала завуч, оглядывая солдата. — А вы кто, родственник?

Он подумал и кивнул. Оглянулся на учительниц, скользнул взглядом по стенам, где висели, как во всякой учительской, расписания уроков, диаграммы успеваемости и крупно написанная инструкция по эвакуации детей во время воздушной тревоги.

На стене висел плакат: «Двойка — шаг к измене Родине!»

В углу, под портретами вождей, на столике лежала винтовка.

— Что же вы так поздно хватились? — спросила завуч вежливо. — Дубровский совсем забросил школу.

— Кто? — спросил солдат.

— Вася Дубровский... Я понимаю, что условия жизни у детдомовцев хуже, чем у остальных, но мальчик не посещает уроков, перестал заниматься. А теперь еще драки, как видите. Куда это заведет?

— Трудное дело, — согласился солдат, снова посмотрел в угол на винтовку и вздохнул. — Но вы уж не гоните, куда он пойдет?.. Без школы ему еще хуже.

— Вы-то как, вернулись или временно, так сказать?

— Временно, — сказал Андрей. — Уеду, Василий у меня совсем один останется.

— Если бы не уезжали, — произнесла заведующая. — Нам в школе военрук требуется.

Она указала на винтовку, с которой солдат и так не спускал глаз. Может, заметила его внимание к оружию.

— У нас женщины в основном. Мужчина качественно бы изменил коллектив.

Старичок и учительницы хоть и делали вид, что пьют чай, но исподволь смотрели на солдата и прислушивались к разговору. Две из них, помоложе, отчего-то смутились, когда солдат оглянулся.

— Винтовка... боевая? — спросил он.

— А что мы в ней понимаем, — отвечала завуч. — Дети учатся военному делу, разбирать, собирать... И маршировать тоже.

Солдат встал, подошел к столику. Потрогал ложу, приподнял, ощущая, как забилося от привычной тяжести сердце. Щелкнул затвором, пробормотав: «Стебель, гребень, рукоятка...» Ложа... Магазин... Все настоящее. Заглянул в канал ствола: грязновато. Старший сержант Потапенко всыпал бы за такое.

— Настоящая винтовка, — повторил дважды Андрей и вдруг заметил в боковой части ствола дырочку, рассверленную для того, чтобы из винтовки не стреляли. Упавшим голосом произнес: — Настоящая... Учебная винтовка... — сразу потеряв к ней интерес.

Завуч теперь говорила, что Дубровский, судя по всему, скрытный мальчик, никогда не упоминал он о родственнике на фронте. Это, безусловно, меняет дело. К семьям фронтовиков отношение вдвойне внимательное.

— Хорошо, что вы зашли, — добавила завуч и протянула руку. Она впервые, кажется, улыбнулась. — Возвращайтесь с победой.

Старичок и сидевшие за столом женщины тоже поднялись. А две молодые учительницы смутились, покраснели, когда солдат стал с ними прощаться.

Так все стояли, провожая, пока он не вышел.

Ребята ждали на лестничной площадке.

— Как? — спросила по-взрослому Ксана. Она вообще чувствовала себя с солдатом на равных. Васька ничего спрашивать не стал.

Солдат посмотрел на мальчика и впервые подумал, отчего такая неожиданная фамилия у него: Дубровский... Может, сидел в детприемнике изобретательный человек? Может, он Пушкина в это время читал?

И потом... Долгушин... Дубровский — чем-то сходны между собой. Начинаются на одну букву.

— В порядке, — сказал солдат, все рассматривая Ваську. — Тебе бы, парень, в лазарет сходить да подлечиться...

— Пусть к нам зайдет, — предложила Ксана. — Мама йодом замажет.

— Йодом? — закричал Васька.

— Да. Именно йодом, — твердо произнесла девочка. — Зато не будет заражения.

— У меня и так не будет, — отмахнулся Васька. — Я гильзу медную приложу. Я от всего умею лечиться. Если заноза в ноге, ее надо выковырять и разжевать, быстрее пройдет. Если кровь, глиной замазать...

— Фу, Вася, как противно, — сказала Ксана.

— Лекарства всегда противные, — рассудил он просто. — А знаешь, как навозом можно лечиться?

По лестнице поднималась женщина в темном платке, похожая на тетю Маню. Когда ступила она на верхнюю площадку, ребята одновременно с ней поздоровались.

Она узнала солдата, всхлипнула:

— Андрюшенька! — Заплакала, прислонясь к его плечу. — Оля... Оля моя...

— Тетя Маня...

— Вы отомстите, убейте их. Я всю жизнь учила детей человечности... Даже кошку... Даже кошку не трогать...

— Тетя Маня, — позвал солдат, она не слышала.

— До чего они довели меня? Я хочу, я требую, чтобы вы их убивали, как насекомых! Никто, ни я, ни другие женщины не могут этого сделать. Мы все отдали, а вы отдали не все. У вас есть возможность и оружие. Так убейте, прошу вас!

Андрей оглянулся, знаком показал ребятам, чтобы не глазели, а шли на улицу. Молча стоял, понимая, что ничем не может утешить бедную женщину. Не бывает такого утешения, когда родители переживают своих детей.

Тетя Маня перестала плакать, вытерла платком лицо.

— А ты ведь изменился, Андрюша, — произнесла в нос. — У тебя-то ничего не случилось?

— Да нет, что вы...

— Мы уж думали-гадали, в каких ты там боях... На каком фронте?

— А я все не на фронте, — отвечал он, не поднимая глаз.

Эти слова о фронте были как раскаленное железо. Тетя Маня смотрела на него как на защитника, бойца, который должен быть там, где до этого была Оля. А он увяз в своих поисках, в адресах, в делах, которые не имели прямого отношения к ее святым слезам.

Стыдно стало, как от пощечины.

— Зашел бы, Андрюша, — попросила она. — Мы-то с Мусей вдвоем кукуем. Олег Иванович за продуктом в деревню уехал.

— Зайду, тетя Маня, — пообещал он, потупясь. Ее больной взгляд, в котором мерещилось ему уже недоверие, сомнение и осуждение его, был сейчас невыносимым.

— Мы все вдвоем и вдвоем... Поплачемся друг дружке на тяжелую бабью долю, вроде легче станет. Но ведь еще детишки меня ждут. Надо идти, нельзя своему горю поддаваться. У всех сейчас одно горе, война проклятая. У всех, Андрюша.

Она двинулась медленно по коридору, а ему подумалось, что надо что-то еще ей сказать. Но слов никаких не было.

— Я приду, тетя Маня! — голос прозвучал униженно и глухо. Этого нельзя было не заметить.

Она оглянулась, посмотрела на него страдающим, идущим из глубины, затемненным своим взглядом.

С чувством физической боли, отворачивая к себе выходил он на улицу. Не замечая ребят, сел на скамейку.

Судорожно вздохнул, рассеянно взглянул вокруг.

Припекало солнце. На деревцах, воткнутых перед школой, завязывалась мелкая зелень.

Неожиданно подумалось, что пора, выпавшая на эти несчастные дни, была самая редкая, светлая. Невозможно этого не видеть. И он видел, но никак не ощущал. Чувства его, придавленные обстоятельствами, были как слепые.

Однажды прочел он в книге о Робин Гуде стихи:

*Двенадцать месяцев в году,
Двенадцать, так и знай!
Но веселее всех в году
Веселый месяц май!*

Не стихи даже, а народная английская баллада, он вспоминал ее каждой весной. И каждую весну звучала она по-новому.

Но случилось, как раз перед войной, померзли за зиму все подмосковные сады. Стаял снег, прилетели птицы, а на деревья было невозможно смотреть. Чернели пустые, голые, как кресты на погосте.

Май в таких садах, и синее, сквозь сухие ветки, небо, первая трава под кронами казались кошунством. Правда, к середине лета оттаяли редкие сучки, дали блеклую, тут же увядшую зелень. Но и все.

Садом, голым по весне, была сейчас душа Андрея.

Могло ее оживить лишь тепло, исходящее от Васьки. Оно и оживляло, и поддерживало худые желтые ростки. Но удар следовал за ударом, и после каждого казалось, что невозможно подняться, обрести себя.

Все, что происходило кругом, происходило и с Андреем. Ложилось, накапливалось в нем, терзая изболешшуюся совесть. Тяжкой виной добавилась сюда и Олина смерть.

Ребята стояли в отдалении, Васька показывал Ксане на большую яму, объясняя, что в сорок первом году упала тут целая тонная бомба. Фрицев от Москвы зенитками отогнали, они побросали бомбы куда попало. А эта бомба не взорвалась. Но все равно в школе и в домах выскочили стекла. Яму сразу окружили заборчиком и несколько дней откапывали; все говорили, что она замедленного действия. Васька потому и запомнил, что им не разрешали ходить в школу. А потом сказали, что в бомбе оказались опилки и записка: «Чем можем, тем поможем!» Это немецкие рабочие писали...

Андрей слушал Ваську, медленно приходя в себя.

Спросил, привставая:

— Василий, а ты про Робин Гуда слышал? Был такой меткий стрелок из лука.

— Это, наверное, до войны? — сказал Васька. — Я до войны плохо помню...

Солдат и Ксана одновременно улыбнулись, поглядев друг на друга. Они как бы и вправду были на равных в сравнении с маленьким Васькой. И он это видел и великодушно позволял опекать себя, зная, что это не унижительно и он всегда может удрать, если такая опека надоест.

Мимо проскочили детдомовские ребята, крикнули на ходу: «Сморчок! Тебя искали! Сыч тебя искал!» — «Да ладно», — сказал Васька. Но почувствовал себя неприятно. «Психует Сыч-то!» — добавили ребята и убежали, крича на ходу, что сегодня они выступают в госпитале...

Ксана заторопилась домой и повторила свое приглашение.

— Мама наварила суп из селедки. Пойдем!

— Слышала? У нас выступление в госпитале, — отвечал Васька.

Вообще-то он не любил ходить по домам, не считая тех особых случаев, когда он посещал без приглашения, но и без хозяев.

Он законно считал, что детдомовец в домашней обстановке пропадет. Привыкнет, размягчится, потеряет способность выживать, тут и конец ему. Да и вообще домашние были другим миром, и соприкосновение с ним не приносило радости. Будут жалеть, подкармливать, числить про себя несчастненьким, сиротой...

Все это Васька понимал и отказался.

— В госпитале нельзя пропускать, там же раненые.

— И ты у нас раненый, — сказала Ксана. — Да еще голодный. Никто не выступает на голодный желудок. Пойдем, пойдем!

Она распорядилась как взрослая, будто понимала, что солдат и Васька послушают ее.

— Давай ходим, — предложил солдат.

Васька подумал, что с солдатом его жалеть не станут, и согласился.

Дорогой Ксана рассказала, что мама ее работает на дому, шьет одежду для бойцов. Когда бежали от немцев, успели захватить одну швейную машинку «Зингер»... Вот на ней мама и шьет.

Солдат слушал, кивал, а Васька почему-то злился. «Мама да мама, подумаешь, мамина дочка...»

Подшли к знакомому дому возле магазина. Миновали парадную дверь с высоким крыльцом, где недавно орала Сенькина мать, Акулиха, и ткнулись с обратной стороны в низенькую пристройку.

— Пригибайтесь! Пригибайтесь! — попросила Ксана, с шумом распахивая дверь. Она закричала с порога: — Мама! Я с гостями! Они будут есть суп с селедкой!

«Опять мама, — подумал Васька. — Надоело. Не люблю мам».

Молодая красивая женщина поднялась им навстречу, всплеснула руками:

— Ой, как хорошо. Проходите, пожалуйста.

Поздоровалась с Васькой за руку, потом с солдатом, называя себя Верой Ивановной. Голос был у нее звонкий и мелодичный. На груди колыхалась желтая лента сантиметра.

«И ничего особенного, — решил Васька. — Дядя Андрей все равно лучше».

— Мама, — повелительно говорила Ксана, точно она, а не мама, была здесь главная хозяйка, — я тебе рассказывала про Васю, помнишь? Его нужно подлечить, а его одежду тоже... Он сегодня выступает на концерте.

— Ну, подумаешь, — пробурчал Васька.

— Все сделаем, — мягко, мелодично, таково было свойство ее голоса, повторяла Вера Ивановна, осматривая бегло Ваську, обходя вокруг него. На солдата она почти не взглянула.

— Пусть разденется, — попросила она. — А насчет лечения, Ася, ты уж сама... Ты у нас в школе курсы сестер кончила.

— Раздевайся, — приказала Ксана. — Тебе помочь?

— Вот еще, — нахохлился Васька. — Я и сам шить умею. Только у меня иголки нет.

— А у нас есть. Снимай, снимай, я за йодом к подруге сбегаяю.

Солдат кивнул: раздевайся, мол, если просят.

Вася, сопя недовольно, снял одежду и сел на кровать, закрывшись одеялом. Вера Ивановна осматривала штаны и рубашку, поднимая их на уровень глаз и вздыхая. Спросила, как же он, Вася, собирался выступать с такими дырками?

Отвечать не хотелось, но и оскорбительного вроде ничего в вопросе не было.

— Меня поставят в середину хора, кроме головы, ничего не видно, — сказал он.

— Так ты поёшь? — воскликнула Вера Ивановна. — А наша Асенька музыкой до войны занималась. Сейчас-то она все забыла.

Женщина застрочила на машинке, быстро вращая ручку. Васька перестал дрыгаться, уставился на Веру

Ивановну, удивляясь, как ловко у нее получается. Он умел зашивать при помощи иголки, даже гвоздя, но такой работы он не видел. Вообще-то, если бы спереть такую машинку, он бы тоже научился. Хорошая игрушка, надо запомнить.

— А вы, Андрей... Вы кем доводитеесь мальчику? — Вера Ивановна спросила, откусывая нитку и взглядывая на солдата так исподлобья. — Я сразу увидела, что вы похожи.

— Мы? — повторил мальчик. — Мы? Похожи?

Он подскочил на постели, расплылся от радости. Счастливыми глазами посмотрел на солдата. И тот, взглянув на Ваську, подтвердил:

— Ясное дело... Не чужие.

Ксана притащила йод, улыбающийся Васька не успел и пикнуть, испятнала его лицо, руки, шею, даже волосы.

Васька пытался заорать, но Ксана сказала:

— Все! Все! Еще здесь, и все. И здесь... И здесь...

Стерпел Васька, а о Вере Ивановне подумал, что вовсе она не плохая, если заметила их сходство.

Вера Ивановна кончила шить, бросила одежду на кровать со словами:

— Держи, крепче новой!

Солдату она сказала:

— Мне надо с вами потолковать. Ася, посмотри за супом...

— Что ж, — согласился он.

— Пойдемте во двор. Только осторожнее, не стукнитесь головой!

Они встали у крылечка, Вера Ивановна в упор посмотрела на солдата. И он теперь увидел, что у нее большие темные глаза, в сумерках которых затаилась усталая грусть, а в волосах много седины.

— Кажется, я догадываюсь, по Аськиным рассказам, — начала она смущенно. — Догадываюсь, что у вас неприятности. Но разговор не о вас, о мальчике. Если есть возможность, купите ему одежду. Эта кончилась. И потом... У него вши. Понимаете, целые гнезда вшей. Я пыталась их давить, смотрю, еще, еще... В каждой складке... Я могу

постирать все, но лучше бы сжечь. Вши могут быть и тифозные...

Андрей расстроено молчал.

Женщина по-своему расценила его молчание, добавила, оправдываясь:

— Не подумайте, что мы уж такие... привереды. Мы, правда, до войны хорошо сперва жили. Муж был кадровый военный, крупный командир. Мы ничего о нем не знаем. А я не работала, но я умела хорошо шить, это нас и кормит. Сейчас мы в долгах... Всем трудно, я понимаю. Но когда в нужде дети, ужасно. К этому привыкнуть нельзя.

— А что нужно? — спросил солдат.

— Да что покрепче, — отвечала Вера Ивановна. — Вот, вроде вашей шинельной... Только потоньше. Чтобы игла взяла.

Андрей машинально потрогал на себе шинель.

— Если это... продать?

— А сами как будете?

— Сам-то обойдусь, — увереннее сказал он. — Цыган шубу давно продал! А я вроде цыгана... Нет, серьезно. Вот только я торговать не умею.

Вера Ивановна оценивающе оглядела шинель, но исподволь смотрела на солдата.

— Сейчас идут все на рынок, — произнесла она.

— Мне туда нельзя.

— А может... им?

Она не назвала Акулиху, но кивнула в сторону дома.

— Спекулянтам?

— Связываться с ними гадко, — сказала со вздохом Вера Ивановна. — Отвратительное порождение войны. Но что делать-то? Мы с вами сами ничего не можем... Знаете, слышала недавно анекдот, что решили с блатом покончить. Похоронить его, и все. Положили в гроб, крышкой накрыли, да гвоздей не оказалось. Где взять гвоздей? Советуют: по блату можно достать. Выпустили блат, а он и был таков...

Вера Ивановна предложила:

— Давайте вашу шинель.

Ушла и долго не возвращалась. Солдат обошел трижды вокруг дома, начал беспокоиться, когда увидел ее, бегущую вприпрыжку. Издалека показала в кулаке деньги, крикнула весело:

— Ну, баба стерва! Акула зубатая! Нюхом почувствовала, что дело поживой пахнет. Уперлась, уж я слезу перед ней пустила. Мол, мужнина память, единственная...

Засмеялась облегченно.

Андрей смотрел на нее, на губы, нервные, подвижные, на смуглое точеное лицо, на глаза, глубокие, сумеречные, и впервые почувствовал, что хотел бы ее сильно поцеловать.

Но прежде чем он сам понял свое желание, она угадала и пригасила себя. Сделалась вежливо ровной.

Солдат принял деньги, с укором произнес:

— Коли взялись, помогали бы и дальше, — но укорял ее не за это, оба понимали. — Я ведь уезжаю...

— На передовую? — спросила она тихо.

— Да.

— Когда? Сегодня? Завтра? Впрочем, что я спрашиваю. Этого никто не знает. Мы так и жили всегда в неизвестности, когда куда мужа пошлют... Аська моя на перепутье родилась. В общем... — Она помедлила, глядя на него наклонив голову и как бы снизу, такой она была еще красивее, как девочка неопытная на свидании. — Если не уедете, милости прошу, как у нас говорят. Милости прошу к нашему шалашу.

Она рывком взяла деньги, спрятала, отвернувшись, в лифчик. Потом открыто, с вызовом, посмотрела ему в глаза.

Вернулись в комнату, стали есть обещанный суп с селедкой.

Вдобавок к нему Вера Ивановна принесла кислой бражки. Налила всем — солдату, Ксане немного, а Ваське дала целый стакан.

— Это как квас... Не страшно.

Васька выпил, стал веселым. Подумалось: «Хоть она и мама, а ничего, приятная женщина».

Развязался у Васьки язык от бражки. Стал он рассказывать, как в детдоме пайки делают. Откусят, положат на весы. Многовато. Еще откусят. Останется крошечка какая-то. Развесчик чихнет, она и улетит.

Изобразил Васька в лицах, все рассмеялись. Ксана так и заливалась, солдат восхищенно качал головой: «Ну и Васька, артист!»

Он совсем разошелся, спел «Халяву».

*Женился, помню, я на той неделе в пятницу,
Она из всех девчат фартовая была,
Я полюбил ее, Халяву косолапую,
Но для меня она фартовая была...*

Возвышенно пел, проникновенно. Васька думал, что это грустная песня. Но все опять начали смеяться.

Только Ксанина мама с мягкой улыбкой произнесла:

— Вася, скажи, а ты сказки любишь?

— Конечно, — отвечал он.

— Вот мы с Аськой по вечерам сказки рассказываем...

Про Ивана Царевича, про Василису...

— Я про мужика знаю, — сказал Васька.

— Ну, расскажи.

— Про мужика? — спросил Васька. — Жил мужик и ловил рыбу. Приходит однажды на речку, смотрит — журавль попался в сети. Ногой зацепился, а выбраться не может. Пожалел мужик и освободил журавля. А журавль и говорит ему человеческим языком: «Пойдем ко мне домой, я тебе подарок хороший дам». Пришли они к журавлиной избе, и вынес ему журавль скатерть-самобранку...

— Вот такую сказку я люблю, — кивнула Вера Ивановна.

— Захотелось по дороге старику есть, он и говорит: «Напои-накорми, скатерочка!» Только сказал — и на скатерти все появилось: картошка, капуста, чего еще... Суп из селедки тоже появился. Даже свиная тушенка в банках. И целый бухарик хлеба!..

— Сюда бы эту скатерочку, — воскликнула Ксана.

Васька продолжал:

— Зашел мужик к богатею переночевать, а тот ночью и заменил скатерть. Ему мужик-то проговорился. Приходит домой и говорит старухе: мол, не надо, старуха, теперь в очередь в магазине стоять и в колхозе работать. Все у нас будет. Развернул скатерть, а она и не действует. Обманул, видно, журавль, подумал мужик и вернулся к нему. Так и так, плохую ты скатерть дал, не включается она...

— Как наш утюг, — засмеялась Ксана. А солдат и Вера Ивановна улыбнулись: «Рассказывай, рассказывай, Вася».

— Дал тогда журавль мужику волшебную книгу, — продолжал Васька. — Откроешь ее, а там что ни страница, то продуктовые карточки, да литеры всякие, да ордера на мануфактуру. Вырывай, а они не кончаются. Пришел мужик опять к богатею, попросился переночевать, а тот ночью снова переменял. Вернулся утром мужик домой, а в книге, глядь, обыкновенные страницы...

— А что за книга-то была? — спросила вдруг Вера Ивановна.

— Толстая и без картинок, — нашелся Васька. — В третий раз журавль дал мужику зеркальце волшебное. Посмотришь в него, и все тебе на свете видно. В каком магазине что выбросили, а где под прилавком держат продукты, а где по мясным талонам отоваривают...

— Мама, а у нас мясные тоже не отоварены, — напомнила Ксана.

— Так у нас же нет волшебного зеркала, — засмеялась Вера Ивановна.

— М-да, — протянул солдат. — Мне бы тоже оно пригодилось... Как ты думаешь, Василий?

— Конечно, — сказал Васька. — Но его богатея тоже украл. Тогда журавль подарил ему сапоги-скороходы. Если, к примеру, будет мужик от милиции удирать, наденет он эти сапоги — и раз...

— Он что, жулик? — спросил солдат.

— Зачем? На всякий случай! А то контролеры в электричке пойдут... Или бандиты пристанут, или пьяницы, —

сказал Васька. — Они не рвутся, не промокают. Нет, сапоги удобные были, только их богатея спер у него. Пошел он снова к журавлю и говорит: мол, плохие у тебя подарки, без проку они мне. А журавль и спрашивает: «Не заходил ли ты ночевать к богатею?» — «Заходил», — отвечает мужик. «Все тогда понятно! Вот тебе последний подарок, — и приносит сумку, — скажи: «Сорок из сумы!» И все у тебя будет в порядке».

— Щедрый был журавль, — сказала Вера Ивановна, вздохнув.

— Вы дальше послушайте, — попросил Васька. — Пришел он к богатею и просится переночевать. «Куда бы, говорит, сумку положить. Она у меня не простая, всякие просьбы исполняет. Надо только сказать: «Сорок из сумы!» Лег мужик, а сам не спит, ждет, что дальше будет. Хозяин-богатея подождал да и говорит: «Сорок из сумы!» Выскочили тут из сумки сорок автоматчиков, навели на богатея автоматы и говорят: «Отдавай подарки!» Он все и отдал. А мужик пришел домой и отнес в комиссионку.

— Вот чудак! — Ксана всплеснула руками. — Зачем же в комиссионку-то?

— А чтобы деньги были, — резонно отвечал Васька.

20

Оксане в госпиталь идти не разрешили.

Вера Ивановна сказала, что девочке надо готовить уроки. Поздно, нечего шляться неведомо где.

Васька клялся, божился, что проводит до дому, Вера Ивановна качала головой:

— Незачем ей идти в ваш госпиталь. Она видела отступление, с нее достаточно. А вы приходите.

Солдат и мальчик задворками вышли к высокой железной ограде, отыскали лаз и очутились на территории огромного лесопарка, где размещались белые корпуса госпиталя. До войны здесь был санаторий НКВД.

Васька все тут знал. По одной из дорожек направился в глубь парка и остановился перед громадной ямой, сплошь заваленной бинтами.

Мальчик уперся глазами в эти окровавленные бинты, шепотом сказал:

— Видите?

Лазил в санаторий Васька часто. Его территория примыкала одной стороной к колхозному полю, здесь оно не охранялось. Детдомовцы нашли лазы, проторили тропы, пробили отверстия и, как саранча, объедали край, что шел вдоль забора. Здесь росла морковь.

Но это бывало осенью, а осень — золотая пора, как пишут в книгах для чтения. Золотая, в Васькином понимании, оттого, что ходишь с тяжело набитым брюхом, будто в нем и впрямь золото. А в нем кроме моркови и клюква, и турнепс, и свекла, и горох, и капуста, и картошка... Все тогда идет в корм, поглощается в печеном или сыром виде.

Как рыбы мальки, нагуливают детдомовцы по осени вес в страхе перед долгой и голодной зимой. Теперь до осени требовалось еще дожить.

Васька умел и весной выкапывать из грядок чужую посаженную картошку, но прибыль тут не велика. Выгоднее, знал, дожидаться урожая. К тому же, по совету академиков, стали сажать не целые клубни, а лишь глазки, срезы с клубня. Пожрали бы сами академики свои глазки, узнали бы, как чувствительно ударило их открытие по Васькиному желудку.

Но сколь торопливо ни пересекал бы Васька госпитальский парк, всегда останавливался он перед огромной ямой с бинтами.

Глазами, расширенными от напряжения, втыкался он в белые марлевые горы, испачканные кровью и йодом. По спине тек леденящий холод. Становилось трудно дышать.

Вот и сейчас мальчик замороженно стоял перед ямой, пытаясь цепким детским умом постигнуть то, что скрыто за этими кровавыми горами: раны, крики, стоны, боль, страдание, смерть.

Замер столбиком, как суслик в степи, Васька, не в силах двинуться дальше. Хоть знает, его ждут. Глаза испуганно округлились.

Около главного корпуса мельтешили детдомовцы.

Увидели издалека Ваську, подняли крик:

— Сморчок! Тебя искали! Тебя искали!

— Кто? — спросил Васька.

— Воробьи на помойке... И один знакомый кабыздох спрашивал!

Захохотали, обычная покупка. Но увидели сзади солдата, приутихли. Что за солдат? Почему со Сморчком?

Андрей не заметил общего внимания, сел на ступеньках, задумался. Его, как и Ваську, а может и сильнее, потому что видел первый раз, поразили бинты.

Они были как сама война, ее кровавый след, жестоко напомнивший о боях, идущих недалеко.

Одно дело читать сводки, слушать сообщение Совинформбюро о больших потерях. Впрочем, о потерях говорили чужих, не своих. А тут груды, горы, завалы, залежи человеческих страданий, своих собственных, не чужих.

Не надо газет, лишь увидеть эти снежные вершины марли, растущие с каждым днем. А ведь они время от времени сжигались, чтобы уступить место другим горам, и несть им числа...

Страшный знак войны.

Здесь понятнее становились привычные по печати понятия «тяжелых», «ожесточенных», «кровопролитных», «затяжных» боев.

Васька, Васька, зачем ты сюда меня привел? Чтобы напомнить о моем долге, о моей боли?

Закрыл на мгновение глаза и молнией, как безмолвный взрыв, над головой польхнула ракета, до нутра прожигая всепроникающим светом. И серые спины солдат, дружков своих, странно согнутые, большие и малые, крутые и не очень, а у Гандзюка и вовсе горбиком... У-у-у! А-а-а! А его утробный крик почти вслед, чтобы знали, что он рядом,

там, бежит, заплетаясь, сбросив мешающую шинельку, чтобы догнать, догнать...

Вскинулся солдат, почти бегом направился прочь, но вспомнил про Ваську. Оглянулся, и Васька, словно почувствовал, встал поперек дорожки с молящими глазами:

— Дядя Андрей, не уходи! Я сейчас...

— Василий, прости. Мы потом встретимся.

Васька побледнел даже от мысли, что он останется без дяди Андрея.

— Ну, немножечко, — пропищал еле слышно. От волнения голоса не стало.

Солдат растерялся от Васькиной беспомощности. Вот ведь беда, нельзя его бросать, забьется под платформу и пропадет из глаз, не разыщешь. И ждать нет сил, изощренный слух Андреев все слышит тиканье часов, которые отсчитывают, будто на взрывном механизме некой мины, последние минуты и секунды. На рынке, как отдавал часы Купцу, время глазами сфотографировал и старался думать, что оно и осталось там. А часы на этой самой минуте третий круг дают, красную черту миновали уже, и если не последовало взрыва, то потому лишь, что рассеянный минер попался, цифру иную, возможно, поставил.

— Ну, немножечко, — молил Васька потерянно. — Только песню спою. Дядя Андрей! Для раненых песню спою. Ладно?

С тех, теперь уже давних, пор, как встретились они с Васькой, весь путь Андрея, хотел он этого или нет, был обозначен мальчиком. Сперва впрямую, по его приятелям и друзьям, а потом, по сути, только с Васькой, и более того, к Ваське, а не к винтовке, если не было Васьки. Это сейчас Андрей подумал так, что потерять Ваську было бы для него, может, пострашней, чем потерять винтовку. Винтовка — это только его, Андреева, жизнь, его честь и долг. А Васькина жизнь — это и его, Андреев, долг, и долг всех остальных, кто отвечает за Ваську. За него и за его будущее. За всех этих ребяташек.

Так и получилось, что должен был Андрей отступить на короткий срок, чтобы спел Васька свою песню раненым солдатам.

— Ладно, пой, — произнес он без улыбки. — Без песен тоже не проживешь.

Появилась Лохматая, в старомодном довоенном костюме, с кокетливой косыночкой на шее. Прихлопывая в ладоши, закричала:

— Дети! Дети! Идем в зал. Предупреждаю, слушаться меня. Если будут какие-то крики, стоны, не пугаться... И еще. Никаких подарков и угощений! У раненых братья неприлично. Боня, Боня, проследи, чтобы никто не отстал!

Боня пересчитал всех, на солдата посмотрел изучающе.

— Он с нами, Бонифаций! — предупредил Васька. — Ты скажи, что он с нами.

— Ладно, — кивнул Боня. Наверное, ему, как и остальным, было странно, что Сморчок привел солдата, да еще вроде бы его опекал.

Двинулись цепочкой по мраморным ступеням внутрь корпуса.

Просторным белым коридором, где стояли железные койки, мимо костылявших навстречу раненых, мимо пробегающих сестер и нянечек, мимо перевязанного по макушку, без лица, человека, мимо лекарств на столике, мимо палат, где лежали и сидели люди, мимо кого-то неподвижного, положенного на тележку и прикрытого простыней...

С оглядкой и перешептыванием прошли ребята в зал.

Пришлось пробираться узкими проходами, загроможденными колясками, сидячими, полулежащими бойцами, костылями, выставленными культями ног. Но, завидев ребят, раненые оборачивались и пропускали, а когда первые достигли сцены, стали им хлопать. Детей здесь любили.

Андрей сел сбоку, на свободный стул.

Подумалось, что тут, среди буровато-серых халатов, нижних рубашек и гимнастеров, он не особенно заметен.

Поди угадай, свой он или чужой, если и выздоравливающим выдают форму, используя их на подсобных работах.

Разве только наострившийся старшина смог бы угадать в Андрее новобранца по некоторым внешним признакам, а пуще по глазам.

Есть в переживших недавно смертельную опасность, в их взглядах нечто такое, чего не было пока у Андрея. Но кто здесь стал бы его высматривать и определять. Люди смотрели на сцену, ждали концерта.

Вышел длинный мальчик, простодушно-веселый Боня, узкое выразительное лицо с тонкими нервными губами. Он поздравил советских бойцов с наступающим весенним праздником Первое мая, пожелал скорого выздоровления и новых сил для борьбы с фашистскими захватчиками. Объявил песню про артиллеристов.

— Наша! — выкрикнули в зале.

*Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой,
Идем мы в смертный бой за честь родной страны...*

Пружинистая звонкость детских голосов, прямые ударные куплеты, сложенные из таких слов, как сердце, любовь, родина, бой, честь, воздействовали на зал непосредственно и сильно.

Возможно, когда-нибудь, в другое время, в другом, недостижимом пока послевоенном мире, станет эта песня воспоминанием о военных годах. И не прозвучит она так, и не заполнит могущественно своего слушателя. Что ж!

Сейчас именно она была главной песней для этих людей. Потому что, если произносилось слово «родина», — было это как крик души, а если звучало «смерть», то все сидящие знали ее, видели, как говорят, в глаза, вблизи и на ощупь.

*Артиллеристы! Сталин дал приказ.
Артиллеристы! Зовет отчизна нас!
Из многих тысяч батарей*

*За слезы наших матерей,
За нашу Родину:
Огонь! Огонь!*

Припев ребята исполняли особенно вдохновенно.

В детских голосах, пронзительно чутких, звучал истинный призыв к бою. Андрей с особенно обостренным чувством воспринял его лично по отношению к себе. А слово «огонь!» дети выкрикивали, эффект был необыкновенный.

Зал аплодировал, кричал, называя какие-то желаемые и близкие песни. Однорукий солдатик рядом с Андреем хлопал единственной правой рукой по коленке.

Андрей посмотрел на соседа, подумал не без гордости, что вот на сцене среди детишек поет Васька, близкий ему человек. Взглядом отыскал острую мордочку, испятнанную йодом, во втором ряду. Вспомнилось, как тот сказал: «Меня поставят в середину хора»...

Андрей помахал рукой, но Васька смотрел перед собой и ничего не видел. К выступлению в госпитале он относился очень серьезно.

Боня читал стихи:

*Донер Ветер по-немецки значит буря грозовая,
Если худо, Донер Ветер — немцы в страхе говорят...
На Кавказе Донер Ветер, Донер Ветер — Лозовая,
Донер Ветер! С Дона ветер дует, дует их назад!
Русский ветер выдул снова немцев к черту из Ростова...*

Однорукий наклонился к Андрею, спросил, с какого он фронта. Резко пахнуло эфиром. Лицо у него было неестественно белого цвета, но в веснушках. Он стал говорить, что воевал на Кавказе, ранили под Малгобеком, а лежал в Астрахани, потом направили сюда.

— А это... как? — спросил Андрей, показывая на пустой рукав.

В общем-то понимал, что спрашивать о подобном не принято, да еще так, на ходу. Не мог не спросить. А ра-

ненный с готовностью, как не раз, видно, и не два, стал описывать свою короткую военную историю. Выходило, что прикрывали они отход, а потом кончились патроны, а фрицы все лезли, и тогда они пошли в рукопашную. Упал товарищ, он нагнулся и больше ничего не помнил.

Русский ветер завывает, немцев к гибели несет!

Боня кончил стихи. Последние слова вызвали бурную овацию. Однорукий тоже застучал ладонью по коленке.

— А винтовка? — спросил Андрей. — Винтовка у тебя была?

Однорукий коротко взглянул на него.

— Как же без винтовки! Я же говорю, патроны только кончились.

— А дальше?

— А что дальше?

— Дальше-то как?

— Как-как... Вперед пошли. С отчаяния, что ли. Никакого приказа, понимаешь, не было. Взводный как заорет, в Гитлера, его мать, и так далее, и с наганом вперед... А мы за ним. Ура!.. Шли, орали, а потом товарищ мой упал... Вот и все.

— А винтовка? — повторил Андрей. — Где винтовка?

Однорукий пожал плечами, удивляясь такому навязчивому вопросу.

— Не до винтовки, браток, меня едва вытащили. Эх, была бы рука цела, а винтовка бы к ней нашлась!

Наклоняясь к однорукому, — тот смотрел на сцену, где дети танцевали матросский танец «Яблочко», — Андрей, будто оправдываясь, пояснил:

— А я, понимаешь, не воевал... На фронт еду.

Однорукий кивнул машинально. Повернулся, с любопытством уставился на Андрея. Но смотрел не так, как раньше, не было в его взгляде отношения равного с равным.

Возможно, Андрею, чувствительному ко всяким мелочам, только показалось это. Но уж точно, было в глазах

однорукого пытливого любопытство. Необстрелянный, не нюхавший, не зревший этого ада в глаза... Каков ты будешь там? И каков будешь после него?

А произнес он:

— Ну, ну! Валяй! Войны на всех хватит!

Андрею стало тяжело сидеть в зале. Показалось, что душит его острый больничный запах. Не мог бы сознаться даже себе, что дело тут не в обстановке, а в случайном разговоре, который он сам же завел.

Нет, даже не в нем, а в соседе одноруком, в его, как ни странно, нынешнем коротком благополучии, благодушии, что ли, которые позволяли ему быть разговорчивым, даже добрым. Ибо ничего не сказал Андрею дурного по поводу стыдного откровения новобранца.

А мог бы, имел, как говорят, право.

Андрей встал, выбрался в коридор.

Слышалась песня, знакомая по кинофильму:

*Стою я рано у окошка,
Туман печалит мне глаза,
Играй, играй моя гармошка,
Катись, катись, моя слеза...*

Андрей стоял, прислонясь к косяку и прикрыв ладонью глаза.

Эти детские беззащитные голоса... Знали бы сами ребята, как их больно слушать! И этот разговор с одноруким лег новым бременем, новой виной на его душу. Копится счет, и нечем на него пока ответить.

По коридору, шаркая, прошла невысокая женщина, встала около Андрея.

— К нам? — спросила улыбаясь.

Андрей посмотрел, не сразу вспомнил маленький домик, в котором побывал он в первый день своих бесконечных поисков, и Витькину маму.

Поздоровался, объяснил, что пришел сюда с детдомовцами.

— А как ваше ружье? — спросила женщина. В белом стираном халате, в косыночке выглядела она здесь более домашней, чем у себя дома. Андрей вспомнил, что зовут ее Нюрой.

— Неизвестно, — ответил он.

— А я здесь кручусь, — произнесла Нюра. — И ночью. Зимой много поступило солдатиков, да тяжелых таких, не дай бог..

— Видел, — сказал Андрей.

— Где видели? В зале? Там починенные, они жить будут. А те, которые у меня, на концерт не ходят, а как мясо лежат. Паленые, где что — не разберешь. Видать, сильно стреляли на передовой, что столько накалечили, а?

Уходя, добавила:

— И что говорить, мы жалуемся на бабью нашу долю... А мужицкая, если посмотреть, нисколько не лучше. Кромсают по-всякому, и бьют, и бьют... Кто же хлеб сажать после войны будет?

Нюра махнула рукой, пошла, Андрей сказал ей вслед:

— До свидания.

Она обернулась, ответила:

— Нет уж, не надо скорого свидания. И никакого не надо! К нам лучше не попадайте!

21

Детдомовцы высыпали во двор.

Тут и раненые поджидали, робко тянули в сторону, чтобы выпросить о родне, искали земляков. Совали печенье, хлеб, сахар, ребята с оглядкой брали.

К вечеру белые корпуса госпиталя будто поглубели. В густых еловых зарослях накапливались сумерки. Сильней запахло молодой зеленью.

Солдат разыскал Ваську, взял за плечо:

— Мне, понимаешь, нужно кой-куда сходить... Ненадолго.

— Я пойду с тобой, — сказал сразу мальчик.

— Но у меня дела, Василий.

— Все равно, — упрямо повторил он. — Я провожу. Ладно?

Боня подошел к ним, поглядывая на солдата, спросил:

— Сморчок! На ужин идешь?

— Нет, — сказал Васька. — У нас тут дела.

— Тебе оставить?

— Спасибо, Бонифаций, — поблагодарил Васька. — Ты пайку заberi себе, а баланду отдай Грачу, его за стекло наказали...

Боня раздумывал. Сразу видно, что он добрый малый, не обрадовался лишней пайке.

— Ладно. Ты, Сморчок, не зарывайся, — предупредил. — Исключат, смотри!

— Я не боюсь, — отвечал Васька и посмотрел на солдата.

С солдатом он действительно не боялся.

— Кстати, — сказал Боня, — тебя Сыч спрашивал!

— Я знаю, — отвечал Васька. И опять почувствовал, как защемило у него внутри.

— А это кто? — спросил Боня про солдата.

— Дядя Андрей, — неопределенно сказал Васька. — С фронта ко мне приехал.

— Родственник?

Слово «родственник» было в детдоме как пароль в какую-то другую жизнь. Не сразу, но хоть когда-нибудь.

— А ты как думал? — соврал Васька. Тут уж не соврать он никак не мог.

Боня вздохнул, посмотрел на солдата.

— Повезло тебе. А у меня никого нет.

— И у меня тоже не было! — простодушно воскликнул Васька. — А он, значит, взял и приехал!

— Я сразу заметил, что вы похожи, — сказал Боня.

— Правда?

— Прямо копия.

— Вообще-то родственники всегда похожи, — философски заметил Васька. И тоже посмотрел издали на солдата. А вдруг и в самом деле они похожи. Вот ведь фантастика! Второй раз говорят!

Лохматая закричала ребятам, и строй двинулся к центральному воротам по широкой асфальтированной дороге. А Васька и солдат направились коротким путем к своему лазу.

Васька шел и орал песню:

*Горит в зубах у нас большая папироза,
Идем мы в школу единицу получать,
Пылают дневники, залитые чернилом,
И просим мы учителя поставить пять!
Ученики, директор дал приказ,
Поймать завхоза и выбить правый глаз!
За наши двойки и колы,
За все тетрадки, что сожгли,
По канцелярии — чернилками — пали!*

Настроение у Васьки было наилучшее. Концерт удался, а дядя Андрей взял его с собой. Но главное — детдомовцы увидели его с солдатом.

Пусть знают, Васька не какой-нибудь доходяга, заморыш или безродный, которого можно прижать к ногтю. Васька полноценный человек, потому что он не один.

Оттого-то лишний раз Васька продемонстрировал перед всеми и перед Боней свой уход с солдатом, свое небрежение пайком. Так может поступать занятой и уважающий себя человек.

Будет теперь разговоров в спальне!

А выгнать Ваську не могут, куда его выгонишь... Ему, как нищему, терять нечего, одна деревня сгорит, он в другую уйдет. Детдомов в Подмоскovie напихано видимо-невидимо. Государство подрост оберегает, как лесник саженьцы в погорелом лесу.

Беспризорный знак — лучший пропуск в роно, знал Васька и это учреждение. Засуетятся, приветят, на место сопровождают. Да не только по служебной обязанности, а по естественному состраданию к детям.

Что греха таить, бездомные знали свое преимущество и умели пользоваться им. Васька тоже пользовался.

Шли солдат и Васька по тропе, навстречу попадались перевязанные солдатики. Кто гулял, кто первые желтенькие цветы нюхал. Один раненый медицинскую сестренку в кустах обнимал. А еще один лег под деревом и тянул через соломинку березовый сок. Поднял задумчивые голубые глаза на Ваську с солдатом и продолжил свое бесхитрое занятие.

А небось месяц-другой назад притирался к земле не так, под навесным огнем. Землю носом пахал, молил несуществующего Бога пронести смерть мимо. Пронесло, да не совсем. Теперь-то он барин, лежит, наслаждается. Тянет прохладный, пахнувший древесным нутром сладковатый сок, и ничего ему больше не надо в жизни. Блаженное состояние — пить сок в тишине госпитальского парка, после оглушительных боев...

Оглянулся Андрей, позавидовал, что ли.

И Васька оглянулся, углядел под лежащим разостланную шинельку.

— А кленовый сок слаще, — сказал он. — Шинель-то, дядя Андрей, где забыл?

Солдат спокойно отвечал, что шинель свою продал.

— Как продал? — изумился Васька, остановившись на тропинке.

— Продал, Василий. Деньги нужны.

— Вот еще, — протянул тот. — Деньги и так можно достать. А шинель — форма, как без нее жить.

— Что шинель... Вон руки-ноги люди теряли, а живут. Потому что душа в них живая осталась.

— Души нет, — сказал Васька. — Это поповские выдумки.

— А что же есть?

— Внутренности!

— И все?

— Ну, кишки еще. А знаешь, дядя Андрей, как нужно кричать, когда тебя лупят?

— Как?

Васька преобразился, будто втрое уменьшился, застонал, заныл, заблеял тоненько:

— Дяденька, не бейте, я семимесячный... Не бейте, я малокровный...

Выпрямился Васька, стал на себя похож. Гордо посмотрел на солдата.

А у того язык онемел, прошибло всего. Глотнул слюну, спросил странным голосом:

— Кто же это... Кто тебя такому научил?

Васька засмеялся глуповато.

— Когда бьют, сам придумаешь.

— Тебя били? Часто?

— Не считал, — отмахнулся Васька. Засвистел на весь лес. Разговор становился ему неинтересен.

— Послушай, Василий, — позвал солдат. — А про какие такие деньги ты говорил? И как их можно достать?

Они стояли перед лазом и смотрели друг на друга.

— По-всякому, — пробормотал Васька и сунул голову в дырку. Ему не хотелось объясняться подробнее.

— А все-таки? Ну, говори, говори.

— Чего говорить, — пронудил Васька. — Ну, я у спекулянтки сопру... Справедливо или нет?

— Конечно, нет, — сказал солдат. — Сегодня спекулянт, а завтра честный человек попадетсЯ.

— Барыг всегда видно, — упрямо твердил Васька. — Я в глаза посмотрю, в радужку... По радужке кого хошь узнаю. Они знаете где червонцы хранят? Никогда не угадаете! В валенках!

— Почему в валенках? — засмеялся солдат, удивляясь Васькиной фантазии. — Что ты придумываешь?

— Знаю, раз говорю, — обиделся тот. — Во-первых, в валенках жулики не ищут. А во-вторых, случись пожар в доме — все сгорит, а валенок в валенок засунутые не сгорят... Дядя Андрей, а ты видел фильм «Два бойца»?

— Видел.

— Помнишь, они там на трамвае по городу едут? И один, который артист Андреев, говорит другому: «Кому война, а кому мать родна!» Это он про кого говорит? Про снабженцев, да?

— Про сволочь, — сказал солдат.

— А мы в детдоме говорим так: «Смерть немецким оккупантам и люберецким спекулянтам!»

Они остановились, пришли.

Солдат показал на одноэтажный домик около шоссе, темный, не освещенный изнутри.

— Смотри, Василий. Мой дом.

Васька посмотрел. Недоверчиво хмыкнул:

— Твой, а не живешь. В сарае валяешься...

— Другие живут.

— Кто другие?

— Не знаю, Василий.

Васька опять посмотрел. Сперва на дом, потом на солдата. Проверял как будто.

— Самый-самый твой настоящий?

— Настоящий... Я тут с мамой жил. А сейчас... Даже боюсь зайти.

— Вот еще! — воскликнул Васька пораженно. — Чего бояться? У меня вон койка своя, пусть попробуют занять! Любого прогоню!

— Ишь какой боевой, — усмехнулся солдат.

— Был бы у меня свой дом! — сказал Васька задумчиво.

— Ну и что?

— Так... поставил бы себе топчан, тумбочку, тарелку бы собственную имел. И никому бы не разрешил ее облизывать.

— Кто же станет облизывать в твоём доме-то?

— Найдутся... шакалы, детдомовские. Они везде пролезут. — Васька прикинул. — Я бы, пожалуй, еще замок повесил. А сам через окно ходил.

— Вот те раз! — захохотал солдат. — Какой же это дом? Это не дом, а черт знает что! Берлога!

— Какой хочу, — нахмурился Васька.

— Ладно, ладно, — согласился солдат. — А теперь я вон туда, видишь домик? А ты в обратную сторону. Завтра встретимся. Иди, иди...

Проследил, пока Васька скроется, поднялся на крыльцо. Постучался, а сам раздумывал над Васькиными фантазиями о своем доме.

Дверь открыла Муся.

Не удивилась, произнесла: «Пришел?» Обыденно, чуть по-бабьи.

Андрей разглядел, что она в халатике, в валенках на босу ногу. Поверх халата — ватник. Но и такой показалась она по-домашнему уютной.

Он будто чувствовал тепло, исходящее от нее, женское, одурманивающее. Притаил дыхание, испугавшись чего-то.

Много всякого разного прошло с их встречи. Были моменты, когда он вовсе не вспоминал эту женщину, она жила в нем, как забытый сон. Сейчас увидел и опьянел, одурел от ее близости. От одной возможности быть рядом с нею.

В комнате стоял полумрак. Горела коптилка.

Тетя Маня поднялась навстречу, в темном, на плечах плед.

— Андрюша пришел! А мы ждали... И Муся ждала.

Та, не глядя, кивнула, стала собирать на столе карты.

— Гадаешь? — спросил Андрей.

— Сейчас все гадают...

Муся исподтишка посмотрела на гостя, не смогла скрыть жалобного восклицания:

— Ой, что с вами? С тобой? Так изменился...

Андрей повернулся к ней, молча глядел. Что он мог ответить?

— Изменился, потому что время прошло.

Тетя Маня пришла на выручку, подхватив слова о времени. Мол, недавно сидели здесь, разговаривали об Оленьке, а теперь...

Вынула платок, засморкалась. Суетливыми и будто постаревшими руками достала бумажку, никак не могла развернуть.

Андрей у нее взял, развернул, прочел. В углу был номер воинской части, а в центре обращение, вовсе не казенное, а какое бывает в письмах близким: «Дорогая Мария Алексеевна!»

Далее сообщалось, что фронтовой товарищ Оля, член артистической бригады, пала смертью храбрых и похоронена в станице Яблоневской, Ставропольского края...

— Это где? — спросил Андрей.

— Не знаю сама, — отвечала тетя Маня. — Хочу, Андрюшенька, съездить.

— Кто же вас пустит? Там недалеко бои!

Муся вмешалась в разговор:

— И я говорю: подождите, Мария Алексеевна. Оле вы уже ничем не поможете. Пусть пройдет время.

Голос у нее дрогнул, она махнула рукой и ушла на кухню.

— Ребенок еще была, — тихо говорила тетя Маня. — Девочка еще, а они убили. Лучше бы меня, я пожила, не хочу больше. Неужто озверели, что всех поубивают?

— Они фашисты, — жестко произнес Андрей, наклоняясь, вглядываясь в желтый огонек коптилки. — Несколько дней назад я ехал на фронт и знал, что буду воевать, но не знал — как. А сейчас, поверите... — Он поднял повлажневшие глаза, в них отсвечивало желтое пламя. — Вот тут накопилось. Нагляделся на беженцев, на раненых, на женщин... И на детишек. Вот детишки, страдающие от войны, это страшнее всего.

Андрей будто что-то пытался разглядеть в мерцающем огоньке.

— У меня есть святое право карать за это. Бить их...

— Андрюша, а где ваши вещи? — спросила тетя Маня. — Где ваше оружие... шинель? Ведь вы тогда были при снаряжении, правда?

— Правда.

— Как сейчас помню, ваша винтовка стояла в том углу. А я обходила ее стороной, боялась, что она упадет и выстрелит.

— Будет у меня все, — ответил он. — Завтра Первое мая, я начинаю жить по-новому... Тетя Маня, вы помните стихи из Робина Гуда? Там, в самом начале?

— Как же, как же, — произнесла она. — «Двенадцать месяцев в году, двенадцать, так и знай...»

— «...Но веселее всех в году веселый месяц май!..»

— А дальше? — спросила тетя Маня. — Есть же слова дальше. Вы их знаете?

— Нет.

Тетя Маня прочитала:

— «Из лесу вышел Робин Гуд, деревнею идет и видит: старая вдова рыдает у ворот. Что слышно нового, вдова, — сказал ей Робин Гуд. — Трех сыновей моих на казнь сегодня поведут...»

Пришла Муся с шипящей сковородкой, ловко поставила посреди стола на черепицу.

— Угощайтесь, — произнесла довольно. — Если гость не привереда, я могу сказать, как это называется.

— По-моему, вкусно, — сказал Андрей.

Муся засмеялась.

— Тошнотики — слышал? Старая картошка да очистки проворачиваются, да еще что-нибудь, что есть не станешь. И не так уж плохо, да? Есть частушка даже: «Тошнотики, тошнотики, военные блины...»

Муся обратилась к тете Мане:

— Вам тоже нужно есть. Андрей, ну скажи ей, война еще не кончилась. Мы должны беречь силы для победы.

— Поешьте, — попросил он и тронул плечо.

Тетя Маня наклонилась, прижалась щекой к его руке, неслышно заплакала. Встала, пошла в свою комнату.

На пороге оглянулась, произнесла в нос:

— Простите... Вы ужинайте, а я отдохну.

Андрей и Муся молча доскребали сковородку. Заведомо знали они, что останутся вдвоем и будут говорить. Но о чем?

В то странное утро их неожиданного сближения вовсе ничего сказано не было. И прекрасно, что не было лишних слов. Но это могло быть однажды и не годилось для продолжения, о котором тогда они не загадывали.

Сейчас оказались необходимыми какие-то слова, объяснения, причем с обеих сторон. Оба это понимали и не были готовы начать такой разговор.

Муся унесла сковородку, поставила чай.

Андрей машинально тасовал карты.

Так сидели они друг против друга, чего-то ожидая.

Муся протянула руку и погладила, провела по его щеке. Он молча взял ее руку в свои и стал целовать ладонь и каждый отдельно палец, а потом все косточки и ямки, по которым его когда-то учили считать длинные и недлинные месяцы.

— Милый, что случилось? — спросила она неслышно.

Он понял вопрос по движению губ.

— Ничего не случилось.

— Но я же знаю, чувствую, милый.

— Все у меня нормально, — сказал он.

— Где твои вещи? Почему задержался?

— Я уезжаю завтра.

Муся поверх коптилки смотрела в его лицо, чужое, повзрослевшее за несколько дней. Все обострилось в нем, облеклось в жесткие законченные черты.

Исчез простодушный мальчик, открытый, не умевший прятать своих чувств. На его месте сидел мужчина, прикрытый, как броней, бедою непостижимой и всем, что она в нем натворила.

Тут же поняла она и другое.

Своей жалостью, словами и руками, растопив в нем лед отчужденности, вызвав ответные чувства, сделала она

невозможной совсем встречную откровенность. Скорей откроется он случайному человеку.

Андрей, прижав ладони к вискам, глядел через копилку на нее, на бледное лицо в голубых бликах, в ореоле светлых разбросанных волос. Он тоже думал о том, что не в силах открыться этой женщине.

Невозможно переваливать беды, хватит у нее своих собственных, скрытых и явных, которые он знал. Он способен был сейчас в одиночку тащить бремя своих невзгод, не травмируя больше никого из ближних, ни тетю Маню, ни Ваську, ни эту в мгновение ставшую родной женщину.

Почти весело он произнес:

— О чем ты спрашиваешь, если перед тобою карты. Они ведь все знают?

Муся со вздохом сказала:

— Не смейся. Все женщины в тылу гадают.

— И верят?

— Да, представь себе. Когда трудно, человеку нужно во что-то верить.

— Ладно, поверю, гадай. Только учти, у меня все хорошо.

— Раз хорошо, то и выйдет хорошо, — произнесла она, тасуя и разбрасывая карты. — Ты у нас крестовый король?

— Может, король, а может, валет... Без топорика своего.

Подперев кулачком щеку, рассматривала Муся пеструю мозаику на столе. Провела ладонью по картинкам, не поднимая глаз.

А когда взглянула на Андрея, были в ее взгляде такая боль, такое отчаяние, что он, державший на языке очередную шутку, растерялся и сник.

Во взгляде, но не в голосе ее. Голос прозвучал ровно.

— Карты говорят, дружок, что пережил ты большой удар и не скоро оправишься. Виновник твоих злоключений темный король, вы должны с ним встретиться...

— Скорей бы, — вырвалось у Андрея.

— Что? — спросила Муся. — Вот, у вас скорое свидание при большой дороге. Есть у тебя и близкий друг, он имеет отношение к твоим бедам. Но он верный друг, ты его не бросай... Видишь, он выходит все время рядом с тобой. Нет, нет, не женщина. Это молодой бубновый король. Женщины тут есть, но не они сейчас главное в твоей жизни...

— Черт! — произнес Андрей, отчего-то пугаясь и вставая. Он с силой сдвинул карты, и несколько из них полетело на пол. — Ты что? Это? Серьезно?

— Ох, Андрей, — протянула Муся. И опять он увидел взгляд, наполненный дикой тоской, не имеющей выхода, как бывает у раненых животных.

Она стала собирать оброненные карты и, разгибаясь, оказалась перед ним.

— Так почему же не главное, — произнес он. — Именно главное, я ведь тебя люблю.

Сильно обнял ее, так что хрустнуло, промычал едва понятно, зарываясь в ее мягкие волосы:

— Не думай, у меня никого не будет... Если ты захочешь ждать... Потому что... Люблю! Люблю!

Она тихо, будто не дыша вовсе, прильнула к нему. Молча затаилась, как бы прислушиваясь к его нутру.

Он руками провел, перебирая ее волосы, ее хрупкое плечо под теплым ватником, узкую податливую спину... Вмиг подхватил ее, подкосив рукой под колено, и так, держа на весу, стал целовать бездумно и бестолково, попадая губами в подбородок, в шею, в живот, ощущая через распахнувшийся халат женскую угарную духоту, от которой он еще больше распался и терял над собой власть.

С одной ноги ее соскочил валенок, обнажив белую коленку. Он стал целовать эту коленку. Пронес через комнату Мусю, положил на кровать. Медленно, бережно, как спящего ребенка.

Но она тотчас же приподнялась и села. Стала торопливо поправлять волосы, запахнула халат. Будто опомнилась от обморока, от гипноза.

— Нельзя, милый... Сейчас нельзя!

— Можно! Можно! — бормотал он, наклоняясь, желая силой склонить и ее. Он не вдумывался в смысл ее и своих слов, почитая их необязательным сопровождением главного. Главное же была любовь.

Она поцеловала его в губы, коротко и легко. Со вздохом сказала:

— Да как же, в доме покойник... Несчастье в доме. А мы как безумные... Нет, нет!

Медленно приходил он в себя.

Понимал, как не понимать, что так оно и есть, несчастье, смерть и скорбящая за стеной женщина. Но было еще и другое: последний день встречи перед фронтом. Он должен был, он хотел любить и хотел, чтобы его любили.

Насколько сильным было его желание, настолько оказалось большим горе перед невозможностью это желание осуществить.

Все, все она чувствовала.

— Ах, господи, — прошептала в отчаянии, торопливо целуя его замершее, неподвижное лицо. — Не серчай, милый! Ну кто виноват, что так вышло... Мы ведь люди живые, а не скоты какие-то... Мы не можем делать плохо, правда же? Пожалуйста, не серчай!

— Да ничего я, — произнес он отрывисто, не сумев скрыть в голосе разочарования.

Сел на постель рядом с ней, уставившись окаменевшим взглядом прямо перед собой, в темную стену, за которой за тонкой перегородкой одиноко страдала тетя Маня, вслушиваясь в свое горе.

Но не могла она не слышать всего, что происходило в комнате, их шепота и поцелуев. Вот какие странности этого мира: война, похоронки, несчастье, а люди продолжают есть, любить, целоваться...

Ничто кругом не изменилось от того, что самые молодые, самые лучшие и прекрасные безвременно уходят из жизни. Никто не рвет на себе волосы, не стонает, не исходит на улице от горя. Все отдано женщинам и матерям, в одинокой ночи.

— Пойду, — сказал Андрей.

Муся ничего не говорила, но и не удерживала его.

— Пойду, — повторил он и теперь встал.

Она продолжала молча и как бы бездумно сидеть. Слышала ли она его?

Он обернулся, чтобы сказать прощальные слова. Вдруг почувствовал, что ужасно было бы ему оставаться, но еще ужасней уйти, оставив эту женщину на пустой постели, в пустой комнате.

Так, стоя на расстоянии, вглядываясь в ее фигуру, опавшую, горестно оцепенелую, сказал он то, что не думал, не помышлял говорить:

— Давай поженимся! Я вернусь, честное слово. Я выживу, выстою для тебя, для нас с тобой... У нас будут дети. Я всегда, всегда стану тебя любить...

Произнесено было неловко, грубовато. Но так отчаянно, так неумолимо, что она одним движением, как по воздуху, стала рядом с ним, прикрыв губами его слова.

Странно засмеялась, склоняясь к его груди, пока он не понял, что не смеется она, плачет.

О чем она плакала?

О себе, наверное, о бабьей доле, о судьбе, которая могла стать иной, будь она хоть чуточку хуже, легкомысленней, что ли. Воистину люди говорят, что судьба — это характер.

Не желая врать или притворяться в такой откровенный час, единственный в ее жизни, заговорила она, смахивая ладонями бегущие слезы. Заговорила о том, что она бы тоже любила его, самого лучшего, ненаглядного ей человека, лучшего из всех, кого она знала.

— Но ведь я женщина, русская баба, — доносился до него торопливый грудной голос. — А ты, Андрюшенька, родной мой, не понял, что русская баба не бросает мужа калеченого да несчастного посреди ужасной страшной войны... Мы жалеть умеем, Андрюшенька, а наша жалость, она и есть наша любовь. Знаю, знаю, ты думал, переспала, вот уже и моя. Но я и была твоя и вспоминать

буду тыщу раз посреди ночи, до самого края жизни не забуду ничего. И не так, как мужик вспоминает, а изводиться по твоим ласкам буду, подушку омыwać слезами — так вспоминать... Но его не брошу. Он меня, Андрюшенька, тоже жалеет по-своему, как родитель старший все равно. Он обо мне печется, любит меня. А баба, ох, что баба... Она за ласковую душу отдаст все, и терпеть калеченого будет, и любить будет. Да, тем сильней, может, ты не понял, Андрюшенька, чем больше он несчастный...

Андрей будто застыл, похолодел весь от неожиданного горя.

Она знала, что может в нем сейчас твориться. Лгнула к нему, целовала, плакала и убивала своими словами.

— Я у тебя только первая женщина. Это вовсе не то, что первая жена. У тебя, милый, родной мой, все будет. Жена твоя, Андрюшенька, счастливица будущая, может, только в школу ходит.. Не отчаивайся... Я буду тебя помнить, всегда, всегда.

23

Андрей шагнул на улицу, наткнулся на Ваську, сидящего на ступеньке.

— Ты? Василий? — спросил пораженно. — Что тут делаешь?

— Ни-ни... чего, — ответил тот, съезжившись, обхватив плечи руками.

— С тех пор?

— С каких... Ну, ты же сказал, что ненадолго. Я решил подождать.

— Вот шальная голова. А если бы надолго? На всю ночь?

Васька подул на руки.

— Сколько б терпения хватило.

— А постучаться ты не мог?

— Да ну, — отмахнулся Васька. — А кто здесь живет?

Андрей посмотрел на мальчика, на дом с темными окнами.

— Как тебе объяснить. Одна, в общем, хорошая женщина.

— Любишь ее? — спросил Васька.

— Что?

— Что, что... Не хочешь, не говори. Сам не маленький, догадаюсь.

— Ох, Василий, — только выдохнул солдат. — Не только ты, а я маленький в сравнении с ней.

— Ага. Значит, не любит, — заключил Васька. — Да ну их! Все они одинаковые!

— Смотри, а у тебя, брат, опыт.

— А чего я, слепой, что ли! Они в лесу около детдома на траве с солдатами лежат... Да и в песне не зря поют: «Ты меня ждешь, а сама с лейтенантом живешь...»

— И так бывает. По-разному бывает, Василий.

— Конечно, по-разному, — сказал Васька. — Ведь говорят же: до лейтенанта жена получает только удовольствие... До полковника — удовольствие и продовольствие. А после полковника только продовольствие...

— Пойдем, Василий, побыстрей. Вправду похолодало, — предложил солдат. — А женщин ругать нельзя. На них, сам видишь, весь тыл держится.

— Вижу. Только жениться бы я все равно не стал. Противно это.

— Что тебе противно-то?

— Да все. Целоваться противно. Я, конечно, сам не целовался, но видел. Лично мне не понравилось. А ты целовался, дядя Андрей?

— В общем... Да.

— Тогда скажи, когда взрослые целуются, им не стыдно в глаза друг дружке смотреть?

Андрей усмехнулся, прибавил шагу. Васька рысцой поспедал за ним.

— Когда люди любят друг друга, ничего стыдного не может быть. Понял?

— А как узнать? — спросил Васька. — Мы в детдоме много об этом спорим, ребята говорят, что любви не бывает. А вот учительница рассказала историю... Знаешь, жил дворянин один, а в него влюбилась девушка. Она ему даже письмо написала в стихах... Ну, такое письмо, ахнешь! А он ей, значит, говорит... Ты молода еще, поживи с мое, тогда поймешь, почему фунт изюма... И стал ухаживать за ее сестрой. А сестра эта была прости господи, такая, ну... С одним, значит, с другим, да еще жениху голову морочила. А жених был приятель этого дворянина. Он возьми да вызови дворянина на дуэль. Это раньше так было — из-за баб вызывали на дуэль. А дворянин его и кокнул. И уехал на фронт добровольцем... А потом приезжает с фронта, а девушка его уже замуж вышла, да не за лейтенанта, а за генерала, что ли... Он ей по аттестату и деньги, и продукты, она и пошла за него. А дворянин увидел и влюбился. Генерал на передовой, понимаешь, немчурку бьет, а этот к ней каждый день домой ходит. Еще письмо написал, они раньше так делали... Вроде и встречаются, и письма еще пишут. И он, значит, в стихах как ей катанет на целую тетрадь. Написал, что он зазря не оценил ее, что был груб, а теперь, мол, любит. А она ему при встрече и говорит. Я, говорит, тебя любила и сейчас люблю. Но генерал меня обеспечивает, и я ему изменить не могу. С тем и прощай, дорогой! А в это время генерал в командировку приехал. Как увидел он их вдвоем, достал гранату, как ахнет!

— Не брешь, Василий, — сказал солдат. — Не было гранаты.

— Ну, не было, — сознался Васька. — А ты откуда знаешь?

— Слышал.

Шагалось по холодку легко.

Ночь не казалась уже темной. Дачная улица была пустынной, молчаливые ряды домов с потухшими стеклами.

Чтобы сократить дорогу, свернули они в редкий сосняк, на тропинку. Откуда-то сбоку вынырнули две

фигуры, пошли наперерез. Один остался сзади, а другой приблизился вплотную, попросил прикурить.

Васька сообразил моментально: урки, раздевать начнут.

Покрылся липким потом, а руки и ноги ослабели от страха. И голос пропал. Но испугался не за себя, за солдата, который, ничего не подозревая, полез в карман за спичками.

— Дядя Андрей... — прошептал Васька, но кончить не успел.

Человек выкинул вперед нож, держа на уровне пояса, снизу вверх, хрипло приказал:

— Часы, деньги — быстро! Будешь кричать — прикончу! Живей! Живей!

Солдат стоял будто в растерянности, медленно доставая руку из кармана. Дальше Васька не успел увидеть, что произошло. Солдат ударил ногой по руке, и нож улетел в темноту. Потом он захватил локоть бандита, так что хрустнуло, и тот грузно шмякнулся на землю. Да попал на пень ребром, заорал от боли.

Зато второй навалился солдату со спины, опрокинул на себя.

— Помогите! — закричал Васька, но голос, срывающийся, слабый, прозвучал как во сне. И ноги подгибались, и не было сил бежать.

Он почти достиг дороги, упал, ударившись о какой-то булыжник. Тут только сообразил, что бросил дядю Андрея одного с бандитами. Пока Васька будет звать на помощь, они ведь убьют его.

Заплакал Васька, потеряв ушибленную коленку, нащупал злосчастный булыжник, поднял его. Прижимая к груди, поплелся обратно.

Острым детским зрением разглядел в серой мгле, как хрипят, катаясь по земле, двое, а в стороне сидит третий и пытается встать и не может. Здорово, видать, хрястнуло его об пень.

Васька увидел, что бандюга подмял под себя солдата, навалился грудью, стал душить. Всхлипывая, подошел к

ним, положил камень у своих ног и вытер рукавом слезы, чтобы не мешали видеть. Поднял камень и с размаху опустил его на голову бандита.

Тот мгновенно раскис, размяк, отвалился набок, издав гортанный звук.

Солдат встал на ноги, покачиваясь сделал несколько шагов, увидел Ваську. Протянул ему руку, произнес только: «Бежим!»

Они с треском летели сквозь темный лес, спотыкаясь на колдобинах, на ямах, процарапываясь через кусты. Потом замедлили бег, пошли шагом, а на подходе к детдому остановились. Сели на землю и слова не могли сказать, задохнулись. Смотрели друг на друга и тяжело дышали.

Тут стало видно, что наступил рассвет. Верхушки деревьев все ясней очерчивались на фоне светлеющего неба. Звезды стерлись, повеяло сыростью.

— Останемся здесь, — предложил солдат.

— А если найдут? — шепотом спросил Васька.

— Кто? Эти? Да нет!

— Все равно страшно, — сознался он.

Собрали сухую хвою, подожгли. Поднялось пламя. Стало жарко. А ночь будто потемнела. И небо и деревья — все сгустилось вокруг.

Васька молчал, жался к огню.

— Ты что? Заболел? — спросил солдат, приглядываясь. А у самого темный синяк разрастался под глазом и кровавая царапина поперек щеки.

Васька шмыгнул носом, стал крутить тлеющий прутик. Спросил неуверенно:

— Дядя Андрей... А я этого... не убил?

— Кого? Бандюгу-то? — сказал тот. — Да что ты, оглушил малость. Переживаешь?

— Не знаю, — вздохнул Васька. — Я когда шмякнул его по голове, сам думаю: вот и он встанет сейчас, кулачищем двинет, и брызнут мои глаза в разные стороны...

— Уж так ты это и успел подумать?

— Успел, после... Все равно я боялся его.

— Но ударил?

— А как же, — ответил негромко Васька. — А если бы тебя стукнули или ножичком пырнули? Им это что вы-сморгаться.

— Да-а, — протянул солдат. Засмеялся, глядя на Ваську. — Я и не понял, зачем они подошли.

— Как же не понять? — удивился Васька. — Если двое в темноте подходят и прикурить просят, значит, грабить начнут. У женщин они сумочки берут, часики какие, брошки, кольца... А у мужчин часы и бумажник. Иногда раздеваться велят, если там каракуль какой. Говорят, одну артистку прямо около своего дома раздели, в Москве.

— А у меня-то что брать? — спросил солдат. — Я каракуля не ношу.

— Это они в темноте обмишурились. Они бы отпустили, наверное, если бы ты объяснил.

— Я солдат, Василий. У меня объяснения простые. Мне бояться да отступать положение не велит. Да и тебе тоже...

Васька ничего не сказал, пошел хворосту подсобирать. Хорошо, что не видно, как покраснел. Ведь он побежал сперва. Видел дядя Андрей или не видел, что Васька побежал?

Вернулся, подложил в костер палок, спросил:

— Как вы его... об пень-то?

— А-а... Это самооборона, — пояснил солдат. — Мы в ремеслухе тренировались. Тут и силы много не требуется, одна механика.

— Нет, правда? — Васька даже привстал. — Вот бы научиться! У нас хмырь есть один, он всех бьет. Он старше, с ним никто не может справиться.

— А ты пробовал?

— Я? — хихикнул Васька. — Да обо мне и речи нет. Он самых здоровых гнет к земле. Если что ему нужно, отдай подобру, а то еще поиздевается... Вон как Грачу «велосипед» с «балалайкой»...

Солдат подкинул сухого лапника, костер загудел, поднялся высоко, осветив кругом кусты и деревья.

— Главное, Василий, это не сила и даже не техника, — сказал солдат. — Урки боятся смелых. Если бы ты первый ударил этого... своего...

— Кольку Сыча, — подсказал Васька, понизив голос, и оглянулся.

— Да-да. Если бы ты первым напал на него, я уверен, что он бы испугался.

— Нет, — произнес Васька. — Я его никогда не ударю.

— Боишься?

— Боюсь. Его все боятся.

— А Боня что ж?

— Бонифаций? Он сильный, только он не дерется. Понимает, что с Сычом лучше не связываться. Один у нас не отдал Сычу пальто. Так Сыч его раздел ночью, вытолкал в окно голенького и не велел появляться. Убрался, даже воспитатели не узнали.

— А что же воспитатели у вас делают?

— Живут, — сказал Васька. — Они сами ничего не умеют. То воспитатели новые, то ребята — попробуй узнай всех. Как на вокзале...

— Тяжело...

— Я и не говорю, что им лучше. Мы тут к одной в комнату залезли, так у нее ни денег, ни хлеба не оказалось. Одно крошечное зеркальце. Разве это жизнь?

— А зеркальце взяли?

— Взяли, — сказал, вздохнув, Васька.

24

Утром, во время завтрака, вошел в столовую директор Виктор Викторович, в темном отглаженном костюме, желтых туфлях и галстук.

Он громко поздравил весь коллектив детского дома с праздником трудящихся Первое мая.

Ребята доедали овсянку. Кто-то царапал ложкой по тарелке, кто-то чавкал, а один, уже вылизавший кашу, хихикнул и надел тарелку себе на голову.

Директор посмотрел на придурка, переждал глупый смех и добавил, что, возможно, с утра придет машина из колхоза, тогда все поедут в гости к шефам. Так что никуда не разбегаться.

Вот теперь поднялся шум. В колхоз ездить любили.

Забарабанили по столу, завьили, затрещали, заорали невообразимое. Ревели, мычали, визжали на разные голоса, некоторые свистели. Директор собирался сказать что-то еще, но лишь махнул рукой и ушел к себе.

Общее возбуждение достигло вершины, когда принесли большую и блестящую, наподобие бидона, жестяную банку с американским клеймом и каждому выдали по полной ложке белой размазни, именуемой сгущенным молоком.

В тарелку, в ложку, в бумагу, в спичечную коробку, в лопушок, в ладошку — каждый подставлял что мог.

У Васьки была горбушка, приберегал для солдата. Провертел в мякише дырку, подставил, и ему налили диковинного молока. Васька не отходя языком лизнул — понравилось. Еще лизнул — еще вкусней показалось. Таяло во рту, нектаром расплзлось по нёбу, по губам.

Голова пошла у Васьки кругом от такой сладкой жизни.

Стоял посреди коридора, лизал и наслаждался, зажмурившись. Представлялось ему, что, когда он подрастет, заработает деньгу, в первую очередь купит на рынке пайку хлеба и банку американского молока. Ложкой черпать будет и есть, подставляя снизу корочку, чтобы драгоценная сладость не капала мимо.

Неужто наступит такое золотое время для Васьки?

Кто-то, пробегая, саданул Ваську под локоть, хлеб с молоком отлетел на пол. Обмерев, бросился Васька к пайке. Но кусок упал удачно, ничто не пролилось, лишь осталось на полу бледное пятнышко. Васька лег на живот и пятнышко вылизал.

Прикрыв хлеб двумя руками, Васька пошел на улицу.

За сараем, привалясь к стене, спал солдат дядя Андрей, свесив набок голову.

Мальчик присел на корточки, подробно рассмотрел его лицо. Сейчас особенно стало видно, какое оно старое, изможденное, морщины, синяк под глазом и царапина на щеке.

Васька смотрел, и жалость разъедала его сердце, защипало в глазах.

Представилось: вдруг дядя Андрей умрет?

Уж очень вымученным, бледным он был, и тяжким, прерывистым было его дыхание.

Испугался Васька, ужас его объял. Помрет ведь, а может, уже помирает. Что будет он делать один?

Решил поскорей разбудить солдата. Известно ведь, когда человек не спит, он умереть не может. Потому что он станет думать, что умирать нельзя...

Осторожно положил хлеб на траву, стал теревить солдата.

— Дядя Андрей! А дядя Андрей! Проснись, не надо спать! Проснись, скорей!

Солдат лишь головой повел, досадуя. Попытался открыть глаза, белками поворочал и снова закрыл.

Не знал Васька, что привиделось солдату необыкновенное. Эшелон приснился свой, прямо как в натуре, и винтовка своя, которую он и не терял вовсе, а по забывчивости оставил в козлах, в вагоне. Чистил боевое оружие солдат, обглаживал ладонью вороненую сталь, поблескивающую маслом.

Увидел Васька, что солдат не может проснуться, еще больше перепугался. Затормошил его, чуть не плача, стал на ухо кричать.

Хотел солдат и Ваське счастливую весть объявить про винтовку. Что нашлась, родимая, что стояла — ждала в козлах. Да жаль от эшелона отрываться, от занятия своего приятного.

— Сейчас, Василий... Почистищу...

Пробормотал и проснулся.

Увидел близко от себя испуганное лицо мальчика.

Спросил хрипло:

— Что? Что случилось?

Васька сел на землю перед солдатом, облегченно вымолвил:

— Фу, напугался!.. Думал, что ты помер!

— Я помер? — спросил солдат, озираясь, проводя рукой по лицу. Ах, как ему приснилась собственная винтовочка, будто наяву видел ее. Кончики пальцев до сих пор ощущают гладкий тяжелый металл. Подремать бы чуть, может, вернулось бы благостное это состояние...

Но Васька все тут, протягивает кусок хлеба с белой размазней.

Вяло принял солдат хлеб, спросил:

— Что, лярд?

— Попробуй!

Васька уставился в рот солдату. Радостно смотрел, как дядя Андрей откусывает хлеб с молоком. Но солдат перестал жевать, поморщился.

— Это что же такое? Не лярд?

Лицо у мальчика побледнело от обиды.

— Подумаешь, лярд! — выкрикнул вздорно. — Он и не масло никакое, его американцы из угля делают...

— Ну да, ну да, — согласился виновато солдат. — А это что?

— Молоко особое, сгущенным называется... Как пирожное все равно!

— А ты хоть ел пирожное?

— Не помню, — сказал Васька. — Вообще-то Боня рассказывал, какое оно... Вроде как снег сахарный... Возьмешь, а оно тает.

— Так это мороженое!

— А мы ходили картошку перебирать. Тоже мороженая, сладкая ужасно. Я ее штук сто съел.

За разговором Васька умял возвращенную пайку, облизал пальцы, а руки вытер об волосы. И зло пропало.

Вспомнил об утренней новости, предложил:

— Едем с нами в колхоз? Там весело, накормят от пуза.

— Нет, — сказал солдат. — Ты поезжай. А я к старухе схожу.

— А потом?

— Видно будет.

Васька попросил:

— Меня подожди. Я к обеду вернусь. Съезжу только и вернусь. Ладно?

— Езжай давай!

Детдомовцы караулили машину у дороги.

Углядели издалека, бросились как ошалелые навстречу, облепили со всех сторон. Карабкались, сыпались с грохотом в деревянный кузов.

Зеленый «студебеккер» с откидными решетчатыми лавочками по бортам был ребятам хорошо знаком. Ездили на прополку, на окучивание, на сбор колосков. Каждый детдомовец мечтал стать шофером, чтобы гонять по пыльным проселкам такой зеленый «студебеккер».

Виктор Викторович дождался, пока все утомонятся, сел в кабину, и машина полетела.

— Даешь колхоз! — закричал Грач, размахивая над головой шапкой.

Кто-то дразнился:

— Небось люди замки покупают, говорят, Грач едет, держись, деревня, чтобы не растащили!

— А ты, Обжирай, молчи! Кто в прошлый раз стырил в конюшне кнут?

Повсюду шли свои разговоры.

— ...Боцман и говорит: «Я, говорит, тут все мели знаю! Вот — первая!»

— ...Старуха просит: сходи, сынок, принеси из погреба капустки. А я руку в бочку и за пазуху. А капуста течет по штанам, по ноге...

— ...Он пистолет как наставит: «Ноги на стол, я — Котовский!»

— ...И не «студебеккер», а «студебаккер», там в кабине написано...

— ...Ильинский тогда и говорит: «В нашем городе не может быть талантов!»

— ...Председатель так объявил. Мол, кончите семь классов, беру в колхоз. Мешок муки, трудодни там, картошка...

— ...В прошлый раз в амбар на экскурсию привезли, пока рассказывали, Сморчок дырку пальцем провертел и муки нажрался, вся рожа белая!

— ...А Швейк кричит: «Гитлер капут!» И в пропасть его...

Боня втиснулся боком между остальными, поближе к Ваське. Придерживаясь рукой за шаткий борт, спросил:

— Этот солдат... Он какой родственник? Дальний? Близкий?

— Родственники — это когда близко. А что? — Васька не сразу сообразил, куда гнет Бонифаций.

Решил про себя: не открываться. Вообще наводить тень на плетень.

— Да так, — сказал Боня. — Вроде непонятно. Солдат, а ночует, говорят, в сарае у нас... Он что, с фронта приехал?

— В том-то и дело, что приехал, а тут несчастье, — по секрету передал Васька.

— Какое несчастье?

— Какое... Любил он, понимаешь, одну девушку. Она ему все письма на фронт в стихах писала. Ну а он пошел в разведку и целый штаб фашистов захватил. Гранату наставил, как закричит: «Сдавайся!» Они все и сдались. Ему орден за это. А он просит... Товарищ командир, мол, дайте несколько дней, мне надо к девушке съездить. Ну, ему дают. Приезжает он и что же видит...

— Что? — спросил Боня.

— А вот что! Живет она с лейтенантом, на полном, значит, обеспечении. А солдату и говорит: «Я тебя не люблю больше. Уезжай туда, откуда приехал. Мне и без тебя хорошо».

— Вот сука! — сказал Боня.

— Конечно, сука, — повторил за ним Васька. — И солдат ей так сказал: ты, говорит, тыловая сука... Тебе, говорит, не

человек нужен, а звездочки на погонах! Это про тебя песню поют: «Ты меня ждешь, а сама с лейтенантом живешь» и так далее. Так вот, получай за все, и достает он гранату.

— У него есть граната? — спросил Боня.

— Есть... Хотел он в них кинуть, а потом раздумал. Выходит из дома и говорит мне: «Пусть живут. А я на фронт уеду. Мне эта граната для врагов пригодится. Давай, говорит, Василий, с тобой не жениться никогда. Все они, говорит, бабы, одинаковы. Целоваться с ними противно». А я в ответ: женщин ругать нельзя, на них весь тыл держится... А он сказал: «Ты, Васька, прав, конечно. Но любви на свете нет».

— А я-то смотрю, невеселый он, — произнес Боня. — Значит, так и ушел с гранатой?

— Так и ушел, — подтвердил Васька. — В сарае стал жить.

— Может, помочь надо? — Машина качнулась, Боня стукнулся губами о Васькино ухо. — Ты скажи...

— Ладно.

Боня повернулся к остальным ребятам, привставая на ветру:

— Песню поем?

Все завопили, каждый предлагал свое.

Боня, взмахивая рукой, запел громко:

*Эх, граната, моя граната,
Ведь мы с тобой не про-па-дем!*

Грянул хор, машина дрогнула:

*Мы с тобой, моя граната,
В бой за Родину пойдем!
В бой за Родину пойдем!*

С песней, как десантники на боевом задании, въехали они в деревню, где на избах полоскались под ветром красные флаги.

Детдомовцы съпались из машины наземь, как картошка из ведра. Падали, раскатывались в разные стороны. Свободу почувствовали, возможность проявить свои неограниченные силы.

Лезли в огороды и сарай, в конюшню, маслозавод, сельпо, скотный двор. Разбежались, как тараканы при свете, каждый нашел свою щель и был таков. Около сельсовета, где встала машина, жалкой кучкой торчали девочки, выбрав среди грязи посуше островок.

К Виктору Викторовичу подошел председатель колхоза, рыжий, бойкий дядька в овчинном полушубке и ушанке, на ногах сапоги, широко поздоровался. Был он, видать, под хмельком, говорил громко, махая руками.

— В клуб артиста пригласили... Пусть огольцы концерт посмотрят. Потом мы их по избам распихаем харчеваться. А где ж они?

Виктор Викторович развел руками:

— Разбежались. Теперь не соберешь.

— Как так не соберешь! — вздорно сказал председатель. — Сейчас молока велю привезти, вмиг будут тут.

Называя Виктора Викторовича на «ты», председатель взял его под руку, потащил в гости.

Вскоре подъехала телега с бидоном.

Рябая широкоскулая молочница стала разливать молоко по банкам, откуда-то налетели ребята, вывалянные в сене, жующие горох или жмых. Захлебываясь, обливая одежду, тянули банки, просили: «Дайте мне! Дайте мне!»

— Да всем же хватит, — произнесла молочница. — Небось фляга-то вон какая.

— Авось да небось, — передразнил Васька и подставил чью-то шапку. — Ты лей давай! Мы неограниченные!

Кто-то пил из ладоней, не дожидаясь посуды, боясь, что его обделят. Кто-то по Васькиному примеру тянул шапку, а еще придумали галошу, сняв с ноги.

— Ох, мамочки! — восклицала молочница. — Да что вы такие заморенные?

— Мы не голодные, — поправил Боня снисходительно. Он возвышался над остальными, молоко с его подбородка капало на Васькины волосы. — Пьем, мамаша, про запас.

Женщина всплеснула руками:

— Да какой же может быть запас? Вы не резиновые, поди?

Боня спросил строго:

— Грач, сколько ты можешь выпить?

Тот не торопился отрываться от миски, из которой он с другими ребятами тянул молоко с разных концов. Допил, поднял голову вверх, отвечал белым ртом:

— Пока неизвестно. Как назад попрет, так, значит, хватит.

Постепенно желающие отпадали. Детдомовцы, налившись жидкостью, словно разбухнув, садились на землю там, где стояли. Пытались пить и сидя, но уже не лезло, и они зло сплевывали белую слюну, глядя снизу на тех, в кого вливалось больше.

Про Боню с завистью говорили:

— Он вон какой длинный! В него сколько ни лей, все зайдет!

Некоторые, подогадливей, бежали рысцой за сельсовет опростаться. Возвращались бодрые и активные.

Но и тут исчерпалось. Грач уже икал, отрыгивая, как малое дитя. Толька Кулак сидел обхватив живот и ловя воздух ртом: подперло у него под сердце. Какая-то девочка плакала: она не смогла выпить больше стакана.

Васька распластался, как рыба на песке. В глазах побелело.

Услышал, как молочница спросила с оглядкой:

— Кому еще надо?

Бидон, как назло, все не кончался. Кто мог допустить такое, чтобы его увезли?

С паузами Васька пробормотал снизу, почти из-под телеги:

— Надо... Еще... Ты не увози... Мы его постепенно...

На большее воздуха не хватило — пошло молоко. Причем изо рта и из носа одновременно.

Тетка, вздохнув, произнесла в утешенье:

— Дадут, дадут вам еще. Гуляйте!

Бидон увезли, а детдомовцы остались.

Впрочем, затишье продолжалось недолго. Умялось, утряслось, проскочило: вода дырочку найдет!

Сперва медленно, потом живей, как котята, стали кататься по земле, бороться. Играли в расшибаловку, в салочки, в ножички, в чехарду.

Вернулся «студебеккер», привез артиста.

Ребята увидели, ринулись в клуб занимать места. По пути чуть не сшибли собственного директора, он ходил с наволочкой по домам, закупал продукты для семьи.

В дверях клуба стоял рыжий председатель, по одному пропускал детдомовцев, придерживая остальных.

Покрикивал лихо:

— Давай, огольцы! Сыпь в партер! Сейчас концерт изобразим! Смех и юмор! Чтобы росли веселыми, огольцы-молодцы!

Детдомовцы и прежде знали рыжего председателя. С ним связывались колхозные подарки, картошка и овощи или неожиданные праздники, такой, как сегодня.

Ребята с удовольствием смотрели ему в лицо, дружески улыбались, кивали как старому знакомому. Никто не представлял только, что такое партер.

Самые просвещенные утверждали, что вино так называется, другие говорили, что это фамилия артиста.

Деревенских задарма не пускали, требовали червонец денег; если не было червонца, брали яйцами, маслом или салом.

Кто-то приволок соленый огурец, но с огурцом прогнали.

Клуб размещался в большой избе с деревянными лавками.

Детдомовцы заняли переднюю лавку, а некоторые сели прямо на сцене. Потом уже набилось народу столько, что стояли в дверях и в окнах. Стало душно, воняло сивухой.

Вышел на сцену председатель, — здесь он показался ребятам, смотрящим снизу вверх, еще больше, — стал

говорить о празднике и о задачах на посевную как перво-степенной помощи фронту.

— У нас в гостях подшефный детский дом номер тридцать три, — энергично произнес он, — воспитанники помогали нам активно бороться с сорняками, собирали на поле колоски... Спасибо!

Все захлопали, а некоторые детдомовцы захлопали сами себе.

Васька сидел сбоку сцены, ему было видно, как за короткой кулисой, в закутке, готовился к выступлению приезжий артист. Он нарисовал себе карандашом щеки, губы, глаза, и Ваське стало заранее так смешно, что он прыснул в воротник.

Артист между тем из бутылочки взял в рот жидкости, шумно пополоскал и выплюнул прямо на сцену. Золотые зубы его вмиг побелели. Васька перестал хихикать и озадачился. Вот так штуковина! Красить щеки куда ни шло, но красить зубы... Нет, не надо было артисту скрывать их от публики. Любой пацан мечтает иметь столько блестящих зубов. Если уж необходимо красить, полоскал бы зубы на зрителях... Какой бы был успех!

Председатель кончил свою маленькую речь и представил слово артисту.

Тот выскочил на сцену, энергичный и приветливый. Кланялся, изгибаясь и кокетничая глазами, ему аплодировали. А Ваське стало заранее смешно.

Артист изображал на сцене пьяницу, который где-то потерял бумажник, но ищет его под фонарем. Его спрашивают: «Отчего ты здесь ищешь, ты же потерял в другом месте?» Пьяница отвечает: «А здесь светло!»

Васька закатился от смеха. Так долго, заливисто он смеялся, что в зале стали смеяться на самого Ваську.

Артист тоже заметил Ваську, указывая на него пальцем, произнес:

— У меня дома такой же шкет растет! Приходит с улицы, а у него дырки на штанах!

Все засмеялись, а Васька прикрыл заплатки ладонями.

— ...Ну, починили мы ему штаны, на другой день снова дырявый. Мать и говорит: «Сошью-ка я ему штаны из чертовой кожи! Он в жизнь не сносит». Сшила, глядим, вечером снова дырки... Я спрашиваю: «Ты что, нарочно их рвешь?» — «Да нет, папа, — говорит. — Мы просто с Мишкой новую игру придумали». — «Какую игру?» — «Да я сажусь верхом на точило, а Мишка крутит!»

Артист мелко, профессиональным голосом заблеял и посмотрел на Ваську, как он станет реагировать. Но Васька почему-то не захотел смеяться. И никто из детдомовских не засмеялся.

Накрашенные брови у артиста поползли вверх, он недоуменно пробежал глазами по лицам ребят, поднатужился, заулыбался, как будто ему весело. Но Васька вдруг понял, что ему совсем не весело да и не интересно все это говорить и делать.

Васька не захотел слушать артиста, а решил уйти домой.

«Пускай, — подумал с неожиданной мстительностью. — Пускай залатано, зато у меня есть солдат дядя Андрей».

Васька отвернулся от сцены и стал смотреть в зал, на людей, которые смеялись и грызли семечки. Некоторые переговаривались между собой. Самые веселые, хватившие с утра самогона, пытались запеть. Их шумно одергивали.

Артист в конце изобразил зрителя в кино, который заснул во время сеанса, и все кончилось.

Прямо у выхода рыжий председатель распределял ребят по домам колхозников, тыкал пальцем в грудь и говорил: «К Кузьминым... К вдове Люшкиной... А этого к Прохоровым...»

Васька шмыгнул в сторону, хоть знал, что будут сейчас сытно угощать детдомовских в избах. Картошки с мясом дадут, вина домашнего, семечек насыпят полные карманы. Поедут с песнями обратно, а директор повезет две наволочки крупы и творога и еще чего-нибудь.

Ваську ждет дядя Андрей, свой человек, а ему сегодня вовсе не до праздника.

Вышел Васька по наезженной колее на окраину деревни, рысцой пустился в направлении Люберец. Только молоко забулькало внутри.

26

Как в прошлый раз, Андрей боковыми улицами миновал город, с оглядкой пересек шоссе около белокаменной поликлиники. Знакомой девочки, галчонка с тонкими ногами, во дворе не увидел, только след ее — белые квадратики, начертанные на асфальте.

Андрей стукнул раз и два в деревянную крашеную дверь.

— Входите, открыто, — раздался низкий женский голос.

Прихожая квартиры была завалена мебелью и тряпьем. Керосинки, корыто, велосипед... Пожилая женщина, волосы желтовато-седые, на макушке косичками, встала перед Андреем с щеткой на длинной палке, вопросительно ждала.

— Здравствуйте, — сказал он. — Вы бабушка Шурика?

— Допустим, — произнесла женщина, глядя ему в лицо.

— Можно его видеть?

— Шурика нет дома. А вы кто будете? Знакомый?

— Да, мы встречались... однажды, но у меня к нему дело.

— Вот как! Ну, входите в комнату, раз дело.

Женщина отложила щетку и первой пошла по коридору. В комнате было так же сумрачно, северная сторона. Лишь за окном освещенная солнцем стена противоположного дома да зеленая ветка тополя у стекла.

Не сводя глаз с этой качающейся ветки в острых частых листиках, даже на вид липких, с молодой желтизной, Андрей сел на стул.

— Докладывайте, — предложила женщина, садясь напротив. Спокойно и доброжелательно выжидала, рассматривая его.

— Я был вчера, но не застал вас... А тут девочка около дома...

— Мариночка?

— Ее зовут Мариной?

— Ну да, прозрачная, как свечечка... Тяжелое дело.

— Почему тяжелое? — спросил Андрей.

— В больнице она.

— Как? Я вчера с ней разговаривал...

— Да, да, — сказала женщина. — Ее вчера и увезли. Хроническая дистрофия, еще там... Считают, что она не выживет. Так что у вас за дело?

Андрей молчал.

Раздумывал о девочке, о старухе и неведомо еще о чем. Поразительно все менялось в этом военном мире. Стабильным было одно: страдание взрослых и особенно детей, которые вроде и не чувствовали, что они страдают.

Сейчас и решил Андрей, что невозможно рассказывать женщине свою ужасную историю.

Он повторил то, что уже сказал. Ему необходимо встретиться с Шуриком лично. Дело не столь серьезное, но срочное. Поэтому побеспокоил их в праздник.

— Пришла с работы и занимаюсь уборкой... Вот какой у нас праздник, — усмехнулась женщина. — Простите, я чая не предложила.

Она вдруг спросила:

— Шурик... натворил что-нибудь?

Андрей растерялся от столь прямого вопроса.

— Почему... так решили?

Женщина грустно посмотрела ему в глаза. Разумно объяснила:

— Как почему... Вот вы военный, а какое может быть у вас с ним личное дело? Он с бойцами до сих пор не водился. Да и в приятели по разным причинам не годится. Странно ведь.

— Мало ли странностей в войну, — едва ль не принужденно Андрей улыбнулся, хотя терпение его лопалось. Настырная попалась старуха. — Не водился, а теперь стал водиться, разве плохо?

— Не знаю! Не могу вам однозначно ответить на такой вопрос! — произнесла хозяйка, вставая.

Она разволновалась. Прошла по комнате, поправила кружевную накидку на кровати, ладонью разгладила складки.

— Я, молодой человек, старая большевичка, как говорят, еще с подпольным стажем. С товарищем Воровским работала, всякого пережила. Так вот у меня интуиция. Шурик в последнее время ведет себя странно. Незнакомые ребята, подростки, теперь вы... Где-то пропадает, чем-то занимается. Все помимо меня. Теперь положи руку на сердце скажите, права я или не права, что беспокоюсь и хочу разобраться, что происходит в моем доме?

— Правы, — кивнул Андрей, подтверждаясь в своей мысли ничего не открывать. Разволнуется, сляжет с сердцем. Кому от этого польза? — Правы, но ваше беспокойство ко мне никакого отношения не имеет.

Он напрягался, чтобы говорить спокойнее. Глаз у бабки вострый, что и говорить. Истинная подпольщица. Он опять повторил, что вопрос этот личный, объяснить его трудно.

— Ну да, ну да, — кивала женщина, поджав губы и что-то соображая про себя. Она рассматривала свои руки, сложенные на переднике. Задала странный вопрос: — Вы на фронт... его не повезете?

— Как?

— На фронт, на войну то есть, — членораздельно подчеркнула женщина. — Не собираетесь с собой увезти?

— Простите. Как увезти? Зачем увезти?

Андрей озадаченно уставился на хозяйку, пытаясь сообразить, шутит ли она или говорит серьезно. Но если серьезно, то вовсе уж непонятно. Может, это ее «пунктик» на старости лет?

Та мгновенно оценила реакцию и все поняла.

Опустилась устало на табурет, начала рассказывать издалека про своего сына, человека научного, который работал до войны по флотации руд, то есть по их обогащению. Строил заводы, ездил по стране, но своей семье так и не сложил. А тут, в году тридцать седьмом, привезли ис-

панских детей. Мальчика десяти лет они усыновили. Звали мальчика Арманд, но они именовали Шуриком. Мальчик способный, кончает девятый класс...

— Простите, — перебил Андрей. — А сын жив?

— Жив, жив, — сказала женщина. — На Урале, бронь у него. Он взял бы Шурика, да условия не те. Вот мы с ним тут и воюем, что называется. Я-то в военизированной охране на заводе Ухтомского служу, мне уследить за парнем невозможно. А он горячий, понимаете, эмоциональный, может наделать глупостей каких... Поэтому и спросила, вы уж извиняйте глупую старуху...

— Что вы! — сказал Андрей. — Мне об одной приятельнице узнать надо.

— Шурик с ней знаком?

— Да, да... Немного.

— Он ведь уехал в Косино. Вы знаете, где Косино?

Женщина стала объяснять, что недалеко от озера, оно зовется Белое, есть торфоразработки, бараки торфушек, три длинных таких дома. В одном из них живет приятель Шурика, испанец Арана. Года на два старше их сына, да там, если спросить, все знают.

— Спасибо вам, — Андрей заторопился, встал. — Возможно, съезжу.

Он знал, что поедет немедленно, сейчас. Но произнес именно так: «Возможно, съезжу», не хотел больше волновать старуху. Своим появлением он уже внес немалую смуту в ее беспокойную жизнь.

Уходя, Андрей посмотрел на окно: зеленая ветка качалась на ветру.

Женщина провожала его в коридор и все рассказывала какие-то подробности о Шурике, говорила о том, как испанцы часто встречаются, как поют прекрасно свои песни: «Колумбиану» не слышали? А теперь приятель Шурика Арана решил жениться на русской девушке, а ухаживали они, между прочим, вдвоем...

— Не ссорились? — спросил настороженно Андрей. В полумраке прихожей он что-то зацепил, и за шумом хозяйка вряд ли смогла разобрать странность вопроса.

— Как не ссорились, — произнесла обыденно. — Друзья ведь, они и должны ссориться. Оба вспыхучие, фы-рр! Как сера! Но драться, нет, не дрались, не слыхала такого... Наоборот, Шурик тут подарок все искал, удочки раздобыл какие-то. Мне не показал, увязал, повез. По-своему назвал их как-то. Арма, что ли, я точно не запомнила. Говорю ему, передай поздравления своему Аране и невесту поцелуй. А удочки твои ни к чему им, лучше бы мешок картошки свез, проку-то больше... А он молчком да молчком. С тем и укатил.

— Торопился? — спросил Андрей.

— Уж как торопился... Бегом да бегом. Будто гнали его.

— И он гнал, и его гнали, и меня... тоже... время гонит, — поправился на ходу Андрей.

Попрощался, вышел на улицу.

На весь поселок играла маршевая музыка, гуляли люди, громко смеялись. Флаги на довоенных длинных древках были как лоскутки совсем: сэкономили материю.

Андрей стоял озираясь, наткнулся взглядом на белые квадратики, оставленные девочкой. Стало больно. Ах, Мариночка, Мариночка, свечечка моя на ветру! Снаряд тяжелый не тронул, блокада не взяла, бомба на Ладоге миновала...

«Я болею, — говорила она. — У меня от голода болезнь». А потом она пригласила: «Приходите завтра. Завтра ведь праздник и у военных тоже? А я вам куклу покажу, Катьку...»

Надо бы зайти, но сердце не выдержит, разорвется, когда он увидит куклу Катьку, которая тоже перенесла блокаду, даже не пискнула ни разу, и убитые глаза родителей.

Махнул рукой с досады, пошел прямо по улице, по ее середине. Ах, Мариночка, дай добраться до фронта, свернем мы фашистам шею, сотрем с лица земли как проказу окаянную.

Андрей вспомнил, как показывали в кино горящие дома Испании, большой пароход, а на нем дети. Медленно,

осторожно выходят они на берег, а навстречу бегут русские женщины. Хватают, принимают на руки, целуют... А в зале плакали. Боже мой, чужая беда, а своя уже стояла на пороге. Вот и оказалось, что нет чужой беды, а есть одна общая и с ней нужно сообща бороться.

Не так ли произошло с ним, Андреем? Принял свою беду за главную. На том стоял и едва не сломался. Но увидел вокруг чужое страдание, чужую боль, чужие смерти и понял, что не о своем ему печься, а о чужом, оно и есть главная его беда.

Она-то и даст силы, чтобы выжить, испить кровавую чашу войны до дна. Не для личной мести искал он свое оружие, не для защиты абстрактной родины-матери, а конкретно для помощи каждому, кого он встретил и принял, чью боль ощутил как свою.

Испанский беженец мальчик Арманд-Шурик стоял в этой цепи пострадавших, и одно это лишало Андрея возможности видеть в нем врага, хотя бы личного. Такой поворот усложнял, но и упрощал их будущие отношения.

27

На поляне за детдомом стояла Ксана и, задрав голову, следила за птицами. В своем кокетливом беретике, вишневом пальто издали она казалась старше своих одиннадцати лет.

Андрей углядел ее на подходе, крикнул:

— Привет, подружка! Василия не видала?

— Здравствуйте, — произнесла Ксана медленно, вовсе не удивившись появлению солдата. — Васи, по-моему, здесь нет.

— А ты искала?

— Нет, не искала. Я просто гуляю, — ответила девочка.

— Василий в колхоз уехал, к шефам... Но должен вернуться.

Ксана кивнула и посмотрела наверх. И Андрей посмотрел наверх. Там под крышей второго этажа шла

обыкновенная птичья толкотня, воробьи хлопотали около своих гнезд.

— Видите, — сказала Ксана, — как они устраиваются? А ребята заберутся, все яйца покрадут.

— Зачем им яйца?

— Едят, — объяснила Ксана. — Вася тоже по карнизу лазит, когда-нибудь сорвется.

— Он цепкий парень! — заметил Андрей. — Ты с ним дружишь?

Девочка качнула головой.

— Не знаю. До сих пор мы встречались в классе. Он мне казался... В общем, хулиганом... Однажды я видела, как он целого птенца съел.

— Ну какой он хулиган! — воскликнул солдат. — Переголодал небось... Ты его строго не суди.

— Я теперь понимаю. Он хороший человек.

Андрей взглянул на Ксану и подумал, что не случайно сказала она так про Василия, не зря гуляет около детского дома.

— Василий верный человек, — подтвердил он. — Ты уж его не бросай, когда я уеду.

— На фронт? — спросила Ксана, глядя на солдата снизу вверх.

— Да

— Скоро?

— Очень скоро. Все, подружка, кончились мои каникулы.

— Я забыла передать, — сказала девочка. — Вас приглашала моя мама на праздник.

— Скажи ей спасибо, — отвечал солдат и еще раз внимательно посмотрел на Ксану. Красивая девчонка, что и говорить. Но уже все понимает о себе. На месте Василия влюбился бы в нее без памяти. — Вот что, — попросил солдат. — Дождись Василия, передай: я пошел в Косино. Запомнишь? Косино, а там торфяные бараки... Вечером, может быть, вернусь.

— Не беспокойтесь, — отвечала Ксана. — Я передам. Он в Косино вам нужен?

— Не знаю. Пусть сам решит.

— Я так и скажу, — произнесла девочка, задумчиво посмотрев на солдата. — Вам также счастливо.

— Спасибо.

— Мы с мамой вас любим.

Андрей уже поворачивался, чтобы идти. Вскинулся, хотел что-то ответить, но увидел лишь в спину, как уходила она, держа руки в кармашках, величаво-спокойная, как маленькая женщина.

Круто повернулся и строевым быстрым шагом двинулся в сторону Косино.

Рассчитывал он добраться туда часа через два, но долгие обходы, кружение по окраинным улицам удлинити путь.

Только от Ухтомской перестал он думать о возможных патрулях и пошел напрямик, через дачные травяные улицы, сады и переулки.

Выскочил на бывшее картофельное поле, в конце которого уже виднелись темные пирамиды торфа и низенькие полоски барачков. Поле граничило с болотом, и пришлось идти вдоль него по мягкой подзолисто-серой земле, все время видя эти бараки, но нисколько не приближаясь к ним.

Прямо посреди топи возвышались странного вида машины, от которых в разные стороны тянулись настилы из досок, валялись брошенные тачки.

Справа открылось озеро, большое, продолговатое, с темными лодками рыбаков и белой церковью на противоположной стороне.

Андрей срезал путь через сосновый редкий лесок, в обход болота, и ступил на тряскую, постоянно влажную тропинку, ведущую к баракам.

Тут было шумно и празднично. Ходили люди, бегали дети, заглядывая в растворенные окна, из которых доносились пестрые голоса и звуки гармошки.

Сушилось белье на проводах, а сквозь него, не пригибаясь, пьяный гонял с оглушительным треском на мотоцикле, сзади сидела женщина.

Им кричали из окон:

— Перед употреблением взбалтывает!

Парень зацепился за угол, и оба, он и его спутница, полетели наземь. Но, видать, нисколько не ушиблись и, гогоча, тут же поднялись, стали отряхиваться. Мотоцикл продолжал крутиться и трещать лежа, взбивая вокруг пыль.

Две старухи, как матрешки на чайниках, сидели нарядные на скамейке, грызли семечки. Андрея засекли издали и не спускали с него глаз, все-то было им интересно. И то, что солдат пришел, и к кому направляется, какая такая девка подцепила на крючок зелененького мальчика...

— Где тут испанец живет? — спросил их Андрей.

— Энто что за испанец? — спросила одна бабка другую.

— Хамилья, верно, Спанец... Можат, Петька наш?

— Нет, нет, — сказал Андрей. — Он из Испании, молодой парень.

— Молодой... Откуда, гришь?

— Из Испании, из-за границы...

— Он чево, солдат?

— Нет.

— Может, Алеха? Он как цыган, приехамши был...

— Так разве он не наш? — спросила старуха.

— Не наш, не наш, — повторила другая. — Перед войной приехал, а откуда, не знаю.

— А свадьба у кого сегодня? — спросил Андрей.

Обе старухи разом заулыбались, перебивая друг друга, подтвердили, что точно, Алеха женится на Ягоровой племяшке Лидке, которая в университете учится, а теперь Алехе призыв пришел, он, значит, свадьбу захотел сыграть перед отправкой на войну...

— Но испанца Арана зовут? — усомнился Андрей.

— Он, он и есть! — гоношились старухи, вокруг них собирались любопытные. — Мы его Алехой, значит... Он с Лидкой-то как спутался, Ягор недовольный был. У Лидки живот выше носа, как же тут справить, если люди видять усе... Порешили добром свадьбу сделать, пусть солдатка, не брошенная же...

— Где они? — перебил Андрей говорливых старух.

Ребятишки взялись показать: третья дверь по коридору в соседнем бараке.

Старухи проводили его возгласами и пустились обсуждать между собой, кому будет родственником этот солдат: по Ягоровой, значит, или по Алехиной родне.

В коридоре, у входа в барак, стоял огромный титан и деревянная бочка для питьевой воды.

Дверей в коридор выходило много, разномастных, обитых клеенкой или фанерой, и просто деревянных, с досочками крест-накрест.

— Сюда! Сюда! — кричали ребятишки, показывая на одну из них, и уже тянули на себя, норовя вместе с солдатом заглянуть на чужую свадьбу.

Андрей постоял перед дверью, будто помолился про себя. Вдохнул и постучал. Никто не ответил ему. Он потянул ручку и оказался в комнате, где все было сдвинуто в сторону, а посерединке стояли несколько столов с неубранной посудой и бутылками. Молодые женщины, девчата кружились вокруг тех столов, что-то приносили, уносили, спорили и на Андрея поперву не обратили внимания.

— К вам можно? — спросил он громко. И сразу затихло, три пары любопытных глаз уставились на него.

Откуда-то выкатилась коротышка в белой кофточке, нос курнос, а два голубых глаза навывкате.

— Здравствуй, дяденька! — потянулась к нему, на носочки встала.

— Здравствуй, тетенька, — ответил он и засмеялся. И все вокруг засмеялись, так интересно у них вышло.

— Вам жениха аль невесту? Вы кто будете?

— Я сам по себе, тетенька, — сказал Андрей бодро. — А где молодые-то?

— Вот чудодей! — прыснула кнопка и повернулась вокруг на каблучках. — Свадьба небось второй день, где они могут быть... Алеха с невестой на лодке поехали кататься, а мы тут грязь вывозим.

— Долго они?

— Сколько нужно молодым!

— Да с ими же их приятель Шурка поехал! — сказала другая женщина.

— Втроем, значит? — переспросил Андрей.

— Втроем, втроем... Они и всю жисть втроем.

Кнопка затопала каблучками, заголосила:

*Ты куда меня повел, такую молодую, —
На ту сторону реки, давай не разговаривай!*

Припевая, потянула Андрея за стол, совала стакан с подкрашенной самогонкой. Он сопротивлялся, отнекивался, сказал, что не пьет.

— Вот счастливая у кого жена...

— Нет у меня жены...

— Какое совпадение, — всплеснула кнопка руками. —

А у меня мужа нет! Не отпущу! Торфушки, несите икону, мужской холостой пол обнаружился. Его как, силой венчать али уговаривать будем?

Женщины смотрели на солдата и посмеивались.

Андрей пробормотал, что лучше он подождет на улице, потому что душно. Слышал, как кнопка крикнула вдогонку:

— Торфушки, зовите милицию, жа-них испеченный сбежал!

Старухи на лавочке продолжали обсуждать появление солдата и только при нем замолчали, он торопливо шмыгнул скорей мимо.

По знакомой тропе вышел в лес, подступающий к берегу, и сел на желтый песок, замусоренный углем от костров, бумагами и щепками.

Снял сапоги, скинул гимнастерку, оставшись в серой полотняной рубаше. Портянки расстелил по земле, а гимнастерку с сапогами положил под голову. Удобно улегся и стал смотреть на озеро.

Несколько лодок чернели на воде. Андрей, прищурившись, нацеливался на них, спокойно и обстоятельно, как снайпер, выбирающий цель. Со стороны могло бы

показаться, что полеживал он себе беспечно, лениво или бездумно.

Не так оно было на самом деле.

А было чувство уверенности, что он достиг того, что хотел, и необходимо лишь время, которое у него есть. Вот и лежал, не спуская полузакрытых глаз с парящих по белой поверхности лодок, со всего озера, которое на исходе дня переливалось и мерцало, струилось и текло, как расплавленное серебро.

«И все. Все теперь, — подытожил он неторопливо и четко: — Они тут, и я тут. Вместе нам предстоит решить одну задачку, как обрести человеку свое лицо, свое имя, звание. Стать гражданином, имеющим документы, солдатом с оружием, единственного в глазах окружающих положения, когда человек зовется человеком, а солдат солдатом».

Как отнесутся те двое к поставленной такой задачке, станут ли они сопротивляться, отговариваться, вилять, отнекиваться, лгать, а может быть, и каяться, не это волновало его.

Он прошел к ним свой нелегкий путь, начав его с нуля и как бы обретая себя по крохам. Спасибо тем, кто принимал его за человека не по документам, а за солдата не по оружию. Они-то и помогли поверить в себя и возродиться.

Таким он предстал перед этими двумя, и оно было главным в его теперешнем положении. Оно диктовало ему милосердное снисходительное отношение к предполагаемым некогда врагам.

И все-таки не знал пока сам, как он поведет себя, когда встретится с ними. Это беспокоило его больше, чем то, как поведут себя они.

Физической расправы он не желал, но всяко могло случиться. Черт возьми, он живой человек, и любая драка могла дать выход накопившимся чувствам. Не к правосудию же обращаться, в конце концов!

Андрей не сводил глаз с воды, лежал раскованно и отрешенно, как бывает в жизни перед главным событием.

Вспомнилось из школьной жизни, как прочитала учительница по литературе Вера Андреевна им стихотворение про бурю. «Смело, братья, ветром полный парус мой направлю я, полетит по скользким волнам быстрокрылая ладья...»

Вера Андреевна принесла на следующий день патефон и сказала, что в музыке эти же слова звучат еще сильнее, еще эмоциональнее. Она достала пластинку, накрутила пружину и поставила иглу. Откуда-то из шороха и шипенья прорезался странный голос, а потом к нему присоединился второй. Они пели: «Облака плывут над морем, крепнет ветер, зыбь черней, будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней!»

«Помужествуем! — горячо воскликнула Вера Андреевна. — Вы слышите, как звучит это слово: по-му-жест-вуем!» Она размахивала руками, странно и смешно напевая. Будто опомнилась перед многими устремленными на нее взглядами — где же увидишь такое! — и смущенно добавила, что запись хоть и хрипящая, но прекрасная, надо только уметь слушать. «Я вам повторю это место, слушайте! Хорошенько слушайте!»

Ребята слезли со своих мест, окружили патефон. И опять из длинного шипенья возникли два мятущихся голоса, и один из них сильно и низко произносил: «Будет буря! Мы поспорим и помужествуем с ней!» А потом плавно, как текучая вода после всяких гроз, пролились медленные слова: «Там, за далью непогоды, есть блаженная страна, не чернеют неба своды, не проходит тишина...»

Сколько раз мысленно Андрей потом проигрывал про себя эту песню, она так и слышалась ему из-под памяти, сквозь шорох и шипенье, и возрождала в нем силы, звала к борьбе.

Все-таки он задремал, сам не заметил как! Сказалась и прошлая бессонная ночь. Когда открыл глаза, было темно, от озера несло холодной сыростью. Песок под ним пока-

зался ему неуютным, мертвенно-холодным, как с другой планеты.

Андрей быстро вскочил, намотал портянки, прыгая на одной и на другой ноге, торопливо натянул отсыревшую гимнастерку. Пристально посмотрел на озеро. Оно светилось матово-бело и будто даже стало больше, но лодок нигде не было.

Не отводя глаз от озера, Андрей отряхнул с себя песок, поправил ремень, застегнул ворот.

Несколько секунд стоял, ни о чем, собственно, не раздумывая, глядя в молочно-холодную пустоту перед собой. Почувствовал озноб, ходко двинулся в сторону барачков, горевших редкой цепочкой огней.

Тропу теперь не разбирал, это было невозможно. Несколько раз оскользнулся, увязая по щиколотку в податливых болотных мхах. Вылезал на дрожащую, но спасительную твердь, чувствуя, как она пружинит и плывет под ногами.

Около барачков он остановился, почистил щепочкой сапоги.

Компании гуляющих, в основном женщин, стояли кучками во дворе, танцевали, пели частушки. Были частушки про любовь и про войну.

Андрей попытался миновать гуляющих стороной, но остроглазые девчонки приметили солдата, стали на его пути. Вроде бы шутя, но слишком старательно, желая показать себя и понравиться, закружились перед его глазами.

Одна из них — он сразу узнал кнопку — приблизилась, заорала ему в лицо:

*Лейтенант, лейтенант, приходи на бугорок,
Приноси буханку хлеба и картошки котелок!*

Тут другая, покрупней, в сапогах на босу ногу, в коротеньком платьице, вразрез подруге завела свое:

*Лейтенант, лейтенант, мягкие сапожки,
Постой, не уходи, у меня белы ножки!*

Кнопка затопала ногами, выставив руки перед собой, очень ловко все у нее выходило:

*Я любила лейтенанта, я любила старшину —
Лейтенанта за погоны, старшину за ветчину!*

Женщины засмеялись, крикнули Андрею:

— Давай отвечай, а то до утра не отпустим!

Лейтенантская серия продолжалась бы долго, но в защиту солдатика выступил гармонист-подросток и такое отмочил натуральное, что девчонки завизжали, напустились на охальника.

Кнопка спела ему, взбивая пыль ногами и кружась:

*Ты меня не полюбишь, так я тебя полюблю,
Ты меня не повалишь, а я тебя поваляю!*

Андрей под шумок протолкнулся к двери. Но кнопка углядела, догнала, дернула за полу гимнастерки:

— Эй, лейтенант, лейтенант!

Андрей огрызнулся с досадой:

— Ну какой я тебе лейтенант?

— А мне одинаково, — сказала кнопка смирно. — Что солдат, что генерал. Был бы мальчик хороший...

— Ну а дальше что?

— Кого ищешь-то? Жениха, что ль?

— Шурика ищу... Знаешь?

— А, Шурика... Так бы и сказал, он в комнате сидит, кукует по уходящему дружку. А может, и по невесте!

Андрей шагнул в коридор, отстранив кнопку, но она скользнула наперерез и снова встала перед ним.

— Эй, лейтенант! Лейтенант! Ты меня не забывай! Я хорошая!

— Ладно, не забуду. Вот же вязкая ты какая!

— Какая? — переспросила она.

— Прилипчатая...

Она толкнула его в грудь двумя руками, крикнула на весь коридор:

— Я бы не только к тебе, деревянному, я бы к пню старому прилипла... Тоже, лейтенант нашелся!

Андрей торопливо, по памяти, нащупал ручку и очутился в комнате, наполненной, как баня, гулками, неведомо откуда исходящими голосами, выкриками, пением.

И тут в основном были бабы, но постарше, тянули «Мотаню»: «Ах, мотаня, ты мотаня, ты мотаня модная, ешь картошку понемножку и не будь голодная...» Другие отвечали протяжно: «Капустка моя мелкорубленая, отойдите от меня, я напудренная!»

Никем не привеченный, стоял Андрей за чужими спинами, разглядывая застолье. Вздогнул, весь напрягся, как пружинка стальная: на переломе двух столов, на углу, сидел чернявый молодой парень, тот, кого он искал.

Никогда не видел его Андрей, но узнал сразу. Узнал бы где хочешь, столько передумал о нем, столько представлял, вынашивал его образ.

Не сводя немигающих глаз, стал подбираться к нему через спины, табуретки, бутылки на полу. Лез, цепляя за чужие ноги, но не видел никого, кроме этого, родней родного теперь ему человека.

Втиснулся, подвинув, отжав кого-то, уселся рядом. Повернулся к парню, стал его рассматривать. Подробно оглядел, не торопясь, обстоятельно и детально, как собственное лицо в зеркале.

Отметил про себя, что красив оказался испанец, задумчив, курчав, как поэт Жуковский на гравюре в хрестоматии. Детский профиль, крошечный кадычок на тонкой смуглой шее. Одет скромно — рубашка да штаны. Все подштопано, без дырок, видать, бабкина рука.

Ах, Шурик, Шурик, дорогой Арманд! Прости, но должен тебя потревожить. Не я, не я, это голос судьбы зовет.

Слышь? Нет, не чуток, брат, своим горем занят. Свое, известно, громче чужого. А ведь я тут, под боком, кричу, молю о помощи! А? Что?

— Что? — спросил Андрей вслух. — Ты что-то хотел сказать?

Парень поднял голову, мельком взглянул на соседа. Ничего он не хотел сказать, не до того ему было. Андрей укоряюще покачал головой, но не обиделся.

Вот что значит небрежение к ближнему. А ведь я со всей душой. Я даже выпить предложу тебе...

— Выпьем? — сказал Андрей.

Налил в стаканы подкрашенную вонючую свекольную самогонку, один стакан придвинул соседу.

Тот машинально принял, поднес к губам. Андрей приостановил его свободной рукой, чокнулся:

— Будем знакомы! Меня зовут Андрей!

Парень кивнул и выпил. Закусывать он не стал.

Андрею и это не понравилось. Европейец, но пьет по-русски, залпом. Дурачок, не закусывает только. Разговор начинается лишь, надолго ль его хватит.

— Я говорю, зовут Андреем. Ты понял? Андрей Долгушин, друзья называли Долгуша. Только вот какая у меня беда... Слышь? Друзья мои уехали все эшелоном, значит, на фронт, а я остался. Как дезертир, слышь?

— Что? — пробормотал парень, будто просыпаясь. С удивлением вытаращился на соседа, рассказывающего ему странные байки. — Что?

— Такая вот хреновина. — Андрей посмотрел в зеленые глаза парня. Удачный цвет, брюнет с зелеными глазами. И чего там кнопка расточается, тратит молодую энергию по пустякам. Импортная красота пропадает...

Но, кажется, ему чужая невеста милей... М-да, ситуация прям как в кино, на чужом пиру похмелье. Вот и гости орут: «Горько!», позабыв, что молодых тут нет, сбежали, хотят побыть последнюю ночь вдвоем. Им и в самом деле горько. Сейчас я, браток, добавлю и тебе горечи.

— Никому не пожелал бы такого, слышь? Как дезертир, говорю... Без оружия!

Андрей снова заглянул в чужие глаза, в которых появилось нечто осмысленное, но как далекое воспоминание неведомо о чем. Андрей этим удовлетворился.

Он выпил, закусил квашеной капустой и картофельными котлетами. Родные тошнотики, к месту и частушку

вспомнил: «Тошнотики, тошнотики, военные блины, как поешь тошнотики...»

Андрей усмехнулся, поторопил своего приятеля, нежно положив руку на плечо.

— Пей, пей, а то у меня еще тост!

Парень нехотя повиновался.

Андрей размашисто наполнил стаканы, свой поднял на уровень глаз, рассматривая на просвет, глядя на соседа. Нет, вовсе не злодейским сквозь красную самогонку виделось его лицо.

А может, он — это и не он вовсе?

— Теперь выпьем вот за что... Тебя звать-то как? Ты вроде и не представился?

— Шуриком, — вяло ответил парень.

— Ага, Шурик! Выпьем-ка с тобой, Шурик, за боевое оружие бойца, слышь? Ну хотя бы за винтовку-трехлинейку, образца тысяча восемьсот девяносто первого года, дробь тридцатого, данную солдату для поражения живой силы противника огнем, штыком и прикладом... Скажу: пуще жены молодой твоего приятеля хранить ее надо!

Андрей стукнулся стаканом о стакан, но смотрел не отрываясь в лицо Шурика.

— Не сохранил я... Украли!

Что-то быстрое, как тень молнии, пронеслось по лицу парня, странно исказив его. Оно будто остановилось, помертвело. Подпрыгнула темная бровь, оттенив еще больше общую неподвижность, и сам он весь передернулся. Хотел подняться, но Андрей крепко держал руку на плече.

Упрекнул слегка, по-приятельски:

— Я же не кончил... Эдак ты... Я что говорю: украли мое оружие, да вместе с вещами, с документами, и подвели меня тем самым под штрафную. А что такое штрафная — смерти! Да что смерть, позор-то хуже, хуже! Или как?

Шурик сидел как оглохший, схватившись руками за голову.

— Я спрашиваю, хуже или как? — громче повторил Андрей, кто-то на них оглянулся.

Шурик поднял голову, трудно было его узнать. Это было совсем другое лицо, скошенное неприятно набок, деформированное как от удара.

— Я скажу... Скажу... — торопливо захлебываясь, повторил он.

— Ну конечно, скажешь, — утешил его Андрей. Спокойно поднял стакан. — Выпьем, Шурик, вместе за то, чтобы мне выжить в этой истории, а? Чтобы снести сперва весь позор, всю тяжесть вины перед друзьями-солдатами, которые там за меня расхлебывают кровавую кашу... А ведь рядом с ними бить проклятущего немецкого пса я должен. Должен, а я здесь с тобой сижу. Вот в чем мой позор! Чтобы пережить его и остаться бы целым да живым! Ну? Иль ты не хочешь, чтобы так оно и было?

— Хочу! — простонал Шурик, схватил стакан, начал жадно пить. Его вдруг затошнило. Он скорчился, наклонясь и отрыгивая, стал пробираться к двери. Андрей поддержал его.

Вывалились в темный коридор.

Рвота была долгой и мучительной. Вывернуло все, но спазмы, новые и новые, никак не оставляли его.

Часто дыша, вытирая рукавом рот, он стал рассказывать, как просился на фронт, не взяли. Хотел мстить фашистам за убитых в Испании родителей, за все, что сам пережил. Попросил каких-то ребят, чтобы достали оружие. Пообещал золотой крест, что носил от рождения на груди... Единственная память от родителей... Ребята нашли, показали, пьяный спал солдат.

— Нет, — сказал морщась Андрей, эта сумасшедшая исповедь была мучительна для него, как и вся обстановка, и ядовитый запах блевотины. — Не пьяный... солдат был.

— Да разве я смотрел! — крикнул Шурик. — Мне сказали, не бойся, винтовка учебная... Получит три дня губы!

— Ну, дальше?

— Я сильно боялся, схватил, побежал... Но вещей не брал, ничего не брал, кроме винтовки.

— Дальше? Дальше что? — натужно спросил Андрей.

— Я все продумал, решил вместе с Араной сесть в эшелон и доехать до фронта. Таких, как я, много, есть и моложе меня. Но я с оружием! Значит, меня не прогонят. Так я хотел сделать... Мой отец так сделал! Взял винтовку и ушел в бригаду. У нас все так делали! У кого оружие, тот и солдат!

— Где винтовка? — закричал Андрей, потому что он не мог уже слушать и ждать. Все в нем кончилось — терпение, жалость, доброта, даже мужество. — Где она? Где? Где?

Голос в пустом коридоре прозвучал отчаянно.

Шурик шепотом ответил:

— Нет.

Стало тихо...

Оба молчали, прислонясь к стене, не видя друг друга.

Как мертвая зыбь на море, их раскачивала одна стихия, увлекая на дно. Слышали они друг друга, способны ли были вместе искать пути спасения?

— Помоги, — подал Андрей голос, каким унижительным, просительным он был. — Помоги мне, Шурик...

— Нет ее, нет! — гортанно-резко произнес тот и стукнул кулаками об стену. — Арана как увидел, схватил ее, бегом на озеро. Ты, говорит, себя погубишь и меня погубишь! Это трибунал!

— Куда? — устало спросил Андрей.

— В озеро. Сейчас, недавно.

— С лодки?

— Да, с лодки.

— Глубоко?

— Не знаю.

— На середине, что ли?

— Нет, нет, ближе...

— Лодка там есть?

— Лодка есть. Но их запирают на ночь.

— Ничего. До утра я не могу ждать. Не доживу. Кстати, как по-испански «оружие» будет?

— Арма, — ответил Шурик.

— Я так и думал.

— Слушай, — сказал Шурик. — Хочешь, я пойду, мы вместе пойдем и все как есть расскажем. Пусть меня судят! Я виноват, я и отвечу!

— Дурак, — произнес Андрей и пошел к выходу. Сзади, слышно по шаркающим шагам, плелся Шурик. — Бабку бы пожалел. Она тебя любит.

— Я знаю. Она мне больше родной.

— А что ты делаешь? Меня губил, себя теперь губишь, ее... Камарадо ты, камарадо.

29

Неподалеку от общежития стояли Васька с Ксаной, обсуждали, где искать солдата.

Ксана увидела первая, спокойно сказала:

— Смотри, он?

Васька наскочил на солдата, чуть не стукнулся!

— А я тут! Дядя Андрей!

— Устал? — спросил Андрей.

— Да нет...

— Не сердись, я не дождался. Сейчас пойдем ловить мою боевую... — Голос у него был раздумчиво-напряженный.

— И я? — спросила вежливо Ксана.

— Ну и ты. Если не боишься утонуть.

Девочка независимо повела плечами. Мол, почему я должна бояться.

— Я не познакомил вас, — сказал солдат и оглянулся. Шурик стоял позади. Даже в полутьме двора было видно, как побелело и осунулось его лицо. Вот тебе и камарадо! А ведь его рвало от испуга. — Это Шурик, а это мои друзья.

— Он самый!!! Я его узнал, — произнес Васька глухо.

— Вот и хорошо, и я узнал. Значит, можно идти.

— Я думаю... Предупредить Арана? — спросил Шурик.

— Не надо! Зачем же портить человеку свадьбу?

— Ладно, — произнес Шурик и первым пошел в темноту, каким-то образом угадывая тропинку.

За ним шагал Андрей, потом Ксана, а Васька завершал шествие. Несколько раз он поскользнулся, и Ксана остановилась, чтобы поддержать.

— Да сам, — буркнул он, отстраняясь от ее рук.

— Вот чудак, — сказала она негромко.

Где-то на половине тропы Шурик неожиданно остановился, присел, коснулся руками земли:

— Какая, а?

Андрей нагнулся, приложил ладони, сразу различил влажное тепло, идущее изнутри.

— Что это?

— Вулкан! — воскликнул Васька

— Земля... Торф горит, — сказал Шурик. — Мы по огню идем.

— По огню? — переспросила Ксана.

— Да, по огню.

— А ты испугалась? — усмехнулся Васька.

— Почему испугалась? После эвакуации я не люблю огня.

Дальше шли молча. Но всем казалось, а может, так оно и было, что через обувь чувствуют они горячий исход огня, полыхающего под ногами.

Васька все нагибался, щупал землю руками, говорил, ни к кому не обращаясь:

— Во, жжется!

Выбрались к озеру, стало светлей.

Запахло тиной, сыростью. Белая негаснущая полоса на западе, над насыпью железной дороги, отражалась в воде.

Шли теперь вдоль берега по песку. Был он неглубокий с проплешинами твердой, вытопанной земли, но подвигались медленно.

Показалось фанерное зданьице довоенной лодочной станции. Все услышали, как дробит зыбь о дно лодок, едва угадываемых на воде.

Андрей, не произнося ни слова, прошел по деревянному настилу, его шаги глухо раздавались в тишине.

Нашупал цепь, рванул на себя, зазвенело, загрохотало. Казалось, что этот звон слышен по всему берегу.

— Сюда, сюда, живо! — прошептал он. Велел Ваське и Ксане лезть в лодку, которую придерживал за борт.

— Чем грести? — спросил Шурик.

— Досками... Садись, не тяни.

Андрей залез сам, покачнув лодку.

— Куда плыть? — спросил он.

— Туда...

— На огонек?

— Да, да. На огонек.

— Хотите, я весла достану, — громко сказал Васька, на него шикнули. Он продолжал шепотом: — Там замок не замок, а висюлька ржавая. Я одним гвоздем его.

— Сиди, — приказал солдат.

В две руки он и Шурик медленно погребли досками, взятыми со дна лодки, и почти сразу пропал из виду берег.

Здесь дул ветерок. Стало прохладнее.

Ксана опустила руку в воду, прошептала:

— Она и не холодная совсем.

— Не холодная? — удивился Васька и тоже сунул руку за борт.

Андрей приглушенно сказал:

— Сейчас мы выясним, какая она... Горячая или холодная. Приехали?

— Чуть левей, — попросил Шурик. — Здесь.

Андрей стал раздеваться, все на него смотрели. Ксана отвернулась, брала ладошкой воду, пробовала языком.

Гимнастерку, штаны, сапоги солдат увязал одним узлом, сунул Ваське под спину.

Встал на корме:

— Сидите тихо. Ныряю.

— Ни пуха ни пера!

— К черту! К водяному!

Лодка дрогнула и стала поворачиваться вокруг себя, когда он оттолкнулся. Раздался плеск.

Все смотрели на то место, где пропал солдат. Но нырнул он с другой стороны лодки. Отфыркиваясь, подплыл, уцепился за борт двумя руками.

— Как? — спросил Васька. — Что-нибудь есть?

Солдат ничего не отвечал. Оттолкнулся и исчез в воде. Выскочил вдали от лодки, медленно подплыл и стал дышать. Никак не мог отдышаться.

— Глубоко? — опять спросил Васька.

— Не... Не очень, — с отдышкой произнес солдат.

— Холодно, да?

— Чуть привык. А вначале... Кипяток прямо. Ладно, я еще попробую.

Он ушел под воду, а все стали ждать. Появился под самым бортом, подтянулся и лег на край животом. Шумно перевалился в лодку. С него стекала вода.

— Замерзли? — сказала Ксана. Развязала узел и протянула солдату гимнастерку. Он накрыл только спину. Сидел тяжело дыша и глядя на воду.

— Ничего? — произнес тихо Шурик.

Андрей посмотрел на него.

— А ты не спутал? Место?

— Не должен. — Шурик неуверенно добавил: — Может, я поищу?

Ему не препятствовали.

Он разделся, потер ладонями бедра, плечи, грудь. Постоял, прикидывая, как ему прыгать. Но все не решался, пробовал ногой воду. Потом сразу как свалился неловко за борт. Тут же выскочил обратно, полез в лодку.

— Черт... Какая она! Дышать нельзя... Сдавило. Не могу.

Васька посмотрел на Шурика, предложил:

— Я попробую?

— Сиди! — крикнул на него солдат.

Он постоял, глядя во все стороны, прицелился, нырнул. Не было долго, всем показалось, что прошли минуты. Даже Ксана, не теряющая равновесия духа, подала голос:

— Что это он... Не задохнулся там?

Андрей вынырнул одновременно с ее словами. Ухватился за борт.

Отрывочно и хрипло произнес:

— Тут она... Нашупал тряпку, но сил... не хватило. Отдохну.

Но отдыхал совсем недолго. Боялся, что отнесет в сторону лодку.

Васька подскочил, тоже стал раздеваться. Скинул быстро все и без паузы шлепнулся животом в воду. Не из-за того шлепнулся, что плохо плавал, просто с лодки неудобно нырять. Так он объяснит Ксане.

Почувствовал Васька резкий обжигающий холод. Такой сильный, что стало больно в груди и онемели губы. Нашупал дно, не очень далекое, провел по нему руками. А уже не было сил не дышать.

Оттолкнулся, чувствуя спазмы в горле, выскочил из воды, чуть не захлебнулся. Здесь, на поверхности, показалось ему гораздо теплей.

Дядя Андрей висел около борта. Васька прицепился рядом. Сердце колотилось, как у воробья. Часто-часто дышал он.

— Тебе кто разрешил? — хрипло спросил солдат.

Васька не отвечал, не мог.

— Давай в лодку! В лодку!

Васька крепко держался за борт, молчал.

— Отвезу на берег... Ты понял?

— Дядя Андрей, я последний разок, да?

Не дожидаясь разрешения, Васька нырнул.

И теперь было холодно, особенно в глубине. Грудь сдавило будто льдом. Васька перебирает дно руками, ухватывает какую-то ракушку или камень. Оттолкнувшись, долго, долго идет вверх. А может, и не вверх вовсе, кто знает... Задохнулся, открыл рот, а тут ночной воздух... Ух!

Лодка качается на воде совсем рядом.

— Все! Кончен сезон! — говорит громко солдат.

Подталкивает мальчика в лодку, залезает сам, накрывая ее сильно.

Васька дрожит всем телом и никак не попадет в рукав. Нижняя челюсть стучит, и коленки трясутся. Васька держит их руками.

Солдат, не одеваясь, гребет к берегу. Когда становятся отчетливо видны камыши, он прыгает, тянет лодку руками. Тянет до тех пор, пока дно лодки не ложится с шуршанием на песок.

— Бегом! — кричит он Ваське. — Бегом! За мной, давай! Быстрей!

Они скачут по песку и пропадают в темноте.

Добегают до болота, и солдат валится в густую жижу.

— Падай! Падай!

Васька бухается в грязь и чувствует, как ласковое тепло обнимает, окутывает его, пропекая до самой до тибухи. Только спина заледенела, и Васька закидывается навзничь, потом опять на грудь. И солдат дядя Андрей перекатывается, бормочет утробно: «Ох! Ох! Ох!»

Возвращаются они шагом, грязные, но довольные.

Солдат говорит:

— Теперь, Василий, домой. Понял?

— Вы останетесь, а я, значит, домой? Да? — занудил, захныкал Васька.

Не мог представить, что начнут его прогонять.

— Ты как думаешь, Ксану ждут дома?

— Пусть она думает, я чего...

— Ты — мужчина! Или не мужчина?

— Половинка, — огрызнулся Васька и сел одеваться.

Долго волянил, ожидая, что солдат что-то скажет.

Буркнул негромко:

— До станции... И вернусь.

Дядя Андрей вспылил:

— Ты что? А как она в электричке поедет?

— Спасибо, — произнесла Ксана. — Но я сама дойду. Честное слово.

— Тебя не спрашивают, — сказал солдат. — Василий человек самостоятельный, он сделает как надо. Доведет до дома и вообще... Так я говорю?

Васька подавленно кивнул.

Медленно поплелся вдоль берега, Ксана пошла следом.

Андрей начал одеваться, но вспомнил, закричал вслед:

— Я утром... Утром приду!

— А что случилось с родителями-то? — спросил неожиданно Шурика. — Они что, оба, отец и мать, воевали?

— У нас все за революцию воевали, — громко и резко сказал Шурик. — Мне рассказали, что их фалангисты взяли в плен и...

— Понятно, — произнес Андрей.

— Десять лет мне было. Я прибежал в батальон, он на краю города отстреливался. Я говорю, что я тоже буду с ними, потому что хочу мстить. А они накормили меня, потом говорят... Говорят, как же ты будешь мстить, у тебя и оружия нет. Так не годится. Ты расти уж скорей, нам хорошие солдаты нужны. Но я же вырос...

Андрей взглянул на поникшего Шурика, недобро усмехнулся.

— Арма, значит. Искать буду, пока не найду эту ар-му. А вообще, как ни называй, все без нее плохо...

30

В детдом Васька вернулся в первом часу.

Влез неслышно в окошко, разделся, скорей под одеяло. Долго не мог согреться. Мелкая дрожь ходила по всему телу. Трясся, как заяц под кустом. Потом придышался, уснул.

Привиделся Ваське сон.

Будто гулял он по лесу и заблудился. Кружил, кружил, да все около болота, от которого пар с дымом валит. Понял Васька, что гиблое место, оставаться тут нельзя. Сгорит он от подземного пожара. А кругом обугленные деревья да завалы, нет никуда путей.

Вдруг тропочка нашлась в синей траве. Пустился Васька бегом. По острой осоке, по колючему шиповнику, по гнилым змеиным мхам. Падает, спотыкается, руками за кусты хватается.

А тропинка все шире, все светлей делается. Видит Васька — впереди на поляне избенка черная стоит. Тропа прямо к крыльцу поворачивает.

Поднялся Васька по косым шатучим ступенькам, в дверь стукнул. А перед ним старуха стоит в черной одежде, в платке, на самые глаза спущенном. Рукой зазывает Ваську, показывает, чтоб заходил.

Через неосвещенные сенцы шагнул Васька в избу и насмерть перепугался. Стоят посередь просторной светелки три дубовых стола. А на каждом столе гроб большой возвышается.

Отпрянул Васька назад, а дверь будто кто подпер с обратной стороны. Все в нем остановилось от леденящего ужаса. Сердце замерло, не колотится, и дыхания нет. Увидел, как начали сползать с гробов крышки. Погребным холодом ударило в ноги, приморозило к месту.

Открылись гробы, стало видно, что в первом гробу пшеничное зерно насыпано до краев. А во втором гробу кровь алая, густая, полнехонько стоит. А в третьем гробу цветы ярко-огненные, невиданной красоты.

— Что это? — спрашивает Васька шепотом, обмирая от страха.

Тут и старуха рядом, с платком, опущенным на глаза.

Указывает загнутым пальцем на первый гроб, поясняет, что такой была наша жизнь перед войной. Всего-то полно и обильно, как хлебушко до краев.

А второй-то гроб — война всечеловеческая, что сейчас идет. Столько кровушки от нее пролилось и еще прольется, что никто сосчитать не сможет. Всю землю пропитает ею, все реки-моря зальет.

— А здесь? — говорит Васька, указывая на третий гроб.

— Такая будет жизнь после войны. На живой крови, на наших бедах вырастут невиданные цветы. Как цветы, прекрасной станет жизнь. И ты, Васька, будешь в ней самый главный человек.

— А скоро? — спросил он. — Скоро такая жизнь придет?

В это время кто-то больно сел на ноги Ваське.

Поджался он, а просыпаться не хочет. Ему бы еще немного у старухи про будущую жизнь выяснить.

Но тут сильней придавило Ваську, мочи нет. Повернулся он, выглянул наружу.

В серых утренних сумерках увидел: сидит лыбится на Васькином теле Колька Сыч. Ждет, когда запищит Васька.

Приподнялся он на постели, ничего понять со сна не может.

— Что? Что? — спрашивает испуганно.

Откуда-то Купец объявился, с другой стороны притиснулся к Ваське. Тыкает в него пальцем:

— Он! Он самый! Я его где хошь узнаю.

— Та-эк, — растягивается рот у Сыча, самогонкой пышет. — Легавым заделался, кроха...

Он оттопыривает Васькино ухо, кричит в него:

— Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: что такое хорошо и что такое плохо? Так вот, плохо доносить, плохо сексотить, ябедничать...

— Продавать! — влезает Купец.

— Продавать — очень плохо. За это на-ка-зы-ва-ют!

Ваську начинает знобить. Окно в спальню, как лезли, оставили распахнутым. Оттуда веет белым холодом. Снег выпал за окном.

— Кто указал Витьку? Кто Купца заложил? Кто испанца выдал? Кто? Кто? — наговаривает Сыч в ухо, дергая при каждом слове.

— Он! Он продал всех, — гундосит с другой стороны Купец.

Пальцами-клещами захватывает под ребром у Васьки кожицу и медленно выкручивает ее до синей крови.

Знает Васька, как больно, когда выкручивают кожу до синей крови. Но уже и этого не чувствует, потому что все у него отнялось, одна душа болит. За то, что солдата не дождался, что захватили в неурочный лихой час, когда нет у него силы противостоять врагам.

Плывет перед глазами комната, кружится все, сливаясь и мельгеша. Плохо сейчас Ваське. Ох, плохо.

— Стой! — говорит Сыч, останавливая экзекуцию. Видать, что-то новое придумал. — Стой! Чего тут в спальне с ним мараться? Скажи?

— Валяй на снег! — подхватывает Купец. — Мы из него такую снежную бабу сваляем! А?

Идея приплась Сычу по вкусу.

— Это красиво, — задумчиво произносит он, деловито предлагает Ваське: — Идем, что ли? Поиграемся, крошка, детство вспомним... Ах, счастливая пора, когда мы не умели продавать своих, а лепили снегурочек из снега. Туда, туда, в окошечко, — показывает он.

— Полезай! — грозит Купец, руку заламывает. — А то понесем!

Оглянулся затравленно Васька. Шевелятся под одеялами ребята, давно не спят. Слушают. Каждый про себя затаился. Как Васька затаивался раньше.

Ни один не встанет, не скажет в защиту словечка, половину, четверть его. А скажет, получит то же самое. Ведь придумали потеху — сделать снеговика из живого человека... И сделают. Как некогда одного выгнали на холод...

Только не из меня. Я молчал. Я не слышал. Мне дела нет, что они там вытворяют. Меня не коснулось, мне и хорошо.

Наверное, так думает каждый.

Обложенный, как волчонок в загоне звероловами, поджался Васька, выставленный голым напоказ. Один — за себя и за солдата дядю Андрея. Как тот сказал Ваське: «Урки боятся смелых...»

Нет, нет, никакой Васька не смелый. Поднялся с топчана, чтобы идти к окну. Трясется в лихорадке. От испуга или от болезни, кто его поймет.

А Сыч ему пинок под зад, поворачивайся живей. А Купец с другой стороны ногой норовит.

Вдохнул Васька побольше воздуха. Закрыв и открыл глаза. Представил ясно, как божий день, что стоит рядом с ним солдат дядя Андрей со своей винтовкой в руках и говорит серьезные слова:

«Если ты настоящий человек, Василий, а твое дело правое, умей же за себя и за свое право постоять перед врагом. Бей его, не бойся!»

Сунул Васька кулаком прямо в подбородок Сычу, тот и сел от неожиданности. Невелик был удар, а посадил противника. А Васька вторым кулаком в нос ему, даже кулак отбил. От собственного удара самого Ваську отнесло в сторону, как былинку.

Сидит Сыч, не может встать, задохнулся от боли и ненависти.

И Купец вытаращился... Атамана, их главного урку, которого милиция с прилегающим к ней населением побаивается, худосочный Сморчок кулаками мутузит.

Такое придумать и представить невозможно!

Взревел Колька Сыч, приходя в себя и подымаясь.

— У-ббб-ю! На месте!

Верно, что убил бы он Ваську.

Но невесть откуда взялся Боня, непостижимым образом стал перед Сычом, загородил дорогу. Длинный, худой, как будто нескладный, а не обойдешь его с ходу.

— Пусти, — говорит Сыч. — А то за компанию... Раскрашу.

Боня смотрит спокойно.

— Чего шумишь? Чего разоряешься, спать мешаешь?

А кто уж тут спит. Все приоткрылись, смотрят, чья возьмет. Уже не о Сморчке речь, дело престижем пахнет. Даст послабку Сыч, и пойдет сыпаться его молчаливая рабская империя. Кто станет тогда бояться, за корку служить?

— Та-эк, — произносит Колька Сыч и медленно лезет рукой в карман. — Остренького на закуску захотелось? А, Бонифаций?

— Если достанешь ножик, — предупреждает Боня, голос у него твердый, — измолотим всей спальней. По частям себя не соберешь.

Боня стоит перед Сычом и нисколько его не боится. Смотрит сверху вниз, презрительно губы кривит. А детдомовцы вокруг сбились, кто с чем. С подушками, с поленьями... Грач горшок от цветов прихватил.

И Купец, что рядышком стоял, уже из-за окна выглядывает, следит, чем дело кончится.

— Убирайся отсюда и никогда не приходи! Не пустим! — говорит Боня прямо в лицо.

Оглянулся Сыч, глазки забегали. Нутром почувствовал опасность. У каждого против него накопилось столько, хоть отбавляй. Навалятся кучей, живого места не оставят. Ни один лазарет не склеит тогда Кольку Сыча. А он еще себе нужен...

Он себя любит, бережет от любых потрясений военных, а паче тыловых. Чужими руками привык брать, страх наводить на своих ближних, путая их друг другом.

Не углядел, прошляпил придурков и шакалов. Первое упущеньице. Сморчка в зародыше придавить надо было. Второе. Боню не пристращал как следует — третье. Он бы молчал, ходил бы паинькой. А нет, погнал бы от детдома к детдому, по всему пригороду, научил свободу любить.

А сейчас время отступить, укротиться, уйти неслышно. Позорно, но за позор он заплатит. Единолично и единовременно, как говорят.

— Ну, ладно, ладно, — отступает Сыч, крутя головой, чтоб ненароком не стукнули. — Не прощаюсь!

Прыгает на подоконник, на улицу. Попадает прямо на голову Купцу. Тот завопил от неожиданности больше, чем от боли.

Сыч ему со зла шурнул кулаком:

— Не стой на пути, трус паршивый!

Детдомовцы высунулись в окошко, захохотали.

Грачев крикнул ему:

— Правильно, Сыч, бей своих, чтоб чужие боялись!

— Ах, это ты, Грач! — оскалился Сыч. — Я и не знал, что ты умеешь пищать!

— Ну и что, что пищим, — отвечал Грачев. — Зато по-своему, а не по-твоему.

— Пой, птичка, пой, пока не попала кошке в лапы! — только и нашел слов Сыч. Видно было, как он бесился. А тут еще Кузьменыши подали голос. Прямо хором закричали:

— Ты, Сыч, нам не угрожай. Мы тебя нисколько не боимся.

А Толик добавил:

— Васька — человек, а ты зверь, Сыч! Зверь!

— Змея без жала, — сказал Боня и засмеялся. И все засмеялись.

Когда врага бьют, это еще не поражение. Его могут и при битье уважать. Но когда над ним смеются... Вот где крах.

Понял это Сыч, отпихнул скулящего Купца, показал в окно кулак.

— Смейтесь! Не пришлось бы только плакать кровавыми слезами!

— Первый и умоешься! — кричат.

— А ты, Боня, жидовская харя, смотри! Наизнанку вывернем!

— Сам смотри, — кричит Боня, усмехаясь. — Второй раз не выпустим. Руки-ноги перетасуем, а в милиции скажем, что так и было.

— Ха-ха-ха! — заревела спальня.

На втором этаже окна распахнулись. Девочки выглядывают, тоже смеются, показывают на Сыча пальцем.

А тут Грач горшок бросил, как бомба разорвался он у ног Сыча. Отпрянул тот, да поскользнулся на снегу.

Заорал детдом, засвистел, заулюлюкал.

Побежал Сыч, прихрамывая, за сосны, проклиная Купца и шепча угрозы.

— Увидим! Увидим!

А что можно увидеть после того, что все видели?

Лето перекантуется Сыч по пригороду, а осенью рванет на Кавказ в поисках сытой и легкой жизни.

На рассвете пошел снег. Он падал отвесно, возникая из серой мглы, и таял, ложась на черную воду.

Все скрылось от глаз за его густой завесой. А потом он поредел, открылись доселе невидимые берега, проявленные как на негативе. Белые деревья, белые дома и белые лодки около белого причала. Все это вокруг темной воды.

Снег Андрею не показался холодным. Странное было ощущение, но после жгуче-ледяной воды хлопья, падавшие на голое тело, казались почти теплыми, липли, приятно щекотали кожу.

Андрей задрал вверх голову, стал ловить снег ртом. Но тяжелые крупные хлопья сразу же забили глаза, и нос, и рот. Он провел по лицу ладонью, как умылся.

Посмотрел на своего спутника;

— Как там по-испански дом?

— Каса, — отвечал Шурик.

— Тоже ничего. Но дом лучше. Поехали-ка домой!

— Значит, все? — спросил Шурик, вовсе не обрадовавшись.

Ночные поиски не прошли для него бесследно. Похудел, осунулся, стали заметней глаза. Он будто и сам стал другим. От вчерашнего запуганного и отчаявшегося мальчика не осталось и следа. Появились сдержанность, решимость, даже злость.

Он заставил себя вторично прыгнуть в воду, а потом нырять столько, сколько нырял и сам Андрей. Видно было, что давались эти ныряния нелегко.

— Все, — подтвердил Андрей.

Они погребли к берегу и, только выйдя на него, почувствовали перемену вокруг и свою собственную усталость.

Уезжали летом, а вернулись зимой. Уезжали с надеждой, пусть самой крошечной. Вернулись безнадежные.

Солдат накрепко привязал к причалу лодку, посмотрел на озеро. Мысленно попрощался с ним, как и с его глубокой тайной, которую оставлял на дне.

Достал из лодки тряпочку, в нее была обернута винтовка. Единственное, что они нашли. Так он и пошел с этой тряпочкой в руках, нес ее до самого барака.

А тут посмотрел и выбросил. К чему она теперь?

Ввалились в комнату такие неподвижно-усталые, застывшие, что не хватало сил присесть.

А их будто ждали. Заохали, забегали женщины, и среди них кнопка, принесли и заставили выпить по

стакану самогонки. Потом нагрели таз воды, раздели и вымыли.

Кнопка, то ли усталая от долгой свадьбы, то ли от первого утреннего света, не показалась теперь Андрею молоденькой девчонкой, а женщиной с синячками и морщинками на утомленном лице.

О вчерашнем разговоре она и не вспомнила. Притащила Андрею мужскую рубашку и кальсоны, повела его тихим коридором в свою комнату. На кровати, на диване, на полу спали гости.

Проворно бросила на пол тряпки, велела ложиться, а сверху навалила всего, что было под рукой, и чем-то тяжелым накрыла ноги.

Андрей, едва согрелся, утонул в беспмятном и бездонном сне.

Очнулся, как после обморока, сразу. В комнате ходили и разговаривали люди. Было все то же утро. По расчетам Андрея прошло часа три, не больше. Но чувствовал себя он бодро.

Нашел в головах одежду, сложенную и сухую, и сапоги. Стал одеваться торопливо, но никто не обращал на него внимания. Бегала с посудой кнопка и на ходу улыбнулась ему, видать, так и не ложилась. И другие женщины сутились, занимались сборами жениха.

Теперь Андрей увидел его. Простой парень, русоволосый крепыш, ровня самому Андрею. Ни на шаг не отходил он от своей беременной, это было заметно, жены. А она почти девочка, худенькая, остроносая, с испуганными серыми глазами.

Велели присесть за стол. Посошок на дорожку. Разлили самогонку, стали чокаться и пить.

Бабы завели, затянули:

*Последний нынешний денечек
Гуляю с вами я, друзья,
А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя родня,
Заплачут куры, поросья-та...*

— Пора! Пора! — завопил кто-то в дверях.

Новобранец поднялся, беспокойно оглядываясь.

Бабы заорали, заревели в голос. Обнимали парня, как и его жену, будто и она уезжала.

Андрей смотрел и думал, что провожали испанца русские бабы по-русски, с русскими песнями и русским плачем. Да и воевать он будет за Россию, как некогда воевали русские за Испанию.

Помогли ему надеть вещевого мешок, поправили ляпочки. Торопливо совали недопитую бутылку в карман. Суетились, колготились, и все от общего состояния беды.

А потом улеглось, затихло. Все сели присмиренные, только двери поскрипывали, кто-то входил и выходил. Новобранец с мешком приспособился боком на стуле, обводя провожающих тревожно-сосредоточенным взглядом.

С шумом двинулись на улицу. А тут снова начались суматоха, визг и плач. Девочка-жена вдруг охнула и закричала обморочно:

— Не уходи! Как же я! Как же ребенок будет! Не надо! Не пуцу-у! — И захлебнулась враз. Ее подхватили, отпаивали, утешали.

Теперь новобранец подошел к каждому и с каждым попрощался. Тут стояли не просто гости, а жители из других барачков. И с ними он попрощался, каждому пожал руку.

Дошла очередь до Андрея.

Вряд ли знал испанец, кто таков этот солдат и по какому здесь случаю. Шурик был в толпе, но ничего и никому он не сказал.

Подав испанец Андрею крепкую руку, произнес то, что произносил каждому:

— Прощай, браток!

И дальше уже:

— Прощай, браток! Прощай, браток! Прощай!

Андрей подумал вдруг, что попрощался он с парнем, как моряки перед смертельной атакой. В один бой им

идти, но дорога, но судьба через войну у каждого своя собственная.

Заиграла яростно и пронзительно гармошка: «Прощайте, прощайте, пишите почаще, но только не знаю куда...» Кучкой, уже без жены, с одними провожающими, двинулся испанец в поселок Косино на призывной пункт.

Андрей собрался на станцию.

Шурику сказал:

— Ну, до свидания, что ли...

— Куда? — спросил Шурик.

— Туда же.

— Может, все-таки мне с тобой пойти?

— Хватит, — произнес по-доброму солдат. — Береги и не огорчай бабу. Как там по-вашенскому победа?

— Виктория, — сказал Шурик.

— Вот так-то!

Тропкой, а потом дорогой вышел солдат к железнодорожным путям и направился вдоль полотна к станции. Шагал, оставляя рыжие от липкой глины следы.

Навстречу шел поезд, и солдат отступил к краю, отвернув лицо. Только когда миновали первые вагоны, он увидел и вдруг сообразил, что это его эшелон, углядел и узнал вагон свой, даже показалось, что расслышал пронзительный голос Гандзюка.

От снежной метели, поднятой движением, заслезилась глаза. Но он смотрел и смотрел на мелькающие вблизи колеса, на теплушки, на двери, на окна...

Отгрохотало, с вихрем и ветерком, и унеслось в неведомое. А он остался, как брошенный, на путях.

Нагнулся к белому рельсу, приложил ладони, он еще был теплый, еще пульсировал, как живой. Но все тише и тише был стучок.

— Чего сидишь? — спросила железнодорожница в шинели, толсто укутанная баба.

— Ушел, — сказал Андрей.

— Кто ушел-то?

— Поезд ушел.

— Так другой будет. Только ты его не тут ждешь.

Встал солдат, пошел за женщиной следом. Вдвоем, казалось ему, легче идти. С Шуриком было бы легче, и с Васькой своим тоже... С Васькой было бы совсем легко.

— Вот морока-то какая насыпалась, — произнесла женщина, оглядываясь на солдата. — Говорят, что примета нехорошая.

— Примета? — спросил солдат.

— Ну да... Снег на зеленые листья... Ударит по молодняку.

По шпалам вдоль рельсов, которые увели его эшелон, направлялся Андрей прямо на станцию Люберцы. Он знал, что там должна быть военная комендатура. Шагал он теперь открыто, не хоронясь: незачем было хорониться, даже наоборот, вдруг захотелось, чтобы выскочил невесть откуда в серых сумерках знакомый патруль с дотошным лейтенантом-бухгалтером во главе и с рыжим разбитным солдатиком, славным, в общем, парнем. Теперь бы Андрей смог по совести поговорить, открыться бы им, что пережил-передумал и к чему теперь пришел. А путь свой прямой линией, вот как эти рельсы, проложил он к фронту и никаких препятствий для этого не видел. К фронту, где будет он иметь свое солдатское оружие, свою ненависть к оголтелому врагу и свое бесстрашие, ибо он пережил страх.

Но как бывает в таких случаях, никто не попадался на пути Андрея в этот ранний час, ни патруль, ни даже военные. Беспрепятственно дошел он до громоздкого бетонного моста через железную дорогу, потом до станционного моста и, легко перешагивая через блестящие, добела отшлифованные рельсы, поднялся на каменную платформу. Здесь уже толпился народ, едущий на работу в Москву.

Пересекая платформу по одной, зримой только ему, Андрею, черте, ведущей к цели, он не глядел по сторонам. Случайно кинул взгляд в сторону, где несколько дней назад стоял его эшелон. Там сейчас остановился санитарный поезд — зеленые пассажирские вагоны с красными крестами

на бортах. Около вагонов, где обычно стоят медсестры да несколько выздоравливающих бойцов, сейчас суетились люди, выводили, выносили кого-то, а здесь, где был Андрей, все стояли, подойдя к самому краю, и настороженно смотрели. Андрей тоже заинтересовался, подошел, посмотрел.

Он увидел, как из узких вагонных дверей с вертикальными неудобными ступенями какие-то женщины в белых халатах, военные в бушлатах и сапогах и просто люди в темных ватниках выносили детей и ставили, сажали, а то и клали тут же у рельсов на землю.

— Блокадные... Ленинградские... Из Вологды привезли... — было произнесено в толпе, рядом с Андреем.

Никто никак не среагировал на эти слова. Все знали, что такое блокада и что такое Ленинград. Но было в детях что-то такое, что люди, и не слышавшие последних слов, останавливались и замирали, не в силах оторвать глаз. А за ними подходили все новые и так стояли, выстроившись на краю платформы и забыв про свой поезд.

Люди видели на войне все. Их ничем ни удивить, ни поразить было нельзя. Но вот они смотрели, а кто бы посмотрел на них: столько боли, скорби, мучительной жалости, потрясения, страдания, но и горькой радости было в их глазах. Ибо, хоть это были дети войны, жалкие обгарки на черном пепелище, но это были живые дети, спасенные и вынесенные из губительного пламени, а это означало возрождение и надежду на будущее, без чего не могло быть дальше жизни и у этих, также разных на платформе людей.

У них. И у Андрея.

Дети были тоже разные. Но что-то их всех объединяло. Не только необычный цвет лица, сливавшийся с выпавшим снегом, не только глаза, в которых застыл, будто заморозился, навсегдашний ужас блокады, не только странные неразомкнутые рты.

Было в них еще одно, общее — и в облике, и в тех же лицах, и в губах, и в глазах, и еще в чем-то, что рассмотреть можно было лишь не поодиночке, а только когда они все

вместе, и что выражалось в том, как вели они себя по отношению друг к другу и к взрослым, как стояли, как брались за руки, выстраивались в колонну, — и можно выразить так: дети войны.

Страшное сочетание двух противоестественных, невозможных рядом слов. Дети здесь своим присутствием выражали самую низкую, самую адскую, разрушительную сущность войны: она была в зародыше, в зачатке по всем другим детям, которые не были рождены, по всем поколениям, которых еще не было.

Но вот эти, которые стояли теперь колонной, взявшись по двое, готовые отправиться в неведомый путь, ведь выжили же! Выжили! Дай-то бог! Они были посланцы оттуда, из будущего, несущие людям, стоящим на другой стороне платформы, на этой, еще военной, стороне жизни, надежду на будущее, несмотря ни на что. Им, а значит, Андрею.

Странной колеблющейся тонкой струйкой вслед за худенькой темной женщиной, тоже похожей на подростка, потекли блокадные вдоль рельсов все дальше и дальше в сторону города. И в каждом крошечном человечке, закутанном в тряпье, была, несмотря на робкость первых шагов, слабое покачиванье, — отчего живая струйка то растягивалась, то сжималась, и пульсировала, и рвалась, чтобы снова слиться, — неразрывная связь с ближними, друг с другом, с кем они сейчас шли, сцепив синие пальцы так, что никто бы не смог их разомкнуть, но и с людьми на платформе, и с этой беззвучной станцией, и с этой новой обетованной землей, которая их взрастит.

Семя, брошенное в жесткую почву, взойдешь ли, станешь ли шумящим колосом?

Стоя перед усталым лейтенантом с короткой щеточкой своих бухгалтерских усов, с испытующим, недоверчивым, колким взглядом, в казенной комнате — комендатуре, Андрей не много мог объяснить. Словам тут не верят. Но сам пришел, с тяжким нечеловеческим чувством вины и покаяния.

Говорил, щурясь от желтого света не потухающей днем и ночью двухсотсвечовки на шнуре без абажура, а сам видел только эту нестираемую картину: качаемый ветром ручеек крошечных человеческих жизней, текущий вдоль рельсов в будущее. В будущее, которое Андрей будет защищать всегда. Даже когда, вот как они, не сможет стоять. Сидя будет, лежа, как угодно. Потому что если выжили они, то Андрей выживет благодаря им, взяв от них пример мужества и отдав во имя их даже жизнь. Во имя их, во имя Васьки.

Нарушая строгую томящую паузу, пока старательный лейтенант, облизывая кончиком языка свои усы, составлял рапорт и писал бумаги, макая часто в высохшие чернила ручку, — а тут еще громкий сержант, кричащий по телефону, да двое патрульных, балагурящих в уголке, да какой-то штатский, клянчащий талон на билет, тоже отстал от своих, — Андрей, как псих, как контуженный какой, из тех, что поют в электричке, прорвался вдруг.

Порывисто и хрипло запросил, сам не узнал своего голоса:

— Одно у меня, товарищ лейтенант! Все знаю! Штрафнуха! Но прошу! Прошу вас, под охраной... Или так... Мальчонка у меня, братишка меньшей, малой! Васька! В детдомовских тут! Минуточку бы! Крошечку только! Глазком, словцом одним! — И на выдохе, совсем уж отчаянно: — Он же умрет, если не увидит! Он ведь ждет меня! Ну как бы... Ну как ждал бы вас ваш сын!

Лейтенант оторвался от бумаги, но не посмотрел на Андрея, а посмотрел почему-то в окошко, отсюда, из желтого света, в синий наружный утренний свет. Не знал Андрей, что потому так трудно и медленно писалось лейтенанту, что и перед ним неотвязно стояло то же самое. Как встречал санитарный поезд из Вологды — его ждали двое суток по радиограмме, — как шел от вагона к вагону, принимая на руки неощутимо, невесомо воздушных детишек, будто не их, а раненых птиц, и не мог при этом смотреть им в глаза, в которых, казалось, только и оставалось что-то весомое и живое. А когда, протягивая руки, все-таки натыкался

на встречный взгляд, прямой и немигающий, какого-то белого, зимнего цвета, то опускал глаза и чувствовал, как замирало в груди дыхание и все тело коченело.

Да еще рассказ — невнятный, на ходу, в спешке — этой маленькой черненькой женщины о том, как собирала по домам и по улицам одичавших детей, которые и фамилий-то своих не помнили, она давала им свою фамилию, как тонули на грузовичке, когда бомбили их на Ладоге, перебираясь по неверному льду, а бойцы вытащили, спасли; как от Жихаревки до Вологды из-за жестоких поносов устелили они дорогу детскими могилами, а потом, в больницах, чуть не дыханием выхаживали остальных, уцелевших...

Теперь посмотрел лейтенант на Андрея, медленно, особенно как-то посмотрел. И, потеряв кулаком глаза, отмаргиваясь, оттого что жгла усталое зрение яркая лампа, спросил кургузо:

— Где он... твой, живет?

Было для Андрея в этом вопросе многое. Последняя встреча, Васькины верующие глаза, которые невозможно обмануть.

32

В эту ночь Васька заболел. Температура поднялась выше сорока. Лежал он весь в поту, с красным лицом и тяжело дышал. Завтракать утром не захотел, только пить и пить.

Пришла Ксана, села рядом.

— Смотри, Вася, мама прислала тебе рубашку и штаны. А еще книжку сказок.

Васька кивнул, говорить ему было трудно.

— Хочешь, я тебе прочитаю?

Он опять кивнул.

— Вот хорошая сказка, — сказала Ксана. — Про Ивана, крестьянского сына, и чудо-юдо... Жили старик со старухой, а у них было три сына, а младший сынок — Иванушка. Жили они, не ленились, без усталости трудились, пашню пахали да хлеб засевали.

— Обильно, — прошептал Васька. — Хлебушко до краев...

— Что? — спросила Ксана. — Так вот, разнеслась в том царстве-государстве весть: собирается чудо-юдо поганое на землю напасть, всех людей истребить, все города-села огнем спалить. Затужили старик со старухой, загоревали. Старшие сыновья утешают их: «Не горюйте, батюшка и матушка, поедем мы на реку Смородину, на калиновый мост. Будем биться насмерть». — «Я тоже пойду, — говорит Иванушка. — Не хочу дома сидеть».

Ксана прервалась и вдруг сказала задумчиво:

— Мама говорит, что плохо, когда на листья снег упадет. Будто примета, что молодых солдат много погибнет...

— Почему? — подал голос Васька.

— Ну, суеверие такое. Мы-то с тобой знаем, что это неправда.

— Конечно! — произнес он и закашлялся.

К обеду появилась женщина-врач, попросила Ваську приподняться. Выслушала трубочкой спину, грудь, в рот заглянула.

Боне, который находился в спальне, она сказала:

— Двустороннее воспаление... Нужно отправлять в больницу.

— Сделаем, — отвечал Боня и стал смотреть, как врач выписывает бумажки.

Васька дождался, когда врач ушла, попросил Боню:

— Не увозите меня.

— Как же, — возразил тот. — Тебе лечиться надо.

— Не увозите, — сказал Васька и заплакал.

Ксана отозвала Боню в сторону и прошептала ему:

— Он боится, что не увидит солдата.

— А когда он придет?

— Обещал утром. — Ксана добавила: — Последний раз.

— До вечера подождем, — решил Боня. — Пойду директору скажу.

Постучались, вошли трое военных.

Васька захотел подняться, никак через слезы не мог он разобрать, кто же из них дядя Андрей.

Но двое остались у двери, а третий приблизился к постели.

Произнес родным голосом:

— Что же ты, Василий? Все-таки заболел?

Васька отвалился на подушку, захотел улыбнуться.

— Нет... Я скоро встану.

— Да уж лежи теперь, — сказал солдат. — Куда тебе торопиться?

— А ты?

— Видишь, уезжаю.

— На фронт?

— На фронт, Василий.

— На реку Смородину, на калиновый мост... — произнес Васька.

— Да, вроде того. Там река Сейм протекает.

— А когда вернешься?

— Теперь скоро, Василий. Фашистов добьем. Ты учись и жди.

— Я буду ждать сильно-сильно, — сказал Васька и закрыл глаза.

С закрытыми глазами добавил:

— Вот только снег выпал... И зачем он выпал! Зачем?

— Погода такая, — ответил солдат. — Но все равно весна... Помнишь, из Робин Гуда я стихи читал? «Двенадцать месяцев в году, двенадцать, так и знай, но веселее всех в году веселый месяц май!»

— Веселый, — сказал Васька. И закрыл лицо руками.

— Вашу винтовку нашли? — спросила Ксана.

— Винтовку? Да, да, конечно. Поэтому и еду, — отвечал дядя Андрей, оглянувшись на военных. Они уже делали ему знаки, что пора идти.

Были они при полной форме, в ремнях и даже с пистолетами. У солдата дяди Андрея не было ни кобуры, ни даже ремней или погон.

Только Васька этого разобрать не мог. А Ксана хоть и видела, но ничего не сказала.

— Будь счастлив, Василий, — солдат наклонился, поцеловал мальчика в лоб. Долго смотрел на его лицо, словно

пытаясь запомнить. Хорошо смотрел, как на своего, на родного человека.

Протянул руку Ксане:

— До свидания, подружка! Не забывай!

— Я никогда не забуду.

— Вот и спасибо. Я вас с мамой тоже буду помнить.

— Хотите, провожу? — спросила девочка.

— Нет. Будь около Василия. Не бросай его.

Тут один из военных сделал шаг вперед и строго произнес:

— Боец Долгушин, свидание закончено.

Андрей оглянулся, встал.

Быстро направился к двери, но с полдороги вернулся, торопливо заговорил, наклоняясь к Ваське:

— Жди, мой мальчик. Вернусь, будем вместе... Всю жизнь вместе! Прощай!

Солдат дядя Андрей и двое военных ушли, а Васька остался ждать.

1977 ГОД

Содержание

<i>Марина Приставкина. «ПИСАТЬ КНИГИ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО»</i>	5
<i>Игорь Волгин. «И тихонько плачет он в пустыне...»</i>	7

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ

Шинель	21
Огонь	22
Рисунок	23
Деньги	25
Первые цветы	27
Человеческий коридор	29
Портрет отца	31
Джафар	33
Между строк	35
Николай Петрович	36
Товарищи Гонцовы	38
Звезды	40
Шефы	42
Фотографии	44
Осколок	46
Яблоко	47
Обманутые письма	49
Честная правда	51
Буква «К»	53
Военные люди	55
Бинокль	57
Родня Малышка	59
Козье молоко	61

«Тринадцатый»	63
Море	65
Отец Фесенко	67
Наша биография	69
Свет в окне	71
Драгоценные марки	73
Мышь	75
Голубой канал	77
Врачиха	79
Трое	81
Штаны	85
Ноги	87
Папиросы	89
Рабочая порция	91
Танцверанда	93
Шурка	94
Шаги за собой	96

СЕЛИГЕР СЕЛИГЕРОВИЧ

97

ПТУШЕНЬКА

221

СОЛДАТ И МАЛЬЧИК

273

Литературно-художественное издание

Приставкин Анатолий Игнатьевич

ТОМ 1

Собр. соч. в 5 томах

Руководитель проекта Юрий Крылов
Заведующая редакцией Татьяна Чурсина
Компьютерная верстка Виктория Челядинова
Корректор Наталья Семенова

ООО «Издательство «Зебра Е»
121069, Москва, Скатертный пер., 28
Тел.: (495) 695-38-88
E-mail: zebrae@ Rambler.ru
www.zebrae.ru

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.009937.09.08 от 15.09.2008 г.

По вопросам приобретения книг издательства «Зебра Е»
обращаться по адресу:
121069, Москва, ул. Большая Никитская, д. 50/5.
Тел. (495) 690-19-65, 690-19-55.
kniga@zebrae.ru



ПРИСТАВКИН

Анатолий Игнатьевич

[17.X.1931 — 11.VII.2008]

Прошло ровно десять лет с тех пор, как я начал эту книгу. Мне было немного лет, я поехал сюда, не ожидая ничего и, может быть, ничего не желая найти.

И этот край вдруг стал мне родным. Не только местом, где я не родился, но хотел бы родиться, но и местом, где, может быть, хотел бы умереть.

Когда я впервые попал сюда, я не знал еще ни Черного моря, ни Ленинграда, ни Ангары, ни Закарпатья, ни других каких-либо мест. Я покидал мой Селигер, чтобы узнать то, чего я не знал, но всегда я возвращался обратно...

«Вы знаете, что писать книги очень тяжело», — всегда говорил Анатолий Приставкин студентам-новичкам на самом первом семинаре в Литературном институте. «Литература — огромный и сложный мир, и надо бесконечно много работать и очень многое познать, чтобы добавить свои крохи в тот общий котел, который сварили до тебя (и за тебя) твои предшественники».

Конечно, как у каждого серьезного писателя, у Анатолия Приставкина были свои любимые из тех книг, что созданы за сорок лет честной литературной работы. Это только дети в семье все любимые, а книги у писателя, хотя и родные, как дети, но все разные.

Поэтому, не кривя душой, можно сказать, что эту коллекцию прозы для вас, дорогие друзья, собрал сам автор.

Марина Приставкина

В одном из своих интервью Анатолий Приставкин сравнивает себя с лошадкой, ходящей по кругу: она все время возвращается в исходную точку. Добавим, что такие лошади использовались некогда на шахтах — например, тащили подъемник. Из каких же глубин Приставкин извлекал те воспоминания, которые были «сокрытым двигателем» его труда?

Игорь Волгин

ISBN 978594663941-5



9 785946 639415 >